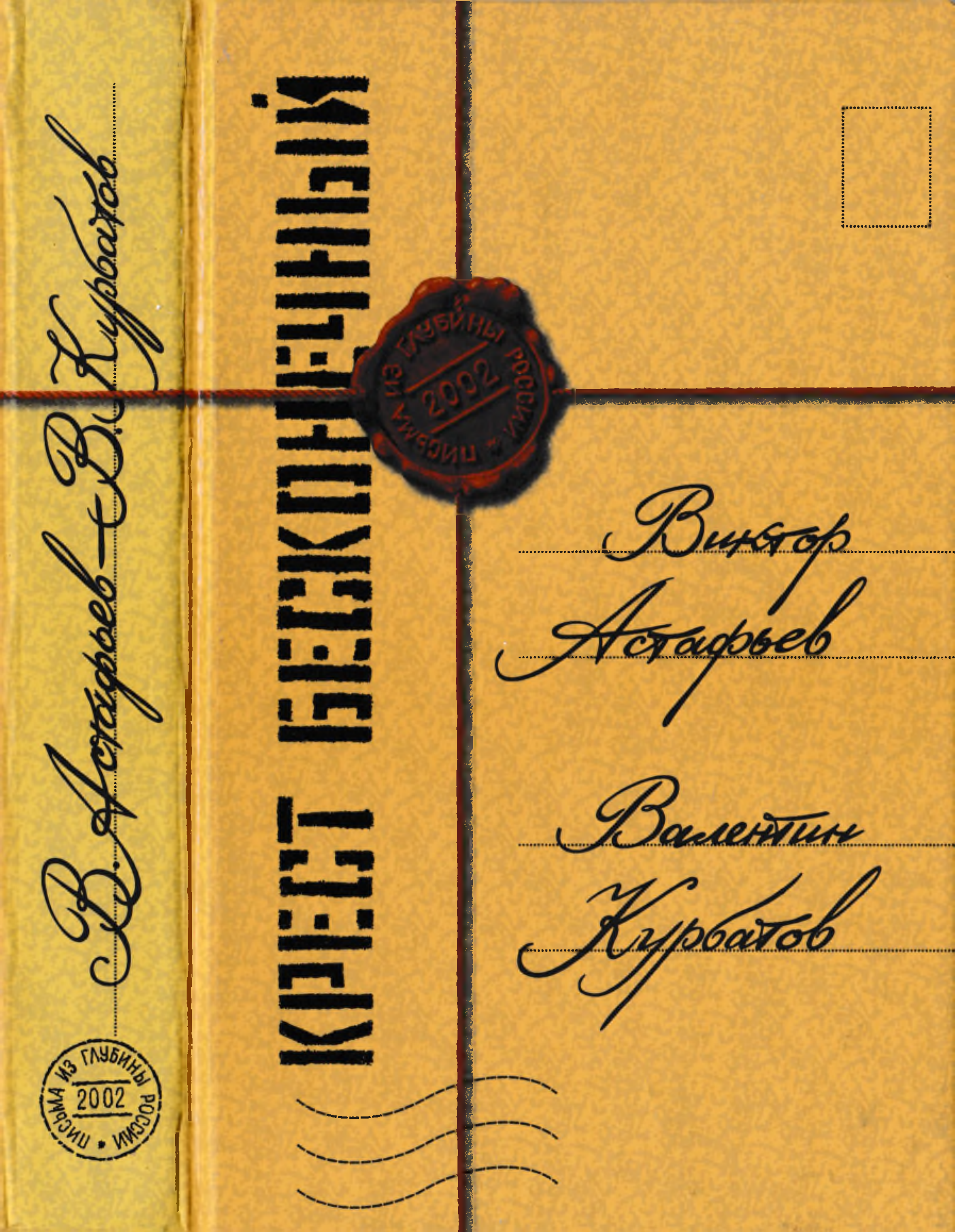

В. Астафьев — В. Курбатов
Крест бесконечный
Письма из глубины России 2002
Виктор Астафьев
Валентин Курбатов





Иркутск
2003


Крест бесконечный

Виктор Астафьев

Валентин Курбатов

ПИСЬМА ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ

1974–2001

УДК 821.0
ББК 83.3(2=Рус)7
К 80

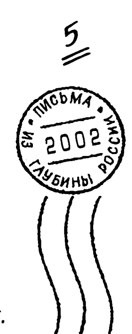
Издание второе, дополненное

Составитель Геннадий Сапронов
Художник Сергей Элоян

К80 **Крест бесконечный. В. Астафьев — В. Курбатов: Письма из глубины России** / Сост., предисл. Г. Сапронова. Послесл. Л. Аннинского. — 2-е изд., доп. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2003. — 528 с.

Книга переписки великого русского писателя Виктора Астафьева и выдающегося литературного критика Валентина Курбатова, охватывающая 28 лет их дружбы и сотрудничества — может быть, последний русский эпистолярный роман о жизни двух тружеников отечественной культуры, написанный движением сердца каждого. Их письма искренни, чисты и откровенны, в них раздумья и переживания о нашей литературе, культуре в целом, народе-страдальце, жизни, какой она была в последние десятилетия ушедшего века. Во второе дополненное издание вошли 14 писем Виктора Астафьева, присланных составителю из музея г. Чусового.

ISBN 5-94535-023-0



Движением сердца

От составителя

Книга эта писалась долго — двадцать восемь лет. Письмо, написанное в далеком августе 1974 года, в котором Валентин Яковлевич вспоминал свою первую личную встречу с Виктором Петровичем на его полувековом юбилее, где на бегу лишь обмолвились несколькими словами, и положило начало их многолетнему эпистолярному роману, верной и нежной дружбе. Они были связанны не только творчески, но, как оказалось, и географически — один провел в послевоенном Чусовом детские, а другой, волею судьбы, — молодые годы. В этом вечно задымленном, почерневшем от сажи городке старшеклассник Курбатов впервые увидел на школьном вечере живого писателя, у которого все творческие тяготы, как и общенародное признание, были еще впереди. Спустя полвека в этом же, мало в чем изменившемся, городе 29 ноября 2001 года на выдающегося литературного критика Курбатова невыносимой тяжестью обрушилась весть о кончине великого русского писателя Астафьева.

Я благодарен судьбе, что в начале 1985 года, работая тогда в журналистике и будучи приглашен на юбилей красноярской молодежной газеты, на шумном вечернем «мероприятии», кои у нас неизбежны после

официальных речей, познакомился с Виктором Петровичем и там же, в веселой хмельной кутерьме, потеряв страх и робость, договорился с ним об интервью. С того долгого неспешного разговора в обычной пятиэтажке на крутом берегу Енисея, откуда в ясный день видна Овсянка, родина писателя, в его тихом и уютном рабочем кабинете и началось наше сотрудничество, а через короткое время — и дружеские отношения на долгие годы.

В начале 90-х я предложил Виктору Петровичу свои издательские услуги и безмерно благодарен ему, что судьбу нескольких своих изданий последнего десятилетия он доверил никому не известному начинающему провинциальному книгоиздателю. Вольно или невольно, так уж удачно складывались обстоятельства, но книги, изданные мною с благословения Виктора Петровича, выходили в свет ко дню его рождения — 1 мая. Так было в 1994 году, когда подарком к 70-летию писателя стал двухтомник «Проза войны», куда впервые вошло все, что было написано им о войне, включая только что тогда законченную «Чертову яму», первую часть романа «Прокляты и убиты». Так было и в юбилейном 1999-м с изданием сборника повестей под общим названием «Веселый солдат», куда вместе с самой повестью «Веселый солдат» вошли «Обертон» и «Так хочется жить». Так стало и в 2000-м, когда в преддверии Дня Победы мы презентовали с ним сборник повестей фронтовиков «Вернитесь живыми», который составляли вместе. И в 2001 году, возвращаясь к жизни после страшного инсульта, Виктор Петрович в день своего рождения в больничной палате все же прижал к груди «Пролетного гуся», сборник своих последних рассказов и затесей. Он очень гордился и дорожил этой книгой, с удовольствием подписывал ее друзьям и врачам, окружавшим его в последние дни. Как будто чувствовал, что она станет последней книгой, изданной при его жизни.

Работая над рукописями, мне не раз приходилось заходить в святая святых дома Астафьевых — небольшую комнатку, приспособленную из кухни присоединенной квартиры под писательский архив. Мария Семеновна, жена Виктора Петровича и его единственный архивариус, все годы их совместной жизни сохраняла все, что было связано с творчеством писателя. Бесчисленные авторские черновики, варианты рукописей, многократно перепечатанные на старенькой машинке самой Марией Семеновной, множество семейных фотографий — все здесь всегда было аккуратно уложено в подписанные и пронумерованные папки, всему отведено свое место. И конечно же, больше всего на полках было папок с читательскими письмами и личной перепиской Виктора Петровича. Среди них особо выделялась пухлая папка с надписью «В. Курбатов». Через какое-то время к ней присоединилась еще одна с той же надписью и за несколько лет догнала по толщине первую.



Года три-четыре назад, с позволения Марии Семеновны, я заглянул в одну из папок и без всякого выбора прочел несколько курбатовских писем. Конечно, это были личные послания другу, но, прочтя пять-шесть писем, я поймал себя на мысли, что меня вовсе не смущает частность их содержания. Я не ощутил себя подглядывающим через замочную скважину за личной жизнью людей. Более того, показалось даже, что некоторые письма адресованы будто бы и мне. Местами это были и не письма даже, а крохотные пронзительные эссе, в которых Валентин Яковлевич высказывал мысли, давно волнующие меня, говорил о проблемах, в своей неразрешимости стоящих перед всеми нами, находил ответы, изумлявшие своей простотой. Но без писем Виктора Петровича послания Валентина Яковлевича казались все же некими отрывками, где мысль возникала как бы из ничего, а вопросы навечно оставались без отклика того, кому они адресованы. И по-



тому нестерпимо хотелось прочесть и ответы Астафьева Курбатову, но они тогда были в далеком Пскове.

Несмотря на согласие Марии Семеновны, наши с Агнессой Федоровной Гремицкой (бессменным литературным редактором Астафьева) совместные уговоры, Валентин Яковлевич не сразу согласился на издание его переписки с Виктором Петровичем. Поначалу даже отказ для него был радостнее согласия. Уже и в работе над рукописью возникали на экране нашей с ним электронной переписки его сомнения, больше похожие на отчаянную просьбу отложить эту затею. «Неужели и правда письма можно издать? — писал он мне. — То есть Виктор Петровичевы-то конечно! Там и таятся сокровища! А вот про свои и думать боюсь. Мои глупости лучше приберечь для хорошей растопки мемориальной овсянской печки. Начнете читать — сами и увидите. И не стесняйтесь, пожалуйста, тотчас сказать мне, что замысел оказался благороден, но напрасен. Я приму это только с радостью и освобождением».

Не скрою, подобное настроение расстраивало меня, а то и ввергало в полное отчаянье. Я, конечно, понимал смущение и растерянность Валентина Яковлевича — скажи мне кто-нибудь, к примеру, что будет издана моя личная переписка с Астафьевым, так не то чтобы смущение посетило... Я соглашался с Курбатовым, когда он писал мне, что «есть вещи, которые можно сказать только в письме. Преданные огласке, они становятся игрой и обесцениваются тотчас. Никакого срока давности тут не существует. Особенно для живого человека. Его «живость» и мешает правильному восприятию». Но, уходя все дальше в работу над рукописью этой книги, я укреплялся в мысли, что их письма — не просто милые послания друг другу давно и близко знакомых людей, а действительно, может быть, последний русский эпистолярный роман о многолетней дружбе без преувеличения двух великих тружеников отечественной культуры, написанный движением серд-

ца каждого. Холодный и равнодушный экран электронной почты уже никогда не заменит нам ощущения той неожиданной радости обнаружения в почтовом ящике долгожданного письма, из которого вместе с теплотой живого почерка в твой дом приходит и дыхание друга, сошедшее с тетрадного листочка, согретого его радостями, а то и окропленного слезой.

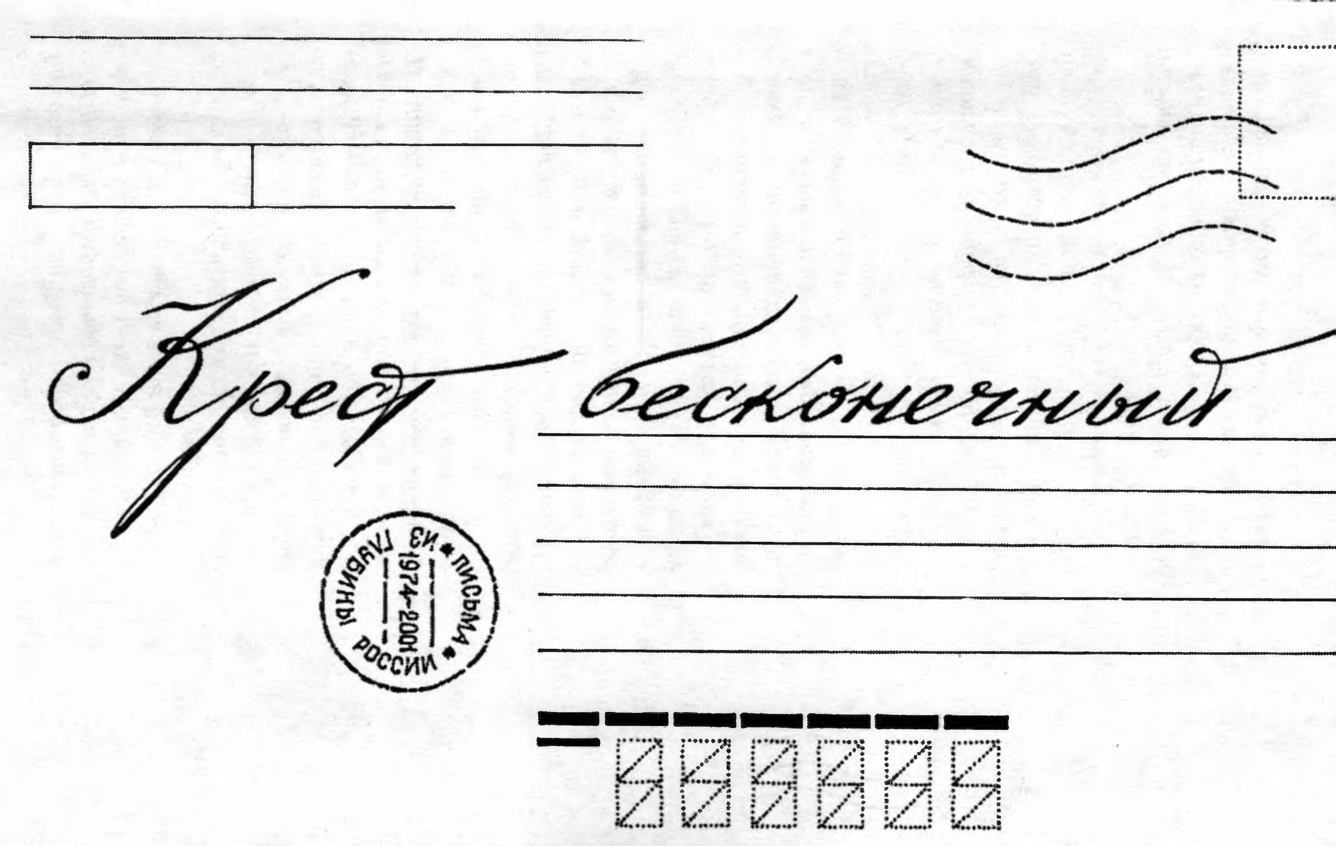


Их письма искренни, чисты и откровенны в нежнейшем сострадании друг к другу. В них раздумья и переживания о нашей литературе, о культуре в целом, о народе-страдальце, о жизни, какой она была в последние десятилетия ушедшего века. В них живое движение писательских замыслов, скрытая недоговоренность, порой и раздражение друг другом, усталость и бережность, желание истины (у каждого своей) и след общей литературной жизни переходных лет. В них драгоценные детали жизни обычных земных людей, каждодневно, вопреки устоям общественной системы и житейским буреломам, работающих во благо нравственного здоровья нации. В них пример искренней дружбы двух творческих личностей, которые и в принципиальном споре оставались верны собственным убеждениям и уважительны друг к другу. И, может быть, не в книгах, а именно в этом личном зеркале нам откроется, что все деления Союзов, все писательские фракции занимали литераторов только в течение рабочего дня, «на людях»; а вечером, перед чистым листом на столе, в плену вдохновения жилась другая, подлинная, гораздо более целостная и традиционная жизнь, сохраняющая русскую литературу старинно здоровой.

И хочется надеяться, что переписка этих двух замечательных людей, за нас несущих крест бесконечных поисков причин бед и горестей, происходящих с нами, поисков ответов на вопросы, мучающие нас, будет важна не только литературоведам, но и простым людям, пока еще что-то читающим, над чем-то еще размышляющим в этой слетевшей со всех колес и опор жизни.

Мы понимали, что это будет, может быть, первая книга об Астафьеве, которая пишется, по словам самого же Валентина Яковлевича, «уже перед глазами прямого бессмертия». Понимали, что навсегда прописываем Виктора Петровича в пантеоне великой русской литературы, не ища при этом своей нравственной корысти. Понимали, что прошло еще крохотно мало времени, удаляющего нас от дня его кончины; что, наверное, должно отойти поколение, когда в дело вступит история, и тогда — все можно и ничего не страшно... Но с поколением уйдем и мы, знавшие и любившие его, и пытливый литературный исследователь никогда не заменит нас, сегодня желающих душой согреть дорогое дело, просто и честно выполнить свой долг перед навсегда ушедшим другом.

Геннадий САПРОНОВ



Бред бесконечный
ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ * ПИСЬМА *
1974–2001

Я понимаю тревожную двойственность этой книги. И если все-таки соглашаюсь на издание, то скорее из сознания возможной пользы, а может, и назидательности такого опыта.

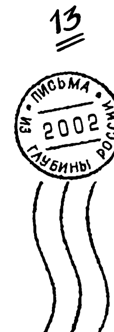


Публикация всякой переписки неизбежно разоблачительна. В надежную тесноту конверта прячется не одно искреннее движение сердца, которое не передашь на людях, не одна простая информация, расшифровывающая то «ничего», каким мы отвечаем обычно на вопрос «как жизнь?», но — куда чаще — наше действительное потаенное мнение о том, что в прилюдной жизни мы передадим осмотрительнее, а то и перемолчим. Особенно в переписке людей, занимающихся литературным трудом.

Иногда я думаю, как было бы замечательно во время какого-нибудь собрания «единомышленников» в писательстве вдруг разом явить на небесном экране рентген их действительных отношений в переписке с друзьями. Открылась бы совершенно новая история литературы — сложная, драматическая, необыкновенно интересная и в определенном смысле более точная и справедливая, чем ее публичный вариант. И, может быть, она однажды научила бы нас, что было бы выше и благороднее говорить вслух то, что скрыто по конвертам, не страшась обидеть близкого человека и не смущаясь тем, как это перетолкуют другие, потому что эти другие были бы так же открыты миру.

Да только все это утопия. И современная история всегда будет делиться на дневную и вечернюю, кабинетную и кухонную, и всегда мы будем говорить одну половину

фразы в одном обществе, а другую — в другом. Если только не решимся пойти в святые и юродивые. Конечно, время потом все расставляет на свои места. Писатели уходят, переписка и дневники публикуются, и новый историк не без иронии переписывает сложившуюся историю. Да ведь это потом, когда уже участников нет. И что тогда в ней, в этой опоздавшей правде, когда на дворе уже происходит своя, точно такая же двойственная жизнь? Не оттого ли переписка в мире постепенно и сходит на нет, частью заменяясь электронной почтой с ее мимолетностью и «ненастоящестью» (без почерка это уж и не переписка), а частью — и вовсе бесследным телефоном.



Правда, из-за этого «заголилась» сама литература, потащившая в книги и то, что прежде могло умереть до времени в письме. Но это уже игра. И во внешне опасной и как будто последней открытости вовсе не исповедная, а порочно-мстительная, оскорбляющая, а не смущающая душу, как смущается она при чтении переписки. Конечно, и в письмах не без игры. Всякий художник — актер. Уж на что Пушкин свет и искренность, а и он после встречи с царем с горечью свидетельствовал в себе «подлость во всех жилках». И бесстрашный Толстой все в неискренности себя корил. Но эта общая игра от слабости человеческой — кто беднее себя норовит притвориться, кто, напротив, — богаче, дурак умнее себя хочет быть, а умный корчит дурака. Это уж от самой жизни, от того, что Шекспир звал общим театром, где все люди — актеры.

Да и время все норовит втиснуться в строку, свое словцо вставить с каким-то одушевленным честолюбием. Времени-то и себя тоже выкрикнуть хочется. Отчего сейчас глядишь на свои строки как на чужие, будто кто их вписал тебе. Когда время ломается, настоящая история литературы рассовывается по конвертам, уходит на глубину, на уровень личных отношений. Так что Бог с ним, с вторжением честолюби-

вого времени. Это в конце концов тоже «документ». Больше смущает другое.

Что-то поневоле в переписке проваливается. Я был плохим хранителем. Кто из нас глядит на письма всерьез — гении, что ли? Что-то, наверное, в Чусовой отвез, в тамошний Музей писательских судеб, а что-то и просто за беготней не уберег. Во всяком случае, нет-нет, и видно, что я на что-то конкретное отвечаю, а самого-то письма и нет. Но вообще я, конечно, писал чаще, и иногда Виктор Петрович отвечал только на третье, а то и на четвертое письмо. Времени у меня было побольше, чем у него, а собеседников — поменьше. Иногда приходила только книга с автографом — и это было дороже письма, потому что и сама книга начинала казаться письмом. А уж в конце и вовсе понятно — его страшная занятость, болезнь, немота... Я жалею, что не писал в эти месяцы чаще — вот когда письма-то были необходимы.

И еще одно. Знай я, что мои повседневные письма когда-нибудь станут рядом с астафьевскими в одной книге, как бы я был осмотрителен, как взвешивал всякое слово и, может, старался быть умен, как Иванов с Гершензоном в своей знаменитой «Переписке из двух углов», которая сразу была жанром. Да, думаю, и Виктор Петрович не всякое слово до конца договаривал. Только это уж был бы ветхозаветный «роман в письмах». А так — пусть останется все как было. Задним числом не поумнеешь и ни себя, ни времени не исправишь.

Зато останется след лаборатории Виктора Петровича, его неустанной работы и земной, подлинной, необратимо уходящей полноты живого великорусского человека.

Валентин Курбатов

1974

18 августа 1974 г.
Псков

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Сначала напомню о себе.

Я приезжал к Вам с Юрием Николаевичем Курановым в прекрасные дни Вашего пятидесятилетия, Виктор Петрович, и мы с Вами на бегу несколькими словами обмолвились о Чусовом, в котором я провел детство и отрочество на Больничной Горе, на Переездной.

А вот сейчас я воротился оттуда, из ослепительной чусовской осени, которой, кажется, никогда не

видал там прежде. Словно в укор за долгое отсутствие осень мучила меня красотою во все дни гостевания. И лица встречных были странно знакомы, но окликнуть не находилось мужества, потому что не мог припомнить ни имени, ни связи своей с ними. Как в заспанном к утру сне — и помнится как будто, а сказать нельзя.

От этого все саднило сердце, и я каждый день уходил все дальше и дальше по Чусовой, Усьве, Вильве, Архиповке.

«Гребешок», куда мы так любили ходить с ребятами, угланами, совсем не переменился, только отполировался его «стол» на вершине да появилась рядом просека — тянут через Чусовую нефте- или газопровод. Река вовсе обмелела, лес грудится у быков, по берегам, на отмелях, перетонуло бог весть сколько, так что мужики, как ни уворачиваются, а через несколько метров непременно грохаются моторами о топляки и беззлобно, механически матерятся, осматривая винты.

Вообще реки все обмелели. Вон на Вильве, у Ротомских ключей, еще до того как там водокачку поставили (она, кстати, теперь воду-то только для господ, на Ленинскую качает, остальные из Усьвы пьют), мы рыбачили с быков, щурят таскали и не приведи бог зацепишься крючком, страшно было в воду лезть — так было глубоко, да и дно жутковато-оперное, из «Русалки», в корягах. А теперь от быков и воспоминания нет, галечные россыпи на их месте, и чуть не везде реку можно перейти по щиколотку.

И Усьва хоть осталась чиста, но тоже метра на полтора ушла, теперь уж прежних окуней не сыщешь (ходили там «лапти» повыше Лисьих гнезд, у «Ивана Яковлевича» — не знаю, кстати, отчего у горы такое славное имя). Лесу уж ни по Вильве, ни по Усьве не пускают — бесполезное занятие. Мужики теперь со дна старый долавливают. Липы обмокли,

лыко так и отстает, связками по берегу подсыхает то там, то тут, а деревья лежат нагие, белые и, кажется, зябнут в этой женской своей наготе.

Лес горит по Усьве. Осины пламенеют совершенными флагами среди золотого березового звона. Ели темнотою своей перебивают этот светлый хор, как черные аккорды, как молчание, безмолвие. И сердце все болит, болит. Какая-то уже и не радостная, а неумолимая, безжалостная в своей красоте осень. У Мандельштама есть прекрасные строчки:

> Господи! сказал я по ошибке,
> Сам того не думая сказать.

Вот и тут так — ловишь себя на этом «господи», которое вырывается помимо воли, чтобы хоть немного освободить сердце. Никогда не рисовавший, я тут не устоял и попробовал остановить мгновение, но скоро отступился, потому что бумага не слушается, как кровельное железо, — ничего остановить нельзя. Очень буду рад, если вам эти картинки хоть немного напомнят наш милый, наш дорогой город, его золотые окрестности.

В книжном мне попался Ваш «Конь с розовой гривой», Виктор Петрович, детгизовский, и я читал его маме со стесненным сердцем и слезами, потому что разделенное двадцатью годами детство было узнаваемо до боли в желудке от кочерыжек, когда рубят по избам капусту, до «выклянчиваемой» у матери первой школьной фотографии. Я был счастливее Вас и теперь могу видеть своих забытых сверстников в калошах, босиком, в подшитых валенках, майках, перешитых латаных рубашках и фуфайках перед нашей деревенской школой о двух комнатах с открытой дверью и одной учительницей, которая ходила из одной комнаты в другую, от первоклассников к четвероклассникам, и приглядывалась к нашим затылкам, на которые часто выбирались вши

(как перед школой ни осматривайся, как ни гладь свои перестиранные штаны и рубаху, как голову щелоком не полощи, а они, подлые, укрытие найдут).

А ведь между этими детствами не только 20 лет, но и тысячи четыре верст, потому что мое до первого класса, до апреля 1947-го, прошло на реке Черемшан, в 70 км от Ульяновска. А теперь и деревни той нет, какое-то море на ее месте налили. В детство уж не воротиться и не вспомнить. Оттого читать Вашего «Коня» было вдвойне больно и вдвойне отрадно.

Спасибо, спасибо Вам, дорогие Виктор Петрович и Марья Семеновна, за те весенние вологодские дни, за то, что Вы погостили со мною в Чусовом, за добрые Ваши книги.

До свидания, до свидания.

Ваш Валентин Курбатов

Я уже не помню, ответил ли Виктор Петрович на первое мое письмо. Чусовой уже был далек и не любим им. Так что, возможно, и не ответил. А поздней осенью того же 1974 года в Дубултах проходил семинар молодых критиков, куда на излете молодых лет попал и я. Там мы, конечно, много думали о нашей медленно подмерзающей литературе. След этих споров и сомнений в настоящей высоте тогдашней литературы с законодательно жесткой советской традицией, которая была уже как будто единственной традицией, навсегда определившей понимание крестьянства по Г. Маркову и А. Иванову, а войну в лучшем случае — по К. Симонову, и выговорился в моем следующем письме. Мысль письма была, как помнится, в том, что дело да-

же не в прямой лжи, а в том, что и сами по себе честные и блестящие художники, как работавшие тогда Ю. Нагибин и В. Катаев, Ю. Бондарев и Ю. Трифонов, все-таки будто на какой-то живоносной глубине разрушены, и в их честных и высоко ценимых тогда сочинениях проступала мимо их воли искренняя ложь, рожденная забвением древнего своего кровообращения, побуждая и нас разделить эту ложь.



13 ноября 1974 г.
Вологда

Дорогой Валентин!

Меня очень взволновало и тронуло Ваше письмо. Вы очень точно схватили суть происходящего в нашей литературе. А значит, и во всей духовной жизни. Ряженье в благородство, игра в «отцов родных» (я это называю: «не кнутом, а пряником»), улавливание душ нестойких, жизнью не битых. И они-то своей неосознанной и, что еще страшнее, осознанной наивностью наводят «порядки» в движении мысли, определяют (или, точнее, пытаются совершенно безуспешно определить) нравственный климат общества. Но «класс», он не то что «выпить не дурак», он тупо и молча спивается, вот уж тут неосознанно, придя к какой-то совершенно страшной форме сопротивления бездушию, цинизму и лжи.

Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев повести «Живи и помни». И вот что страшно: привыкшее к упрощению, к отдельному восприятию жизни и литературы и при-

учившее к этому общество, неустойчивое, склизкое, все время как бы пытающееся заняться фигурным катанием на самодельных коньках-колодках (которые мы оковывали отожженной проволокой), оно, это общество, вместе со своими «мыслителями» не готово к такого рода литературе. Война — понятно; победили — ясно; хорошие и плохие люди были — определенно; хороших больше, чем плохих — неоспоримо; но вот наступила пора, и она не могла не наступить — как победили? Чего стоила нам эта победа? Что сделала она с людьми? Что, наконец, такое война, да еще современная? И самое главное, что такое хороший и плохой человек? Немец, убивающий русского — плохой; русский, убивающий немца — хороший. Это в какой-то момент помогало духовному нашему возвышению, поднимало над смертью и нуждой, но и приучало к упрощенному восприятию действительности, создавало удобную схему, по которой надо и можно любить себя, уважать, хвалить, и отучивало думать настолько, что на схемы и еще на кого-то и чего-то мы начали вообще перекладывать функции думания, и, что самое удручающее, если не ужасное, мы во многом в этом преуспели.

Жить не думая, жить свободно от снедающих дум о себе и о будущем (а мысль всегда была двигательной энергией в движении человечества), веря или уверяя себя, заставляя поверить, что будущее и без твоего ума обойдется, тебе только и надо, что работать не покладая рук, оказалось очень удобно, но это развратило наши умы: лень ума, и без того нам присущая, убаюкала нас, и понесло, понесло к сытости, самодовольству, утешению и равнодушию. Но мысль неостановима: криво ли, спиралью ли, заячьими ли скидками она идет, движется, и если закостенела, — пробуждение ее болезненно, ужасно. Пролежавший в гипсовой форме человек с больным

позвоночником, вставая на ноги, нуждается в опоре, всякое движение в нем вызывает страх упасть, кости его берцовые упирают больно в таз, таз в свою очередь давит на ребра, ребра — на грудную клетку, а та — на шейные позвонки. Через великие муки и мужество должен пройти человек, чтобы вновь получить возможность двигаться, жить естественной, нормальной жизнью...

Сможем ли мы? Как далеко зашла наша болезнь неподвижности? Способны ли мы уже на те муки самопожертвования, отказа от себя и своих материальных благ? Вот вопросы, на которые, хочешь не хочешь, уже надо давать ответы. Иначе гибель всем. «Хорошие — плохие» люди в военной форме уже свое отжили. Они существуют только благодаря законсервированности и косности человеческой мысли. Прогресс, а он в основном служит так называемым целям обороны, уже пошел в наступление, и когда-то казавшиеся смешными слова о том, что «войны не будет, но будет такая война за мир, что камня на камне не останется», уже не кажутся смешными. Только разум, только пробуждение и возмужание человеческой мысли могут остановить все это. И опять мучение, и опять боль — а у нас-то как? Худо, убого, мордовороты в науке и в литературе, да и во всей культуре были и есть сильнее мыслителей, и их больше, но они страшны стали тем, что надели на себя те же заграничные модные тряпки, парики, золотые часы и сменили облик на этакого ласкового, добренького интеллектуала, который готов с тебя пылинки снимать, чтобы ты только не ерепенился, был как все, служил общим целям, т. е. плыл по течению, совершенно не думая и не заставляя никого думать о том, куда тебя вынесет и всех нас тоже...

Ой, дадут они Вале Распутину за повесть! Он не просто палец, а всю руку до локтя запустил в боляч-

ку, которая была когда-то раной, но сверху чуть зарубцевалась, а под рубцом гной, осколки, госпитальные нитки и закаменевшие слезы...

Ой, Валентин, дух переведу! Я ведь сегодня с женой разговорился, и она сказала, что я не послал тебе (Вам) свою книгу! Я говорю — посылал, она — нет! Бог меня отметил кое-чем, Валентин, и прежде всего — памятью. У меня была до войны редкостная память, которая меня избаловала до того, что я ничего другого делать не хотел — ни учиться, ни трудиться — мне все давалось «просто так». Маленький, совсем малограмотный, я уже сочинял стихи и разного рода истории, за что в ФЗО и на войне меня любили и даже с плацдарма вытащили, но там, на плацдарме, осталась половина меня — моей памяти, один глаз, половина веры, половина бездумности, и весь полностью остался мальчик, который долго во мне удобно жил, веселый, глазастый и неунывающий...

Работа в литературе, огромное перенапряжение всего себя (ведь одновременно и грамоту, и все-все надо было постигать) так меня износили, что потекли остатки памяти, а и с половиной того, что было, что не отшибло на войне, жил вольно, припеваючи — никогда много не записывал, сочиненное в лесу год-полтора назад восстанавливал до звука, когда дело доходило в писанине именно до этого, где-то сочиненного места. И вот... износ. Ночью в бессонницу что-то придет в голову, и такое ясное, простое — неохота себе и жене сон встряхивать. «Утром вспомню», — думаю и... засплю! Не могу вспомнить! Работать (а сейчас я как раз очень много и напряженно работаю над «Царь-рыбой» — уже месяца два как), работать приходится уже с полным переключением в работу и только, стараясь не отвлекаться ни на что. А коли раньше хватало на все, то и сейчас я, конечно, не могу от всего отвлечься, однако многое забываю и вот посылаю Вам свою книгу, и

если уже посылал — простите меня за такой маразм и отдайте одну кому-нибудь, ну а если не посылал, то, значит, лучше поздно, чем никогда...

Книга издана на родине, к пятидесятилетию, в ней более полно (почти полно) напечатана «Пастушка». В книге масса ошибок — это отличительный признак наших издательств, особенно провинциальных, так что, если будете читать «станция Карасино», имейте в виду «станок», ибо там и дорогто сроду не было... и т. д.



Ну вот написал Вам, поговорил, и дальше за работу. Попутно шлю Вам «Библиографический справочник» на память. Он, кажется, вышел уже после Вашего отъезда во Псков. Знакомы ли Вы с критиком Юрой Селезневым, недавно закончившим аспирантуру и работающим сейчас в «Знамени»? Очень это хороший, умный парень, иногда нам удается с ним поболтать в Москве.

Сейчас я уже очень устал. Много сделал за два месяца беспрерывной почти работы, но еще больше надо сделать, чтобы закончить повесть и приняться за трудные размышления о судьбе покойного критика А. Н. Макарова — человека талантливого, но загруженного машиной времени и измотанного ею до того, что лишь перед смертью он понял, что «не тем занимался»...

Ах ты! Ах ты! Живешь, живешь! В праздник погиб у нас на своей машине Коля Бурмагин, прекрасный график. Разбился весь, изуродовался, а в гробу лежит — мальчик мальчиком, только борода седая. Меня оторопь берет от наблюдения последних десяти лет — все покойники, даже пропойцы, стали выглядеть в гробу красивыми и успокоенными. Коля Рубцов остановил на губах ироническую улыбочку: что, дескать, взяли? Я-то отмучился! А Вася Шукшин лежал в гробу с выражением некоего легкого упрека. Ну, я уж совсем на «минор» пере-

шел, а мне ведь сегодня еще работать! 20-го еду на редколлегию в Москву. Чуть развеюсь. Купил я себе избу на реке Кубене. Ее сейчас ремонтирую. Вот когда-нибудь приедете, поговорим, а пока — низко кланяюсь.

В. Астафьев



22 ноября 1974 г.
Псков

Большое, большое спасибо и Вам, Виктор Петрович, и Вам, Мария Семеновна!

Что может быть драгоценнее книги и что желаннее? Уже и одна — радость, а тут целых две, и, значит, можно, не торопясь, приходить к ним вечерами, когда готова душа, и слушать их живой голос, слушать, как они отзываются друг другу и твоему сердцу.

Письмо прочел с болью и единомыслием, с тою же горечью за судьбу человека и искусства. Мой опыт иного свойства, и Бог знает — не оттого ли, что совершенно не обладал житейской памятью (детство для меня смутно, да и не детство даже, а чуть не до 20 лет — без частностей, деталей, имен; горсточка событий, из которой не вырастишь целого), или оттого, что как только узнал тайну и сладость подлинного чтения, так уже сделал книги друзьями, наперсниками, ночными собеседниками, но из этого книжного опыта выросла та же изводящая, истомляющая горечь, которой нет имени и от которой нет спасения.

Я избрал другой род борьбы с шинельной бесцветностью литературы (она еще эту шинель порою чуть не добродетелью норовит выставить — совершенный Грушницкий на водах) — возвращение ей благородного художественного существа. То есть тут надобно начинать с себя, с очищения своего языка,

зрения и слуха, а на склизкой стезе литературной критики, тем более при первых шагах на этой стезе — это куда как затруднительно. Я осмеливаюсь порою притвориться, что для меня первичны эстетические принципы литературы, что меня более тревожит язык, цветовое, живописное, музыкальное совершенство и многообразие словаря, чем «размер» правды, исповедуемой сочинителем, а сам между тем знаю, что правда не ходит в рубище. То есть не в жизни — тут-то как раз это единственное платье истины, — а в высоком искусстве. Правда — прекрасна, и я берусь это подтвердить великолепной литературой прошлого и лучшими книгами сегодняшней.

Вот тот же упоминаемый Вами Валентин Распутин. Я, к сожалению, за дубултинской суетою не успел прочесть последней повести, но я бесконечно люблю «Последний срок» с его нежной, печальной, иронической, сострадательной, горчайшей сутью — и какая при этом высокая, чистая литература, какая деликатная в обращении со словом. Я понимаю, почему с такой страстью критике отказывают в праве быть литературой, пользоваться порой необходимой художественностью, думать об изяществе и красоте, почему красноречие именуется бранью и поспешно изгоняется, — именно потому, что красота и правда в высоком, животворном смысле неделимы. Под красноречием я разумею не риторство, не цветение пустых слов, не кружева и фарфор, а красную, умную, праздничную речь, которая только и возможна, когда человек ищет истину и душа его открыта добру и правде. Душа растет не только светом, но и бедою, и страданием, и это прекрасно выговаривается в литературе, только бы мера беды не перешла границы и не сломала художника — тогда недолго ослепнуть.

А бездушие, цинизм, сытость, они только к тому и приводят, к чему привели — к многообразию ря-

женой, барокковой, готической скудности, которую тотчас распознаешь по безмолвию души при чтении, по ранящей немоте сердца.

И как страшно, что уходят лучшие: Шукшин, Рубцов...

Очень жаль Бурмагина — я давно знал и любил его графику. Вообще смерть стала больше ранить. Может быть, потому, что мы видим ее только среди близких, дорогих, единственных для нас людей. Смерть стала тайной, и покойники исчезают в ямах городских автобусов с черной полосой, не задевая наших глаз, словно никто кроме любимых и знакомых нам не умирает.

Когда в детстве мимо окон несли по Чусовому чуть не каждый день с оркестром на Красный поселок, смерть была буднями, одним из последних поступков человека, и люди шли себе на работу, только мельком поворачивая голову к процессии...

Сейчас смерть неожиданна и опустошительна, более противоестественна, страшна... Не приведи Бог!

До свидания, до свидания, Виктор Петрович. До свидания, Мария Семеновна. Поклон Ирине. Еще раз спасибо за книги.

Сердечно Ваш Валентин Курбатов

22 декабря 1974 г.
Псков

Дорогие Марья Семеновна и Виктор Петрович!

С горечью и болью прочел повесть Распутина и еще раз просмотрел Ваше письмо, Виктор Петрович. Видно, и впрямь положение Распутина будет нехорошо, и непременно сыщется какой-нибудь молодчик, чтобы укорить за разработку сюжета, за

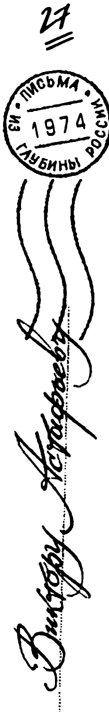
мучительный драматизм, выведенный как будто не из драматического поступка. Мне более всего понравилось, как ненавязчиво и как глубоко точно привел Валентин своего героя в лес, словно судьба привела — так все ненароком, на бегу, еще будто и не сознавая совершившегося...

Только я думаю, что повесть в обиду не дадут. Написать о ней можно прекрасно — со всей болью и неторопливостью, какой требует сложность материала. И непременно надобен человек, прошедший войну и не изломавший сердца, не ослепший душою.

Я только вчера воротился из дома творчества в Комарово; гостил там у своего товарища и познакомился с Руфью Александровной Зерновой. Она просила меня при случае кланяться Вам и говорила с большой любовью и волнением о последних главах «Последнего поклона». Я с тем большей радостью передаю этот привет, что человек она бесконечно добрый, деликатный, замечательного ума и ясного сердца, которое не истерзала по лагерям.

Новый год встречаю как всегда с тайной робостью — Бог знает, каким он еще боком оборотится: будет ли желанная работа, не столпятся ли несчастья, которые в общем уже собираются к порогу.

Ваше поздравление было первой утешительной вестью, добрым знаком, что все будет, как следует. Спасибо Вам и дай Бог встретить этот год с детьми и друзьями и прожить его в спокойной, утешной, счастливой работе.



С искренней любовью
Валентин Курбатов

12 марта 1975 г.

Дорогой Валентин!

Вы написали блистательную статью о Коле Рубцове. Куда Вы ее предлагали? Если в «Нашем современнике» она не бывала, я мог бы ее отправить прямо Викулову и попросить его прочесть, или в «Литературную Россию».

В любом случае мне нужен первый экземпляр. Возможно, удастся напечатать статью и в «Вологодском комсомольце», когда редактор выйдет из отпуска.

А я сейчас болею. И потому пишу коротко. Дала себя знать контузия и напряженная работа. Но уже поправляюсь.

Обнимаю Вас.

В. Астафьев



23 марта 1975 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вот только похвалился, что стану писать портрет В. Распутина, а у меня его и отняли. Но зато предложили с совершенной для меня неожиданностью написать три с половиной листа о... Вас, Виктор Петрович.

Я набрался отваги и согласился. Может быть, лучшего заказа в моей жизни и не будет.

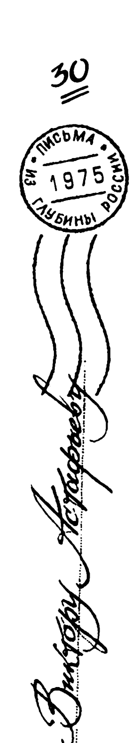
Перед тем как я примусь писать, а будет это, вероятно, летом, если найду какую-нибудь возможность устроиться в деревне, мне хотелось бы повидаться с Вами, просто немного побыть подле Вас: скажу так — зарядить аккумуляторы. Не уедете ли Вы куда-нибудь в конце мая — начале июня?

Я бы совсем не отнимал у Вас времени — так, часа полтора-два в день сидел бы где-нибудь поблизости, не встревая в течение Ваших дел.

Пока я что-то очень волнуюсь. Потом, конечно, дело пойдет спокойнее, а сейчас какая-то тревога теснит сердце. Страшно думать, что не совладаю...

Это судьба нами так распоряжается, Виктор Петрович. Вы были первым живым писателем, на которого я смотрел из темноты зала в девятой чусовской школе, и вот мне предлагают написать о Вас первую большую работу. Грузинский поэт Миха Квливидзе, видно, правду писал:

...В этом мире, где осень, где розовы
детские лица,
где слова суеты одинокой душе тяжелы,



кто-то есть...
Он следит, чтоб летали тишайшие листья,
И вершит во вселенной обряд тишины.

«Кто-то есть»... И слава ему, и благодарение.
Сердечный привет Марии Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

2 июня 1975 г.

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Уезжаю домовничать в деревню — дом снял покойный, уединенный и примусь возводить на Вас, Виктор Петрович, разнообразную критическую напраслину — похвальную и укоризненную. Расставлю перед собою маленький иконостас бедных фотографий и буду вспоминать покойную милую Сиблу и тамошних затворников. Лето сулится быть хорошим, и, Бог даст, работа пойдет как следует. Только бы что-нибудь вышло, а то впереди у меня ничегошеньки — не могу угодить ни журналам, ни издательствам.

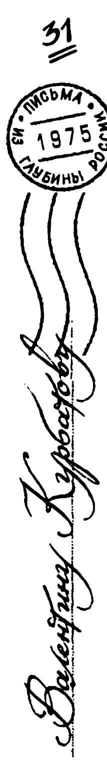
Виктор Петрович, позвольте мне отважиться на просьбу — нельзя ли меня попробовать в качестве внутреннего рецензента «Нашего современника»? Опыт у меня небольшой есть — я два года рецензировал для «Современника», но вот стал расходиться с издательством в эстетических и идеологических позициях, и они охладели ко мне. А я, признаться, немного растерялся, вот и решаюсь на просьбу, хотя знаю, как разрушительны такие просьбы для человеческих отношений. Я ведь даже не знаю, практикуют ли журналы внутреннее рецензирование. Если нет, то простите меня ради Христа и тотчас забудьте об этом разговоре.

С дружеством и любовью Валентин Курбатов

21 июня 1975 г.
д. Сибла

Дорогой Валентин!

Извини, что не сразу тебе ответил, не мог на письма выкроить время, все бьюсь с «Рыбой» — ловлю ее, давлю, ибо издательство еще раз напомнило о себе, о договоре и пр., и пр., а я никогда себе не позволял разгильдяйства в литературной работе и в отношениях с работодателями. Вот и сижу. Сегодня еще раз, как мне кажется, предпоследний, закончил правку большой главы «Уха на Боганиде», завтра съезжу в город к зубному врачу, и два дня, благодаря этому, у меня будет передышка, совершенно необходимая. До этого я написал самую большую главу начерно, ту самую, что меня держала, она аж на сто с лишним страниц выперла и при доработке пойдет страниц до полтораста. Вся работа над нею впереди, но зато теперь книга в сборе и большинство глав «на подборе» уже, стало быть, видно, чего, как и куда править и исправлять.



Июль я еще протрублю, а потом поеду на Байкал и ничего кроме удочек не возьму, ни единой книжки, ни рукописи, даже и ручку брошу, ибо устал, аж до скрипа каждой жилы в теле моем, хоть и толстопузом.

У нас стоит прекрасная погода. Я занимаюсь домашними делами и рыбачу, ибо Мария Семеновна уехала на Урал помогать сыну возвращаться из университета. Кроме четверки в диплом, ему ткнули еще плохую характеристику, ибо грызся с дураками и лицедеями университетскими, и они ему давно еще пообещали «устроить кое-чего» в ихнем просвещенном понимании. Пакость — есть лекарство, заменившее старичка-аспирина.

В тот день, как пришло твое письмо, я писал в «Молодую гвардию» моему редактору Аксенову и

попросил его иметь в виду тебя насчет внутреннего рецензирования, так что если что получишь, не удивляйся. У меня с отделом прозы этой самой «Гвардии» очень хорошие отношения, и я еще поговорю с «завшей» Зоей Николаевной Яхонтовой. Насчет «Нашего современника» я не совсем в курсе. Чего, как там? Но в конце месяца сюда сулится приехать Викулов, и я узнаю у него. Если что, пошлю в отдел прозы твой адрес. В критике, видимо, все еще сидит тот молодец с обликом енисейского кержака — чуб от донских разбойников, глаза от тунгусских шаманов.

Есть возможность у меня потолковать насчет рецензирования в «Знамени». Как ты на это дело смотришь? И брось свои интеллигентские штучки, когда дело касается хлеба! Надо его зарабатывать, иметь, чтобы хоть сколько-то быть независимым, тем паче, что у тебя скоро будет прибавка в семье и тебе еще неизвестно, что эта самая прибавка требует себе больше, чем папа, мама, теща и вся родня вместе взятая, хлопот, забот и питанья.

Кланяюсь. Обнимаю!

Виктор Петрович

P. S. Валя! В Новосибирске вышла книга «Сибирский рассказ», по-моему, добрая книга. Надо бы ее поддержать, не потому, что там есть я, а вообще. Отрецензировал бы? А я берусь пристроить рецензию. Книга должна быть у Юры Куранова, он в ней «представлен»!..

8 июля 1975 г.
с. Глубокое

Дорогой Виктор Петрович!

Бесконечно рад, что Вы откликнулись, а то уж подумал, что Вы оставили Сиблу и увлечены делами в пыльных столицах, а письмо мое томится у ни-

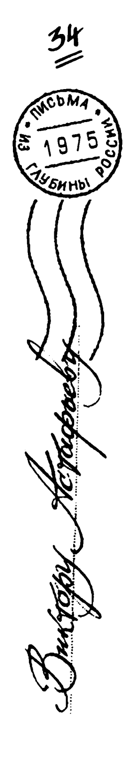
кольских почтмейстеров и они ставят на него банку с сургучом, чтобы на стол не накапать.

Спасибо Вам за хлопоты с «Молодой гвардией». Что-то я мало верю, что Аксенов пришлет мне что-нибудь. Он редактировал наш переделкинский сборник молодых критиков «Молодые о молодых», и декадентское мое сочинение было, видать, не очень по сердцу ему, так что он оставил в тексте после моей правки в верстке все до единой ошибки, среди которых есть совершенно комичные по глупости. А с журналом «Молодая гвардия» я и вовсе переругался, потому что они сделали из последних моих там рецензий в прошлом году что-то уж совершенно бессмысленное. Я вообще не гордец, но когда переписывают от строчки до строчки, то лучше бы уж сами и писали, чем заказывать. Вот сколько печалей сразу.



«Сибирский рассказ» я видел. Юрий Николаевич (Куранов) даже подарил мне экземпляр, но, к сожалению, я сейчас не смогу сесть за рецензию. Все время отнимаете у меня Вы. Срок у меня до середины августа, а хлопот полон рот. Двигаюсь с трудом и едва ли сделал половину. Времени чудовищно мало. Еще бы хоть месяца три, но не дадут, а написать мне очень хочется. Это ведь первая моя такая большая работа.

Некоторые мысли, вероятно, удивят Вас, хотя таких будет не очень много. Это все от моего странного взгляда на критику. В идеале я хотел бы спровоцировать читателя на собственные размышления, но когда еще буду иметь на это право и, что самое грустное, когда еще этому научусь. Это метод изложения истины скоморошеский — ряжением, когда мысль не высказывается, а возникает из круга ассоциаций, так что читателю кажется, что это придумал он сам. Он начинает очень гордиться собственной проницательностью и увереннее выходит в бур-



ное море словесности. Но это все мечты, мечты, а пока мучаюсь, мучаюсь...

Поздравляю Вас с предварительным окончанием «Царь-рыбы». Бесконечно завидую, потому что сам конца своей работы не вижу.

Грустно, что с Андреем обошлись так мстительно. Не повредит ли это ему, сохрани Бог, при устройстве в Вологодский музей? И не переменилось ли намерение музея видеть его своим сотрудником?

Еще раз с радостью перечел «Пастушку» в красноярском варианте и все вспоминал «Берег» — видно, Бондарев и правда был основательно задет повестью. То есть, наверное, прочел и «забыл», ушла в подсознание и там все подталкивала память и воображение, пока не проступил «Берег». Как подвигается «Пастушка» в «Современнике»? Незамедлительно прочту еще раз.

Юрий Николаевич и Зоя (Курановы) шлют Вам с Марией Семеновной тысячу приветов. Я со своей стороны прилагаю полторы, очень жду современниковскую «Пастушку» и беспокоюсь, каково там нашим кедрам. Псковский при моем отъезде был жив и бодр, но сейчас так сухо, а полить там некому — не помер бы.

Ваш Вал. Курбатов

2 июля 1975 г.

Дорогой Валентин!

Нет, не укатил я еще на Байкал и укачу ли? Андрей наш застрял в Чердыни, строит бесплатно музей бедному государству, у которого всегда хватало «средствий» на остроги и недоставало на сохранение истории. Никуда не делась добрая старая эпоха, когда «поспешно разбирались церкви и долго строились ларьки»...

Вот мы и сидим, и ждем, а он одним нас письмом удостоил, по которому и не поймешь, когда прибудет, ему 15-го уже «законно» на работу надо по распределению. Не дождавшись его, мы не можем уехать.

Народ тут нас одолел, не перечисляя многих, скажу лишь, что немец с западногерманского телевидения добрался до нас и заснял на карточку, переполошив и нас, и всех тут своим нашествием. Из Игарки приехала сестра с мужем и дитем, которое взорвало банку пороха, готовясь к будущим битвам, опалило себе рожу, кожу, легкие, а главное, глаза. На одном начались боли — надо лечить. Хлопоты, беготня, но я все же пробую работать. Погода разнеживающая, все купаются, брызгаются, гуляют, а народ сено косит, чуть не плачет, потому что грозы часты и скошенную траву парит.

Работа моя идет медленно. Пар вышел, надо бы передохнуть, а Викулов торопит — заезжали они ко мне ненадолго, Викулов, Орлов и Бондарев, потолковали, хоть и коротко, но по душам. Надо! Кстати, ты оказался прав, «Берег» дальше забрал меня и победил. Роман выдающийся и, как фотопленка, проявил на себе убожество критической мысли. Как далеки, невнятны и совсем «не в ту степь» о нем статейки. Четыре прочел и полное непонимание того, что читано, или желание не понимать?

Редактором твоей книжки в Новосибирске будет Женя Городецкий (составитель «Сибирских рассказов»), готовься к трудной работе. Он, парень, хоть и еврей, но геолог, да еще какой! Весь Север облазил, сам пишет, со мною был на Нижней Тунгуске (вдвоем были) и как-то знает меня по-иному (с иной стороны). Думаю, что он не облегчит, а затруднит твою работу.

Очень рад, что красноярцы подкинули тебе рукопись. Этого добра, погоди маленько, я тебе раздобу-

ду хоть телегу, дай срок с книгой разделаться, «в люди» показаться.

Кстати, редактором «Смены» стал Альберт Лиханов, скликает «силы», может, и туда тебя пристроить на заработки, платят там хорошо?

Поклон Зое и Юре (Курановым) от меня и Марьи. Кланяюсь твоей супруге. Тебя обнимаю.

Виктор Петрович

10 августа 1975 г.
Псков

Здравствуйте, дорогие Виктор Петрович
и Мария Семеновна!

А я уж и не чаял застать Вас в Сибле. Могу представить череду и докуку гостей. Я же понемножечку начинаю перепечатывать рукопись для Городецкого. То, что он знает Вас, Виктор Петрович, наверное, действительно осложняет наши отношения. Это ведь всегда так — в мнении об одном человеке пишущим людям сойтись трудно. Именно пишущим, потому что зрение-то у них скособочено и они «слепнут» на разных чертах — дорогих или отвергаемых.

Андрей уже, поди, приехал, и теперь Вы все-таки побежите на Байкал.

Получил я свою заметку о Распутине в «Сибирских огнях». Они ловко отстрелили первую часть о качественно новом подходе к войне, о микроскопе, за который пришла пора взяться, чтобы разглядеть то, чего прежде не видели, но саму рецензию почти не тронули, что бывает со мною чрезвычайно редко и вызывает во мне всегда благодарное удивление — «смотрите, ничего не переписали, не добавили, не перекрасили».

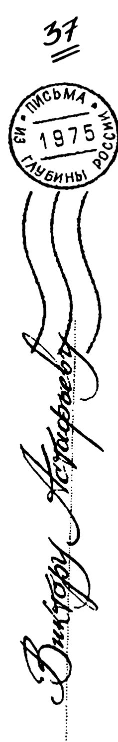
Пока впереди больше «публичных» заказов нет,

и это меня даже утешает — не надо будет видеть свои «обезглавленные» и «обезноженные» работы. Но и с внутренними рецензиями не слаще — иногда проще, кажется, поехать и морду набить, а надо быть деликатным, чтобы и этого заработка не лишили — вот и выискиваешь, как бы это выразиться половчее, чтобы у него и охота пропала писать, и жаловаться он не пошел. Да все «правильные» книги, не укусишь его, подлеца — газетой он от тебя загородится, да не областной, а страшно молвить... И это часто сверстники — вот чего не понимаю — где навострились? Особенно этим противно заниматься в деревне, среди безгрешной ее красоты. Напишу несколько строк, да и к Вам (к работе о Вас), как в отпуск, чтобы не ожесточить сердце.

Не глядели ли Георгия Семенова в «Нашем современнике»? Какие неторопливые и какие прекрасные есть страницы, как очистился и возвысился его голос в последнее время. Не нарадуюсь никак — не зря он говорил, что рад этой работе, что прорвалось что-то, чего прежде в себе не знал. Не знаю еще, чем кончит, но пока — до середины — очень хорошо.

Тысячи самых сердечных приветов Марье Семеновне. Кланяются и Курановы.

Соскучившийся Вал. Курбатов



26 августа 1975 г.

Дорогой Валентин!

Письма твои нашли меня на месте, в д. Сибле Харовского района. Никуда поехать не смогли, сын приехал надорванный студенческим житьем, главным образом питанием, которое у них в столовке столь же хорошо, как и в заведениях Гулага, только и отличия, что тут деньги платят. Да и советские мещане

все, что могли поднести «за папу», уехавшего, видите ли, из Перми без их соизволения, поднесли ему.

Приехал больной желудком, испитой, шкилетина шкилетиной. Был-то не в сурьезных телах и сразу зачал работать на ставке 75 рэ. Ну ладно, хоть коллектив его встретил хорошо, принял как своего, а он и есть свой, кто же нынче на такую ставку пойдет, кроме покинутых и убогих интеллигентов, в одиночку пытающихся исцелить замордованную, разграбленную историю и казну Отечества нашего.

Я работу не кончил. Только-только завершил второй заход на новую главу, надо еще хоть два бы, и остальные все главы намечено пройти в последний раз перед тем, как давать читать, а «пары» все вышли, вот я и решил сделать паузу, съездить за отцом в Астрахань. Всё встряска какая-никакая, и хоть немного от рукописи отвыкну или отстану, а то ведь зараза какая! Почти уж ненавижу ее, а руки лапают, щупают, теребят в ней чего-то. Чисто наказанье Господне — не работа!

Управиться с поездкой думаю за неделю, а там снова за дело. Пригласили поехать в Чехословакию в начале октября, тоже встряхнуться, на людей посмотреть, а тем временем глава отлежится, и я ее, суку, додавлю!

Зоя Куранова присылала мне письмо, намекала насчет книги из «Современника». Книга прилично издана, в ней меньше, чем прежде, вылущенная «Пастушка», но снова ошибок, ошибок! Уж в этот раз такой на вид надежный редактор был, но женился в аккурат и правку делал в другом месте, а мою на бумагу не перенес, даже в эпиграфе пропуск. Господи! И снова остались старик со старухой лежащими «головой на восход»! Ай, какая безответственность, расхлябанность! И ведь не пожалуешься, парню попадет, его накажут, и разве в этом де-

ло? Надо наказывать или переучивать все общество.

Ты все еще в Глубоком? Книжки тебе и Курановым я вышлю на дом, как вернусь домой (через два дня). Ну, кланяюсь тебе, супруге, Юре и Зое Курановым. У тебя кто-то родился или еще нет?

Ну, будь здоров! Что-то часто я ныне вспоминаю достославный град Чусовой. К чему бы это?

Твой Виктор Петрович

12 сентября 1975 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Сегодня уже неделя как воротился из деревни и с грустью вижу, что она скоро выветрилась из моего непамятливого сердца. Как будто уже бог весть сколько месяцев минуло да, кажется, и не со мной было.

Пришел уже и первый ответ на рукопись от В. Шапошникова. Грозит большой работой, за которую надо садиться тотчас. Не очень Вы у меня отчетливый получились — слишком много себя притащил. Обвинение справедливое. Критик-то из меня действительно не очень крепкий: все тянет порассуждать о любви, милосердии, одиночестве — ну и «заслоняю» предмет-то исследования. Ничего, думаю, если в основе примут, то как-нибудь я найду способ турнуть себя из рукописи. Совсем-то, конечно, не выставишь, но хоть чтобы на глазах не торчал. Пока подожду других мнений — официальных рецензентов — как еще те поглядят, может, и вовсе оставят. Однако я уж тут все равно не отступлюсь. Рукопись мне, в общем, дорога. Поработаю как следует, да в какие-нибудь журнальные двери постучусь. Если рукопись возвратят, пошлю Вам экземпляр — поглядите на себя «неотчетливого», может, и не узнаете вовсе.

Я благодарен судьбе за эту работу, как бы эта же судьба ни обошлась с нею. Я знал над ней мгновения настоящей радости, счастливо ладил с Вашими героями да, наконец, она подарила мне Сиблу... Ну, а что не вышло — так тоже не самая большая беда — это был мой первый большой опыт и, конечно, я не сумел распределить силы, но опыт дорогой, необходимый, не бесследный — я душу свою оставил в нем и укрепил ее в месяцы работы. Это много.

Из Красноярска что-то не отвечают. Уж не потерялась ли рукопись, которую они мне присылали, — сохрани Бог. Я всегда недоверчиво поглядываю на деревенские почты — очень уж маленькие и «самодеятельные» какие-то: того гляди, обронят что-нибудь...

В деревне с радостью писал «критики» на природу и одну из этих «критик» — последнюю, предотъездную — посылаю Вам как отчет о своем тогдашнем душевном состоянии.

Ездили ли Вы на Байкал? Может, сейчас там, а мое письмо успеет постареть до Вашего возвращения? И где проживете осень — в Вологде? Сибле?

Что Андрей?

Тысяча самых добрых и самых сердечных приветов Марье Семеновне и Ирине.

Ваш Валентин Курбатов

19 сентября 1975 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Со дня на день ждал телеграммы от жены и, признаться, весь извелся и спать вовсе перестал. Но теперь все, слава Богу. Вчера под вечер она, наконец, пришла. Родился у меня сын богатырского веса — в 5 килограммов. Роды, наверное, были трудные, потому что жена у меня росту маленького, как Марья

Семеновна, но звонили, что все обошлось как следует, хотя и с большим волнением.

За это время подзапустил все дела и вот теперь надо раскачиваться сызнова. Прежде всего, надо садиться за работу о Вас — искать композицию покрепче и выгонять «себя», который, и по свидетельству второго рецензента Н. Яновского, вовсю хозяйничает в рукописи.

Этот Яновский мне так надавал, что года полтора-два назад, когда я был послабее, я, может быть, и подняться бы не сумел, но сейчас только поворачиваюсь как в бане, при хорошем паре. Все на пользу. И хорошо, что без всякой деликатности, а даже с некоторой долей ненависти к инакомыслящему.

Я осмелился два раза сослаться на «Царь-рыбу» не в параллельных главах, а в разговоре о языке и теперь думаю, правильно ли это. Я-то, правда, ссылался в чаянии, что, когда моя работа обретет сколько-нибудь печатный вид, журнальный вариант уже выйдет.

А убирать было бы жалко — один абзац из «Капли» (о темечке рождающегося дня) и один из «Бойе» (о тундровой сирене, пригрезившейся Кольке). Хотя, наверное, они правы, и до публикации мне говорить о «Царь-рыбе» грех. Но, и все-таки, это же творчество, это общее дело литературы, это не тайна. Вот разве что сглаз — сглазить было бы жалко — вдруг журнал заупрямится.

Буду бесконечно рад современниковской книге. Говорят, она тут в продаже была, а я в деревне сидел — теперь уж ищи-свищи. Очень хорошо, что Андрей, наконец, воротился. Я думаю, что Марья Семеновна его недолго в шкилетинах продержит, а там и желудок поправится.

Тысячу самых добрых приветов дорогой Марье Семеновне. Поклон Ирине.

Ваш Валентин

30 сентября 1975 г.
д. Сибла

Дорогой Валя!

Ну что ж, от души тебя поздравляю! Сыновья, да еще в пять кило — богатыри, не каждый день рождаются! Дай Бог, чтобы доля у того малыша-крохи, который еще и свет видит иным, чем мы, была посчастливей нашей, чтоб ум, совесть, все, что ему дадут родители и дала природа, мог он употребить на пользу людей и матери-земли, чтоб жизнь его была ему не в тягость, чтоб сложности ее были общечеловеческими, а не кирпичной стеной, о которую все мы, и папа евонный тоже, лбы поразбивали и лишь малую лунку в ней выдолбили...

Я все в деревне, все ковыряю «Царь-рыбу». Поездка в Астрахань отняла десять дней, да еще десять потребовалось «налаживаться», входить в работу. Лишь вчера она пошла снова да ладом.

Болеет Андрей. Приобрел в ниверситетах язву двенадцатиперстной кишки — положили в больницу. Не очень хороши дела у Иринки. Она снова беременна, и снова чего-то неладно идет этот процесс, грозится тоже завалить в больницу. Надо и отца определять в больницу — привез его дохлого. Маня одна в огороде, вся поизвелась, боюсь, чтобы не свалилась. Звоню ей каждый день, ибо могу лишь словесно облегчить ее долю, а от забот и хлопот не избавлю.

Сам я себя ничего сейчас чувствую. Простудил, было, легкие в пути, но уже подлечил.

Осень стоит хорошая, ясная, только очень ветрено и некогда по лесам бродить. Ходил разок, подстрелил двух рябчиков. Сегодня, может, тоже соберусь.

Дал я, дурак, согласие поехать в Чехословакию. Если все пойдет как намечено, днями выезжать, и опять из рабочей колеи выбьюсь, а мне уж, при-

знаться, эта «Рыба» надоела, устал я от нее.

Кстати, цитатами теми, что ты указал мне, можешь пользоваться — отрывок «Капля» печатался в «Сельской молодежи» во втором или третьем номере нонешнего года. Главы (две) печатались в «Красноярском рабочем», и вообще скоро я ее отдам читать, повесть-то, а книжки издаются у нас медленно, и пусть они тебя не пугают темпами своими.

Н. Н. Яновский — человек хороший и очень, но он писал и чего-то пишет обо мне для красноярского издательства, так что тут профессиональная ревность или неприязнь. Бог ее знает, как и назвать.

Ну-с, Курановым поклон! Получили ли книги-то? Маня вчера говорила по телефону, что есть от тебя еще одно письмо дома, так, наверное, получили. Письмо мне привезут лишь в субботу, а сегодня вторник.

Супруге твоей огромный привет и мое сердечное поздравление!

Тебя обнимаю.

Твой Виктор Петрович

5 октября 1975 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за поздравление и добрые слова. Я непременно сберегу письмо до тех дальних лет, когда сын окрепнет разумом, и прочту ему как нравственное правило.

Я уже немножко узнал от Курановых о болезни Андрея, о тревоге Ирины и хлопотах Марьи Семеновны. Горе, действительно, не умеет поровну делиться между людьми. Бог избирает одного человека и истязает его без перерыва, поджидая, пока он



изверится, ожесточится, изломает себе душу. И чем менее заслуживает человек боли и страдания, тем больше ему их выпадает.

Я понемногу переписываю работу, ищу для нее логики, а то и правда уж очень хаотичная — с пятого на десятое.

Параллельно читаю сызнова «Пастуха и пастушку», хотя, признаться, второе чтение всегда усложнено — есть уже более холодное наблюдение, чем сострадание. С удовольствием отмечаешь, как повесть полифонизируется, как образы, пейзажи, авторские отступления наполняются живою кровью; повесть делается «телеснее». Глаз у Вас с каждым разом все зорче. Я очень люблю Ваши дожди — всякий раз разные и всегда радостные. И тут с удовольствием увидел, как засветился и завеселился весенний дождь, как зазвенел против прежнего. В пейзажах, впрочем, везде, живопись стала тоньше, ритм яснее и звукопись совершеннее.

Но есть для меня и огорчительные прибавления. Самое главное — переменилась Борисова смерть — вот это его «Я не хочу! Нет! Не хочу!»

При таком восклицании вряд ли могла сохраниться после смерти потаенная улыбка, даже если убрать восклицательные знаки и представить, что это мысль легкая, еще не отпечатавшаяся в сознании, не явленная, как тень облака над полем. Все равно прекрасное имя главы «Успение» приходит с этим «Не хочу» в горестное противоречие. Успение оборачивается смертью, душа не истаивает, а погибает.

Простите, Виктор Петрович, но тут мне почудились какие-то уступки *им*, кому уступать не должно. Да и не *им* даже, а какой-то читательской инерции, некоему недостаточно глубокому оптимизму. Или я чего не разглядел?

Когда Вы едете в Чехословакию и надолго ли?

Из своего домоседства страннической душой за-

видую Вам. Кланяются Вам моя счастливая жена и мой несмышленый сын.

Тысяча поклонов Марье Семеновне и Ирине. Жаль, что мы так ни разу не повидались с Андреем, но, буду надеяться, в следующий раз познакомимся.

Ваш Курбатов

29 октября 1975 г.
д. Сибла

Дорогой Валентин!

В общем-то, я сейчас никому не пишу писем, только-только собираю с трудом силенки на работу, чтоб добить как-нибудь повесть. Начал последним заходом вторую часть, осталось четыре главы из двенадцати, но одна, последняя, очень большая и самая сырая. Однако ж, думаю в ноябре все сделать. Если б не заботы, не печали — Андрей-то все еще в больнице, дела на лад не идут, очень исхудал, и мы страшимся думать о худшем. Все упования на крайнюю инстанцию — на Бога...

А пишу я вот чего — у тебя голова хоть и 68-го размера, но и в нее может прийти простейшая мысль: а не обиделся ли В. П. на замечание? Повторю тебе еще раз, что я работаю профессионально и отношусь к литературе как профессионал, а это значит — своя голова на плечах, ей и думать, и разбираться. Обижаются в литературе люди случайные, дамочки в брюках, которые не работают, а играют в литературу, и самолюбие у них впереди работы. Да, конечно, вписал строку и под влиянием критик и «бесед» разных, а также и потому, что приступила ко мне весной смерть и я снова обнаружил, что жить охота, и подумал, что я, наверное, неправ, «без сопротивления» отправляя молодого парня на тот свет, — но дом срублен, пусть косовато, всякое

вставление сутунков и даже клиньев кособочит его еще больше и делает щель. Я вычитывал недавнюю верстку для «Художественной литературы» (там у меня переиздается небольшой сборник), внимательнейшим образом перечел это место и страницу снял. Дай-то Бог, чтобы правку мою перенесли, а то вот в доблестном «Современнике» не потрудились этого сделать, и такие опять ляпы в тексте!..

А еще спасибо за поздравление — оно было в числе трех. С 8-м марта или еще какой дежурной датой люди поздравляют охотно, и тут действует инерция какая-то — дежурные слова и чувства! 30-летие наше мы «праздновали» с М. С. вдвоем в Сибле: выпили, поели, поговорили про прошлое, в том числе и про Чусовой. Назавтра она уехала, дома больные ждут. А я вот тут один все тружусь, печи топлю, еду варю. Кругом тишь и мрак — отдохнуть хочется.

Поклон твоим домочадцам. Кланяюсь.

Виктор Петрович

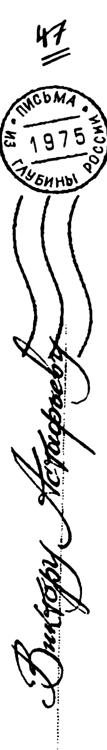
3 ноября 1975 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Я ни минуты не сомневаюсь, что поправка к смерти Бориса в «Пастушке» внесена Вами в согласии с собой — только выразился неловко.

Прекрасно Ваше замечание о доме, который клиньями не поправишь, тем более, если он в поправке и не нуждается. Тут при уточнении можно новые наличники нарезать, ворота переставить, конька на крышу и прочие разности. А смерть-то из фундамента — тут надо весь сруб перекладывать. Когда Вы писали, Вами сердце и Муза руководили, которые вместе и являют правду, которая выше реальности. То, что Вы пережили в больнице, важно

для другой книги, другого героя — Борису этого уже не припишешь. И потом есть давнее психологически-философское наблюдение, что молодые люди расстаются с жизнью проще. А в подтверждение хоть то, что среди них больше самоубийц, юных Вертеров. Я думаю (это уже вне «Пастушки»), что причина тут в том, что молодой человек не сознает смерти как смерти, он мыслит ее в категориях жизни — освобождения, отмщения, наказания. Сколько раз я недавно еще ловил себя на сознании, что когда бы не болезненность насильственной смерти, взял бы, да и прекратил все, что так мучило, то есть недоставало только легкого оружия, чтобы переход был краток. И не было тут никакой рисовки, а только досада, что нет других легких мгновенных средств. Теперь уж и в голову не приходит, а в двадцать с небольшим приходило куда как часто.



В смерти Бориса Вы были безусловно правы, и сопротивление было как раз в несопротивляемости, высшее и гуманнейшее сопротивление — нет тут никакого парадокса. Чутье Вас не обмануло.

Завидую Вашему деревенскому сидению. Сам пока весь в бегах, ничего не пишу и читаю с пятого на десятое. Так что совершенно полное отсутствие заказов, это немое зияние отовсюду (даже «Современник», иногда баловавший меня рукописями и порою даже хваливший, как-то безнадежно смолк) меня странным образом утешает. Не хотят, и Бог с ними — больше буду о сыне хлопотать. Покрикивает порою сверх меры, но теперь выравнивается, и я повеселел.

А как же Андрей-то, Виктор Петрович? Операцию, что ли, надумали? Бедная, бедная Марья Семеновна — сколько забот ее маленькому мужественному сердцу. Поклон ей наинежнейший.

Каково там нашим кедрам? Неужели все пропали?

Ваш Вал. Курбатов



13 ноября 1975 г.
Вологда

Дорогой Валентин!

Ну, вот я уже недели две как вытряхнулся из Сиблы и заканчиваю работу дома. Зима выжила. Надо сделалось топить печи по два раза на дню, варенье еды, хлопоты, а у нас север все же, свету мало, днем с огнем, вот и выехал с неохотой.

Здесь, конечно, меня подхватили было, да в оборот, но я собрал весь свой характер и работал ежедневно, что и дает мне возможность сообщить — 1 декабря ставлю точку на последней правке «Царь-рыбы», остается вычитка, доправка, ловля блох, и рукопись можно везти в журнал. Это я сделаю числа 11 декабря, ибо 12-го у нас редколлегия, там, вероятно, я застряну, а потому заранее поздравляю тебя и твое уже многочисленное семейство с Новым годом! Дай Бог всем здоровья, остальное от него зависит, от власти и от Бога, а имя́ мы можем лишь молиться.

Очень я себя усталым чувствую, голова болит, крапивница одолела, но это уже вещи обычные, каждая большая работа тем кончается. Главное — гора с плеч! Знаю, горя с «проходимостью» много приму, но тоже не привыкать. Видел ли ты книжку Толи Ланщикова обо мне? Года четыре она издавалась, я уж думал, о ней все забыли, а она вот взяла и появилась.

Не повредит ли она тебе?

Получил я письмо от Жени Городецкого, он пишет, что имя́ нужен портрет, который бы десятикласснику и то был внятен, а Курбатов-де, оченно уж умно! Боюсь, что десятиклассникам тебе не угодить, они, глядя на стену, на кирпич, на книгу, все о ей ... думают, и больше на уме у них ничего нет.

Вышла «Пастушка» в ГДР и Чехословакии (здесь

с рассказами вместе), изданы очень хорошо. Андрей выздоровел и работает, Маня собирается в турпоездку, дома ей роздыху нет. Кедры, большинство, ушли под снег в бодром виде, но есть и отсев. Обнимаю.

Виктор Петрович

2 декабря 1975 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Поздравляю с окончанием «Царь-рыбы». Мне еще не выпадало делать большую работу и я не знаю высокой радости окончания, но по маленьким радостям маленьких завершений, арифметически их умножая, могу представить, как протяжен был вздох облегчения.

Я получил весточку от Шапошникова из Новосибирска — работу мою поставили в резерв 1977 года, чтобы при случае утвердить и при другом случае турнуть взашей без всяких оправданий. Очень жаль, если Городецкий уверен, что нужен «портрет» для десятиклассников, а я, дескать, для них умен. Мне ведь с ним работать, и хотелось бы, чтобы он был решительнее в защите, если уверен, что в работе есть ум. Там ведь, в случае успеха, будет и его фамилия, а с этим надо быть осторожным, чистым надо быть и звать меня не к десятиклассникам, а издательство приглашать к иному взгляду и другому уровню. Нет, чувствует мое сердце, каши мы с ним не сварим. Как впрочем, не сварим и в иных местах. Дело вовсе не в уме (его там кот наплакал), а в некритичности письма, в беллетристической манере, в том, что я хочу думать параллельно, а не «разбирать». Впечатление это, видно, производит такое вызывающее, что в «Знамени», где я показал кусо-

чек из работы о Вашей стилистике, мне и объяснять ничего не стали, а сказали просто: «Этого нам не надо». Селезнев там уже не работает, а я адресовал статью ему, да и решился только потому, что Вы говорили о нем добрые слова. Никогда ничего не посылавший без какого-либо знакомства, без издательской просьбы, чувствовал себя очень неловко. Ну да ладно. Вперед буду умнее. Все-таки я пишу второй вариант портрета и с беспокойством думаю, что этот будет действительно «умный», потому что обращаюсь к сноскам, комментариям, параллелям, чего прежде не делал. Посмотрю, что они на это скажут.

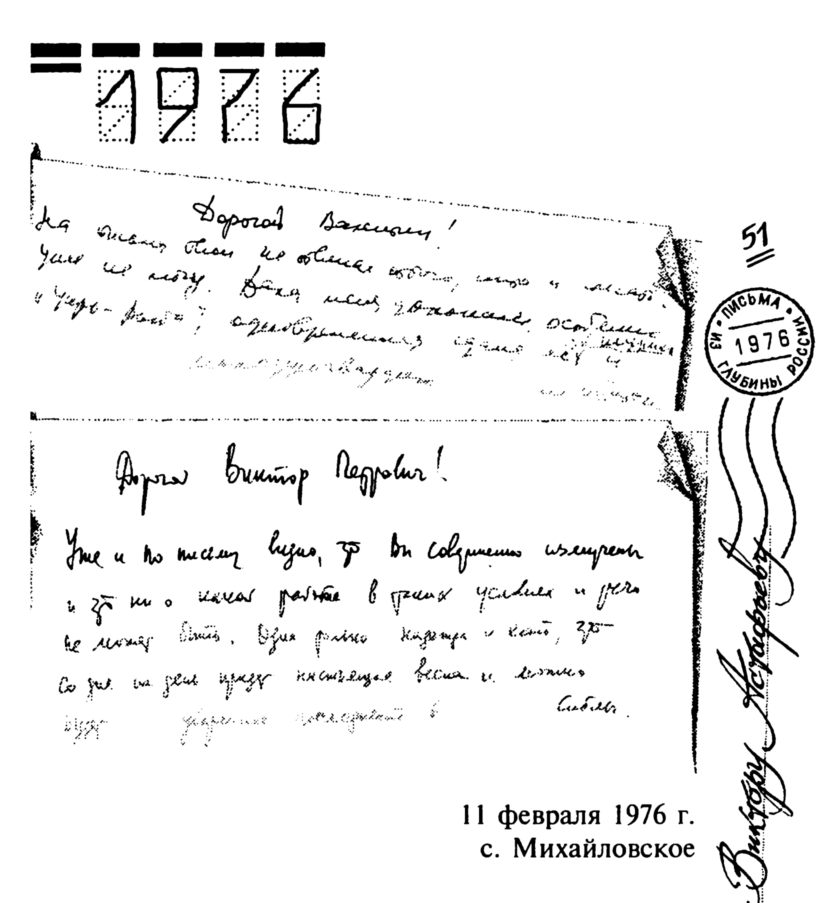
А в «Литературной России» мне предложили командировку «куда хочу» в уважение моих статей о Кипренском, Воронихине, Саврасове и сразу указали адрес — Красноярск, чтобы писать о Сурикове. Я очень пожалел, что не могу поехать сразу (сын пока требует уйму хлопот), и не из-за Сурикова, а был бы случай Овсянку поглядеть и про Вас узнать кое-что, что с листа не делается. Я еще не оставил этой мысли и, может быть, к теплу подамся.

Съездил на неделю в Москву, но никаких дел не сделал — только посмотрел желанные спектакли да выставки.

К Новому-то году воротитесь домой или нет, Виктор Петрович? Неловко заикаться, но Вы как-то просили меня быть решительнее — если представится возможность где-то замолвить слово о рукописях на рецензию для меня, буду бесконечно благодарен. Живу я туговато.

Куда собирается Марья Семеновна? Не по заграницам ли? Или — по Союзу? И пора бы — этот год дался ей очень несладко. Тысячу раз желаю ей здоровья и душевного покоя. И Вам тоже. Вам теперь еще нужны силы на пробивание «Царь-рыбы».

Ваш Валентин Курбатов



11 февраля 1976 г.
с. Михайловское

Дорогой Виктор Петрович!

От Вас давно ни строки, и я уж с беспокойством думаю — не согрешил ли чем? Это ведь всегда у нас так — прежде-то всего мы о себе думаем, о своих огорчениях, а уж потом обнадеживающе предполагаем, что мы неповинны, а причина в занятости того, чьи письма нам желанны.

Я вот приехал на несколько дней в Михайловское, чтобы написать статью о Георгии Семенове, которую мне заказал «Наш современник». Михайловское сейчас несравненно — зима ему, пожалуй,

даже более к лицу, чем осень. Оно делается безмолвно, пустынно, покойно, и в нем равно ощутимы и поэзия, и ссылка.

Вчера была панихида перед Успением на Святой Горе, были цветы, поминания и тишина, которая как-то особенно слышна из-за бесшумно падающего снега. Только галки кричат на верхушках кленов и на крестах...

И иней, иней всюду. Никогда бы не подумал, что сосны могут быть похожи на созвездия белой сирени, на ее весеннее кипение, когда каждая игла одета в сверкающие кристаллы. И вот беда — сказать об этом нельзя. Косноязычие проклятое — слов убедительных не подыскать, чтобы читатель поверил и увидал. Самое же смешное, что мне при моей профессии это как будто и не нужно, а вот мучаюсь и все.

До свидания, Виктор Петрович.

Простите за это письмо, в котором нет информации, а один только вздох — иногда хочется и просто вздохнуть.

Сердечный привет Марье Семеновне, Андрею, Ирине.

Ваш Вал. Курбатов

2 марта 1976 г.
Вологда

Дорогой Валентин!

На письма твои не отвечал оттого, что и писать-то уже не могу. Дела меня доконали. Особенно «Царь-рыба». Одновременная сдача ее в журнал и книгой в «Молодую гвардию» взяла остаток сил. Жил больше полмесяца в Москве и в Переделкино, ибо дома под окном долбили полтора месяца грунт и додолбили мою контуженную голову. В Москве

тоже было мне плохо, всё люди, люди, все с делами и просьбами сделать то, помочь тому-то, выступить там-то, прочесть это и все с этакой благодушной улыбкой: «Ну что Вам стоит?»

В Переделкино для начала меня поселили над кочегаркой, и здесь продолжался долбеж головы, только уже ломом и лопатой, угорал я в той комнате смертельно, стал проситься в другую. Пока переводили, народ нащупал меня уже и тама. К концу пребывания ремонт начался в корпусе, застучали молотки, бодрые совтрудящиеся запели бодрые трудовые песни, и я даже продление свое там отменил и не стал дожидаться премьеры по моей пьесе «Черемуха» в театре им. Ермоловой, которая состоится 12 марта, но, может, к той поре я оклемаюсь.

Пока что под окнами не долбят, и я начал спать, а раз сплю, значит, упадет давление и перестанет все дрожать во мне и на мне, особенно руки, а то ведь хуже, чем у алкаша.

Так вот дается мне литература! А впереди еще редактура в «Молодой гвардии» и цензура в «Нашем современнике», которая стоит уже за углом, занеся дубину над моею буйной головой.

«Царь-рыба» начинается с четвертого номера и должна идти в трех номерах.

В Москве слышал, что Юра Куранов думает о переезде в Москву. Считаю, что это для него целесообразно более чем для кого-либо, с условием, что он сохранит избу в Глубоком.

Марья моя Семеновна ездила на 12 дней в Индию туристом, но я так отупел, что и не послушал ее многообильных впечатлений. Вот все, что пока я в состоянии написать. Кланяюсь жене твоей, дитю.

Желаю всего наилучшего.

Виктор Петрович

9 марта 1976 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Уже и по письму видно, что Вы совершенно измучены и ни о какой работе в таких условиях и речи не может быть. Одна только надежда и есть, что со дня на день придет настоящая весна и можно будет все увереннее поглядывать в сторону Сиблы. В этом-то году, наверное, опять с ранней весны в нее переберетесь. А я о своем Глубоком думаю с беспокойством. Боюсь, что в этом году сын меня туда не пустит. До яслей еще далеко, а в доме никого кроме нас с женой нет. Разве что приедет моя мама. Но мне и ее не очень хотелось бы отрывать. Наконец, после тридцати лет жизни в Чусовом они с отцом получили однокомнатную квартиру с паровым отоплением и по-ребячьи счастливы, потому что сил возиться с печью уже нет — отцу все же 73. Вот и хочется, чтобы они успели всласть нарадоваться новым условиям, тишине, горячей воде, а то рядом с шумным моим Севкой не очень отдохнешь.

Он, слава Богу, растет обыкновенным мальчиком — без лишних криков и плачей, позволяя мне иногда и за столом посидеть.

Последнее, что я высидел, — статья о Георгии Семенове для «Нашего современника», но что-то уверен я в ней мало — много отвлекался, не было возможности посидеть не отрываясь. Между тем писать надо всегда сразу, целиком, только тогда выходит что-то цельное и внятно построенное. Рывками тут ничего не сделаешь. Во всяком случае, у меня привычка такая...

Из Новосибирска пока новостей нет. Встревожило меня только то, что заказавший мне портрет Шапошников перевелся из издательства в «Сибирские огни», в прозу, и я остался без заказчика, без «обеспеченного тыла».

С переездом Куранова в Москву, наверное, ничего не выйдет: дело это длительное, хлопотливое, да и не очень сам хочет. Он закончил свой деревенский роман и пока счастлив. Наверное, будет предлагать «Октябрю». Вот и все новости.

Самый сердечный привет Марье Семеновне, Андрею, Ире.

Ваш Курбатов



29 марта 1976 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Кажется, мою работу приняли, и хоть план еще в Госкомитете не утвержден, но Городецкий пишет, что все будет хорошо, что скоро пришлет поправки для окончательного моего уточнения. Просит, кстати, Вашу фотографию на глянцевой бумаге не менее чем 9 х 12. Мне ее взять негде. Пришлите, пожалуйста, мне, а я потом отправлю вместе с рукописью. Я, к сожалению, запамятовал фамилию того пермского художника, чей портрет маслом печатался в «Творчестве» и был, по-моему, пока лучшим из Ваших портретов — может быть, можно попросить приложить фоторепродукцию с него. Во всяком случае, будь моя воля, я предложил бы именно его, но в таких сериях авторы не вольны — у них, по-моему, установлен какой-то стандарт, чтобы серия была единой. Если найдете лишние экземпляры, то можно прислать и фотографию, и репродукцию с портрета — «пусть победит сильнейший». Конечно, я бы очень хотел и сам располагать Вашей фотографией. Жалею о том, что умер добрый старый обычай дарения фотографии — в нем есть тайная доверчивость, которой стыдится наше «мужественное» время. Надо бы переложить их картонками, Виктор



Петрович, или вложить в книгу, чтобы, сохрани Бог, не помялись. Простите, что затрудняю Вас, но, к сожалению, сам я тут бессилен.

С наслаждением прочел в «Литературке» «Каплю», переменившую имя (мне, признаться, было милее прежнее). Словно возвратился на Кубену, в ветреные счастливые дни, в покойные вечéра, когда так радостно было держать страницы, в которых еще перебивалось дыхание и сбивался шаг, хотя те дни не расчленяются для меня на частности, а так и стоят слитком света и желанного покоя.

До свидания, Виктор Петрович!

Сердечные приветы Марье Семеновне, Ире и Андрею.

Буду потихоньку ждать фотографии.

Ваш Вал. Курбатов

P. S. Городецкий просил кланяться Вам с нежной любовью, что я с радостью и делаю.

4 апреля 1976 г.

Дорогой Валя!

Я сейчас только вернулся из Ашбхада, где маленько погрел свои легкие. Ну и, конечно, дел у меня накопилось, даже не мог за всю зиму вырваться в Сиблу.

Жду третий кусок «Царь-рыбы» (гранки). А еще литом *[цензурой. — Сост.]* не благословлен и второй. Книга идет со скрипом, немалым приходится поступаться во имя главного. Слава Богу, в первом куске удалось сохранить и суть, и первозданность. Както будет дальше? Прошла премьера моей первой пьесы в театре Ермоловой *[драма в двух актах «Черемуха», режиссер В. Андреев. — Сост.]*. Спектакль идет хорошо, среди вымученной и замученной сло-

водрисни, которой затопили евреи сушу, мое неумелое, но русским языком написанное драмо-представление вдруг сделалось «откровением» для театральной публики. Сейчас спектакль готовится в Вологде. А я готовлюсь уехать в Сиблу, отдохнуть как следует и продолжить «Поклон» — четыре последние главы, две из которых почти написаны, а две еще и не начаты. Буду завершать мою давнюю работу и расставаться навсегда с темой Сибири и детства, и целиком переходить на поле брани. Надо, пока не поздно, написать все же «свою войну». Никто ее за меня не напишет.

А Женя Городецкий голову морочит тебе и себе — лучшие фотографии с меня сделал он на Нижней Тунгуске, вот пусть одну из них и пожертвует (одна там есть просто блеск — я весь облеплен комарами, в штормовке, лицо объеденное, чуть таежное). А портрет, о котором ты говоришь, в пересъемке выглядит совершенно черным, в цвете же они его не дадут.

Ну, дай Бог удачи! Через 5-10 дней я стану дедом! Дома большое напряжение. Дочь ходит тяжело, последнее время сильно отекает.

Поклон от М. С. тебе и твоему разросшемуся семейству.

Кланяюсь.

Курановым поклон.

Виктор Петрович

11 апреля 1976 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

С внуком или с внучкой поздравлять Вас? Что испытывает человек на этом торжественном пороге? Я почему-то думаю, что неизбежно должен при-

сутствовать момент печали, какого-то отчетливого рубежа, а рубежи всегда печальны, потому что они делают отчетливым движение времени. В будни-то мы времени не замечаем, а тут внезапно останавливаешься пораженный и некоторое время тревожно вглядываешься в жизнь, потому что, по-моему, до смертного часа человек ждет чуда, необыкновенности, таинства и никогда твердо не скажет себе, что его ежедневное дело, его простые занятия, которые завтра будут те же, что сегодня и были вчера, и будут через несколько лет, что это вот и есть его божественное назначение, его дело, смысл его жизни.

Обыкновенно об этом не думаешь, то одно дело отрывает, то другое, и только про себя надеешься, что закончишь вот именно это сегодняшнее дело и тогда начнется что-то такое, чего ждал давно — какой-нибудь праздник... Только на рубежах и видишь, что ничего не совершается, что главный праздник — это вот как раз будни и есть. Очень большое мужество нужно, чтобы спокойно принять эту простую правду и назавтра продолжить свое дело с вчерашней запятой — без комплексов, без насилия над природой, без утраты рассудка и без отчаяния.

Простите, увлекся... Только бы Ира родила благополучно, Бог с ней, с философией — до нее ли теперь. Ира «своим домом» живет или внук (чка) будет у Вас попискивать? Я теперь знаю, что дети и работа — две вещи несовместные. Правда, не знаю, как в несколько комнатной квартире, а уж в одной, да без лишних рук — все бумаги в сторону, хорошо, если на чтение немного найдешь.

Про фотографии я Городецкому напишу. Только очень боюсь, что у них там подлое обыкновение ставить парадные портреты, как на Досках почета — со всею окаменелостью и совершенным уничтоже-

нием характера. Во всяком случае, на тех книжечках, которые мне присылали для «образца», все было именно так — несколько каменных истуканов смотрели с обложек так, что не сразу можно было разобрать — где кто. Теперь, кажется, по-другому, но многим ли отличается — не знаю.

Рукопись Городецкий еще не возвращал.

Виктор Петрович, тот издательский художник, что купил избу в Сибле, когда в нее переберется? Я к тому, что нельзя ли было без него с месяц пожить там. В этом году Глубокое-то не так благосклонно. Изба, которую я снимал, будет до августа занята, а жить с Курановым в большом каменном доме не очень сподручно — и дом уж очень на виду, да и народу там будет пропасть — киношники приедут фильм про село снимать. Вот я Сиблу-то и вспомнил с той маленькой избой. Хотя ничего внятного про лето пока вообще не знаю — как-то «рассыпался» в последнее время и не соберусь.

Сердечный привет и поздравление бабушке Марье Семеновне и маме Ире.

Поздравляю Вас! Дай Вам Бог счастья, а внуку (чке) здоровья и покладистости.

Ваш Вал. Курбатов

17 апреля 1976 г.
Вологда

Дорогой Валентин!

Прими поздравления с весной и Победой! Здоровья и благополучия твоей семье!

А я позавчера стал дедом — Ирина подарила мне внука. Рожала тяжело, но всё уже позади, как сама пишет. Сам я в больнице — воспаление легких снова, но уже поправляюсь. Думаю в середине мая поехать в деревню. Лит *[цензура. — Сост.]* терзает ме-

ня и мою новую повесть. Дело доходило до остановки, после которой начались кастрация и усекновения. Городецкий пишет, что заканчивает редактуру твоей книги, и хвалит тебя, но говорит, шибко любит «умно и мудрено выражаться Курбатов — борюсь!» А я думаю: зачем же тогда Курбатова столь учили, да сам он сколько книг прочитал, ажник голова 62-го размера сделалась.

А с избушкой, Валентин, я пока ничего не знаю. Хозяин ее, Женя Капустин, приедет в середине мая и оставит кого или нет — неведомо. У нас же ныне тьма народу собирается, и я уж намечаю уголок — куда скрыться. Есть у меня такой на Урале, в селе Быковка. Позднее я напишу тебе, что и как, а пока низко кланяюсь, обнимаю и желаю всего хорошего

Твой Виктор Петрович

Апрель 1976 г.
На деревню дедушке
Виктору Петровичу

Поздравляю Вас, Виктор Петрович, внук — это, наверное, очень серьезно. Как нарекли-то? Хлопот теперь прибавится. Опять надо будет вспомнить пеленочный опыт и с терпением принимать долгие детские плачи, не пускающие за стол.

В Сибле бы только и отдыхать, да гости не дадут. Если действительно надумаете ненадолго удрать в Быковку, я с радостью разделил бы с Вами поездку — времени я у Вас отнимать не буду. Все думал — не поехать ли в Чусовой и не снять ли там угол где-нибудь в Архиповке на берегу Чусовой, а то дома-то, что в Пскове, что в Чусовом, — разницы нет. Я уж позапрошлой осенью такой уединенный дом и присмотрел, да и родители были бы ря-

дом. Теперь мама пока у меня. Оба понемногу приходим в себя. Погиб у меня под поездом брат, живший в городке Белгороде-Днестровском под Одессой. Ему было 39 лет. На маме эта утрата сказалась страшно, но сейчас природное жизнелюбие, да и присутствие непоседливого внука исцеляет ее. Для меня это тоже первая смерть близкого человека. Мне пришлось мыть это истерзанное тело уже на седьмой день после гибели (никто больше из родных не решился, а в тамошней больнице специальных сестер нет). Я никогда не испытывал такого сильного чувства нежности, вины, любви, такой нестерпимой боли и тоски, и с детства не пролил столько слез сразу, как в этом маленьком грязном морге, где мы были вдвоем, и я одевал его холодное изувеченное тело.

Теперь тоже понемногу отхожу.

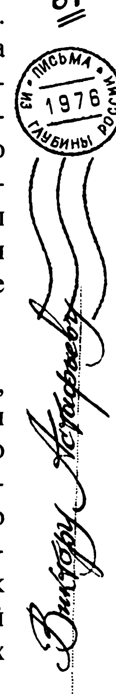
И работать надо. Городецкий прислал рукопись, исписанную сверху донизу, и требует в соответствии с договором вернуть ее чистой 15 июня. Судя же по количеству замечаний на полях, мне просто предстоит написать другую работу. Бог знает, как успею при нынешних-то условиях — слишком много времени отнимает сын, а тут надо не урывками, а как следует сидеть — много ли насидишь, когда в одной комнате еще трое кроме тебя ходят и один из этих троих — младенец.

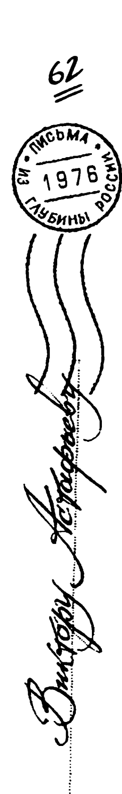
Учусь глядеть на обстоятельства спокойно, потому что это единственная возможность сберечь душу хоть для какой-то работы.

Еще раз поздравляю Вас с внуком, а Иру — с сыном.

Поклон и поздравления Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов





7 июня 1976 г.
с. Глубокое

Дорогой Виктор Петрович!

Володя Шириков пишет, что Вы все хвораете. Что это за нечисть прицепилась! В деревне бы отошли душой, да только пока не окрепнете, о Сибле и думать нечего. Очень уж устойчивые наладились холода, не натопишься, а уж к Кубене, поди, и спускаться страшно, таким, наверное, тянет оттуда ледяным ветром — в точности как в прошлом мае, когда даже налаживался меленький снежок.

Я помаленьку обживаюсь в Глубоком. Пока один. Инна (жена моя) осталась с Севкой дома — боится ехать в холодную избу, где к тому же и воды горячей нет, а она пока парню нужна в порядочных количествах. Нет и Юрия Николаевича с Зоей. Еще только собираются. Теперь они будут жить в другом доме, далеко от меня, а я так и останусь один, чему в общем рад.

Перед отъездом прочел второй кусок «Царь-рыбы» с неизвестной мне «Ухой на Боганиде» и был поражен ее замечательной классической цельностью, ее покойной, «природной» интонацией. Глава показалась мне лучшей в «Царь-рыбе» (в двух прочитанных частях) совершенной точностью «приема», совершенным единством мысли и воплощения. Тут есть редкая безусловность. Суд совершается не публицистикой, не прямым вторжением автора, который нетерпеливо предупреждает, что «природа еще вам покажет за ваше варварство», не открытым обвинением, а горестным спокойным свидетельством, утаенным, но оттого невыносимым укором. Глава замечательно возвышает всю книгу, которой временами не хватает сдержанности. Удивительная глава!

Как жаль, что «портрет», который я уже отослал

Городецкому, так стеснителен в рамках — никак не больше трех листов, а я и так их преступил. Тут несколькими словами не отделаешься — об этой главе надо было поговорить отдельно, обстоятельно, со счастливой неторопливостью, потому что тут Вы подвинулись от себя прежнего очень далеко. Тот же да не тот — тут сила выказалась огромная, уверенная, тут власть над мастерством абсолютна, без промахов. Спасибо за радость, Виктор Петрович!

Поправляйтесь скорее — я с радостью стану писать Вам в деревню, да и Вы в деревне щедрее на весточки.

Сердечный привет Марье Семеновне, Ире!

И «козу» внуку.

Ваш Валентин Курбатов

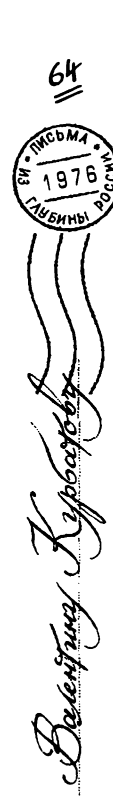
14 июня 1976 г.
д. Сибла

Дорогой Валентин!

Я после больницы вот уже больше месяца в Быковке (описáлся!) в Сибле! Но все недомогаю, долгое время даже читать не мог, погода меня измучила — бесконечные дожди, холод. Мария Семеновна занята в городе внуком, наезжает сюда на денек-другой, но вот и дороги размыло, и все уже кругом плывет, река вышла из берегов, в деревню уже въехать невозможно, так днями буду выбираться в город. Надо потихоньку складывать чемодан, ехать на съезд писателей, да и дел скопилось много.

«Царь-рыба» моя подошла к концу в печатании в журнале, потери в повести огромны, особенно досталось второму куску в пятом номере *[«Наш современник», 1976, № 4, 5, 6. — Сост.]*. Много нервов, много сил взяла эта «редактура», на душе было горь-

ко и пусто, недоумение брало — уж если это режут и порют, то что же тогда будет, если «поплотнее» навалиться на то, что называется правдой? Страшна она, матушка, ох страшна! Вот и не подпускают, ведут отстрел с упреждением.



Горькое твое письмо о смерти брата долго лежало перед моими глазами, не раз я его перечитал — понимаю и вижу за этими строками много. Теперь тебе понятней станет то, что пережил наш брат на войне — к смерти привыкнуть нельзя нигде, и на войне тоже, но притерпеться, отупеть возможно. Я после войны лет пять или семь не реагировал на смерть, закапывал людей, как поленья, лишь смерть махонькой дочери (непривычно! не хоронил детей) — сшибла меня с ног в прямом смысле, и я даже нюхал нашатырный спирт, остальное «не брало».

Году в 53-м или 54-м шел я на рыбалку за вильвенский мост по известной тебе дороге и неподалеку от не менее тебе известной 9-й школы (шел рано утром) увидел как-то жалко и отстраненно плачущую женщину, до которой еще полностью не дошло горе или, наоборот, уже «перешло» ее всю так, что она была как бы вне себя (в прострации, как ныне говорится) и держалась горько и как-то вяло спокойно. Ее о чем-то спрашивал милиционер и записывал чего-то в блокнот. Чуть отчужденно стоял в стороне и хмурился пожилой путеобходчик. Я приблизился и увидел накрытую женским полушалком девочку, волосики которой белели недвижно и обвисло, личико, чуть выставленное из-под полушалка, было испачкано сажей и мазутом, судя по личику, девочке было лет восемь-девять. И так ее изрезало, что она вся уместилась под полушалком...

Я молча ушел, и в душе моей появилась жалость, и долго еще, да и сейчас я помню явственно белые

волосики, жидкие, реденькие, виднеющиеся из-под старого темного полушалка.

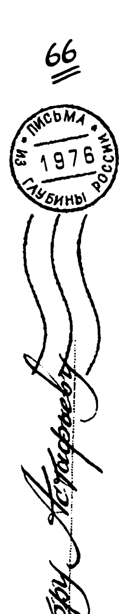
Жизнь дала мне много «смертного материала», начиная от детского потрясения — смерти матери. Нашли ее на девятый день страшную, измытую водой, измятую бревнами и камнями... Вытаскивал людей из петель; видел на житомирском шоссе наших солдат, разъезженных в жидкой грязи до того, что они были не толще фанеры, а головы так расплющены, что величиной с банный таз сделались — большего надругательства человека над человеком мне видеть не доводилось. Отступали из Житомира, проехались по людям наши машины и танки, затем наступающая немецкая техника; наступая в январе, мы еще раз проехались машинами и танками по этим густо насоренным трупам. А что стоит посещение морга, где лежал задушенный руками женщины (!) поэт Рубцов (я был в морге первым, ребята, естественно, побаивались, а мне уж, как фронтовику, вроде и все равно...) Привычен!

Какая проклятая сила, чья страшная воля прививает человеку такие вот «привычки»!? Так вот и мой Борис Костяев не влез в эту привычку, не вынес страсти этакой, а критики все долдонят и долдонят: «Умер от любви»! Простое, общедоступное, удобное, а главное «безвредное» объяснение — за него «ничего не будет» — какой примитивизм!

Как твои дела подвигаются? У нас внук растет-подрастает, зовут его тоже Витей. Ну, поклон тебе от Марии Семеновны, маме твоей поклон, жене и сыну. Обнимаю тебя, желаю скорее справиться с горем, памятуя, что оно не последнее и надо для будущих дней беречь силы.

Твой Виктор Петрович

26 июня 1976 г.
с. Глубокое



Дорогой Виктор Петрович!

Бесконечное спасибо за доброе письмо. И за оговорку о Борисе Костяеве, умершем от невозможности привыкнуть к смерти.

Я хочу все-таки вступиться за критиков, «долдонящих», что он умер от любви, потому что это все-таки так. Кто знает, не застигни его это прекрасное чувство и, может быть, он довоевал бы и рана не погубила бы его. Смерть стала нестерпима особенно рядом с любовью, она словно озарилась в его уже привыкающем сознании гибельным черным светом, и теперь его уже ничто не могло спасти. Я в своей работе то же самое долдонил, что губительна сама изначальная противоположность любви — как жизни и войны — как смерти, что совместить их нельзя. Война убила в нем любовь и значит — жизнь. Сиреневой музыке отказано в праве на жизнь. Именно от любви, от невозможности любви среди крови и грязи и умер. Только бы поосновательнее развить, а мысль эта.

Каково было на съезде, Виктор Петрович? Поминали там правду? Дадут ли ей жить, наконец, или вовсе концы в воду?

У меня тут газет нет, а из трескотни по радио мало что проймешь — одно всегдашнее прекраснословие, которое уместнее просто молчанием назвать. Слов много, а речи нет, как река шумит. Но ведь есть перерывы в заседаниях-то, есть друзья, и тут-то, конечно, что-то происходит и говорится. Будь моя воля, я бы только перерывы подлинною-то работой и считал, а сами заседания — как концерт, как школу риторов, состязания афинских софистов.

Приехал Юрий Николаевич *[Куранов. — Сост.]*,

привез множество разной музыки, и иногда вечерами я сажусь послушать и радуюсь этим очищающим часам — весь сор слетает, остается только истина и гармония. Слава Богу, хоть дожди кончились, а то целыми днями поливало, так что мостки на озере затопило, картошку на огородах и в полях повымывало и она оказалась снаружи, не успев прорасти. Ни огурцы не принимались, ни помидоры. Птицы умолкли, еще ни одного кузнечика за месяц не слыхал. Бог даст, скоро все обдует, пригреет и хоть сено не погибнет. Бабы в магазине бунтуют — хлеба скоту не хватает. Все валят на дачников, которые тоже хотят есть и хоть буханочку на два дня, а берут. Вообще обстановка нервозная, люди раздражены, и вечерами не слышно радостного перекрикивания, которое так успокаивает, утешает сердце на закате.

Может быть и у Вас, в Сибле, потеплело. Дороги подсохнут и потянутся гости, а там, глядишь, и внук Витька нагрянет. Или он успел пристраститься к городским кухням. Мой-то растет на домашней пище. Вот уж скоро месяц, как я его не видел — жена с бабушкой управляются — порою так тоскливо, что сил нет терпеть — так бы и уехал, но знаю, что опять потом буду долго налаживаться, привыкать к новому ритму и работа застрянет. Хотя и работы-то, признаться, нет никакой. Заказов нет, а писать без адреса я еще не умею. Не хватает мне для этого мужества.

Написал еще одну маленькую заметку о Рубцове, но ее отовсюду гонят в шею. Даже Володя Шириков отмалчивается, вот уже месяц, видно, я и правда что-то не то написал. А речь шла об утрате корней, об отсутствии исторической памяти у нас, мальчишками унесенных из родного гнезда и теперь хоть и живущих по деревням, но дороги назад уже не знающих — тоскуем по родине, как в эмиграции. Вот и

Рубцов пишет о ней с пронзительностью потерянного человека, как за тридевять земель от нее. Мученическая тоска по цельности человеческой жизни, по длительности рода — от дедов к внукам, когда окружает единственный лес (отчий лес), и отчая река, и родные предания. Вы еще в себе это сберегли, а уж мы — нет. Новое-то поколение пойдет совсем безродное и будет называть землю впервые, как Адам, и им будет проще, а вот что нам делать — или это правда кощунственная мысль и я не прав, и за Рубцова надо обидеться. Не знаю.

Спасибо Вам, Виктор Петрович. Поклон Марье Семеновне, Ире и внуку Витьке.

Кланяются и Курановы.

Ваш Вал. Курбатов

5 августа 1976 г.

Дорогой Валя!

Ты всегда накатаешь такое, что не ответить на твое письмо невозможно. И все же я не ответил бы, если бы не одно обстоятельство...

Я довожу «Царь-рыбу» до ума, т. е. редактирую для отдельного издания. Ах, что это за работа! Устал смертельно. 10-го лечу сдавать, уродовать книгу дальше, но уже вместе с издателями.

Я в Сибле. Свету не вижу, из-за стола не вылажу, да и нету свету-то! Дней 10 постояло вёдро с холодами по ночам, и опять грянул мокромозготник.

Ужас какой-то! Свету конец! Критика на «Царь-рыбу» вызвала неописуемый гнев умных читателей-писателей своей обыденной монотонностью, умением много написать и ничего решительно не сказать.

А пишу я вот чего... Если есть у тебя экземпляр

труда твоего, заверни его в бумагу и отправь по адресу: Красноярск, пр. Мира, 89, альманах «Огни Енисея», Волокитину Николаю Ивановичу.

Коля Волокитин избран там секретарем и, стало быть, автоматически — главным редактором альманаха. Он мой приятель и подшефный. Я много для него сделал. И печатать ему в альманахе нечего. Ты напиши в записке, что делаешь эту работу для Новосибирска, а чего там и как, не пиши, и нельзя ли, де, чего-нибудь использовать в альманахе? Думаю, что кусок-другой они дадут — это тебе штаны немножко поддержит, и труд твой зазря не пропадет — издадут где-нибудь. Не везде такие идиоты сидят, как в Новосибирске.

Кланяюсь, обнимаю!

Твой Виктор Петрович

18 августа 1976 г.
д. Сибла

Дорогой Валя!

Вернулся я из Москвы еле жив. Осчастливили меня «Роман-газетой», но... одним номером, два — это не для меня, и пришлось мне сокращать 3,5 листа. *[«Царь-рыба», повествование в рассказах, опубликовано в «Роман-газете», 1977, № 5. — Сост.]* Я, идиот, «пошел» по повести, и вот она стала вся обезжиренная, неживая, чужая, и сам я себя запрезирал, заболела у меня голова, и, чего давно не бывало, даже сердце забарахлило. Однажды бессонной ночью мне пришло простое решение в голову — просто снять пару глав, и я снял «Летит черное перо», «Поминки» и кое-что из дневников Гоги Герцева. Все вроде бы путем, но тут через мою убогую, вялую, боязливую редакторшу передают намек: «Ос-

тровата вещь-то, Виктор Петрович, почистил бы». Тут я сказал: «Идите вы все к е... матери!» На что редакторша заплакала и сказала: «Вам хорошо посылать, а кого посылать мне? И куда? С меня ведь потребуют, скажут — не умеете работать с авторами, а раз не умеете... А у меня еще на руках мать-старушка»... В другое время при упоминании о дите и о матери я сразу и сдавался, но тут был так уж свиреп и болен, что плюнул на всех детей и матерей, да и уехал домой. Так до се и не знаю: идет — не идет. Если не идет — меня даже почти не огорчит. Жаль лишь времени, нервов. Головы своей жалко.

Дома меня ждали твои два письма — одно с газеткою. Спасибо тебе, Валентин! На маленькой площадке ты сумел сказать много, а то сейчас научились загромождать площадь какими-то умствованиями, за которыми ничего, кроме желания получать деньги, нет. В десятом номере «Литературного обозрения» будет «круглый стол» по «Рыбе» — мне очень интересно будет знать твое мнение... На мой комментарий не обращай внимания, я наговаривал его с совсем уж больной головой, которая и в Сибле, откуда я и пишу, не перестает болеть.

Погода у нас по-прежнему скверная. Все гниет, ничего не растет. Кедры все, и твои тоже, от сырости скукожились (фу ты, опять инородное слово!), боюсь, кабы не погибли. Да и мы тоже. На рынке картошка 80 копеек кило — это в августе-то! Внук наш растет. Андрей на два года уезжает на Урал, в Чердынь, работать и писать какой-то труд. Не прижился он в Вологде, одиноко ему тут было. Пусть едет и живет самостоятельно. Поклон твоему дому! Всем доброго здоровья.

Ваш В. Астафьев

P. S. А в Красноярск ты пошли всю рукопись, не выбирая.

3 сентября 1976 г.
Псков

Спасибо за добрые слова, Виктор Петрович!

Надеюсь, что с «Царь-рыбой» все устроилось и барышня из «Роман-газеты» собрала в себе куриное свое мужество для сколько-нибудь серьезной борьбы за Ваш вариант книги. Дай Бог, чтобы все устроилось лучшим образом!

Я послал по Вашему совету в Красноярск небольшой кусочек рукописи — о «Звездопаде» и «Пастушке» с предположительным названием «Война и любовь Виктора Астафьева». Всю-то рукопись я послать не могу, потому что, смешно сказать, у меня всего один экземпляр. Когда печатал, было так скверно с бумагой — даже стрельнуть было не у кого, — что напечатал всего два экземпляра. Один у них остался, а один у меня, а мне еще над ним работать надо будет.

Выпала мне счастливая возможность — съездить с товарищем в Дагестан, где я ни разу не был, вообще на Кавказ судьба не заносила, а тут еще на машине через всю страну.

Сегодня и уезжаю, чтобы воротиться через две недели уже самолетом. Может быть, оттуда привезу какое-нибудь растеньице на смену привезенному от Вас кедру. Не выдержал зимы, весною вся хвоя была желтая и осыпалась при первом ветре — поторчал еще с месяц голым стволиком, я еще надеялся на что-то, а потом вынужден был выкопать. Жалко. Неужели так-таки ни один и не прижился в Сибле? Может быть, все-таки им климат не по зубам?

С Вами ли Марья Семеновна? Должно быть, с большой грустью провожала она Андрея — столько ждали из Перми, а тут опять надо ждать. Наверное, временами жалеет, что не в Перми живет — все бы-

ло бы поближе. Но что уж теперь... Теперь тут корни — внук! Дай ему Бог здоровья!

И Вам, и Марье Семеновне, и Ире!

Ваш Вал. Курбатов

72

17 ноября 1976 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Послал Городецкому последний вариант рукописи (уж окончательно последний), и теперь, как говаривал один персонаж из военной повести Курочкина, «одно из двух — либо голова в кустах, либо — одно из двух»... Опыт был для меня печальный — я растерял порядочно веры в возможность простого человеческого взаимопонимания. Прочел обсуждение «Царь-рыбы» в «Литературном обозрении». Мысли есть очень хорошие — более всего у Горышина, да и у других тоже, но все-таки осталось впечатление, что поговорили вполголоса и больше утаили, чем сказали, не решаясь всего-то выговорить, особенно, как ни странно, ученые, которым, казалось бы, сам Бог велел воспользоваться случаем и поговорить дельно. Ну, да Бог им судья!

Замечания Ломидзе о Гоге *[один из героев повествования «Сон о белых горах». — Сост.]* показались мне справедливыми не в столь резкой мере, но в основе. Вы все-таки воспользовались «акимовой» точкой зрения на него, не избежав пристрастия, что несомненный грех. Не сдержали личной неприязни к людям этого рода. Я это понимаю, есть тип людей, которые изначально неприемлемы, душа не лежит, хоть убей: с ног до головы чужие — видом, философией, словарем. И тут уж не до анализа их сущности, не до глубин — откуда что пошло, а выгово-

рить ему в лицо свою ненависть, бросить его труп собакам и дело с концом. А ведь этот негодяй, пожалуй, не менее Акима важен, ибо — едва ли не более распространен. Не в столь злодейской форме, но такой. И с камней они оскальзываются, к сожалению, не часто, а идут широко и победно и ведь вполне могут и общественниками стать. Индивидуалисты-то как раз менее опасны — этот себе шею сломает, а вот общественник — это да! А между тем никакого различия у них в мировоззрении не будет, разве что вид несколько переменят. В общем, о Гоге надо было бы говорить, не сводясь к предмету, а заводясь от него. Но с кем? Где? Руки опускаются. Так вот иногда посидишь-посидишь и вдруг поймаешь себя на том, что твоя душа безмолвна, но нестерпимо воет, и тут бы, кабы помоложе был, то и запил, а уж теперь, слава Богу, знаешь, что это средство хоть и славное, но, увы, не спасительное и надо искать в душе другие силы. Где?



Как поживает В. И. Белов? Я посмотрел его пьесу «Районные будни» и рассказ в «Дружбе народов» и не узнал. Вот те на! Когда это он успел кинуть свое старое платье, и чем оно ему не показалось? Пьеса могла быть и страшна в бедном мелком своем абсурде, но уж очень «кукольны» характеры-то и оттого не пугают, а если бы живые — тогда да, тогда — кошмар.

А рассказ и вовсе чужим пером написал. Убери имя в начале, и ни одна собака не учует. А это уже грех, это не от силы, а от растерянности художественной, которая поначалу может смахивать на всесилие.

Каково-то там Ваш внук?

И утешила ли Вас Сибла хоть осенью, раз уж лето не задалось?

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

28 ноября 1976 г.
Вологда



Дорогой Валентин!

Какое-то наитие. Днем был в молодежной газете, что-то разговорился о Чусовом и проговорил почти полдня, тут только и «обнаружив», как ярко отпечатался и город, и время, в нем прожитое... А еще говорим: «благодарность», «неблагодарность»... По отношению к Чусовому мне в пору петь: «Мне б надо Вас возненавидеть, а я, безумец, Вас люблю!..»

Словом, пришел из редакции, а от тебя письмо. Не ответил сразу, плохо с внуком, плохо дома. У малыша уже полтора — полтора! — месяца не могут остановить понос, и я, долго державшийся, тоже начинаю впадать в панику. Все, что в наших силах, не таких уж сильных, сделано, и тщетно. Везти мальчика в Москву боюсь. Боюсь, что повторение анализов, новое голодание доконает его натуру, удивительно стойкую, мощь какую-то недетскую. Мальчик, голодающий так долго, так долго страдающий от болезни, уколов, душной палаты, горьких лекарств, все еще всем, а в особенности нам, радуется, улыбается и даже от уколов не орет. И только гнется и по-взрослому ойкает. По сей причине не вступаю я ни в какие с тобой литературные дискуссии — башня сдвинута, я уже и позабывать стал о какой-то «Царь-Рыбе», прочел тут в «Литературном обозрении» (гранки-то читал на бегу в Москве) и удивился: «Гляди-ко, кого-то и задело за живое»...

О Герцеве только так и возможно было написать в «Царь-Рыбе», тронь я эту коросту сильнее и глубже, другую ж книгу пришлось бы писать.

Не попадалась ли тебе книга В. Фомина «Пересечение параллельных»? Фомин этот — киновед, и книга его о кино, о близких нам людях. Он не толь-

ко кончил тот же факультет, что и ты, но и похож на тебя многим, в том числе и бородой. Они приезжали ко мне в Сиблу со сценарием — «Мосфильм» экранизирует «Перевал». Картину будет снимать Булат Мансуров — порядочный, по-моему, мужик и работяга. Снять должны летом 1977 года. Я продал право на экранизацию, но чем могу, помогаю.

Теперь о Васе Белове. Я последние его вещи не читал, но читал предпоследние. Тревогу твою вполне разделяю, тем более что сам он абсолютно не знает, что давненько уж находится в творческом кризисе и пишет не то, что ему Бог велел, а людей, которые бы ему это сказали иль написали, возле него нету. Вологодские-то люди — лукавые, они и не скажут никакой горькой правды. Сам Вася тоже из «вологодских», хвалится, что в институте пять лет жил в одной комнате с человеком и не сказал ему, что он бездарен, а вот мы, нехорошие, такие-сякие, сказали. А тот, надсадившись от бесполезного и графоманского труда, рано умер, а точнее, просто пропал, а все же Вася никому не признается, что усугубил все дело, помог товарищу, русскому человеку скопытиться своим блядским молчанием. Я уж давно раскусил эту «вологодскую доброту», она страшнее жестокости.

В «Молодой гвардии», в редакции «ЖЗЛ», заведующим работает Юра Селезнев, очень хороший человек. Я просил его, чтобы он давал тебе что-нибудь на рецензию. Народу у него пребывает дополна, суета заедает, может, и забыл, так напомни ему словесно иль письменно, что я ходатайствовал. Ко мне он хорошо относится.

Моя мечта, если внук выздоровеет, закончить «Последний поклон». В Сибирь мне не удалось и нынче съездить, но недавно съездил на неделю еще раз в ГДР, пригодится в будущих писаниях о войне.

Из Сиблы я бежал рано. Лета не было. Осень была плохая. Я никаких сил не набрался. От сырости ноет все.

Вот пока и все. Супруге твоей, сыну, маме — всем поклоны. Юре Куранову с Зоей по поклону тоже. И с Новым годом! Едва уж соберусь написать.

Будьте все здоровы!

Ваш Виктор Астафьев

5 декабря 1976 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Поздравляю с кино! Лед тронулся! *[Речь идет о начале работы над фильмом «Таежная повесть» по главе «Сон о белых горах» из «Царь-рыбы». — Сост.]* Там, Бог даст, и к «Пастушке» вернутся.

С Беловым, я боюсь, все сложнее. Если ему даже кто-то и скажет в лицо, что он на тревожной грани, он ведь не поверит. Он ведь и прежде был наклонен перепробовать все на свете, и раньше уже поглядывал на «чужих» героев и искал случая помериться силами. Это молодечество само по себе и неплохо, и любознательность понятна, но тут в беготне можно главное потерять, то, с чем пришел только ты. А ведь «Привычное-то дело» обещало, что он и далее будет всматриваться в русский характер, раз Бог ему дал проницательность. А вот выходит наоборот, словно он вознамерился сам и рассыпать то единство, которое нащупал. Тут надобна не беседа с ним, а большая основательная статья, писанная могучим уверенным божественным пером, чтобы зрение прояснилось — тут шестикрылый Серафим надобен, а я что-то в нашей критике не вижу, кто бы на себя такое количество крыл возложить решился.

Все мы бескрылы, а самые-самые едва текут на одном, и слышна не властная песнь силы, а крик подранка.

Впрочем, об этом не мне говорить. Да и в себе силы не чувствую. Тут бы и бросить надо, а уж прилепился, жалко, да и ничего другого не сумею. То есть руки, слава Богу, послушные и тянул бы не хуже других, но чувствую, что большая-то отдача от меня все-таки здесь. Но только бóльшая, а не большая. Но об этом лучше тоже не говорить, а то так сердце растравишь, что и пера не удержишь, а мне надо теперь каждое мгновение быть собранным, потому что времени нет почти совсем. Жена на работе, мама уже два месяца как уехала, и с сыном я целые дни один. Это и в прочие дни не очень легко, а уж когда хворает и того тяжелее. Так что каждая минутка на счету — только он задремлет, я — за перо, и так в день часа полтора выходит, да немного ночью. Мысль все время вялая, и писание выходит чуть живое.

Но мамины христианские уроки мужества со мною, и я гоню отчаяние в шею, хоть и не бодр и беспечен, но спокоен. Этого достаточно.

Дай Бог скорейшего выздоровления внуку, а Вам терпения и сил. Самые добрые слова привета Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов



ПИСЬМА 1977 ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ

Виктору Астафьеву

10 февраля 1977 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Мучаюсь вот с мальчишкой, который никак не привыкнет к яслям. Больше двух дней никак у него не выходит, на третий непременно заболеет. Приезжала бабушка, месяц посидела, ну, думаю, окреп, отпустил бабушку, на два дня сводил и вот опять — понос. Сразу вспомнил про Вашего внука. Как он перенес эту долгую муку? Все ли, наконец, хорошо? Совсем-то хорошо редко у нас бывает, но хоть сейчас-то спокойно ли? Здоров ли?

Я уж вот про стол-то, поди, и забуду скоро. Редко выбирается час, чтобы посидеть, не отвлекаясь. И в народ выхожу все реже. Последнее, что поглядел в своем театре, — «Деньги для Марии» Распутина. Режиссер — молодец. Здоровый, румяный, левизной решил потешиться и, конечно, все изглупил, потому что из Распутина левака не сделаешь, слишком у него для этого чистое русское сердце. И при этом все измельчил, опошлил, а главного либо не захотел увидеть, либо попросту не сумел, потому что душевной тонкости не хватило, сердца.

Да и вообще все вышло как-то нечисто. Вчера получил от Распутина письмо (сам-то он на премьере не был), так, оказывается, он просто показал по просьбе нашего режиссера черновой вариант — на случай если заинтересует. Сам же работает над основным для театра Ермоловой, которому и право первой постановки уступил. И вот на тебе — разыграли черновик, отняли у Ермоловой первенство вопреки автору, да еще и нелитованный вариант поставили, а за это уж в первую голову даже и не театру, а Распутину нагорит — одним словом, ввязали порядочного человека в какую-то песью свалку. Добро бы хоть постановка-то была хорошая, стоило бы рисковать, а то ведь так — громкая читка с дурно расставленными акцентами.

Но все-таки и маленькая радость есть — даже и в этом виде чувствуется, что из Валентина и драматург выйдет хороший. Тут все тонко и чисто, сто очков вперед беловской «воде», которая для меня все так и останется слабейшим из всего виденного мною в драматургии.

Даже и тема будь хороша, и характеры чувствует как следует, а вот нет пьесы-то — и все. А уж ставят от бедности, нет материала в театре.

А тут — все ниточки связаны и узелков нет — чисто, опрятно. Говорят, правда, много. Каждый но-

ровит монологом выстрелить, но это пройдет, а чистота останется. Только бы вся эта толкотня не повредила.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

80

1 июня 1977 г.
с. Михайловское

Дорогой Виктор Петрович!

Я уж с порога скажу просьбу, чтобы она не выглядела в конце дурой и не обращала письмо в дипломатическую уловку. Я надумал осенью постучаться в Союз писателей и хотел бы попросить у Вас рекомендацию. Список публикаций могу перечислить, а кое-что из журнальных и газетных вырезок прислать, если в этом есть надобность.

Толкает меня к этому не честолюбие, а прямая необходимость. Нас теперь с мамами пять человек в одной комнате, работе это способствует мало. Бабушки часто болеют, Сева — тоже и, к сожалению, даже уезжать из дому я могу лишь на несколько дней в три-четыре месяца. От этого несколько прокис и, как всегда в нелегкие часы, кинулся в объятия пессимистической философии, пошел перебирать вопросы, от которых сон не делается спокойнее, а взгляд свежее. Между тем в писательской организации мне намекнули, что можно бы подать заявление и что в случае успеха комнату мне хлопотать будет проще. Еще одну рекомендацию дает директор Пушкинского заповедника в Михайловском С. С. Гейченко, обещал также П. Антокольский. Мой руководитель на республиканских семинарах критиков И. Л. Гринберг тоже обещал поддержку, тем более что он в составе приемной комиссии (я хоть и зову его Вринбергом, но надеюсь, что в дан-

ном случае ему врать повода нет). Я вот подумал, может быть, неудобно, что я о Вас писал, кстати, книжку-то мы с Городецким все-таки сладили, и к осени она, Бог даст, выйдет *[В. Астафьев: Критический очерк. Новосибирск, 1977. — Сост.]*, но тут ведь критику всегда беда. Он пишет про многих и тем самым что же, пути отрезает себе, что ли? Потом ведь не будешь стучаться к тому, кого ругал. Он и не даст, да и как просить, если ты его несостоятельным почитаешь.

Вот такая просьба.

А об остальных делах уж и писать неловко, выйдет натянутость, так что я уж подожду ответа.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Валентин Курбатов

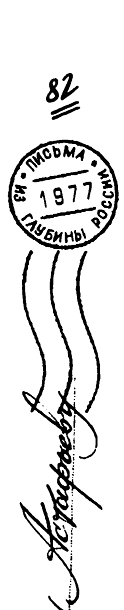


8 июля 1977 г.
с. Михайловское

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо Вам, я теперь буду глядеть вперед смелее.

А вот Ваши уроки воспитания сына, к сожалению, применить не смогу. Я не либеральничаю с бабками просто потому, что их нет рядом. Мы воспитываем мальчика вдвоем с женой. При этом она работает, а я коротаю с ним те бессчетные дни, когда он не в яслях. Одна бабушка воспитывает детей другой своей дочери (впрочем, детей довольно больших, и я робко думал, что им присутствие бабки менее необходимо). А моя мама не может приехать, потому что отцу уже 75, и хоть он достаточно здоров, но ходить за собой совершенно не умеет и она не может оставить его одного. Вот, пока жена в отпуске, я и могу уехать и месяц поработать спокой-



но, что и делаю. Через три дня отпущенный мне месяц кончится и я возвращаюсь для продолжения своих воспитательных занятий.

Здесь, в Михайловском, думал помочь директору заповедника С. С. Гейченко написать воспоминания — за 75 лет он перевидал бог весть сколько. Он все жаловался на занятость, когда я ему пенял, что он сорит свои воспоминания в вечерней беседе за чаем. Ну и дай, думаю, помогу — раз занят: запишу на магнитофон, а там как-нибудь обработаем.

Условились чин чином. Я приехал, а он что-то все уклоняется и уклоняется и уж чуть волком не глядит, что я его за язык тяну. Я и отступился. Он опять стал весел и шумен. Но тут я и понял, что никогда эти воспоминания не напишутся. Ему непременно нужна аудитория, отзыв, смех, любование. И тогда мысль зажигается, начинается пышная импровизация, где правда мешается с ложью, и чем радостнее вранье, тем он веселее, и клубок катится цветной, яркий, пустой рукав летает в воздухе, императоры скачут, оркестры гремят, кровати скрипят, шатаются троны, ведьмы устремляются в дымоходы, и имена сверкают в воздухе — смотреть больно. Но ушли слушатели, погас свет, и скучный старый человек злобно глядит на лист бумаги и с ненавистью бросает ручку: «Пошли прочь, дураки! Не стану я для вас писать».

Вышел у меня про него небольшой очерк — с лист. Теперь вот буду глядеть: не сгодится ли кому?

Поправляйтесь скорее, Виктор Петрович. Да и не ездите пока никуда. Посидите в деревне. Правда, холода начались, но зато как славно у печки. То-то обстановка для «Поклона».

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Валентин Курбатов

29 июля 1977 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Огромное спасибо за рекомендацию, за добрые слова, которые Вы нашли для меня. Постараюсь нести эту честь с достоинством.

В этот же день пришла и корректура из Новосибирска. Есть болезненные сокращения в главке о «Царь-рыбе», даже не сокращения, а просто отсечения, разговор оборвали: выглядит это бедно, как обкусанные ногти.

А Городецкий ушел в отпуск, все уже будет доделываться без него. Он, кстати, беспокоился, здоровы ли Вы и сейчас шлет Вам большой привет.

Получил я рекомендацию и от директора Пушкинского заповедника С. С. Гейченко. В Михайловском было хорошо, работалось как следует; немного рисовал, порядочно читал, а вечерами, когда экскурсантов не было, лечил сад: резал сухие сучья на яблонях, поправлял огромный дуб перед входом в усадьбу и подпаивал в долгую июльскую жару кедр, который рос под моим окном, — тоже какая-то добрая душа привезла, и он, слава Богу, прижился. Я каждое утро отсылал от него привет в Сиблу, тамошнему кедру, приютившемуся в углу огорода и, Вы говорили, еще живому. Хорошо, если он выдержит это переменчивое невзрачное лето, дальше ему будет полегче.



Так уж никуда теперь и не поедете в ближайшее время?

У нас заладили дожди, противно и смотреть на улицу. Если и у Вас так, устанете топить, да и плевриту это, наверное, не на пользу. Надо бы на юг, погреться, надышаться, а Сибла и зимой не уйдет. Зимой-то она, наверное, здоровее, хотя, пожалуй, пронзительно одинока.

Еще раз спасибо, Виктор Петрович.

Поклон Марье Семеновне! «Козу» внуку!

Ваш Вал. Курбатов

84 23 сентября 1977 г.

Псков

Дорогой Виктор Петрович!

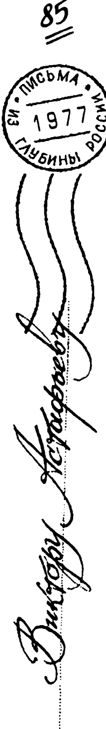
Огромное спасибо за книгу! Я как раз сейчас опять поминаю «Царь-рыбу» в новом сочинении, которое еще Бог весть как напишется и кому подойдет — речь в нем пойдет о «медленной» прозе, и рядом с Вами будут стоять, как это ни покажется причудливо, Булат Окуджава с «Путешествием дилетантов» и Георгий Семенов с «Вольной натаской». Сейчас объяснять ничего не стану, да и не смогу — в двух словах. Может быть, еще и не выйдет ничего, но смысл простой, что понемногу утверждается несуетливая проза, которая решается всякое предложение договорить до конца, хотя читатель торопится и уверен, что схватит мир скорее, чем невыносимо подробный писатель, пока не начинает замечать своего перестроившегося зрения, выравниваемого дыхания и усложнившихся отношений со временем, в котором, как он считал, ему все понятно.

Пишу без литературоведческих оглядок и даже и не статью, а просто запись мимолетных мыслей и переживаний. На Западе это называется «эссе». У нас не называется никак и не принимается. Но раз хочется написать — напишу.

И потом из прежних Ваших работ у меня не было «Оды», которую я люблю бесконечно и которой отзываюсь весь, словно сам написал. Так что еще раз спасибо.

Местные писатели приняли меня в Союз и приняли вопреки моим страхам, с редким единодуши-

ем и таким количеством комплиментов, что всякая речь сбивалась на надгробную, и постороннему слушателю могло показаться, что речь идет по меньшей мере о кончине Белинского. Хорошо, что во мне нет этого органа, усваивающего похвалы, а то Бог знает что мог о себе подумать.



Теперь дело за московской комиссией.

Приехала на две недели мама. Это дало мне возможность сесть за стол и заняться сочинением про «медленную» прозу. И опять мы вспоминаем Чусовой, и опять я уверяюсь, что ничего дороже этого города и воспоминаний, связанных с ним, у меня уже не будет. Я опять собираюсь туда погостить. Вот вернется мама домой, жена уйдет в отпуск, чтобы побольше времени проводить с сыном, и поеду на недельку-другую. Наверное, это будет зима. Погляжу зиму (у нас-то ее не бывает совсем). Извелся весь, а уж тем более горы, лыжи, елки наши и пихты в снегу и дальние лыжни за Архиповкой... Сердце дрожит от нетерпения и тоски, словно я уже уезжаю. Всегда меня мучает эта ненасытность — не успел приехать, а уж думаешь о прощании, и красота становится совсем нестерпимой и причиняет страдание.

Не соберетесь ли Вы когда-нибудь, Виктор Петрович? Марья-то Семеновна, поди, тоже тоскует?

Каково было в деревне? У нас тут что-то недели полторы лили такие дожди и дули такие ветры, что мы уж и веру в солнце и вёдро потеряли. Ни читать, ни писать, ни думать, только обхватить голову руками и раскачиваться из стороны в сторону. Не приведи Господь повторения этих дней!

Спасибо, спасибо, Виктор Петрович!

Самый сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

2 декабря 1977 г.

Дорогой Валентин!

Были у меня очень запарные дни. Я заканчивал, готовил для печати, редактировал, вычитывал и т. д. «Последний поклон» — весь! На исходе сил все делал, почти больной от усталости и подлой погоды. Увез книгу в Москву. Думаю, пока читают в издательстве, хоть в театры похожу. Куда там! Навалилось какое-то воронье из газет, из полудрузей, просто людей любопытных и спать-то не дают, а тут еще с кино надо было помогать, да и друзей-то хоть немного повидать. Трижды выступал, редколлегия журнала была и еще какие-то дела. И все в голос: «Вы должны!» Я уж в Академии общественных наук выступая, ляпнул, что все время и всем должен, а мне почему-то никто и ничего...

Погода была ужасная. Дважды за месяц полежал. Было пятилетие со дня кончины Я. В. Смелякова, узким кругом ездили на Новодевичье. Шел проливной дождь, а хотелось и Александру Трифоновичу *[Твардовскому. — Сост.]* поклониться, и к Василию Макаровичу *[Шукшину. — Сост.]* завернуть. Завернул, спрашиваю: «Ты чего ж, Макарыч, в такую сиротскую зиму здесь один лежишь? Зачем тебе это нужно?..» Молчит, смотрит с портрета печально, как бы говоря: «А что делать, земляк? И ты ляжешь. Между прочим, здесь нисколько не хуже, чем у вас, даже потише маленько, и все, воистину, равны»...

Отредактировав книгу, я тут же вернулся домой, никого не навестив, нигде не побывав ладом. Не осталось сил. И начал спать и есть. Сплю и ем. Вся работа! Мне особенно сон нужен. Еда ни к чему бы. Я совсем растолстел от сиденья по 10-12 часов за столом. Я ведь и старые главы «Поклона» все перекромсал. Новые идут в следующем году в первом номере «Нашего современника».

Книжку твою славно и на старинный лад пере-

плетенную получил. Поблагодарить не выбрал времени. Делаю это сейчас. Спасибо! Одну книжку отдал главному редактору «Современника» — может, переиздадут? Но им нужно листов восемь-десять, что-то придется добавлять из других материалов, если они, конечно, не забудут. Сейчас обещания ничего не стоят.

Мечтал посидеть дома. Почитать, отоспаться и укатить в Сиблу. Если буду здоров, так и сделаю. За зиму съезжу лишь на встречу к друзьям-фронтовикам и, может, быть в Киев, на совещание писателей, освобождавших Украину, — это, наверное, будет интересно. А в остальное время отдыхать, отдыхать — усталость даже в костях гудит или поет.

В декабре должны сдавать наш фильм. Название его так и осталось мне не к душе: «Сюда не залетают чайки» (хотя были и лучше: «Сретенье» — режиссера, «Запах земляники» — мое). Телевиденье подбивает меня на две серии «Пастушки», уже утверждено в плане. Я сказал: «Пока не увижу режиссера, не поговорю с ним, моего согласья нет и не будет...»

Боязно!

Фетин в Ленинграде начинает подготовку к съемкам фильма «Сон о белых горах», но это все по чужим сценариям, а «Пастушку», если делать, то только сам. Я теперь понял точно: в сценаристах, обработчиках чужих книг околачиваются халтурщики и дельцы — таким и оказался пройдоха Трошкин, автор сценария по «Перевалу», за которого все равно пришлось работать мне и режиссеру. Этот же режиссер мечтает поставить «Последний поклон», вот почему я хочу, чтоб ты посмотрел этот фильм по «Перевалу» и сказал мне — стоит ли доверять самую мне дорогую и теперь уже очень серьезную книгу?

Посмотришь, напиши подробно. И подробно о Чусовом, ладно? Я туда не скоро соберусь.

Внук наш Витенька хорошо растет, потрошит все, что может, от стен квартиры и до книг.

Ну, Валя, бодрый будь! Что-то меня пугнуло твое последнее письмо.

Поклон твоим домашним от меня, Ирины и всех наших.

Я обнимаю тебя.

Твой Виктор Петрович

14 декабря 1977 г.
г. Чусовой

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Вот уж неделю хожу считаю раны: в прошлый приезд еще доживал «дом холостых», а уж нынче там один пустырь и уже подхватывается лебеда и опустел косогор от Школьной улицы вниз — к заводу; умерли целые улицы частных домов, где жили многие из моих друзей; теперь прямятся прутики будущих деревьев и лежит черный снег. Но сама Больничная Гора стоит незыблемо, все улицы неизменны, только пригасла жизнь — отчего-то все время зябнет спина: так пусто — ни детей, ни взрослых, тихо и пусто, и дома глядят скучно и слепо, словно неживые. Память моя ходит, поеживаясь, и улыбается редко.

А Ваша улица за линией неизменна — те же черные дома, собаки, обледенелые колонки, стайки ребят с салазками и окраинный, полудеревенский уют. Когда бы я знал наверное, где Вы жили, снял бы на карточку. Пока же просто снял кусочки улиц Партизанской и Транспортной — самых длинных и живописных, — это ведь где-то рядом с Вами. Пока не знаю, что выйдет из моих карточек — мерзнет затвор у аппарата — здесь за минус 25 выходит, а ночью и минус 37! Но, Бог даст, что-нибудь и полу-

чится, тогда уж непременно пришлю. Рисовать-то в такую погоду нельзя, да я уж с отвычки и простудился, а карточки еще лучше.

Чувство как всегда странное — я вдруг понял, что сейчас не смог бы воротиться сюда. От одной мысли вздрагиваю. Где угодно проживу — в деревне, на пустом кордоне, а в Чусовом — нет. Нельзя, оказывается, рвать свою духовную историю — воспоминания заселяют дома, улицы, горы за рекой и к ним нельзя привыкнуть — нельзя сделать дома просто домами, улицы — улицами, они так и останутся кладбищем воспоминаний, словно за стеклом стоят: видеть видишь, а войти нельзя.

Вот в Новом городе, где, наконец, мама с папой получили квартиру, чтобы хоть в 70 лет освободиться от мысли о дровах, можно жить спокойно: дома как дома — как везде. Никаких воспоминаний — ничьи улицы, а в старых хоть не ходи, возвращаешься разбитый. Чусовая не ожила даже в осенние дожди — русло совсем сухое, лед только кое-где, а так ветер обдувает камни. Не знаешь, как сказать: острова — это уже скорее о воде, кое-где по руслу лужицы: смотреть больно. А лес все тонет и тонет по реке и гниет и валяется по берегам — впечатление погибели и разора. Вверх мужики поднимаются только по полой воде, а летом все винты обобьешь и с полдороги вернешься, рыбы почти нет, не терпит она гнилого дерева, в особенности березы.

В остальном же все как во времена Салтана — вечная грязь, сажа. Колоннады дыма подпирают небо, создавшееся из того же дыма. Все родное, страшное, нестерпимое и дорогое. И все реже, реже круг друзей, обрываются то там ниточки, то здесь — через неделю домой! Как славно было бы застать от Вас по возвращении весточку — здоровы ли, все ли хорошо. Я уж давно ничего не знаю — вот и беспокоюсь.

Ваш Валентин Курбатов

1978

29 января 1978 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Пришла весть из приемной комиссии СП СССР — 19 голосами против одного меня приняли. Я бешено благодарю Вас за добрые слова, которые Вы сказали в рекомендации, и во всяком слове буду помнить об ответственности перед Вами. Может быть, Бог даст, со временем благодаря этому приему переменятся мои домашние условия, я начну побольше и поспокойнее работать. Сейчас, впрочем, тоже жаловаться грех. Сын здоров, ходит в ясли, и я мо-



гу работать без оглядки, не отвлекаясь ежеминутно. Если бы еще только регулярно платили, а то написать-то напишешь и даже напечатают, а когда еще получишь — особенно тяжело далось вот это начало года, хотя именно его я видел недавно спокойным и обеспеченным. Теперь понемногу дело выправляется.

Я уже и забыл, посылал ли я Вам цветные диапозитивы (одну пленку я снял в Чусовом, получилось на ней совсем немного, но все-таки несколько кадров есть). Сам-то я купил в Чусовом диапроектор и теперь, как ребенок, разглядываю снятое размером в целую стену и вновь возвращаюсь в декабрь, в первые морозы, в счастливо-растерянное состояние, в котором бегал по городу.

Прием в Союз и обрадовал, и обеспокоил меня — теперь ведь придется ходить на собрания и как-то участвовать в том, что называется общественной жизнью, между тем я от этого отвык, сделался совершенным затворником. Я тут не боец. Мое поле сражения — бумага, собеседование о насущном без истерики и частностей личного свойства.

Я тут на днях увидел номер «Нашего современника» с «Последним поклоном», и сладкая тоска сжала сердце. Опять захотелось в счастливую неуютную весну Сиблы, в тепло дома, когда печь уже прогорела и Марья Семеновна вяжет в углу, а Вы читаете за столом, набросив старое пальто, «Гори, гори ясно!», а я, как бедный Сальери, «слушал и заслушивался, слезы невольные и сладкие текли». А тут еще Городецкий прислал Ваши фотографии из Овсянки, полные какого-то грустного полусвета, покойного вечера, словно все сняты в чуткий час сумерек, и написал при этом, что Вы строите в Овсянке дом и обещаете новоселье. То-то бы напроситься и увидеть Вас, увидеть Сибирь, услышать то заветное слово, которое она шепчет всякому вни-

мательному уху (или все-таки не всякому даже и внимательному), а только тому, чье сердце готово для этих просторов и этой тайны и не разорвется от шири и не сожмется от страха потерять свое конечное «я».

Вы невольно стали моим Вергилием по Сибири (это я себя Дантом возомнил — чего не сморозишь в грустную минуту, когда подкрадется одиночество и заставит искать дружеского привета, чтобы не оглохнуть от одиночества).

От Вас давно нет ни слова. Вы, видно, в деревне, среди снегов? Или дела повлекли Вас в Москву, а там уж, конечно, не до писем, там ритмы редко совпадают с биением сердца.

Сердечный привет Марье Семеновне и веселую «козу» внуку Витьке.

Ваш В. Курбатов

Январь 1978 г.

Дорогой Валя!

Очень рад тебя поздравить со вступлением в Союз! Дело это вроде и формальное, да нужное — отныне уже ты не партизан и диверсант-одиночка идеологического фронта, а организованный член, которого и поприжать можно в случае чего, и пенсией поманить, и вообще утвердить в праве самосознания, что работу работаешь, а не лапти плетешь, и можешь за эту работу получить пряник или плеть. Пряник дают всегда уже кем-то облизанный...

Наверное, со временем тебе надо перебраться в Москву и устроиться на службу, т. е. устроиться на службу и с помощью ее перебраться в Москву, получив за службу квартиру. Думаю, что критику в та-

ком глухом городе, как Псков, не житье, зачичереveешь, усохнешь мозгом.

У меня должно выходить собрание сочинений в четырех томах в «Молодой гвардии». Сперва намечали первые два тома на 80-й год, но теперь разделили по тому и первый намечают в 79-м году. *[Все тома вышли в течение 1979—1981 гг. — Сост.]* Я, когда меня спросили насчет автора вступительной статьи, назвал тебя. Сделать это тебе не так уж и трудно на основании книжиц, а объем статьи где-то в пределах двух листов, значит, и подзаработаешь маленько. Это если издатели не найдут кандидатуру «по своему сердцу».

Читал ли ты мои новые главы из «Последнего поклона» в «Нашем современнике»? Мне очень хочется узнать твое мнение. Я много сил вложил в них, и из-за них мне пришлось сильно дотягивать первую книгу. Буханцев, критик, уже написал о главах в «Литературной России», но так умно, как будто речь идет о передовом методе производства больничных костылей, а главное — преподаватель ведь, словесник! Кандидат наук — и читать не умеет, купился на моем «французском» тексте. Плел я там за покойного дядю всякую романтическую хреновину, подставив к ней доподлинное имя маркизы Дебель-иль из Дюма-младшего, корректорши эту хреновину закавычили, и ничтоже сумняшеся критик упрекнул меня за то, что неграмотный этот дядя шпарит этакими изысканными цитатами... Я сразу вспомнил почему-то с ума меня сводившую когда-то деревенскую песню, точнее, «жестокий романс», к которым так склонны до се мои любимые гробовозы: «О боже мой, что делает привычка! О боже мой, что делает любовь!..» В данном случае, любовь к примитивизму.

Все твои фотки получили, смотрели и смотрим их с умилением, а слайды ты не присылал.

Нынче, узнав, что я «отдыхаю», навалились на меня с рукописями, книгами, статьями и пр., и пр., да и посещают народы. Сейчас гостит в Вологде с женою вместе Николай Николаевич Яновский. Он пишет обо мне монографию аж на 12 листов для «Советского писателя». Мне его жаль даже, ведь это же не роман, где тут 12-то листов наскрести. Но он говорит: «Я привычен». Я очень уже давно знаю Николая Николаевича, связывает нас давняя симпатия в общении, он — милейший человек, встреча с ним для меня и для души — большая разрядка и удовольствие.

Потихоньку готовлюсь ехать в Казахстан, в Темиртау, с заездом в Орск — решили мы, четыре фронтовых друга, пока не поздно, собраться и повидаться. Двое из четырех живут в Темиртау, вот и соберемся у большинства. Поскольку я очень упорно мечтаю писать о войне и поскольку один из четырех меня вытащил с поля боя, а одного из четырех — я, и нынче весной побывал в Польше на том месте, где его тащил-то, бедолагу, то много жду от этой встречи. Все же самые верные люди в моей жизни — да и в моей ли? — оказались братья-фронтовики, те, с которыми горе мыкали в окопах. Смог вспомнить, что с тем, которого мне предстояло вытащить на горбу в Польше, мы при первом знакомстве подрались и, конечно, будучи более тренированным в детдомовских драках, я ему навтыкал. И вот через много-много лет вспомнил я ту драку и коснулся знакомого «образа» в главе «Соевые конфеты», причем произошло это подсознательно, о Ване, моем друге, что живет в Орске, и о том, как мы с ним дрались — а был он младший сержант! — я вспомнил уже после того как главы были напечатаны... Дети все же были мы. По восемнадцать лет. Подумать и то жутко, что это такое — восемнадцать-то лет?!

Ну поклоны твоим большим и малым! Обнимаю, еще раз поздравляю.

Виктор Астафьев

P. S. А картину везде приняли на «уру» и дали ей 1-ю категорию. Видно, все, что делается без претензий на «великое», и получается ладом...



7 февраля 1978 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за весточку! Собрание сочинений — это прекрасно! Должно быть, что даже немного страшно, потому что это ведь переход в иное качество, на другие горизонты нравственно-художественной ответственности. Начинает маячить где-то неподалеку слово «классик», и от этого, наверное, временами зябнет спина. Я был бы счастлив попытаться написать предисловие, но, конечно, страшно и думать о такой чести и страшно надеяться, что издательство осмелится поручить это дело неизвестному человеку. Но за доброе слово, которое Вы замолвили, — спасибо! Оно для меня дороже заказа.

Что же до Вашего совета переезжать в Москву, то на это я не согласился бы даже в том случае, если бы мне давали квартиру прямо сейчас. Во мне уже неистребима деревенская кровь, и в Москве я чувствую себя скверно — дольше трех недель я там выдержать не в силах.

Еще менее я хотел бы служить в журнале или издательстве, как и вообще служить, потому что еще сейчас, вспоминая молодежную газету, просыпаюсь в холодном поту — какая пропасть неизбежной лжи, всеобщего притворства, торжествующего невежества. Сохрани Бог! Потом я не умею разговаривать с «авторами», особенно если это те девяносто процен-

тов хозяев жизни и литературы, которые все знают наперед и чьи мобильные алтари могут меняться ежедневно.

К тому же я вовсе лишен честолюбия и слава не искушает меня. Я ведь очень хорошо знаю свои небольшие силы, и они как раз пропорциональны Пскову. Что же до усыхания мозга, то мы ведь с Вами знаем, что города тут ни при чем — во всяком случае пока собеседования с моими московскими журнальными коллегами не вызывают у меня комплекса неполноценности. Их информация может быть пестрее, но редко глубока и основательна; вертикаль самосознания к Богу они заменяют горизонталью — кто шире разведет руки при разговоре об объеме знания. Для меня Москва обратилась бы в бег в мешке, торопился бы, путался и истрепал мозг вдвое скорее. Нет, я посижу тут.

Окончание «Последнего поклона» еще не прочитал. Отвлекает срочная работа, которую кончаю недели через две. Конечно же, напишу по прочтении. Очень завидую Яновскому, тому, что он рядом с Вами.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

11 мая 1978 г.
Вологда

Дорогой Валентин!

Я тут на полмесяца выскакивал в Сибирь, встретить весну и повидаться с родными. Там, в родной деревне, и Пасху встретил, и 1 Мая. В Пасху ночью стреляли по старому обычаю, пальнул и я два раза. Деревня отводками, гнездышками еще живая, судя по разрозненным выстрелам. А вообще ни с чем не

сравнимое это диво — ночь весенняя, звездная, шум вод в горах, тень лесов и вдруг пальба, какая-то не боевая, пусть в удаль, озорство ли, а тревоги никакой. Я и разговляться не велел меня поднимать. Пришел, упал на кровать и уснул крепко-крепко, успокоенный и мирный.

Да, зимою мы с Марьей Семеновной съездили к фронтовым братьям. Большое дело сделали. Поездка получилась, иначе и не скажешь, святая и к святым. Когда-нибудь расскажу, а писать? Разве напишешь?

Все думаю о военной книге. Намечается большая, вроде трилогии, есть какой-то уже план в голове, вертятся и люди, некоторые с лицом даже. Делаю «Затеси», пишу потихоньку пьесу *[речь идет о пьесе «Прости меня», впервые поставленной в Вологодском драматическом театре. — Сост.]* и подбираю книгу публикаций, все дела, дела, без них как же? Внук растет и радует деда с бабкой. Не знаю, как месяц и выдержу без него в Крыму. Я и за один-то день успеваю о нем соскучиться.

В Сибле еще не был. Ездила туда Марья Семеновна, прибралась, выспалась. Летом и я туда заберусь. С середины июня. Может, подъедешь? Видел твои миниатюры в «России», но не читал еще. Бегаю, кручусь. У нас еще завтра отчетно-выборное собрание, так и присесть некогда.

Поклонись жене, поцелуй сына. Если что забыл отписать, извини. Весь раздерган.

Обнимаю тебя, желаю хорошей работы.

Виктор Петрович

Да! Прочел твою статью в «Литературном обозрении», хотел сразу же написать, но отвело и теперь уже не собраться. Статья очень оригинальная, но это все-таки лишь начало каких-то твоих больших рассуждений о литературе...

4 Заказ 4198

31 июля 1978 г.
с. Глубокое

Дорогой Виктор Петрович!

Предисловие вернулось ко мне из издательства с добрыми словами и с уже знакомым условием — «углубить социальное звучание». Ах, это социальное звучание! Вечно у меня с ним нелады — никак не обогащу словаря кровельной основательностью. Замечаний на полях совсем нет, что меня чрезвычайно огорчило, и я пустился злобно всматриваться в текст, ища, что им так не понравилось, раз они ни разу не раздосадовались, не отчеркнули какой-нибудь строки или не поставили сорвавшегося из-под пера вопроса.

Думаю, что к середине августа я с Божьей помощью справлюсь с переработкой и тотчас вышлю. Они подстегивают меня тем, что первый том не запускается в производство именно из-за этого подлого «социального звучания». Буду поворачиваться.

Закончу и поеду домой, так что если выберется время хоть на короткую весточку, посылайте ее уже в Псков.

Каково лето в Сибле (если Вы в Сибле)? О нашем лучше не говорить — ничего скучнее я, кажется, отроду не видывал.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

12 октября 1978 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Холода, верно, выгнали уже Вас из Сиблы? Деревья голы, ветер гоняет воду по лужам, и душа сжимается от одного вида небес.

У меня наступает ежеосенний декадентский период, когда к столу надо тащить себя силой. Тоска обступает с какой-то злобной энергией, предчувствуя, что я опять начну сопротивляться.

У меня к Вам просьба, Виктор Петрович. Есть у нас на севере области, в маленькой деревеньке Лог, народный мемориальный музей Ал. Алтаева. Это псевдоним Маргариты Владимировны Ямщиковой, написавшей едва ли меньше ста книг, а вот теперь ускользающей из памяти неостановимо. Между тем мы с Вами в разное время, если вспомнить, сталкивались с ее книгами, потому что писала она не о пустяках. Именем Ал. Алтаева подписаны книги о Глинке и Чайковском, Леонардо и Рафаэле, Аракчееве и Савонароле. Просветительская ее душа торопилась познакомить нас со всем миром. Может быть, у Вас даже и есть на полках что-нибудь Ал. Алтаевское.



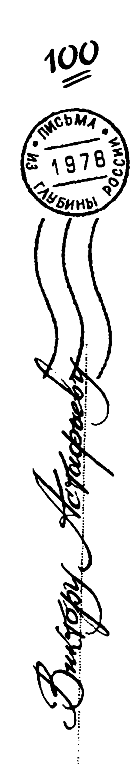
Так вот, я назначен нашей писательской организацией (по собственному, правда, почину) кем-то вроде общественного смотрителя. Понемногу обновляю экспозицию, приглядываю за домом, которому уже без малого 200 лет. И вот решил еще, чтобы укрепить память об Алтаеве, собрать небольшую библиотеку книг с автографами для музея, чтобы посетитель видел, что имя это не вовсе глухое для нашей литературы, а то приходят молодые нигилисты, сами не написавшие ни строки, и высокомерно поглядывают на умирающий труд Алтаева. Надпишите, пожалуйста, что-нибудь и пришлите мне. Я скоро поеду туда — отвезу. Именуется музей (для надписи): «Народный мемориальный музей Ал. Алтаева».

Постучался я пока еще к В. Каверину и Г. Семенову. Я ведь никого пока в литературном мире не знаю. Если кто-нибудь из вологодцев еще не пожалеет своей книжки (Коротаев, Романов, Белов), я

был бы счастлив, а музей искренне благодарен (хотя пока я и музей в одном лице. Штата там нет, присматривает соседский старичок, бывший директор местной школы).

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов



7 ноября 1978 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Насилу дождался сегодняшней «Правды», чтобы проверить списки лауреатов *[речь идет о присуждении В. П. Астафьеву Государственной премии СССР за повествование в рассказах «Царь-рыба». — Сост.]*. Слава Богу! Победа за нами! Я осмеливаюсь на это наглое притязание, потому что тоже летом шепнул в «Советской России» благодарственное слово «Царь-рыбе».

Поздравляю, поздравляю, Виктор Петрович, — со всею искренностью, любовью, с двойною благодарностью уральского земляка. Эти чусовские годы словно дают мне право на гордость. Есть еще в этой радости оттенок, который я не сразу могу объяснить. Как и Вы, перешагнувший из сословия крестьян и пролетариев в сословие сочинителей, я порядочно утомлен этим переходом и временами так душевно устаю, что готов бросить все и вернуться в родные пределы простых обязанностей и более посильной ответственности. Но погляжу на Вас, вспомню Вашу работоспособность и сизифово послушание за столом и устыжусь своей слабости и снова понемногу подвигаюсь вперед. Поэтому я и говорю «наша взяла!», и во мне сил прибавилось.

Какой сегодня пир в Вашем доме!

Я не буду услышан за хором здравиц, но в общем громе прозвенит и мой бокал. Я сяду тихонько на кухне и выпью один, и серый день за окном не будет знать причины, но Вы неожиданно икнете за столом.

Самым сердечным образом я поздравляю и Марью Семеновну, потому что только мы с Вами знаем, сколько ее труда в этом высоком отличии, труда душевного и физического.

Прочитал корректуру своего предисловия. Там есть хорошие страницы, но финал, как я сейчас замечаю, невнятен и скороговорчив. Я вообще не люблю прямых выводов и деклараций, надеясь на чутье читателя, поэтому, когда ставится задача обобщения, всегда чувствую себя плохо. Это не могло не сказаться.

Впрочем, не будем сегодня говорить о досадном.

Будем радоваться и оглашать небо звоном бокалов!

С сердечным поздравлением

Вал. Курбатов





6 февраля 1979 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вы, верно, уже дома... Что с давлением? Выровнялось ли? Поправились ли Вы в оставшиеся переделкинские дни? Очень я жалею, что не смог приехать хоть на час-другой. Да, признаться, и боялся. Что-то мне показалось на встрече в Ленинке, что я своим вниманием, своей молчаливой робостью не то что повредил Вам, а лишил вечер интонационной чистоты, удачливости, внутреннего единства. И выступающим, и Вам пришлось словно заглаживать

мою беспомощность. Я почти наверное знал, что так и будет, да все надеялся, что обойдется, если я шесть лет не вижу перед собой более трех лиц кряду и никогда не бываю ни в редакциях, ни в других организациях. Отвык... И чем далее, тем более замыкаюсь...

Встреча была мне хорошим уроком, и больше я уж на публику не полезу, хоть на веревке тяни. Это уж, видно, неизлечимая моя болезнь. Зашел в ЦДЛ, дошел до буфета, посмотрел на уверенные лица, бойкую перекличку всеобщего знакомства, смутился от какой-то разлитой в воздухе высокомерной кастовости и так и не решился спросить себе поесть — собрался и ушел ни с чем к уличным пирожкам. Больше не пойду. Последние месяцы что-то тяжелы для меня. Какой-то стержень потерялся. Или мелочь замучила, эти коротенькие рецензии, изнуряющие меня до отчаяния и требующие сил, которых достало бы на статью. Но я и рецензиям рад, потому что и они перепадают все реже, и иногда так хочется работы длительной, спокойной, обстоятельной — может быть, душа-то выправилась бы.

Написал было статью о нарциссизме современной прозы, мучился над ней, времени потратил уйму, а оказалось, что имена избрал не те — Катаев, Окуджава, Аксенов, Битов. Все как на подбор из неприступных то с одной стороны, то с другой, и еще этот чертов «Метрополь». И теперь уж неизвестно, когда выпадет возможность над статьей поработать, а не над цветными стекляшками рецензий.

Показали у нас тут «Районные будни» Белова. Спектакль вышел такой скверный, что вот уж третий день от чувства неловкости не отделаюсь, словно при какой-то публичной мерзости присутствовал — комедию сделали, театр абсурда, частушечки, цитаты из Мичурина и Людвига Ивана Бетховена (это уровень шуток), крик, бесстыдство, распущенность.

Бедные пьесы — попадешься вот в такие молодежные руки, наплачешься.

Ну, да все это вздор. Главное, как Вы себя чувствуете? Скорее бы уж февраль проходил — у меня у самого сердце криком кричит, не повернуться. В феврале всегда так. Скорее бы весна, деревья, трава...

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

27 февраля 1979 г.
Вологда

Дорогой Валя!

Из всех провинциальных литераторов (включая и меня тоже), мне известных, ты самый из них мнительный и ранимый, хотя комплексами всех нас Господь не обидел.

Ну отчего ты вбил себе в голову, что «все испортил»? Чего и портить-то? Давно уж все испорчено, еще до твоего рождения. Все было нормально, как может быть «нормально» в современной жизни, говорили люди, даже «хорошо». И зачем этой суете, этим мелочам все мы придаем этакое значение?! Вот добраться до бумаги по-настоящему с осени не могу, это беда, а остальное...

Тесно, глухо, совсем уж, видать, одиноко тебе в псковской провинции-то? Знаю, жил, живу в ней, проклятой. Но вот был я в те же дни, как и ты, в Москве в гостях у Великого артиста Михаила Александровича Ульянова, в самом центре Москвы, в квартире, стараниями жены его и тяжкими трудами артиста добытой и прилично обставленной. Вроде все есть, слава, внимание со всех сторон, сердце, не до конца разбитое и растраченное на публичный рев во время всяких громких политмероприятий, и день-

жонки, хоть и не вдосталь, а водятся, пить давно бросил, не курит, не гуляет. И вдруг среди доброй беседы, горестно изогнув подковой нижнюю губу, любимец публики и партии заявляет: «В Москве живет восемь миллионов одиноких людей...» Это его доподлинные слова! Я аж притих и ужался в себя.

А потом думал, думал и додумался — да ведь и во всем-то мире сплошное одиночество! «Век двадцатый, век необычайный» разъединил вовсе людей, хотя ожидалось наоборот — теперь уже «деревенская глушь» нам, оглушенным ревом и грохотом цивилизации, кажется не просто тихим раем, но еще средоточием людским, тесным родством, общением. И ведь церковники-то не дураки были, все праздники строили так, чтобы люди выпадали из нор и братались. Великая певица Обухова говаривала: «Христосовались! Да! Все кряду. Уж такой ли, бывало, золотушный парнишка попадется, что меня, дворянскую барышню, Баратынского внучку, барыню в кружевах, с души воротит, а целуешься троекратно со всеми кряду, подарки бедные принимаешь и сама даешь... Куда же денешься? Это же жизнь. Это уважение не только твое к народу, но и народа к тебе, а его ох как сложно заслужить. Это ведь вы там в современной литературе напридумывали Бог весть что о барах и крестьянах... Не читаю я ее. Ложь там, ложь сплошная. Если б по-вашему все было, так Россия давно бы погибла».

Н-да-а, а зиме-то конец скоро. Как ни лютовала матушка... От каждой весны ждешь чуда, какого-то воскресенья и воскресенья, а она придет, бурлит ручейками и вот уж умчалась в лето, а лето мелькнет зеленым платком, и вот уж дохнуло тоской, печалью...

Я так сейчас более 10 дней нигде не могу выдержать, тоска загрызает, что окопная вошь.

Не знаю, верно ли я поступил, но записал тебя в

свою «команду», не спросив на то твоего разрешения, — с 20 по 26 марта в Москве совещание молодых писателей. Я руковожу одним из семинаров и попросил включить в число руководителей несколько близких мне периферийщиков. Все оплачивается — дорога, жилье, банкет. Нагрузка небольшая, будет много речей, лекций, а работы всего три дня. Можно поделать какие-то дела в Москве, а главное, при сборище всех издателей я смогу тебе подыскать работенку, чтоб хоть денежное угнетение не так тебя давило. Да и поговорим маленько. Может, и в Вологду заедешь. Ну, там видно будет. Не сердись, что завербовал тебя, не спросясь. Не было времени. После Москвы летал в Ленинград — смотрел материал фильма по «Сну о белых горах». Наснимал человече 3,5 часа, а надо 1,5 часа — вот и не знает, что теперь делать. Все жалко выбрасывать. Потом я все же выбрался на 3 дня на рыбалку, на лед, и вот помаленьку привыкаю к столу.

Не хандри!

Поклон жене, ребятенку.

Обнимаю.

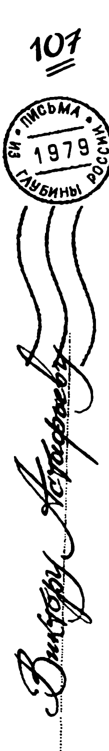
Виктор Петрович

5 марта 1979 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Огромное спасибо за письмо. И в особенности за приглашение на совещание. Увы, мне не удастся им воспользоваться. Жена уезжает на какие-то обязательные курсы, и месяц мне придется провести с ребенком вдвоем, а он еще и прихварывает, кашляет. А очень было бы надо поразговаривать с молодыми писателями. Я ведь уже и читать много не успеваю, а тут как-то сразу география знания, тайные

течения литературного процесса делаются ясны. Деловых же встреч я обычно на таких семинарах избегал. Бог весть почему, не умею я разговаривать с издателями и редакторами — оттого и предпочитаю жить перепиской. Работы в общем достаточно, смущает меня только ее мелочность — рецензии, небольшие статьи. Так было бы славно написать о ком-нибудь книжку. Именно о ком-нибудь, а не о проблемах. Во-первых, проблемы нехороши тем, что до конца ничего сказать нельзя, а вполовину скучно, а, во-вторых, такие книги обычно невыносимо скучны, что, очевидно, зависит от во-первых. А вот что-нибудь монографическое — как раз мне по руке, потому что я ведь, как Вы, вероятно, заметили, и не критик вовсе, что не люблю я оценок, скучны они мне, а люблю я вольное скитание в окрестностях природы, собеседование одновременно с героем сочинения и с читателем, что есть путь, идущий более от прозы, чем от критики, за что часто и попадает и почему нередко «в профиль» не попадаю. И хорошо бы не о нынешних писать, а о какой-нибудь провинциальной классике: Телешове, Слепцове, Писемском. Возвращать России ее дивную литературную провинцию, загороженную тогдашними гениями и нынешним сором, а между тем глубокую, умную, очень нравственную и корневую. Да ведь где на это покупателей найдешь.



Съездил от «Литературной России» в Кострому на конкурс документальных фильмов о Нечерноземье. Мероприятие вышло торжественное и глупое. Каждый в фильме скрытничает, как может. Все больше рассветы да закаты, петухи да рябинки, словно иностранцы снимают. И все, судя по фильмам, замечательно, хотя та же Кострома, в которой все это происходило, — на 68-м месте в СССР по состоянию дорог и по нескольку месяцев не может пробиться в некоторые районы ничем кроме верто-

лета и радио. Надоят на ферме три фляги молока и везут их тракторами несколько километров, пока масло не собьют...

Впрочем, ведь и в Вологде не лучше. Да и у нас, хоть дороги и повеселее, тоже состояние грустное. Э, да ладно, лучше сердце не травить.

Сердечный привет Марье Семеновне, а внуку — веселое целование.

Ваш Вал. Курбатов

30 марта 1979 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Как Вы дотянули до конца? Мне семинар дался очень тяжело. На две последние ночи я оторвался из гостиницы, потому что курдские притязания на автономию (а я делил номер с курдом) делались все агрессивнее, воздух номера становился электрическим, повеяло заговором, переворотом, восстанием — время от времени какой-нибудь Карим или Ширали вскакивал и из глаз его сыпались перуны: «Пачэму мы здэс сыдим, когда нашы братья!..», и незримое знамя осеняло ночное пьянство, а утром мелькали вдруг из-под полы очередного визитера золотые кубки времен Алексея Михайловича и орлий клекот курдской речи в углу звенел астрономией невероятных цифр — и рубли, рубли, рубли... Одним словом, я убег.

Но больше-то всего мне опостылел как раз семинар — скука рукописей, суетливое, дурно спрятанное честолюбие на месте истины, словесная неопрятность. Вообще вся затея дурная, скверно продуманная и не то благословляющая, что следовало бы благословлять. Уехал как обворованный, увидев на том месте, где предполагал увидеть развитие, одну

малоосмысленную толчею на одном месте.

Или я действительно зачитался — все, что ни открою, кажется чужим, известным. И это не у одних молодых — я уж на полки боюсь глядеть. Видно, надо прерваться, охолонуть, а то ведь и ненавистником стать недолго. Жаль, что Вы так и не поговорили с моим ленинградским товарищем по поводу «Невы». Он человек ума редкого, тонкого, благородного. Разговоры с ним — общение совершенное, когда от ума требуется высокая собранность, когда Дух должен быть ясен и легок, тут беседа равна творчеству, радостно-изнурительна, какой, впрочем, и должна быть беседа.

А приезжал этот человек специально поговорить с Вами. Может, и правда что-нибудь предложить новому редактору «Невы», раз уж он так хочет славы мученика и так ищет борьбы. Мне кажется, Вы не все опубликовали из «Царь-рыбы» (помнится мне, пролетела там черная тень «дядюшки Джо» то ли в виде корабля, то ли в виде памятника), вот им бы и предложить. А вдруг ему и правда что-то удастся напечатать из трудного, у новых редакторов это бывает.

Если будете посылать, хорошо бы на имя этого моего товарища. Он как раз редактор отдела прозы, и было бы ясно, что ездил он не впустую. Зовут его Лурье Самуил Аронович (мне почти нравится эта лабораторная чистота имени). Или напишите ему два слова, что пока ничего нет, что в случае чего... и т. д. Очень смешно ответил на его просьбу Сергей Павлович Залыгин: «Да ну, чего говно-то печатать!» Тут уж ему ничего не оставалось, как только заметить: «Это смотря чье!» Сергей Павлович хмыкнул: «Ладно, пошли, попахну!»

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

27 мая 1979 г.

Дорогой Валентин!

Наконец-то я в Сибле и наконец-то сделалось потеплее, подсохла зелень, убыла вода, немножко клюет рыба, и внук мой подзагорел, поправился, спит и ест хорошо, хотя бабке с ним и хлопотно.

Я сюда приехал из Москвы после записи на телевидении в передаче «Творческий вечер» — запись шла три с лишним часа, и я лежал пластом после этой работенки, а Михаил Александрович Ульянов по телефону меня спросил: «Ну и как наш хлеб, Виктор Петрович?»

Получил я сигнальный экземпляр первого тома, здесь, в деревушке, налюбовался им и без торопливости прочел твое предисловие. По-моему, написано ладно и складно, как надо — это и не статья, и не очерк, а слово и только.

Получил и первый отлуп из «Нашего современника» на «Зрячий посох» — он для меня никакой неожиданностью не сделался. Я знал, что едва ли сейчас напечатают вещь в том виде, как она есть, но редакцию, где меня будут меньше кастрировать, все же поискать следует. И я подумал о «Неве» и о том парне, про которого ты говорил. Не думаю, что они храбрее других, а попробовать можно. Все равно рукопись, как вернется, будет лежать в столе. А вот книгу вроде бы одобрили, и на той неделе приедет редактор в Сиблу с рукописью — станет редактировать.

Я и подумал: может, ты напишешь в «Неву» и если они оттудова официально попросят рукопись, я и пошлю (любительски-приятельски я давно уже рукописей не шлю — ничего хорошего из этого не выходит) — если ты им черкнешь, будет хорошо. Я хотя и улечу в Сибирь 10 июня, но дома Мария Семеновна остается и она распорядится, все сделает толком.

В Сибири я пробуду долго. Здесь думаю объя-

виться только в августе, а потом осенью снова двинуть туда, начинать роман надо. Тут нет уже возможности работать — издергали.

Но это все планы, а жизнь покажет.

Поклон всем твоим. Как лето проходит? Подписался ты на мой 4-томник или тебе выслать надо по тому?

Кланяюсь — Виктор Петрович

3 июня 1979 г.
Ленинград

Дорогой Виктор Петрович!

Только прилетел в Ленинград. По дороге прочитал Ваше письмо. Вот как раз и поговорю в «Неве» о «Зрячем посохе» — Бог ведает — вдруг расхрабрятся. Думаю, что завтра-послезавтра они рукопись и попросят.

Очень Вы меня раззадорили упоминанием о первом томе сочинений. Я уж и так и эдак подходил к магазину подписных изданий, но они все говорят, что подписки нет, и я очень подозреваю, что хотят попросту утаить. Просил о помощи нашего ответственного секретаря, он обещал похлопотать в книготорге. Может быть, что и удастся, хотя, конечно, нечего и говорить, как было бы грустно остаться без подписки. Если у Вас есть возможность оторвать от сердца один экземпляр, я был бы спокойнее. Что-то они мне до сего дня еще и не заплатили за предисловие, хотя обещали, как только сдадут в печать — как бы не позабыли, я на эти деньги надеялся.

Скажите, пожалуйста, адресок своего сибирского дома. Я скоро тоже в деревню переберусь, а там дни долгие, двадцать раз на день всех дорогих людей вспомнишь. И как тут не написать. Времени у Вас мое письмо много не отнимет, а я буду утешен.

Деревня моя на этот раз нехороша — жизнь будет хлопотная, суетливая, дела придется делать пустые, но такие уж взял обязательства, придется месяцем-другим пожертвовать.

Когда глядеть Вас по телевизору? Или они еще будут некоторое время руки-ноги отрезать, чтобы Вас в речи от Михалкова нельзя стало отличить?

Сердечный привет Марье Семеновне!

Господи, как я соскучился по Вам, по Сибле, по счастливо-спокойному домашнему сидению.

Ваш Вал. Курбатов

8 июня 1979 г.

Дорогой Валентин!

Вчера я получил из Госкомиздата первый том с письмом — поздравлением и какими-то добрыми и человечными словами от самого Б. Стукалина *[тогдашнего председателя Госкомиздата СССР. — Сост.]*. Растем!

Ни о чем не беспокойся. Коли не подпишешься, стану высылать по одному тому почтой, а подписать не могу. Это оказалось сложней моих возможностей.

Завтра улетаю в Сибирь и вскоре дальше — праздновать 50-летие Игарки. Очень жду и даже волнуюсь очень в ожидании встречи с городом детства, где не был 20 лет. Бежит время! Мой сибирский адрес:

663081 Красноярск,

п/о Овсянка,

ул. Щетинкина, 26 (мне)

Адрес тебе уже тоже знакомый. К сожалению, ныне мне там мало придется быть — в июне 50 лет Шукшину, собираемся с Марией Семеновной съездить туда, а в самом конце июня женится сын — надо быть дома. Август хочу побыть дома, повидаться с сыночком, а то он скоро уйдет в солдатики-детса-

довцы и уже будет принадлежать опчеству, а не нам.

«Зрячий посох» прихватываю с собой. Отредактировали книгу публицистики и, чтобы оставить название, напечатали отрывок в 12 страниц из «книги воспоминаний» как предисловие. Но мне так хотелось собрать в книгу все свое блевотное публицистическое барахло, сдать, издать и отправить в архив, вот я и рад окончанию этой хлопотной работы, хотя и ее считают «дерзкой» и опасаются «глазу».

Поклон всем твоим.

Виктор Петрович

19 июня 1979 г.
д. Лог

Дорогой Виктор Петрович!

«Нева» прямо при мне послала Вам официальную бумагу о рукописи «Зрячего посоха». Редактор, как мне сказали, задрожал от нетерпеливого желания тотчас вступить в борьбу со всеми силами зла, хоть на самого Романова *[тогдашний первый секретарь Ленинградского обкома партии, член Политбюро ЦК КПСС. — Сост.]*, Господи, пронеси, руку поднять, лишь бы видеть Вас в авторах журнала. Застанет ли бумага дома Марию Семеновну? Как я понял из обмолвки, Вы вместе собираетесь на 50-летие Шукшина. Мария Семеновна поехала в Овсянку с Вами или потом подъедет? Думаю, я буду на тех же печальных торжествах — в «Сибирских огнях» должна выйти в юбилейном номере и моя заметочка о рассказах Василия Макаровича.

Вот уж две недели в деревне. Правда, на улицу и носа не кажу — некогда, но счастлив вполне — дом покоен, просторен, тих, уединение так совершенно, что по два-три дня вовсе ни одного лица не вижу вокруг. Работаю, положим, всякую чепуху, но душа

все равно светла, открыта, ненасытна — изголодался по тишине, покою, по целому дню и ночи в полном моем распоряжении — «хочешь — спать ложись, хочешь — песни пой». Из-за стола не встаю, а времени все равно мало, вот ведь беда, даже не рисую вопреки деревенскому обыкновению. Да, правда, и не нарисуешься много — комары, как самураи, кидаются, и нет им числа. Скворцов что-то мало в этом году (не померзли ли где?), да и лягушачья икра, говорят, померзла вся по весне — вот и остался комар на свободе, как амнистированный, распоясался, проходу не дает.

На В. П. Астафьева еще не подписался — увиливает начальство. Собираюсь попросить у издательства деньги. Думаю — пора. Сегодня же и напишу редактору, а то «дите не плачет, бухгалтерия не разумеет».

Заранее с грустью думаю, каково-то ваш внук начнет привыкать к садику, вернее, как Вы будете привыкать — я вот, например, еще никак не привыкну и каждое утро провожаю как на войну. И хоть Севе там нравится и он утром летит туда на рысях, но ночью вдруг заплачет и закричит «гады!» (чего никогда не позволяет днем), и я понимаю, что там он ест не одни пряники. Да это, впрочем, все вздор, а вот болезни — это уже хуже. Но хоть Мария Семеновна немного расслабится. Впрочем, женится Андрюшка, и там того гляди новый внук поспеет и опять все сначала — ах, жизнь, жизнь...

Закончили ли Вы свой-то дом в Овсянке? В нем ли уже живете?

Напишите немного, если будет час.

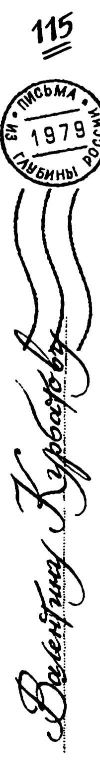
Дай Вам Бог покоя и душевной сосредоточенности. Кланяйтесь Марии Семеновне и Овсянке, которую я так давно знаю, что она уж и во сне порою видится.

Ваш Вал. Курбатов

10 июля 1979 г.
Овсянка

Дорогой Валентин!

Ну вот пишу я из своего овсянского дома, куда и прикатило твое письмо из п/о Лосицы. Дом изнутри готов и вполне благопристоен, но работы дальше еще много и свернуть бы ее разом, да Алеша *[Девяткин. — Сост.]*, мой глухонемой брательник, никого не подпускает и ни с кем не урабатывается, все делает всегда сам, да и машинешку дочери купить охота ему, надо, чтоб я доплатил. Я бы и так доплатил, но попробуй тут потолкуй! А он ведь и работает, и живет в Базаихе, что верстах в шестнадцати от нас, в пригороде — мотается туда-сюда, а без Овсянки тоже жить не может.



Время мое здесь летит как-то разрессоренно, вроде бы и особо зад не отбивает, но и покоя настоящего нет — ездил на юбилей в Игарку, много видел, многое слышал, еще больше подсмотрел и, главное, был на рыбалке в том месте, где «зимогорили» Эля и Аким. И пилот, что нес меня по небу на вертолете, и все попутчики были совершенно уверены, что «так оно и было» и я чуть ли не третьим спал в мешке с ними. Смешная, наивная и святая вера в нашу литературу, ротозейское простодушие в восприятии слова. Как мы злоупотребляем этим доверием! Как тупы и часто пустобрешны бываем...

На «Шукшина» едва ли попадем мы с Марией Семеновной — не успеем, наверное.

Я ее уже поджидал, и она вылетела девятого и сегодня должна была уже опочивать в Овсянке, но в пути ее настигла скорбная телеграмма. Сейчас Мария Семеновна по дороге к известному тебе городу Чусовому, где будет хоронить младшую сестру — Тасю, на 8 лет ее моложе (осложнение на мозг после гриппа). И мне бы уже сегодня не писать тебе, да самому некуда себя девать, ходил уже и на Ени-

сей (рядом), каких-то людей из города принимал, даже полоть в огороде пробовал — все не к душе да не к строке. И читать не могу. Осталось три девки от пьяницы отца, две полудебильны (старшая замужем или что-то в этом роде), а младшая в Марью Семеновну — даровита, светла умом, только что поступила в Пермский университет как медалистка — теперь папа останется на ее руках и девкиному веку и науке — конец. А я попробую жить здесь подольше. Хоть и надоедает народишко, но очень мне нравится это самое, что ты зовешь «уединением», избушка, леса, горы... Думаю даже начать писать. А к Макарычу теперь не слетать. Жаль.

Обнимаю. Целую.

В. П.

24 июля 1979 г.
д. Лог

Дорогой Виктор Петрович!

По письму и видно, как Вы невеселы и как стоит душа. Одна надежда, что все это снесет однажды утренним ветром, приедет Марья Семеновна, расстоятся дни ровные и погожие, зацепится мысль за какой-нибудь камень у Енисея и пойдет дело — только поспевай!

Я к своей деревне тоже остыл. То есть не к самой деревне, а к своим хлопотам с музеем Алтаева. С утра до вечера что-то крашу, чиню, прибиваю, пишу реляции по обкомам и музеям, а оттого, что прежде этого не делал и дипломатической грамоте не учен — выходит резкость. Начальство, правда, заинтересовалось, едут, глядят, решают, что делать, потому что у меня против них в алтаевской биографии козырь есть — работа в Смольном вместе с Ульяновым и Крупской — тут не отмолчишься. Но

дело все равно не движется. Я уж давно со службой не связан и как-то позабыл царственную российскую лень, и вот она цветет предо мною в разнообразных оттенках — простодушная и откровенная у рабочих на ремонте и затейливо распорядительная у облисполкома и другого начальства. В особенности руки опускаются оттого, что у меня к самому-то Алтаеву душа не лежит, и когда бы не обязательство перед покойной хозяйкой этого дома, где размещается музей и где я живу теперь, давно бы бросил. И чем больше читаю сочинения Алтаева и его письма, которые понемногу приходят на мои запросы, тем холоднее. Триста книг написал человек — подумать страшно, а помер, и десять лет не прошло, уже спрашивают, кто таков. Вот что может сделать с собой добрый человек, ошибшись судьбою.

Своего почти ничего не пишу — некогда, хотя есть заманчивое предложение «Советского писателя» написать книжечку о Пришвине. Кандидатура хорошая. Душа у меня к Пришвину лежит, многое откликается в сердце, и можно было написать сердечно и просто, как исповедь, как беседу в сумерках, что называется, «как на духу», да издательству-то похоже, этого не надо. Они стесняются «массового читателя», и кто для такого пишет, для них чужой — им бы стиль, метод, структуру и другие литературоведческие ужасы, которых я боюсь пуще смерти. Вот сижу над заявкой и мучаюсь. Никак мне этот «жанр» не дается. Я им уже пробовал заявку на Яшина давать — тоже не угодил: все сердцем беру, сразу весь как на ладони. Но уж если бы приняли и дали немного денег, я бы с радостью съездил бы в деревню пришвинскую, к отчей его земле, да и засел, не торопясь. Могло выйти хорошо и достойно. Однако что-то не верю, а без согласия издательства не решусь сесть — жить не на что, надо о копейке думать.



На днях в журнале «В мире книг» (№ 6) со своей статьей об одном ленинградском художнике увидел еще в отчете о совещании молодых и карточку под названием: «В. П. Астафьев с молодыми литераторами», где узнал и себя. Так теперь мы с Вами и уйдем в пыльные архивы какой-нибудь Ленинки или Книжной палаты бок о бок, и через сто лет последний читатель, еще находящий время отойти от телевизора к святым полкам истлевающих журналов, мелькнет глазами по нашим лицам, и мы икнем с Вами там, где ни времени, ни книг, ни фотографий...

Кстати, они послали Вам из «Невы» запрос о «Зрячем посохе», но, вероятно, он в Вологде и дожидается. Недавно они мне уже звонили с обидами.

Каковы вообще дела с «Посохом»? Не напечатали где-нибудь еще какого отрывка?

Вчера закончил чтение пикулевского «Распутина» *[роман В. Пикуля о Григории Распутине «У последней черты», опубликованный в тот год в «Нашем современнике». — Сост.]* и со злостью думаю, что журнал очень замарал себя этой публикацией, потому что такой «распутинской» литературы в России еще не видели и в самые немые и постыдные времена. И русское слово никогда не было в таком небрежении, и уж, конечно, русская история еще не выставлялась на такой позор. Представляю, с каким живым восторгом примутся это перепечатывать и полоскать всюду. Да это-то Бог с ним; хуже всего, что в русском читателе это вызвало «осанну!» и читается вслух, пересказывается, обсасывается. Теперь уж и в уборных как будто опрятнее пишут. Журнал жалко. Завоевывает, завоевывает себе репутацию, а потом — трах! и мордой в навоз! — и опять надо все сначала начинать.

Каковы планы на осень, Виктор Петрович? В Сибле осядете? Я первый раз думаю съездить в Ду-

булты. Конечно, не для «творчества», а так: походить по чужим берегам, ритм в душе немного переменить (это очень поможет), может, картинку-другую нарисовать, а то впервые в это лето красок в руки не взял, между тем это для чего-то надо душе.

Сердечный привет Марье Семеновне. Я понимаю, как горька была ее поездка и как тяжело, наверно, было видеть свой домик у дороги из кладбищенской процессии. Отмирают наши корни и ветки, душа словно облетает, и зябко делается. Боюсь и думать об этом дальше, сразу сердце заходится.

До свидания, родные мои — я так часто чувствую вас обоих совсем родными, и мне хорошо от этого чувства.

Ваш Вал. Курбатов

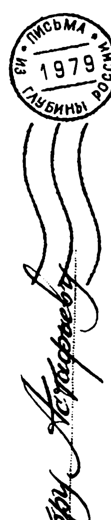


24 октября 1979 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Ну вот, наконец, поглядел я на Вас по телевизору! Хорошо, спокойно, достойно — хотя могу представить, каково Вам было выступать в этих кандалах света, камер, постоянного самоконтроля. Но Вы, поди, не забыли пред началом шепнуть себе заклинательное: «солдат я или не солдат?!» — и победили.

Звонил мне из «Невы» Лурье. Они так обрадовались обещанной Вами повести, что хотят тотчас отрядить к Вам моего товарища, чтобы он отвез Вам договор и тем отрезал Вам пути к отступлению. Будете ли Вы в ближайший месяц в Вологде? Здоровы ли? Сил нет, как я соскучился по Вам, Марье Семеновне, как хотел бы просто походить по Вологде, которую так и не рассмотрел как следует. И так надо бы вырваться из тисков обычной тоски предзи-

мья, когда ничего не читается, не пишется и, кажется, даже не думается, да не знаю — позволят ли дома. На всякий случай хочу спросить, застану ли я Вас, если выберусь дня на три? Я посижу в гостинице и не отниму много времени — только бы повидаться и, может быть, с Вашей помощью вынырнуть из досадных сумерек молчания.

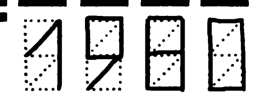
Что со «Зрячим посохом», Виктор Петрович? Принял ли кто-нибудь? Кто? И когда ждать?

Мне похвастаться нечем. Выпустил еще одну крошечную книжечку о гоголевском иллюстраторе Агине, по необязательности издательства не получил ни авторских экземпляров, ни тех, которые просил в счет оплаты, так что и лицо-то книжечки узнал случайно — прислал один добрый человек посмотреть. Смех и грех. *[Книга «А. А. Агин». Ленинград, 1979. — Сост.]*

Сейчас сочинил заявку про Пришвина для «Советского писателя», но прятать-то ничего не умею, поэтому уже в заявке проговорился о проблемах, которые до срока лучше при себе держать, но не скажи я о них, так заявка-то не будет заявкой, и взгляда моего там не разглядишь. В общем сижу жду — перед этим мне уже отказали в Яшине, о котором я хотел писать — говорят, не надо касаться 40-х годов и того, как ломает потом себя художник, хотя вины тут его как будто никакой — время изломалось, а мне только и интересно глядеть, что со всеми нами делает время и как они друг с другом соседствуют — совесть и история. А соседствуют плохо, слабых вмиг изувечат. Об этом немного в Агине, об этом хотел в Яшине и хочу в Пришвине. Вот и все мое дело — ожидание.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов



3 марта 1980 г.
Вологда

Дорогой Валентин!

Я и сам давненько собираюсь тебе написать, да все как-то не сходится писать тому, кому надобно и хочется, время мое разбирают, как солому на корм. Здесь, в больнице, только и сумел плюнуть на все, проявить характер и несколько дней вообще ничего не делать, а потом поработать «на себя» — сделал с десяток «Затесей». Но я отсюда скоро уйду, и начнется все с начала.

Жалоба твоя на провинцию мне как никому, по-



жалуй, понятна. В Вологде у меня нет никакого общения. Пока мог водку пить, собутыльничать было с кем. А вот уже не могу, да и неинтересно стало, не веселит и водка, и нету собеседника по душе, а трепаться «просто так» я уж лучше буду со своей Марьей, она в писательских делах собеседник толковый и подвижный.

Все хотел я, чтоб ты к нам приехал хоть ненадолго, но перемогался-то я с ноября и всю зиму, а полубольной человек — какой собеседник?

Теперь ты в Чусовой собрался (поклонись ему!), а я хочу с Марьей в Москву съездить, «приобщиться», походить по театрам, навестить знакомых и друзей, а то я все же не оставляю мечты уехать «домой», на Родину, а оттуда потакать «культурным потребностям» будет уже сложнее.

Сегодня уже третий день весны, тенькают синицы, солнцем веет, если даже и облачно. Дожили еще до одной весны и если войны не стрясется, маленько веселее будет, и кажется — до осени недосягаемо далеко.

Здесь, в больнице, наконец-то прочел я абрамовский «Дом», и что-то он мне не понравился. Кажется мне, что эта бойко написанная, заранее «по местам» распределенная книга в противоречии находится и с самим Абрамовым, и с «Пряслиными» тоже. Она и по стилю другая, а главное, разрушает уже созданные образы. Так в моем понимании «Две зимы и три лета» и остались вершиной этой большой и неоправданно разбухшей книжищи.

Читал и еще кое-что, да все по обязанности, на предмет рекомендаций, предисловий и просто по просьбе — скучное, неинтересное сплошь чтение. Когда я от него и избавлюсь!? А что Сережу Задереева решил поддержать, очень хорошо.

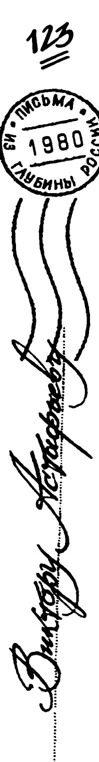
Поклон твоим. Кланяюсь.

В. Астафьев

12 марта 1980 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за письмецо. Поправляйтесь скорее. Весною как-то грех лежать за тусклыми стеклами, да и весна в этом году хрестоматийная, как и зима перед ней — все в срок, всего в меру и все на славу Богу и на пользу человеку, словно мир заслужил эту благодать, хотя, конечно, если вглядеться да радио послушать, то и весна не в радость покажется.



Я съездил в Москву поглядеть театры и за неделю посмотрел семь спектаклей, так что с отвычки даже несколько мутить стало, хотя работы все были в общем хорошие — гоголевская «Дорога» у Эфроса, «Братья Карамазовы» в Моссовете, «Деревянные кони» у Любимова, брехтовская «Турандот» у него же, «Степан Разин» у Ульянова. Этого я, признаться, не досмотрел. Повеяло таким школьным простодушием и какой-то учебниковой скукой, что я, чтобы не досадовать на дорогих людей, потихоньку ушел и постарался забыть.

А «Деревянные кони» у Любимова только убедили меня в моей нелюбви к Абрамову. Я давно про себя называю это «кандидатской прозой», где все видно, все как в жизни, а жизни-то и нет. Деревню он пишет, как энтомолог бабочек — и рисунок, и цвет, и вылеплено с блеском, а не летает, душа при чтении холодна. Подозреваю, что он и не любит деревню, деревенского человека, то есть живого человека со всей его грязью, неопрятностью, неустойчивостью, метанием от мудреца к дураку, от праведника к христопродавцу, а может, любит только то, что сам про него сочинит. Это я и у Можаева замечаю. И объяснить не знаю чем. То есть если бы специально задумался, то, может быть, и нашел бы, а так холод при чтении мешает — раздосадуюсь да и оставлю.

Смотрел у Любимова еще репетицию «Дома на набережной» (помните это трифоновское сочинение?). Спектакль особый и много говорит о театре и особенно о Любимове — балованном, обаятельном, прекрасном артисте, хитреце, нарциссе. Я просидел шесть часов и хоть устал, как лошадь, да и сцена, которую репетировали, была невелика, а рад больше, чем целым работам.

Сижу сейчас перевариваю все, что съел без разбега. Пишу предисловие к Сереже Задерееву. Вернее, уже написал и еще раз порадовался за него. Повесть у него про Петю Лебедка так хороша, что сулит ум и талант замечательный.

Виктор Петрович, а не случится где-нибудь еще какого-нибудь семинара, куда бы Вас позвали, а Вы бы и меня припрягли — вот бы и повидались, а то все так и будет — я в одной деревне, вы — в другой, я в Чусовом, Вы — в Красноярске. А у нас в апреле Всесоюзный семинар рассказчиков, в Михайловском. Приехали бы! У нас весна хорошая, воздух здоровый, Михайловское сказочно! А!?

Сердечный привет Марье Семеновне!

Не надо ли ей что на карточку снять в Чусовом? Поеду — сниму.

Ваш Вал. Курбатов

20 марта 1980 г.

Дорогой Валентин!

После больницы мы с Марией Семеновной проделали тот же путь, что и ты — в столицы за развлечениями! Поразвлекались недолго, посмотрели несколько спектаклей, балет во Дворце съездов, побывали у нескольких знакомых. Тут всякие интервьюеры и люди, жаждущие критических, юбилейных статей и анкет, узнали, что я есть в столице, попер-

ли комком на меня, и мы убегли домой, где не совсем здоров малый Витя, а у большого все еще руки дрожат.

Совершенно с тобою согласен насчет Абрамова. Последний роман его «Дом» произвел на меня удручающее впечатление своей бойкостью стиля, то и дело переходящей в скороговорку, самолюбование — это можаевский стиль — они не зря дружат — оба самовлюбленны, оба деревни не то чтобы не знают, а чувствуют ее, как люди давно городские не только по кустюму, но и по душе. При том они так себя любят, что другое что-либо любить уже нет сил и возможностей, вся «энергия» уходит на себя. Но Федор хоть начитан, наблюдателен, а вот Можаев просто глуп и от глупости пребывает в постоянном чувстве самоупоения, этакой рязанской эйфории.

Собрался во Псков капитально, но цивилизация встала на нашем творческом пути — в Перми невестка Ольга попала под машину, идя на работу, изломало ее всю, едва живая осталась. Лечу туда в конце месяца — надо чем-то помочь.

В Чусовом чё заснимешь — все нам дорого — присылай. Шлю книгу Васи Юровских, специально выпросил для тебя. В больнице читал по кусочку, будто сахарок сосал. Так ли хорошо! Так ли славно! Так ли поэтично! Напиши-ка ты о нем, если ляжет на душу что-нибудь трогательное. Живет он в Шадринске. Мы с Женей Носовым определили его в Союз и зовем «лесной опенок». Шибко добрый и хороший мужик.

А еще знаешь ли ты Мишу Голубкова? С углежжения чусовского выполз из спецпереселенческой сажи и в писателя́! Он печатался в «Нашем современнике» несколько раз, издавал книжки в Перми, собирается издать в Москве. Сейчас прислал новую повесть, и мне хотелось бы, чтобы ты его прочел и

шефствовал над ним как земляком. Я уже не в силах справляться со всем этим.

Извини. Кто-то пришел. Закругляюсь. В мае-июне (половину) собираюсь побыть в Сибле, если удастся, дам знать. Но сердце мое солдатское чует — надвигается война и все наши планы, а может, и дети обратятся в прах. Будем молиться Господу — отвести беду, да воньмет ли? Нагрешили и наследили уж больно...

Поклон твоим домашним от моих всех.

Кланяюсь.

Виктор Петрович

12 апреля 1980 г.
Чусовой

Дорогой Виктор Петрович!

Только Вы от Широкова за порог, как я подоспел. Вышло очень смешно: я давно хотел написать о нем для «Литературной России» и вот только собрался по телефону два часа объясняться как да почему, как он меня сразу и прервал, сказав, что Вы только что говорили обо мне, так что имя еще толклось в мастерской. А как он дверь открыл, так я его сразу и узнал, хотя ни разу не видел — это, верно, оттого, что после долгой отлучки в родных краях все лица родные и всем хочется поклониться. Мы хорошо говорили, и я был очень рад этой встрече еще и потому, что теперь и в Перми есть дорогой человек, а то земля вроде близка, а ни одного знакомого. Не успел повидать Мишу Голубкова, но написал ему и надеюсь, что, если он сюда не наведается, то я на обратной дороге через две недели сам его навещу.

Узнал от Широкова, что Вы бы хотели видеть меня в Перми. Нет, Виктор Петрович, я уж, видно, умру в Пскове. Пермь для меня слишком велика и

бестолкова — я теряюсь в таких городах, да и легкие у меня не очень крепкие с детских хворей — задыхаюсь. Но все-таки отрадно знать, что в случае нужды можно постучать и у отчего порога тебе отзовутся. Спасибо Вам!

По Чусовому хожу как во сне — все то же и так же. И не знаю, чего больше в сердце — радости или тоски. Дома глядят теми же окнами, покосившиеся заборы напоминают о том, сколько чрез них излазано, выбоины мостовой зовут из памяти первый велосипед, на котором было так хорошо объезжать круг за кругом всю Больничную Гору, зная, что в конце Переездной стоит с подружками твоя Эвридика, Джульетта, Лавиния, Федра, Лаура по имени Зойка. Только все больше проседают дома, кривятся заборы, осыпается штукатурка, и то там, то здесь не досчитываешься «номерка» или барака — смерть не бьет, а как ржавчина выедает детство. Может, и хорошо, что моя память не так истязательно глубока, как Ваша, и я многое забыл и оттого легче переношу эти приезды в страну утраченного времени. Время, такое незаметное в обыденной жизни, здесь гремит за спиною, и кажется, прошли века, эпохи, эры. Ничего не снимал. Не могу. Пока смотрю сердцем.

Очень надеялся увидать Вас в Михайловском на совещании рассказчиков, где было обыкновенно, скучно, пьяно. Из знакомых у меня был только Г. Семенов.

Самый сердечный привет Марье Семеновне! Как я хотел бы оказаться здесь в одно время с нею и разделить это счастье и боль сердца. Скоро пойдет река, снег сходит, грязь непролазная, воздух черен, пьянство изнурительное, в автобусах все двери переломаны, рынок гниет и разваливается, но все пошумливает, все живет...

Ваш Вал. Курбатов

29 апреля 1980 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Бесконечное спасибо за приглашение на 9 Мая. Это было бы не только счастьем общения, но и существенным уроком (чего — сказать не сумею, но ощущаю остро), но только сегодня я воротился домой после довольно длительных скитаний и уже не вижу в себе достаточных сил, чтобы в ближайшее время продолжить их. И жена хоть и не говорит ничего, но видно, что устала с сыном одна. Я приехал только сегодня, и Пермь еще гремит во мне. Миша Вам расскажет, как мы увиделись. Не избалованный широтою и отзывчивостью в нашем замкнуто-подозрительном краю неистребимых кулаков, эгоистов, купчишек, я был почти подавлен щедрой простотою трех пермских часов перед вылетом. Во мне кипели слезы, которые надо было скрывать зубоскальством, и нежность так обновила мне сердце, что я теперь долго буду силен и спокоен. Это Вы мне подарили столько новых товарищей, это отблеск Вашего света принимали они во мне, и я благодарю Вас со всей нежностью, которая так редко расходуется в моей тусклой профессии. Спасибо, спасибо, Виктор Петрович!

В последний день перед отъездом из Чусового вскрылись реки, и я исходил всю Колапиху, а потом подался на Гребешок и находился за день так, как в Пскове не нахаживаюсь и в месяц. Немного пофотографировал, погляжу, что выйдет, и пошлю Вам.

Ледоход был бедноват и не потому, я думаю, что лед тонок, а потому, что прежде-то все величие ледохода еще от леса зависело. И оттого, что лес защищал берега и лед креп и мужал до слоновьей толщины, и оттого, что остатки молевого сплава влеклись рекою, громоздя заторы, ставя лед на попа, тесня его к гаваням. А теперь вода свободна, лед легок и летит хоть скоро, но почти бесшумно.

Вообще на этот раз мне было хорошо в Чусовом, несмотря на всю грязь, пыль, остервенение народа. Душа уже смирилась, что ей не сыскать прошедшего, не возвратить себя, и оглядывалась со спокойным любопытством невозвратного воспоминания. И мама с папой были спокойны и в меру возраста здоровы — чего еще желать.



С глубокой благодарностью и любовью поздравляю Вас и с днем рождения, и с Днем Победы!

Дай Бог Вам здоровья, покойной сосредоточенности и душевного света, чтобы совладать с великой работой, которую Вы носите в сердце.

Сердечно поздравляю и Марью Семеновну, которой кланяюсь вместе с родными улицами ее детства, отрочества, ее молодости.

Вал. Курбатов

Сентябрь 1980 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Посылаю тебе «Посох памяти», а не «Зрячий посох». Рукопись «Зрячего посоха» лежит на столе, я продолжаю над ней работу, но не без ее влияния получился такой «Посох»!! Я планировал включить в книгу и «Зрячий» — воспоминание — повесть об А. Н. Макарове, однако работу затянул и объем ее увеличился так сильно, что и без нее получилась книга по плановому объему, да и печатать ее пока никто не собирался. Тем временем текст писался, верстался, переверстывался и где-то, на каком-то промежуточном этапе мой ли пьяненький редактор или тугодумая какая-то, хоть и трезвая начальница, посчитала, видать, мое название шибко мудреным и подправила. Когда началась редактура, уже было заказано оформление и выправить что-либо было не-

5 Заказ 4198

возможно. Итак, одним лит. курьезом на свете стало больше — в предисловии-вступлении говорится о «Зрячем посохе», а на обложке «Посох памяти». Все же я весьма и весьма рад, что книжка эта вышла. Важно, что многое мы с М. С. собрали в кучу, пусть не все лежит на тех «полках», где надобно, книжка нуждается в пересоставлении, исключениях и добавлениях, однако дальше все будет делать легче. Ведь мы даже «Чусовской рабочий» потревожили, запрашивая материалы и даты, но из-за спешки в последний момент некоторые даты так и не установили.

Книга местами дерзкая, а есть фразы и отважные. Горжусь тем, что смел их произносить и будучи еще зеленым, молодым, а не тогда, когда стал лауреатом и от этого храбрым, как иные витии полагают.

Живу по-прежнему один. М. С. все еще в Вологде, отлеживается после операции. По цепной реакции оперировали аппендикс и у Андрея. В середине февраля, если буду здоров, встречусь в Москве с М. С. — буду работать в детском театре, а если нет, она сама сюда прилетит. Погода здесь чудесная. Мороз и солнце! Действительно, это чудесно. Впервые за много последних зим чувствую себя бодро, тянет работать.

Поклон твоему семейству.

Обнимаю.

В. П.

12 ноября 1980 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вот я и получил после 16 лет жизни в Пскове свою квартиру и вообще первую в своей жизни квартиру! 41 год пришлось для этого прожить. Переехал

вот, сижу, а радости нет. Видно, успел прежде израсходовать — в надеждах: даже, кажется, напротив, подавлен: ведь больше ничего впереди не будет, приехал... Есть во всем этом какая-то глухая окончательность. Словно все готовился жить и надеялся, что как-нибудь так все и обойдусь, а теперь хочешь не хочешь, живи как следует, обыкновенным человеческим образом — с утра до вечера, до могилы.

Одно пока утешение, что можно принимать друзей, не беспокоясь о крыше над головой, а то уж вертишься с гостиницей, наунижаешься вдоволь, так что уж и не рад друзьям.

Квартира хорошая, обычная, трехкомнатная, удобной планировки. Даже кабинет себе завел, хотя еще и не совсем понимаю, как им пользоваться, и чаще отсиживаюсь там, где в это время жена с сыном. Неудобно как-то это без привычки одному-то оставаться.

А Вы-то дома? Огляделись? Приехала ли Марья Семеновна?

Ваш Вал. Курбатов

Ноябрь 1980 г.
Овсянка

Дорогой Валентин!

Вот я и переехал на Родину! Пока не поздно, так ближе «к родимому пределу»...

Переехал в июле и заболел, нахватался на путях-дорогах сквозняков и пьянок, начались обострения — одно за другим, и долгонько лечился, да и сейчас еще не рискую шибко лезть на воду и в лес.

Однако климат здесь суше, и я чувствовал себя хорошо, перестала болеть голова, подсохли легкие. Я так этому радовался, так хвалил погоду, что она взяла... и испортилась. Сегодня мокрый снег загнал

меня с огорода в дом, и снова болит голова, ломит под лопатками, вялость, апатия... Как и жил в вологодских болотах столь лет?!

Вычитал верстку четвертого тома. Летит время! Вот и издание собрания сочинений, о котором и не мечтал, не думал, уже подходит к концу. И еще один какой-то этап или этапчик в жизни минул.

Писать ничего, кроме «Затесей», не писал. Часть их печаталась в «Смене» и «Огоньке», остальные лежат, дожидаясь отделки, да многим из них так и лежать. Все чаще и чаще они выходят «личного» порядка, и их нет даже смысла предлагать в печать. Может, когда донесет тебя до Сибири, и я почитаю.

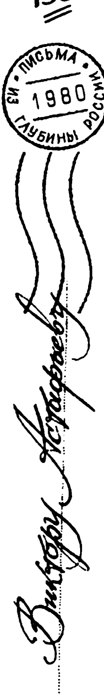
Остаток лета и осень занимался я административно-хозяйственными делами и еще раз убедился, как в нашем косном, обюрократившемся, свободном для лентяев и хамов государстве уворовывается время и силы людей, как они ладно перемалываются в ничто, как унижены граждане стоянием в очередях, ожиданиями, прошениями. И всю эту ситуацию сами же создают, сами же ее и клянут, сами же возмущаются втихаря, ища виноватых где угодно, только не в себе — государство самоедов, самоистребителей и безответственных существ, даже по отношению к своей особе.

С удовольствием садил после всего этого лес в огороде — посадил калину, рябину, березу, елку, сосну, лиственницу, лесных цветов на месте картошки и капусты, чем привел родичей в изумление, и они решили, что житие в Европах даром не проходит и я уже с катушек съехал.

Вот для начала то, что я тебе имею сообщить, а еще адреса: 660036 Красноярск, Академгородок, 14, кв. 55 или Красноярск, п/о Овсянка, улица Щетинкина, 26. Здесь я с весны и до зимы и только в морозы подамся в город.

М. С. долго была в Вологде и с месяц как при-

ехала, бросив внуков (у Андрея в июне родился сын Женечка), и сильно по ним тоскует. В августе приезжала Ирина с Витенькой. Ему здесь очень понравилась и «водичка», и «лес», и «деда», но мать не хочет переезжать, хотя он и сказал: «Хосю зыть в Овсянке с дедой». Боюсь, что это осложнит все наше житье. Я-то начну работать и все выдюжу, а бабке без внуков будет одиноко. Ну ладно, не мы первые, не мы последние живем в разлуке с детьми и внуками. Не было этого у нас никогда, вот и боязно за них.



А знаешь, Валентин, моя неприязнь к «Царь-рыбе» прошла, читал верстку, и мне она стала ближе. Только вот все, что было в ней отражено худого, в жизни сделалось еще хуже: рвачество, бродяжничество, пьянь и бесстыдство захлестывают Сибирь.

Обнимаю тебя. Пиши, не сердись на молчанье мое. Поклон твоим дитям, и супруге, и мамане.

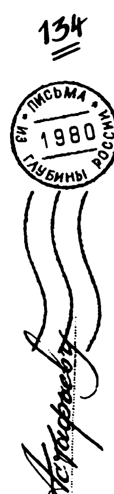
Твой Виктор Петрович

4 декабря 1980 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

В Москве случайно увидел картину Заболоцкого «Памяти В. М. Шукшина», которую Вы комментировали, и будто с Вами побыл, в вологодском Вашем кабинете посидел.

Кино-то, надо сказать, получилось рассыпанное, неумелое, но страшная боль последних Ваших слов о замерзающих по России одиноких стариках все соединила в страшный крик, так что я боюсь, что картину-то на экран не пустят, да уж, пожалуй, и не пустили, раз я видел ее на студии Горького таким подпольным образом. А жалко. Она бы дело свое доброе сделала — может быть, хоть один из зрителей о стариках вспомнил, и то уже было бы благо.



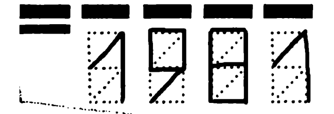
В Москве было плохо. Смотрел какие-то спектакли (ни на одном больше одного действия не усидел), какие-то фильмы, выставки. Заглянул на выставку покойного Ракши, но там дает представление с переодеванием его вдова Ирина, использующая этот повод как лотерейный выигрыш — народ шепчется, сидит под дверями, не глядя на картины, поджидает героиню, и тут же сладостный шепот, перемигивание, картинные вздохи. Мерзость!

Хуже же всего, что Москва не на шутку увлеклась «старинной русской потехой — борьбой с евреем». А уж поскольку у русского человека нет опыта национализма, то размеры все принимает просторные, удалые, способы борьбы бесхитростны, как драка кольями. Это против евреев-то, у которых двухтысячелетний опыт защитной дипломатии!.. Писать ничего не хочется, всякое слово подозревается в двоемыслии и рассматривается только с убогой точки зрения «за кого он?», а уж тут особенно не распишешься.

Одно утешение — своя квартира. Заперся, окна шторами задернул и молчу себе.

Сердечный привет Марии Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов



29 апреля 1981 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вернулся домой из Риги и из письма Г. В. Семенова узнал, что Вы вышли из состава редколлегии «Нашего современника». Может быть, хоть это (Ваш и Нагибина выход) научит чему-то Викулова и заставит поглядеть на нынешнее и будущее положение журнала повнимательнее, а то уж и просто раскрывать стало неловко.

Мне будет удобнее приехать к Вам в начале июня. Конец мая у нас занят подготовкой к празднику поэзии, где всем хватает хлопот, а сразу после праздника, числа 8 июня, я могу вылететь, заехав по

дороге в Ленинград за командировкой. Давайте сразу на это время и условимся — с 8 по 10 июня я попробую приехать, а уж поживу, как Вам будет удобно — может, с неделю, а может, и больше можно будет прихватить. Напомните мне еще раз деревенский адрес и расскажите, как Вас найти, чтобы я не отрывал Вас — какие автобусы до аэропорта и какие остановки?

Я вовсю втянулся в Пришвина, на книжку о котором «Советский писатель» наконец заключил договор со мной. Пока путаюсь в попутном материале: Розановых и Ремизовых, во всем межреволюционном литературно-художественном цветнике, который странным образом напоминает нынешнюю чумную московскую жизнь, свихнувшуюся на буддизме, эсхатологии, католицизме, йоге, неохристианстве, и все это с каким-то нервным молодечеством, с истерикой — совершенные 10-е годы, будто газету читаю. Бедный мой Пришвин хватил этого под завязку, так что чуть выправился в лесах да на реках. Вот и мне уже надобен здоровый воздух хорошей реки, чтобы сполоснуть душу от этого затягивающего отравленного чтения.

Сердечный привет Марии Семеновне!

Удобно ли Вам израсходовать на меня середину июня? А то вдруг там наберутся еще какие-нибудь «мероприятия» — лучше условиться сразу. Если трудно, я буду понемногу собирать душу, а то ведь нашему брату домоседу, чтобы так далеко собраться, нужно месяц самого себя уговаривать не бояться.

Ваш Вал. Курбатов

22 июня 1981 г.

Дорогой Валентин!

Оба твои письма меня достигли. Фотографии очень хорошие, а письмо весьма субъективно, и в

нем есть что-то раздражающее, так и хочется сказать дерзость в ответ: «Вам, евангелистам, хорошо! Помолитесь и дальше живете в смирении, а тут вот писать за каким-то чертом надо, бороться с чем-то и зачем-то, хотя и знаешь, что бесполезно это!» Но «мысль изреченная есть ...» и потому не стану я ее изрекать, да еще в письме. Ничего пока, слава Богу, писать не хочется, даже писем.

М. С. приехала. Хлопочет. Я перешел в избушку и пишу тут, гараж все строится. С М. С. съездили за ягодами, за клубникой. Далеко. Обкатали машину, набрали ягод, аж две корзины! Насмотрелся на богатые когда-то края, где, куда ни плюнь — полтора метра чернозьма лежит, а в магазинах нет ни сахару, ни крупы — ничего нет, и воду развозят в бочках, бо из реки как пить ее нельзя. Утром, как в войну, люди стоят в очередь за хлебом, полусырым, разваливающимся. Если утром не купят — все, а прежде здесь не знали, куда его девать, хлеб-то. По улицам шляются бичи, задирают народ, юнцы на ходу заголяют юбки девкам, мимо надменно проходит черная «Волга» с нолями, в ней сидит местная власть, ничего не видя позорного в своем и окружающем существовании, на полях мельтешит какой-то полупьяный народишко, хохочет, задирая друг дружку и спрашивая, не привезли ль бормотуху.

Статью твою прочел. Отдай ты ее в журнал. Отчитайся. Не мучай себя и мою фамиль. Она уже и без того замызгана и замучена.

Дома, в Вологде, Витеньке вытаскивали серную пробку из уха и занесли отит — заразу, мальчик кричит криком. Ирина тоже заболела, какой-то остеохондроз грудной клетки. Не будь на свете дедушки с его корявым почерком, давно бы уж с голоду померли. Андрей с Таней не ужились со старым большевиком, он как настоящий, несгибаемый коммунист не терпит детей (в том числе и своих, ни ра-

зу не спросил беременную дочь, как она себя чувствует) и вот решил ближе к семидесяти жениться, и ему в 3-комнатной квартире стало тесно с детьми, как было тесно и с женой, которую он довел до смерти своей передовой моралью, за кою он получает в обкомовском магазине пайку.

Маня плохо спит, переживает, а я работать не могу.

Поклон твоим домочадцам.

Бердяева сегодня прочту.

В. Астафьев

3 июля 1981 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Видите, какие славные карточки получились, а Вы не позволяли мне снимать. А Мана и вовсе вышла бы хорошо, когда бы не слепой рассеянный свет — скала-то уж больно хороша и видно все вплоть до немирных степей в обе стороны.

Я позволил одну-две заметки на некоторых фотографиях.

Вообще поездка при внешней будничности и как будто необязательности — я ведь с Вами так и не поговорил с обстоятельностью о вопросах, предложенных мне редакцией, — была счастлива, хороша и целительна. Я что-то, правда, совсем истрепал себе нервы за год — то переезд в новую квартиру, то какие-то свирепые приступы тоски, более уж болезненно отдающие, то остервенелый мистицизм и тьмы философской мудрости, доводящие до изжоги и отчаянья, но ни на атом не подвинувшие к ответу.

Ваше здоровье ободрило меня, хотя я думаю, что для выравнивания дара Вам следовало повнимательнее поглядеть так сердито отвергаемое Вами Еван-

гелие. Вы начали так отчетливо клониться к ожесточению, что тут уж не помешали бы два-три урока у Гоголя и Достоевского.

В особенности у последнего, которого, увы, читать без Евангелия — значит вылущивать одну полицейскую хронику и упустить выходы для героев. А без выхода литература не стоит. Думаю, Вам будет трудно с романом, потому что по фрагментам, которые Вы мне рассказали, Вы как-то не видите героев, как бы их, бедных, устроить по-человечески и, чтобы не лгать, приканчиваете одного за другим. Ожесточение сердца угадывается сразу и в «Затесях», и в «Зрячем посохе», доходя до степени неживой, словно Вы сами себя заводите. Раньше Вас лечила природа, родовая память, наследованная баушкина кровь с ее здоровой соразмерностью и покоем поля, дерева, неба, родная земля лечила, потому что была вдали и далью очищена. А теперь, когда она рядом, в ней дурное на глаза первым лезет и душа осердилась. Тут чистое зрение может быть возвращено только великой культурой, которая всегда милосердна, потому что видела человека в разных ситуациях и научилась прощать его. Тут как раз религиозное знание (знание, заметьте, а не вера, ибо на веру нас уже никого не возьмешь, для этого мы уже повреждены невозвратно) бывает очень воспитательно для духа. Вы уж так закалены, что Вас никакие отцы Матвеи не смутят, а вот чтение переписки Гоголя может многое осветить неожиданно, даже и у самого Гоголя, как и чтение его сугубо богословского «Размышления о божественной литургии», так много открывающего для нас в темной для нашего слуха культуре церкви и почти объясняющего сразу, почему он так легко (я почти уверен — легко!) сжег второй том. Это важно для понимания всей русской культуры прошлого века, да и порядочной части нынешнего, потому что христианство



через *крест*-ьянство у всех у нас в крови вплоть до последнего атеиста. И тут уж лучше все прояснить как следует и смотреть открыто. Я очень жалею, что мы о многом так и не сумели поговорить: то Вы были заняты, то я не решался, то мелочи какие-то теснились, а душе-то, может быть, важнее было сесть да все как следует в себе оглядеть. Только куда там! Гордыня уж не пускает, да и какие-то заботы теснятся и отодвигают опасную необходимость главного разговора с собою. Простите мне, если тут сквозит нота наставления — это от растерянности и смятения, да, видно, и в крови критика.

Бесконечное Вам спасибо за время, потраченное на меня. Я еще всю-то важность поездки позже пойму.

Сердечные приветы Марье Семеновне, если уже приехала, тетке Августе, Анне Константиновне *[Потылицыной. — Сост.]*, при случае Роману Солнцеву (жаль, я так и не услышал его стихотворение «Нет любви» и теперь буду томиться мыслью о чем оно), Володе Зеленову и всем сродничкам, как писали в старину в окончании деревенских писем.

Ваш Вал. Курбатов

1 августа 1981 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

И правда иногда руки опускаются и я готов думать, что ни я со «смиренно-христианской» проповедью возвращения человека к человеческому образу, ни Вы с гневно-публицистическим требованием переменить все руководство сверху донизу ничего уже не сделаем. И, страшно сказать, кажется, именно потому и не сделаем, что тянем все в разные стороны. Русская литература в этом смысле стала впол-

не европейской, и радоваться тут нечему: неоклассики, неосимволисты, неохристиане, неопочвенники — кого только нет, сплошной неоновый, не греющий свет, вроде и светло, а на лицах мертвенная синева неправдашности. А живой голос и прозвучит, так его непременно перерядят, окрутят пустыми словами и пустят по миру неузнаваемым. Наш брат критик и пустит. И сделает это не по злобе или глупости и не по лакейству, а потому, что ему рта раскрыть не дают. Писатели же и не дают — те, кто возглавляет журналы и издательства. Увы, дело критика просто и неудобно, ему надо художественный язык писателя переводить на простой язык прямого вывода, то есть, прочитав десяток лучших современных книг, так прямо и написать в «Правде»: «Дорогие товарищи, как свидетельствует художественная литература в лице тех-то и тех-то, наше драгоценное общество зашло в идейно-социально-хозяйственный тупик и, если не хочет погибнуть, должно идти на кардинальные меры перестройки всего идеологически-хозяйственного аппарата». И не будет в таком писании никакого якобинства, а один прямой вывод, и все-таки никто не напечатает, а пока не напечатают, то этого словно и нет в природе, а есть только разрозненные сочинения, каждому из которых можно даже премию дать, но сохрани Бог объединить их да выводы сделать. Запутались мы все каким-то диким, постыдным и необратимым образом и вот, раз в бомбах как средстве разуверились, так в христианство пустились, которое хотели тоже бомбой сделать, но у русского человека, видно, Бог так и останется в соседстве с печным горшком, который удобно образом покрывать. Видно, нашей вечной религией все-таки остается много раз выручавшее русское «авось». Авось и на сей раз вывезет. Поляки вон «голодные марши» навострились делать, потому что им 4 кг мяса в месяц на человека

мало, а мы по кг в месяц по талонам получаем, а в родном Чусовом и того меньше, и ничего. Русский человек терпелив, он и за хлебом будет стоять, как в войну, словно это ему на роду написано. И мы в этом тоже виноваты, наш писательский Союз, где от Союза одно слово, а в середине бег мышей в разные стороны с взаимной продажей, смертной дележкой куска и виртуозной подлостью, до которой простому мужику в жизнь не додуматься. И это среди народных «учителей». Чего же ждать от других-то!

Ну вот, хотел что-то веселое написать про лето, про Ригу, а уехал вон куда. Что-то плохо на сердце, растерянность какая-то гнетет, не пишется ничего.

Сердечный привет Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

24 сентября 1981 г.
Коктебель

Дорогой Виктор Петрович!

Последнее Ваше письмо было полно таких горьких новостей, что я каждый день молчания перебираю их снова и с тревогой думаю, как Вы там? Как Витенька? Как Ирина? Как Марья Семеновна?

Пошла ли у Вас понемногу работа? Сейчас, должно быть, самая прекрасная пора на Енисее, и лес над Енисеем и Маной горит золотым пожаром. Я пока ехал, глядел в окно, да в Орле на три дня высаживался — там наглядеться нельзя, и паутина летит стоймя, как обычно летает осенью, над домом Лескова, над домом Андреева, над пламенем кленов и грязью, над старухами на разъезженных слободских улицах и бронзовым Тургеневым, который окружился нарядными рябинами и посиживает себе над Окою...

Здесь же природа, видно, всегда одинакова —

жара, кипарисы, какой-то татарский быт среди выжженных камней, скал, холмов, виноградников. Море шумит под окном и цветет язвами медуз и писательских купальников. Все глядят друг на друга ревниво и, видно, про себя меряются славой, как ребятня ростом. И что уж мне совсем противно — все, мужики и бабы, в шортах, хоть в столовую не ходи. Но комната мне досталась как будто ничего — запираюсь и работаю. Опять как встарь решил попробовать рисовать — благо дикие здешние скалы вполне достойный объект.

Перед самым отъездом получил из «Авроры» правку моего отчета о поездке к вам. Горышин хоть и посокращал немного, но в общем, если напечатать и то, что осталось, будет вполне прилично — все Ваши справедливо-злые мысли об оскудевшей душе нынешнего человека пока оставлены. Оставлено даже восклицание: «Русь, где ты? Кто вынул душу из этой виновато стихшей земли?» Но что-то подсказывает мне, что он это до поры оставил, а потом свалит на цензора, да и — долой! Уж сколько раз это бывало — тем более со мной-то церемониться нечего — имя-то под сочинением, как автора беседы — мое. Впрочем, подождем — увидим: могут еще и все турнуть без всякого оправдания — со мной и это бывало. Я уж ко всему привык. Вообще круг журналов, где печатали, сужается и сужается. Как только рот пошире стал разевать, да не правду еще, а одни намеки на нее стал говорить, так двери и на крючок. А жрать уж совсем нечего. Да и тут, приехал, оказывается, доплачивать надо четвертной, а я на это не рассчитывал — каждую копейку считаю. Ох-хо, грехи наши тяжкие. И красноярское издательство не торопится с авансом. А я и напоминать не буду — помолчим, вспомнят ли. А уж как увидим!

Виктор Петрович, отпишите два слова: как Вы?

Лучше уж домой, а то я тут, может, еще и не досижу. Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов



4 октября 1981 г.

Дорогой Валентин!

Мы с Марьей Семеновной поездили. С группой, возглавляемой Сергеем Павловичем Залыгиным, ездили в Петрозаводск, Мурманск поднимать литературу до неслыханных высот, а главным образом пообщаться меж собой и с хорошими людьми. Был Валя Распутин, два Вити — Лихоносов и Потанин, Белов был, Личутин, Володя Гусев и еще много кого и чего.

После литературных дел из Мурманска полетели в Вологду, повидались с ребятами и внучатами. Они, в общем-то, ничего, хотя до полного благополучия и далеко. Андрейка сошел с квартиры тестя. Он, тесть, старый большевик, а потому бесстыдник, эгоист и демагог, остается один в трехкомнатной квартире, а целая семья живет временно, как на вокзале, в чужом углу, и уже заболел мальчик. Мы приехали, а Таня (невестка) с внуком в больнице, и ее родимый папа ни разу к ним не наведался. Расстроюсь, говорит, только, для здоровья вредно. Ирина и Витя в порядке. Марья Семеновна помаленьку оклемалась, но, конечно, не до конца, старые хвори дают себя знать — болит нога, грозятся операцией, а какая ей еще операция при ее годах и изношенном в лоскутья сердце?

Я собрал, доделал и сдал в местное издательство книгу «Затесей» *[вышла в Красноярском книжном издательстве в 1982 г. — Сост.]*. Сто с лишним штук разбил на шесть тетрадей. Книга получилась дерзкая, так не знаю, что с ней будет. Приближаюсь к

концу и со «Зрячим посохом», но работаю все еще урывками и потому за роман не берусь.

Был на книжной ярмарке, но не столько на ней, сколько смотрел и слушал. На ярмарке всего много, а у меня суставы ног сильно заболели, видимо, отложения солей, и ходить я более версты не могу, вот и смотрел на «Мосфильме» «Звездопад», «Агонию», «Прощание с Матерой». Картины одна лучше другой, но какова будет их экранная судьба — неведомо. Последняя вообще, наверное, ляжет на полку, а картина-то составила бы честь не только нашему, но и мировому киноискусству в лучших его качествах.

Побывал в гостях у Михаила Александровича Ульянова, хорошо покалякали. Был в театре на Малой Бронной. В общем, повидался со всеми почти, с кем хотелось повидаться. Теперь бы и работать, но задурела погода. Прямо вологодская слякоть за мной повсюду тащится. Вот сегодня минус девять, а днями обещают тепло и все развезет, да и в Австрию меня хотят сослать с делегацией, и какая уж тут работа, когда Моцарт и Штраус в голове музицируют лично для меня. Это в ноябре, а до ноября поделаю кое-что, хоть доделаю, глядишь. В Голландии вышла «Царь-рыба», и еще она во многих местах выйдет. А в Голландии, поскольку они на воде живут и любят камбалу, так книга моя про рыбу, говорят, бестселлером стала. Но все это дела посторонние, пора бы за роман вплотную приниматься, а то уж становится неловко даром хлеб есть. Да и скоро шестьдесят — тоже возраст ничего, можно и не успеть главную работу сделать.

В Овсянке, как приехал, еще не был — гололед страшенный, ездить страшно, сегодня явится сестра, скажет, чего там и как. Мы ведь умчались, даже огород не убравши.

Читал ли ты «Лето на водах» Титова? Ты ведь много читаешь, но мог и пропустить. Это повесть о

Лермонтове, изданная «Лениздатом». Давно я с таким наслаждением ничего не читал. Правда там большая и в нас прорастающая всеми корнями. Я так всегда и полагал, что трагедия Лермонтова гораздо проще и оттого страшнее, чем говорили нам в школе. Эта трагедия прежде всего русского человека и русского поэта, столь же гениального, сколь и бесшабашно-безалаберного.

Такая жалость и такая тоска, и боль, и светлая печаль, и сожаление о себе самом и еще об ком-то...

Ну ладно, закругляюсь.

Здоровы все будьте. Теплой зимы и хоть немного деньжонок. Завтра я поеду в издательство, попробую шепнуть намек насчет твоего авансу.

Обнимаю.

Виктор Петрович

22 октября 1981 г.
Псков

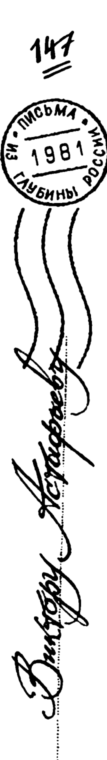
Дорогой Виктор Петрович!

Мой Коктебель был беден. Не свел знакомства ни с одним из тамошних обитателей, но был вознагражден морем, долгими скитаниями в окрестных горах и долинах, ночными купаниями в бенгальской фосфоресцирующей воде, рисованием да неторопливой работой над Пришвиным, который медленно сдвинулся с места. Но пошел пока, правда, в сторону хлопотную для издательства, в какой-то хлыстовский марксизм, ницшеанство и Бог весть во что еще.

Там получил приглашение на выставку Поздеева. Были ли Вы на ней? Какова она была и как прошла? Меня судьба занесла в Москве на осеннюю выставку нынешних передовых — такого стыда, бедности и какой-то разбойной глупости я не видал давно. Сиротский приют, а не выставка. Безотцов-

щина. И жалко их всех. Все ходят тут же — гордецы, хваты, молодец к молодцу. Бедняги!

Предвижу, какую задачу Вы задали «Затесями» красноярскому издательству. Вот тут они и покажут подлинную меру своей отваги и расположения к Вам, потому что обнять в коридоре — одно, а напечатать, положим, «Есенина поют» — другое, и объятие только тогда и объятие, когда эти вещи совпадают, иначе в нем есть оттенок того первого поцелуя, который так разносторонне воспет мировой христианской живописью. Сегодня ко мне обещаются заехать Миша Голубков и Толя Гребнев, и я весь в пермских предчувствиях, в каком-то нетерпеливом желании скорее услышать эту здоровую речь, от которой отвык среди коктебельских иудеев, которых оказалось столько и в таких медально-чистых образцах, что и в моем незлобивом сердце началась изжога. Если бы Толя еще нагрянул со своей «калеваторкой» — знаменитой вятской гармошкой, на которой он такой мастер наяривать, что и мертвый не устоит. Я с флейтой, он с гармонью ходили бы по деревне, водили бы Мишу Голубкова с цепью и бубном и, глядишь, заработали бы на шкалик в придорожной харчевне. Да и под окнами редакции, если судьба заносила бы в город, могли покричать: «Статьи правим! Стихи-очерки пишем!» Вот приедут и обсудим, а то уж прискучила эта прилежно вялая, чиновнически-исправная литературная служба.



Очень завидую Вашей поездке в Австрию, потому что Моцарта могу слушать вечером и утром, на службе и вместо нее, и если Вам попадется одна-другая лишняя его пластинка, записанная там, то я, пожалуй, не поленюсь заехать за ней к Вам в Красноярск.

Очень буду ждать Вашего возвращения и весточки.

Сердечно Ваш Вал. Курбатов

1982

3 января 1982 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Я — дома. Работаю. Много. Не помню, послал тебе поздравление с Новым годом или нет? Если нет, то год еще только начался и не поздно пожелать добра и здоровья.

Осень у нас началась быстро — с 1 октября. И зима ранняя, но хорошая была, легкий морозец и солнце. Я чувствовал себя очень хорошо, бодро и меня потянуло работать. Мария Семеновна ездила в Москву и Вологду, а я в это время нагвоздил черно-

вик новой повести. Черновик сумбурный, наверное, плохой, но работалось с большой охотой, хотя, как нарочно, мне тут мешали разные народы.

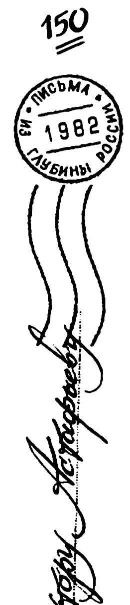
Сейчас М. С. печатает черновик, а я правлю сценарий по рассказу «Тревожный сон». Будут снимать по заказу ЦТ. Весной начнут *[в прокате фильм назывался «Ненаглядный мой». — Сост.]*. А я не отказался. Платят они так, что теперь могу спокойно новую книжку писать. Ты вон сколько корячишься с Пришвиным и теперь, поди, знаешь, каково их писать-то. Критиковать трохи легче.

Все я хвастался всем своим здоровьем. Хвалился, хвалился и в праздник горлом заболел. Состояние сделалось подавленное, а было как у петуха весеннего.

Читаю «Осень патриарха». С трудом достал. Читаю и убеждаюсь, что вся наша литература, вместе взятая, дряхлая, менторская и сладкожопая по сравнению с книгой Маркеса. В «Патриархе» он добрался-таки до чудовищного нашего творения, способного погубить весь мир. И в его генерале узнаются все деспоты мира, и наши тоже, все подлецы и трусы, и шкурники, значит, и мы — тоже. Беззубо шамкаем мы голыми деснами что-то про природу и человека, часто умненько, ласково, когда кругом такая «блядская жизнь», как сказал великий Маркес. Великий Гоголь нашего времени, так бы я его назвал, и из всей нашей бумажной продукции поставил бы в ряду с ним только «Тихий Дон», «Теркина» да последний роман Айтматова.

В апреле меня здесь не будет. Поеду в Новосибирск-Урал-Москву. Приезжай в мае. Мы уже переберемся в Овсянку. Вот пока и все. Красноярцы (в издательстве) ждут от тебя вестей. Обнимаю! Поклон твоим домочадцам от меня и Марьи Семеновны.

Твой Виктор Петров сын



14 января 1982 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Хвори нас всех преследуют этой переменчивой зимой, когда вечером минус 20, а днем плюс 3. Страшно подумать, если это и в Красноярске так же. Поправились ли Вы?

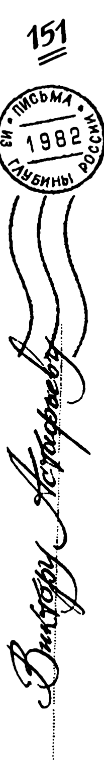
Повстречал Вас в «Литературной России» и подивился — когда Вы успели постричься под призывника 1942 года или мне только так показалось?

А повесть, о черновике которой Вы упомянули, заставила меня предположить, что роман о войне опять откладывается. Так ли?

Мои беседы с Вами «Аврора» собирается дать во втором номере. Гранки пришли хорошие, но, говорят, в самом номере что-то не удержится, потому что Горышина или снимают, или уже сняли из редакторов. Оскоромился чем-то в двенадцатом номере. Весь номер отдан Брежневу, а в конце какой-то острослов на юмористической странице воспел ветхого мемуариста, который, с годами потеряв рассудок, пишет бравые воспоминания. Я номер не видел, но из редакции мне передали что-то именно в этом роде. Говорят даже, что весь номер конфисковали. Бедняги, как они простодушно выдают себя — сразу и с головой. Никто бы и не догадался, так они сами подскажут. Завидую Вам, что выдалось время для чтения Маркеса. Я сам держу двенадцатый номер «Иностранной литературы» с его сочинением, но никак не доберусь из-за опостылевшего Пришвина. Хорошо хоть, что сам Пришвин сведет то с Ремизовым, то с Розановым, то с Блоком, то с Бердяевым, а то бы совсем удавился. Сочинение выходит «умственное», нетерпеливое — все вопросы разом хочется решить, рассказать человеку и что делать, и кто виноват, и как жить. То-то посмеются в издательстве.

Из Красноярска мне напоминают, что я им про

Вас книжку обещал, а я им напоминаю, что они мне аванс обещали, но, видно, так и не дождусь ни копейки. Ах, хитрецы — все норовят со всех сторон заслониться: чтобы и книжка была, и хорошо бы вообще денег не платить, а на что автору сочинять книжку — неизвестно. Он бы и рад ее сочинить, да ему надо про еду на завтра думать, и он, накинув суму, идет кусочничает. Раньше издательства были пощедрее и лучше понимали, что из ничего ничего и не сделаешь.



Ну да Бог с ними. Не помру. Вот Пришвина закончу и прорецензирую что-нибудь; глядишь, на хлеб заработаю. Мне много не надо. Желудок у меня меленький, с войны не успел разработаться. Противно только, что обещали, и за язык я их не тянул.

А о литературе нашей Вы правы, Виктор Петрович, — мала, убога, поверхностна и до конца XIX века ей, увы, не дотянуть. Там были люди душой здоровые и могли поднять много, а нынче силенок только на графинчик в ЦДЛ — какие уж тут страсти и какие мысли, сами себя выхолостили. Маркес тут урок хороший. Только мы и читать разучились, на себя не меряем. Похвалили его и слава Богу, будто и дело сделали, а чтобы душой помериться да устыдиться, так это нет. До мая-то не знаю, как дожить. Может быть, раньше где-нибудь Вас увижу — может, как-нибудь дорога у Вас через Псков пойдет...

Ваш Вал. Курбатов

28 марта 1982 г.

Дорогой Валентин!

Я кое-как добрался снова до повести, делаю второй заход. С декабря не мог приняться за нее, чувствую, остывает и, бросив все и вся, эгоистично посвятил себя своей работе. Не скажу, что повесть ла-

дится, плохо с композицией, не получаются бабы, а если они не получаются, остальное мало имеет значения — они главнее всех и всего. Это я еще раз осознал. Хотел написать рассказ, а вывезло на повесть, сперва на маленькую, теперь на среднюю. Все рыхло, длинно, местами маловыразительно — нельзя профессионалу так долго бездельничать или заниматься полуделом, копыта отрастают, как у стоялого коня, надо их обрезать и заново коваться, а кому охота в станок лезть? Вот потому и не пишу никому, все ж перерывы в работе, сплошь и рядом, то приболею, то мероприятия разные. Вот на три дня летал в Новосибирск на юбилей «Сибирских огней» и три дня долой. А числа 7-10 апреля собираемся на недельку в Москву и потом на все лето в деревню, где и ждем тебя в начале июня, но не позднее, лучше даже в конце мая, ибо я ныне собираюсь поездить по краю и дома буду мало.

Мария Семеновна слетала в Вологду, болели внуки — и тот, и другой, выручала детей. Кто их потом будет выручать? И думать об этом тяжеловато, а уже часто думается.

Ну, вот коротенько все. «Затеси» книгой ушли в набор. Что с ними будет, одному Всевышнему ведомо.

Поклон домашним от меня и М. С.

Я обнимаю тебя.

Виктор Петрович

27 апреля 1982 г.
д. Малеевка

Дорогой Виктор Петрович!

Перво-наперво (или во первых строках моего письма) поздравляю Вас с днем рождения! Мы стареем телом, но если вглядеться в себя, вдруг покажется, что ум и душа только-только и начинают пробуждаться как следует, что мы только сейчас на-

чинаем видеть и слышать драгоценные оттенки Божьего мира.

И когда бы мне пришлось сказать тост на Вашем празднике, я поднял бы его за счастье зрелости, за то, что каждый год прибавляет нам юного света и зоркости ума, и за то, что мне еще предстоит счастье идти вперед к Вашему возрасту.

Разве мы с каждым годом старше? Не знаю... Нет и нет... Да здравствует свет грядущей старости!

Не зная пока Вашего решения (взять ли меня с собой по краю), согласился на предложение живущего по соседству Шней-Красикова приехать в середине июня поговорить с молодыми в Красноярске. Он здесь пишет поэтический этюд о руководящей роли партии в художественной литературе и о партийности как эстетической категории и, кажется, ждет, что я под его знаменем поведу молодых в то же светлое царство. Говорят, что звал Бровмана, но тот заболел. Услышав эту фамилию, я подумал, бедный Сережа Задереев, бедный Олег Корабельников, бедные другие — им же просто порубят головы, как курям, — и вот согласился. Правда, не знаю, пойдет ли еще на это правление, но если пойдет, я хоть немного прикрою своим тщедушным телом беззащитных ребят от «руководящей роли».

Вы ничего не откладывайте, если я не застану Вас, то, значит, не судьба. А может быть, Вы будете недалеко и я как-нибудь доберусь. Попробую попросить командировку на две недели, чтобы был запасец в днях.

Сердечный привет Марье Семеновне!

И все-таки очень надеюсь, что мы не разминемся и хоть денька три посидим на бревнышках у Енисея.

С днем рождения!

Будьте здоровы, здоровы, здоровы!

И счастливы!

Ваш Вал. Курбатов

22 мая 1982 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Простите, Христа ради, совсем я Вас извел. Командировку мне «Дружба народов» дает, но теперь мне нужно знать, когда Вы будете дома (мне бы удобнее числа с 17 июня, но можно и немного попозже). Напишите мне сразу число, в которое мне приехать, и я буду заказывать билет. Надо хотя бы десять дней запаса, а то ведь от псковской авиакассы до Красноярска как до луны. Поэтому я и прошу Вас сказать число сразу.

Почему именно июнь, а не позднее? «Дружба народов» свой первый номер 1983 года хочет отдать (условно) борьбе за мир и хотела бы, чтобы Вы задели именно эту тему. Я думаю, что это, может быть, сейчас и есть самая живая тема, о которой говорить и говорить — тут и война болит, и природа, да и все, как ни поверни, к миру поворачивает, а без него всякая затея бессмысленна.

Пожалуйста, найдите для меня время, если не десять дней, то хоть дня четыре. Если Вы в эту пору будете в Игарке, то, я думаю, мне дадут командировку и туда — им-то все равно.

Но, конечно, спокойнее было бы дома, а Овсянке, на берегу, так отрадно напоминающем мне чусовское детство.

Я посмотрел «Прощание» Э. Климова по повести Распутина и опечалился. Вышло громоздко, безжизненно, неуклюже. Материал-то был чужой, не успел он прижиться к нему, да и сердце еще болело от потери Ларисы Шепитько — вот и вышло сутолочно, путано, неотчетливо.

Впрочем, и сейчас видно, что замысел был очень значителен, но та покойница еще звенит где-то между кадрами, хотя она и не сняла ни метра.

Еще раз простите, Виктор Петрович! Сам измучился, Вас отвлекаю, но очень надеюсь, что на этот раз уговор последний.

Привет Марье Семеновне.

Очень жду весточки в наиближайшее время, чтобы успеть с командировкой без нервов.

Ваш Вал. Курбатов



21 июня 1982 г.

Дорогой Валентин!

От тебя ажник три (!!!) послания — из Емельяново, с книгой Ю. Кузнецова и с фотографиями. «За все, за все тебя благодарю...», как поется в хорошем романсе. Я уж не помню, как развивались события после твоего отъезда, но вроде бы стремительно. Мы с Марьей Семеновной взяли да и махнули на самолете в поселок Бор, к другу моего детства. Он — работяга. Из сохранившихся работяг, с совестью, с угловатостью, даже с умом. Вокруг него такие же, весь Север прошедшие мужики.

Он, Вася, специально к нашему приезду взял отпуск и на своей моторке покатал по хорошим местам. Мы даже переночевали на Осиновских порогах — и это уж на всю жизнь. Место неописуемой красоты и величия, рыба, пусть и мелкая, ловилась беспрестанно, даже Марья наловила штук до двадцати, а браконьерщики попотчевали нас и свежей дивной стерлядкой. Чтят они автора «Царь-рыбы» за правдуматку, за то, что «борется» он!.. Пробыли недолго.

А тем временем еще раз остановили «Затеси» и был снят рассказ «Русский алмаз», чего и следовало ожидать. Среди ходатаев за нравственность литературы оказался Шней-Красиков: ходил в крайком, сука старая, и усиливал бдительность. Откуда он мог знать про книгу или что-то о ней? Источники всегда

найдутся, а я и на тебя грешу маленько. По благодушию и интеллигентской беспечности мог ты в Малеевке «побеседовать» с ним и обо мне, и о моей книжке, а ему-то и дай. Как себе вес-то набивать и цену? Сволочь же на всю жизнь остается сволочью, да еще ничтожное по уму и национальности существо. Ну, да хер с ним! Не стоит он разговора, а я уж нацелился расхерачить печатно его роман. Да как вспомнил, что читать-то надо почти 500 страниц печатной блевотины, так меня от критики и отворотило.

В книжке и без «Алмаза» остается достаточно, чтоб считаться ей серьезной, а это не так мало в наше время. Насчет баклановской прозы мысли твои полностью разделяю, а она ведь не худшая среди литературы существующей, нисколько не хуже той же бондаревской, считаю я.

Потянуло меня после той великолепной поездки заглянуть в рукопись романа. Заглянул. Просидел до двух ночи, увидел бездну ждущей меня работы и появилось: может, бросить? Бросал же! И вот с этим настроением сейчас всячески борюсь, а бороться трудно, в голове масса приятственных рассказиков про рыбалку и про дорогих мне людей. Может, они более нуждаются быть запечатленными, чем те, которых я лишь наметил в рукописи? Эти мной любимые люди и виды как живые передо мной, не надо ни выдумывать, ни надсажаться.

Ах ти, ах ти, бес-от так вокруг и вертится! Так и тянет к легкой жизни, к воровству, плутовству и духовным прегрешениям. А ты вон подвигов требуешь! И тоже духовных. Может, плюнуть на тебя и поддаться бесу?! Ах ти, ах ти, а тут лето, ягоды поспели, грыбы наросли, рыба клюеть... бабы ходють кругом, жопами вертють! Ведь зачем-то они имя́ вертють же?! Как ты думаешь, зачем?

Посмотрели сегодня с Марьей Семеновной «Ураган». Смотрели его в Чусовом раньше, еще в

47-м году. Значение настоящего искусства от возраста становится еще более значительным. В столе я нашел пленку (фото). Сам не сымаю. Наверное, твоя? Велел отослать тебе. Поклон тебе от наших всех.

Обнимаю.

В. П.

9 июля 1982 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Я все никак не возвращусь из поездки, хоть и в Москве три дня пробыл и уж дома вот неделю сижу, а душа-то поотстала и тянется где-то обозом. Обложился фотографиями, карточками с зеленовских работ и его картинками, оформил офорты Поздеева, положил на белый лист жарок с Амыла и сижу пригорюнившись, не зная, как бы воротиться к работе, потому что скоро уж позванивать и покрикивать начнут. Мне бы и самому надо сейчас в четыре руки работать, потому что, если бы дело пошло, я мог бы согласиться на предложение Шней-Красикова и приехать в середине сентября на обсуждение рукописей молодых (они опять перенесли это обсуждение). Но уж, видно, надо эти прожекты позабыть и не травить сердце.

Все нейдет у меня из головы Ваш «Печальный детектив», и я, по старинной своей привычке придумывать ситуации и наспех выстраивать драматургию мысли, начинаю думать, что рано или поздно и Вы, и Носов, и Кондратьев должны будете столкнуться с необходимостью качественного скачка, что-то выработалось, выговорилось, прямая боль вылилась, и душа уже просит «Войны и мира», обобщения, идеи, куда бы поместилось все знание (оттого Вы и откладываете год за годом свою глав-

ную книгу о войне). А Идея есть непременно Вера, есть непременно могучий положительный идеал — дорогу должно быть впереди видно, а когда глядишь, глядишь, а впереди что-то неразличимое, сумеречное, то тут за стол не сядешь. Какому-нибудь Бакланову полегче, у него тренированная мысль может на приблизительном обобщении выехать, на притворной идее или просто на заимствованной, хоть у того же Толстого. Быков тоже принял решение и идет библейской тропой, что так верно схватила Л. Шепитько, а это тропа вечная. Вам же с Носовым и Кондратьевым этого мало. Вы слишком земные, здоровые. Вам все «перещупать» надо, а мир пошел хитрый — ущупаешь, ухватишь в горсть, а он из нее песком вытек и вроде и держал что-то, а что — Бог весть.

Нет, вижу, не зря издательство призывает меня «партийную» книжку про Вас написать — чувствует, видать, что могу я завиться веревочкой.

Сто сердечных приветов Марье Семеновне! И Зеленову поклон.

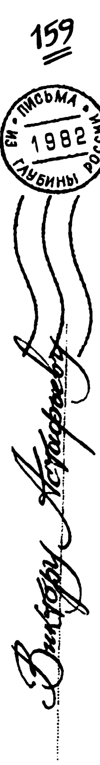
Ваш Вал. Курбатов

2 августа 1982 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Может, я и виноват перед Вами в том, что слишком хвалил Ваш дар перед Змеем-Красиковым *[Шней-Красиков. — Сост.]*, — наверное, разозлил. Что же до «Затесей» или наших-то отдельных вещей — мы вообще не говорили. Да и всей-то беседы едва набралось полчаса, когда мы вместе сидели у Романова. О чем с ним говорить? Простите, если я косвенным образом оказался виноват в издательской судьбе «Затесей». Только думаю, что дело тут не в чьих-

то беседах, а в том одном, что Вы каждым своим словом отрицаете право на жизнь всей змей-красиковской писанины — как ему тут не пуститься в оборону, как не кинуться в крайком, где полковники всегда в большей цене, чем рядовые. Однако я думаю еще, что дело и не только в шнеевских паломничествах к владыкам. Ваш взгляд на мир так посуровел, что издательство оробело, и чем далее, тем робость эта будет увеличиваться и уже надо будет готовиться к тому, что печатание будущих работ затруднится. Можно говорить об истине, но нельзя говорить саму истину, а Вы решили все раны принародно показать и принародно же спросить: а уж не виноват ли кто-нибудь во всем этом? Такие вещи легко не проходят.



Я очень завидую Вашим поездкам. Сам съездил только в Латвию да в Михайловское, посидел в баньке на усадьбе, передал от вас привет М. А. Дудину и разговорился с ним о том и о сем. Задели и войну, и он сказал, что из войны почти всегда выходит «преданное поколение», которое живет муками и часто плохо кончает. Советовал при этом прочитать какой-то роман в седьмом — восьмом номере «Иностранной литературы» за этот год и пересказал его *[роман американского прозаика Д. Трамбо «Джонни получил винтовку». — Сост.]*. Я слушал и вспоминал Ваш роман о войне — словно книги заглядывали друг в друга (герой там, кажется, Джонни) — такая родственность в послевоенных судьбах. Видно, в каком-то смысле выигранных войн не бывает. Страна может победить, но человек все равно проиграет, хотя взгляд это страшный и, сохрани Бог, если попадет на глаза господам политикам — съедят, потому что разом извратят мысль, навешают ярлыков, затопчут, затравят собаками. Да и мир еще так устроен, что этой мысли не время, может, ей и вообще время не придет, сам же человек ей и не

даст прийти. Хорошо бы верить, что все люди рождаются одинаковыми, но, увы, человеческая история не дает поверить этому. Разными они рождаются, и сущую правду говорил Метерлинк, что, выходя из дому, Сократ встречает Сократа, а Иуда — только Иуду, что разумного, рационального Сократа не сделаешь Моцартом.

Я получил весточку от Звонцова. Он хорошо пишет о Вас и говорит, что скоро найдет случай самому выразить благодарность и, наверное, пришлет что-то из офортов.

Деньги тоже, слава Богу, пришли. Теперь можно работать спокойно.

Марье Семеновне низкий поклон.

Ваш Вал. Курбатов

19 августа 1982 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Сижу над рукописью книги об Астафьеве и, естественно, много думаю о нем и мысли не все веселые. Так одна из них, Бог весть по какой причине пришедшая, что в старину не зря молились, чтобы Бог избавил от славы, зная не только то, что она — «крест бесконечный» (Пришвин), но и то, что она неизбежно введет писателя в ложные условия. Он скоро перестает писать с прежней естественностью и свободой, с той живой радостью, с которой прежде выговаривал свои боли или утехи, а как-то все время искоса поглядывает — то ли он говорит, доволен ли им читатель, ведь он (читатель) так доверчиво отдал ему свое сердце? И уж тут, глядишь, или в морализаторство заедешь, поверишь, что ты учитель, и примешься мордой его, как кутенка, тыкать или лаской к добру обращать, или наоборот (если

он от тебя яду ждет) такого ему подсыплешь, что того гляди сам отравишься. В обоих случаях из сочинений уходит здоровая непосредственность, и с нею безгрешная убедительность повествования, бескорыстие уходит, а без него уже никак в тон не попадешь. И тут мне очень нравится замечание Ф. Мориака о том, что мы не замечаем, как часто «наше произведение умирает раньше нас, а мы остаемся жить, жалкие, осыпанные почестями» и отвергнутые (часто сострадательно отвергнутые — «жалко старика, он так мощно начинал») теми, кто вчера заглядывал нам в рот, ожидая не просто живого слова, но непременно пророчества.

Кажется, это я говорю к тому, что, может быть, Вам послать меня да и иных господ учителей, которые требуют от Вас подвигов и величавых эпопей, решающих последние вопросы бытия, а взять да и со всею нежностью и Вашим умением написать всех, кто просится на бумагу, — все это великое население рыбаков, которое Вам так ведомо, восславить их со всею щедростью. А подвиги и пророчества все равно по заказу не делаются — они однажды исторгаются из сердца, и ты сам сказать не можешь, как это случилось, что оказался посреди площади, а вокруг горит глазами толпа неофитов. Я все больше убеждаюсь, что Вы по складу лирик, а не эпик, что Вам не вселенную охватывать, а сердце в руке держать, хотя кому из нас не хочется написать «Войну и мир». Тут бы ненароком чужую задачу себе не поставить, которая потом все силы отнимет, измучает и бросит исковерканного.

Вчера выступал по телевидению Даниил Гранин. Очень хорошо говорил и об уважении к истории, и о благодарности к природе, и о пьянстве, и о равнодушии — о многих наших болезнях. Не кокетничал, не притворялся, не напускал на себя мировых скорбей, живой говорил о живом — я думал о нем

хуже по его несколько чужим мне книгам и радостно раскаиваюсь в своем заблуждении.

Ваш Вал. Курбатов

162 22 декабря 1982 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

С Новым годом Вас! Пошли Вам Бог здоровья! И пусть будут здоровы дети и внуки, а уж остальное как-нибудь сложится и переможется. Последнее Ваше письмо было беспокойно. Как теперь все — у Ирины, у Марьи Семеновны?

Пермь подтвердила свое желание заказать мне книгу о строгановской иконе, и я так рад этому отчему привету, как родимой весточке. Если напишу, то тем как будто немного отплачу этой доброй ко мне земле за свои детство и юность на Больничной Горе, которые теперь так хороши отсюда, что хоть бросай все и беги обратно в тот полубарачный голодный быт.

Пока еще не знаю, когда поеду — все как-то оказалось связано и с Третьяковкой (там готовят выставку Строгановых), и с переработкой Пришвина, но все равно скоро опять всласть нахожусь по Чусовому, в котором мне так хорошо (но странно, как увижу во сне, что мне навсегда жить в Чусовом, так даже просыпаюсь от ужаса, словно дело о Нарымском остроге идет).

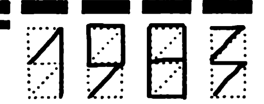
Появились ли у Вас «Затеси»? Вы обещали книжечку. Здесь-то ведь не найдешь.

С Новым годом, Виктор Петрович!

Будьте здоровы, здоровы и здоровы!

Кланяйтесь Марье Семеновне, а если она рядом, то и поздравляйте и поцелуйте за меня, так я соскучился по беседам с ней.

Ваш Вал. Курбатов



7 января 1983 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за книжку! Сразу поглядел, есть ли «Есенина поют» и «Бесплатный спектакль». Перечитал и первый раз валидолу пришлось отведать — так зверски стукнуло сердце от тоски и болезненного ожесточения на свой народ, которому мало, что его всяк кому не лень на свой лад кроит и на стельки пускает, так он еще и сам себя изводит со свирепостью, будто на лютого врага ополчился. Что сделали с русским мужиком! Как умело и последовательно вывели из него душу живую, а он, бедный,

и не заметил — гуляет себе, купился на красное слово и отрез к празднику. И вот вместо удали — дикость, вместо веселья — поножовщина, вместо смекалки — пронырливость...

Прочитал и предисловие и обиделся за нашего брата критика. Напрасно Вы его так! То есть, конечно, и среди нашего брата хватает разной нечисти, а все-таки вроде и не все попадут в обобщительный-то ряд.

У Вас ведь язык не повернется плохо о Макарове сказать, а ведь — критик, или о том же Яновском, а у меня еще — о мужественном и точном Дедкове, о глубоком и проницательном Золотусском, да и много еще найдется таких, до кого нашим посредственным прозаикам как до небес. И потом это уж расхожее общее место — критика пнуть, теперь уж этого разве слепые да глухонемые не делают. Увы, первыми истину искажают не критики — они всегда, вовеки — свет отраженный, и если уж пошли мелочиться и пакостить, значит, кто-то из творцов их растлил. Это уж я давным-давно заметил и мог бы, пожалуй, и сочиненьице написать в защиту матушки-кормилицы да больно уж очень неловко обороняться-то. Раз защищается, значит, знает кошка, чье мясо съела — это у нас правило известное.

Это отступление продиктовано желанием не видеть Вас в ряду тех, кто укорами в адрес критики ищет одобрительных хлопков в зале. Оставьте это тем маленьким сочинителям, которые не знают иного способа быть отважными перед публикой. Вы уже на той действительной высоте, где такие малости и общие места не нужны. А уж если бить, то прямо в лоб, как Вы Бровмана. Враг всегда личен, в литературе нет безымянностей, равно в прозе и критике, и даже сотня подлецов не может обесчестить самой профессии.

Вероятно, моя горячность происходит из того, что я сам ненавижу критику, загнанную в угол и обесчещенную, лишенную права на сопротивление, офлажкованную, с вырванным языком и отрубленной рукой, и если она иногда одними уж глазами и мычанием все-таки умеет что-то сказать, то честь ей и хвала.

Спасибо Вам за горькую, мужественную книгу! Спасибо Марье Семеновне, напомнившей Вам, что у меня ее нет. Нежный привет ей!

Родила ли Ирина?

Ваш Вал. Курбатов

23 января 1983 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Ирина подарила нам внучку. Далось это тяжело, с нервотрепкой и прочими последствиями. Более месяца, а если считать заезд в Вологду, привыканье в Красноярске и прочее, и прочее, то месяца полтора я не мог ни писать, ни думать. А потом тоже разболелся, валялся в соплях гриппозных. Где-то простудился. Зима-то у нас, в общем, милостива, слякоти нет, но перепады большие — вчера было ночью минус 26, а днем минус 1-3.

Завтра Ирину привезут домой. Она тут побудет какое-то время и как окрепнет, так их мать и проводит в Вологду. А я 28-го уйду в профилакторий и возьмусь за роман о войне. Приходили тут майоры из «Красной звезды» и, каясь за прошлые «недоразумения», просили у меня кусок ко дню Красной армии в газету. Я им, конечно, говорил, что к датам не подхожу, но они вынудили меня посмотреть черновик второй части романа, года три уж валяющегося в столе, и я увидел вполне серьезную зре-

лую прозу в очень железно и твердо построенной книге, где в отличие от современного романа ни путаницы, ни тупиков и материал еще жив в памяти. Так решил я смутную-то вещь отложить и взяться за главное, ибо услышал тут мудрое изречение Курчатова, что можно всю жизнь растащить на дела второстепенные и что надо, как он, всегда заниматься только главным делом. Для него этим главным были атомная и водородная бомбы, оставленные нам на добрую память, и как мы главное дело его поборем нашим главным — не знаю, но явные сдвиги есть.

Мой неврастеничный и умненький внук Витенька спросил тут у бабы, когда, с какого возраста принимают на комбайн? Бабушка, естественно, поинтересовалась — зачем ему это? «А я не хочу никого убивать», — ответил он. Вот если человечество так проникнется, успеет проникнуться отвращением к войне, то уже в эмбриональном состоянии его будет рвать от запаха пороха и можно будет говорить серьезно о мире и разоружении — все, все, от мала до велика, должны напитаться отвращением к убийству, иначе ничего не выйдет и все словеса и усилия наши впустую.

Ну чего ты, ей Богу, разбрюзжался! Ведь пишу, да и не только я, с расчетом на понимание и доверие читателя, хотя бы такого редкого, как ты. И на тебе! Там же поставлено «провинциальная критика — не по географическому принципу», ну, если дело дойдет до переиздания при мне или без меня, поставьте мое любимое словечко «направители», т. е. «критики-направители».

Да ты и не хуже меня понимаешь, о чем речь в книжке, да, видно, так отсырел и заглох в своем псковском углу, что уж и чувство юмора потерял, думая о Боге и крестах. А я вот как раз читаю «Окаянные дни» известного тебе автора *[Бунина. —*

Сост.] и еще раз убеждаюсь, что нет Его, Бога-то, нет, иначе бы Он давно покарал всю эту свору страшными и немедленными муками, а Он почто-то карает все не тех, все вслепую и насылает болести на простой люд.

Я вон на Вологодчине узнал новость такую, что волосы везде зашевелились: на северо-западе, а значит, и у вас, появился энцефалитный комар! Значит, и у нас он, голубчик, скоро будет. Во всяком разе колорадский жук уже достиг и успешно переваливает любимый твой Урал, а ты там бурчишь: «Не трожь Дедкова-братишку и Золотусского не трожь, а то пасть порву!»

Да и не трогаю, не трогаю! Во-первых, боюсь, во-вторых люблю их и соболезную им не меньше тебя.

А получил ли ты от меня вырезку из газеты с твоим собственным изображением? Неужели братишки-доглядчики перехватили? Очень юморной был снимок. Я пописал, еще до эпопеи с рождением внучки, маленько «Затеси», а вообще осень и зима почти пропали.

Ну, не болей и не смурней.

Обнимаю.

Виктор Петрович

9 февраля 1983 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

А как же внучку-то зовут? Совсем у Вас теперь сердце между Вологдой и Красноярском разорвется.

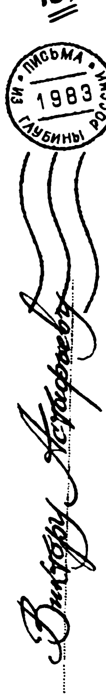
Очень меня обрадовало Ваше решение взяться за военный роман. В откладывании всегда есть опасность: думаешь — не время еще, пусть отлежится в

душе, а как отлежалось, смотришь, у материала-то уже пролежни появились и он не жилец. Хоть это благо Курчатов сделал, подсказал Вам, что надо главные дела делать. А мне вот он этого не говорит, и я все по второстепенным ударяю: пока вот Пришвина переделываю, но что-то вместо желательного издательству поправения он у меня вовсе набок съезжает и вот о Беломорканале говорит, что там «вся распятая Россия, которая «просвечивает» — Христовой победой в своем великодушии жить и творить в любой обстановке».

Я понимаю, что Вас заденет здесь Христос, ну, да это — пришвинский. А Вы Бога-то понимаете, простите, как Павка Корчагин, попу махорки насыпавший: как-то уж очень утилитарно, вроде районного начальства, которое вольно нас миловать, а вольно и казнить. Когда бы все так, то не мучился бы так Достоевский на каторге, Толстой бы своего «Евангелия» не составил и Гоголь сумел бы показать свой нос во всю его длину. Нет тут простоты, и пока живет человек — не будет. Я вот, грешный, думаю, что если бы люди даже выдумали Бога, то это одно было бы так величественно и страшно по силе замысла, что человечество смело могло больше не думать о смерти — сим победиши, как говорили в старину; одним этим замыслом люди отменили смерть, а значит, если и не было Бога, то создали и утвердили его во всем величии силы. Что весь здравый рассудок самонадеянного человечества значит перед простым фактом — что человек перестал бояться смерти. Не обманул сам себя, не притворился, что вознаграждение его ждет, а просто сказал смерти — тебя нет.

Впрочем, говорить об этом — как воду в ступе толочь, тут надобен какой-то другой язык, вроде языка травы или улыбки, а где мне его взять, если

я сам дитя здравого смысла, воспитанник копеечного разума и бессильно отступаю не то что перед Евангелием, но перед Паскалем или священником Феодосием, только в меру сил перекладывающим оригинал на наш промежуточный язык.



Беда-то наша в том, что мы Бога попом заменяем, путаем их. И это не только у нас, а и у католического Запада, и у магометанского Востока со своими религиозными правительствами, не отличающимися по лукавству от светских правительств, потому что светские вовеки сильнее, как всякая очевидность здравого смысла перед безмолвным актом веры. Аминь.

Ну вот, проповедь окончена, теперь можно вернуться к житейским делам.

Я понемногу собираюсь в родную Пермь за очередной второстепенностью — материалом о строгановской школе и радуюсь самой мысли, что увижу Мишу Голубкова, Евгения Широкова и много других нужных сердцу людей. И в родном Чусовом погощу, погляжу на Ваши домишки и поклонюсь им до земли. Нам бы там резон летом съехаться, да по Усьве походить...

Да где там! Вон в Москве-то не можем сойтись, хотя иногда бываем там в одну пору.

А карточку-то «мою», которую Вы как-то вырезали из газеты, я получил — спасибо, что не забываете. А другой добрый человек вчера прислал вырезку из «Вечерки», где «я» спрашиваю, чем сейчас заняты ветераны нашего хоккея. Следят люди за моим творчеством — это приятно.

Сердечный привет Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

26 февраля 1983 г.
Москва

Дорогой Виктор Петрович!

Как-то, видно, меня все-таки задело Ваше шутливое замечание, что я с крестами и попами чувство юмора потерял.

Вот эти «кресты и попы» мне все покоя не дают. И мне опять хочется вступиться за церковь. Вчера я был в музее П. Д. Корина, смотрел нужные мне «строгановские» иконы для Перми, а потом зашел в саму его мастерскую, где стоит безмолвный холст вышиною до небес без единого штриха на нем, а у подножия теснится человечество, которое должно было его населить. Вы знаете этот его замысел — «Русь уходящая». Тут написано все тогдашнее духовенство от патриарха Сергия до неведомого чернеца. И все это исполнено такой величавой силы, духовного могущества, такого высокого знания правды, что теперь уж, кажется, и сам тип этого лица и этого света ушел.

Впечатление так значительно, что вполне понимаешь, почему этот замысел не осуществлен до конца. Это был действительно уход Руси, но уход в свет, не обнимаемый тьмою. Герои этих холстов были так велики мыслью и знанием, что полутора- и двухчеловеческий рост холстов был им единственно соразмерен — по духу и плоть! Это портрет Руси в ее лучшем выражении, в последнем развитии, и покажи такую «Русь уходящую» на громадном холсте, и за ней должен был бы уйти весь народ, потому что без этого света и силы — земля ему пустыня, а он — сирота.

Откуда же сила-то? Это понятно всякому человеку, отстоявшему любую литургию, хоть в самой крошечной церкви и при самом беспутном попе из тех, которых так любил рисовать разоблачитель-

ный Перов. Сила эта в том, что в церкви человек стоит посреди истории, что он не безроден и не вчера родился, а с ним идет все прошлое, как живое и сегодняшнее. И не только в том, что русский человек записывает в поминальник и тех родных, которые ушли из мира еще в Крымскую кампанию, но в том в особенности, что сама литургия поминает и Александра Невского, и Сергия Радонежского, и тьму преподобных, замученных татарами за отчую землю.

Человек стоит в сегодняшнем дне, где нет прошлого, а один долгий день, за который ему тоже надо отвечать. А молится он не за одного себя, но за всех страждущих в этот час от болезни, одиночества, скорби, гнева и нужды, за всех «труждающихся и обремененных», потому что на земле нет ему чужих людей, а все — семья (братья и сестры). Человек в церкви не может быть сиротой и не может быть поражен беспомощностью и цинизмом — ему и душа не даст.

А шире — он стоит и в истории Вселенной, так что ему и первые века — свои. Когда однажды почувствуешь этот мощный ствол, этот световой поток, то тут уж будет не до себя, не до мелочей своих. Это впечатление незабываемое, словно и правда мечется по свету один-одинешенек, а тут тебя ждал весь родной мир. В этом нет ни мистики московских умников, ни кликушества провинциальных недоумков, ни партийности объевшихся интеллигентов, а только — спокойное сознание родства и знание места, где это родство не забыто и история не переписывается в угоду сменяющимся поколениям, не тасуется и не передергивает дат и имен, а помнит только самое существенное — страдание за отчую землю.

Вы вызовете в душе и памяти другое и можете разом опрокинуть меня бездной других примеров.

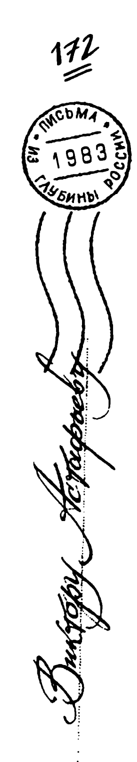
Но я волен выбрать и выбираю эту дорогу — вот и все мои кресты и попы.

Послезавтра еду в Пермь. Поработаю там в галерее, потом погощу у мамы дней с десять. Давно ли был в Чусовом, а уж соскучился.

Нежный привет Марье Семеновне.

Оттуда напишу.

Ваш Вал. Курбатов



12 марта 1983 г.
Чусовой

Дорогой Виктор Петрович!

Сегодня зашел в «Чусовской рабочий», и оказалось, что там остался только один человек из тех, кто работал с Вами. Он с радостью показал мне подшивки 1951—1953 годов, и я теперь знаю, как замечательно относитесь Вы к Сталину. В особенности хороши лирические этюды («Школьник с деловым видом прибивает на стену картину «Утро нашей Родины». Бабушка смотрит на своего внука, потом поднимает глаза на картину и долго, не отрываясь, глядит на творца нашего счастья, любимого Сталина» — это уже после его смерти — 1 мая 1953 г.). Особенно мне понравилось сочинение про то, как «Замечательно одеваются наши люди». Там Вы сначала долго живописали бедность Акакия Акакиевича Башмачкина, а потом заиграли в трубы: «Пришли другие времена, и простые люди нашей страны добыли себе счастливую жизнь». И уж дальше про то, что достаточно пройти по чусовским улицам, чтобы увидеть «мягкие пальто, бостоновые костюмы» и еще какие-то чудеса, которых, поди, Вы сами-то в эту пору и во сне еще не нашивали.

Город не меняется, и когда соберетесь, найдете

его в том же году, в каком оставили. Уж сколько раз я отмечаю это для себя, а все равно каждый раз поражаюсь, как впервые.

А уж редакция! Как они Вас не задавили своей мертвенной деловитой немотой. Большие нужны силы, чтобы уберечься в этой среде, не поддаться искушению махнуть рукой и катиться вместе с этими ловкими и иногда цепкими ребятами год за годом все по кругу, по кругу. Я уж как-то отвык немного, позабыл было эту публику, а тут опять разом вспомнилось все и я еще раз обрадовался за Вас и за себя, что сумели вырваться, не сгинули в этом страшноватом обиходе.

Сейчас уж, по прошествии дней, все думаю, что напрасно заходил в «Чусовской рабочий». Была какая-то «дымка» вокруг этой газеты, детское впечатление, школьная почтительность, а ведь и пробыл-то всего час, подшивку полистал, а впечатление ушло, потому что кто-то все время входил в комнату и говорил пошлость. Словно сговорились. И старые подшивки смотрели с брезгливыми и скверными комментариями, посмеиваясь. А ведь поглядеть как следует, так только фамилиями нынешняя газета от старой и отличается. Ну, да Бог с ними! Это уж зряшняя речь!

И коридоры пермского издательства тоже впечатление оставили затхлое. Один Миша Голубков был светом и праздником — здоровый, земной, лесной.

Вот уже две недели дома, а все будто по кочкам хожу, все никак опоры не отыщу, ровного ритма, без которого нечего и думать написать хоть строчку.

Изо всей силы желаю здоровья и Вам, и Марье Семеновне, и детям.

Ваш Вал. Курбатов

16 апреля 1983 г.
Красноярск



Дорогой Валентин!

Тяжело я тут переболел. Полтора месяца отлежал в больнице. Умудрился заболеть без Марьи, она была в Вологде, отвозила туда разросшееся семейство Ирины.

11 января Ирина родила внучку — Поленьку. Рожала здесь, в Красноярске, и как месяц исполнился девочке, двинулись они домой в сопровождении бабушки, а я уже перемогался, обострение в легких уже было, но дело привычное, думал дома изжить, приостановить процесс, но у нас весна взялась вымещать злобу за хорошую, солнцезарную зиму, чем занимается и до сих пор, и потного, меня несколько раз сильно продуло. Когда уж край пришел, я к врачам — двухстороннее воспаление легких, и на мое проколотое благодарным чусовским читателем легкое, на оставшуюся с тех пор эмфизему это уж было многовато, и я двое суток не очень настойчиво, не так, как в молодости, но все же поборолся за жизнь. *[В начале 1950-х в г. Чусовом Астафьев стал свидетелем хулиганской драки на танцплощадке. Пытаясь разнять дерущихся, получил ножевое ранение в легкое. — Сост.]*

И вот снова дышу, хоть и со скрипом, заставляю себя садиться за стол, хоть письма писать или маленькие «Затеси», ибо на улицу не хожу, боюсь погоды.

Твое письмо о Боге и иконах (пермское) — я советую все, что в нем есть, использовать в будущей книге. Мысли, может, и мимоходом оброненные, в порядке «полемики», в такой «стихийной» последовательности и безыскусной точности могут потом, когда будешь сочинять, и не получиться, огрузнеют, лишним умственным мясом обрастут и отдалят-

ся от читателя. Марье Семеновне велю скопировать письмо.

Второе — о любви к Сталину... Так Богу вам надо молиться, что время и мы избавили вас от этой любви, которая страшнее проказы, но что-то наш унизительный и подлый пример мало на кого подействовал и мало кого отвратил от земных богов, так «жадные толпы у тронов» и не поредели, так и не перевелась омерзительная привычка получать, точнее, подымать хлеб из придорожной пыли, брошенный туда земными творцами, а я уж и тем счастлив, что поздно хватился, не успел «налюбиться», ибо в ту пору стихотворные сборники издавались — половина стихов о Сталине (обязательно, иначе не издали бы), а потом вторая половина о счастливой жизни в свободной стране. Всего три года продолжалась моя газетная любовь. Год из трех ушел на то, чтобы я, тупица, понял, что передовую статью надо начинать и кончать именем отца и учителя, а передовица стоила дороже всех материалов, ибо это единственный жанр, который осиливал писать наш достославный главный редактор.

Прочел я все материалы, какие попали на глаза, — о Рафаэле, даже Пистунову прочел, хотя и не терплю ее, но и она в этот раз не о своей только умственности писала, но и о художнике тоже, и совсем неплохо. Зато ты писал с блеском, никого не повторив, никого не потревожив цитатами, и в конце статьи так, видно, горел и волновался, что это передается и читателю, во всяком разе передалось мне. Я, как всегда, от восторга чувств побежал на кухню к Мане и очень тебя хвалил и рекомендовал, чуть было в слезу ее не вбил, поскольку напирал на земляческие чувства и говорил, что русская земля не только Платонов, и Невтонов, и вождей может рожать, но вот изсилилась и на каменной чусовской природе взрастила Курбатова!..

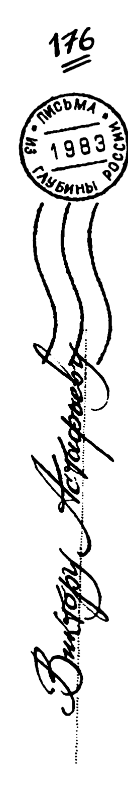
А ты там в сплин, понимаешь, ударился... А у нас тут дни Сурикова гремели. Много шуму, слов и очень посредственная выставка живописи и скульптуры.

Ну-с, с праздником! Тебя, жену, дитя!

Все лето буду в Овсянке, лишь на рыбалку мечтаю выбраться. Возьми да приедь, слетаем куда-нибудь. Развеешься.

Обнимаю.

Виктор Петрович



4 мая 1983 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

До меня уже дошли краем слухи, что Вы нешуточно болели. В Красноярске был В. Звонцов (не знаю, возил ли он туда свои офорты). Говорит, хотел повидаться, но сначала узнал о Вашей болезни, а потом и сам простудился и рванул из Красноярска, не дожидаясь окончанья затеянных там художественных пиров, усугубленных для самого Звонцова тем, что ему только что присвоили звание народного художника РСФСР и всякий хотел попотчевать его ведром-другим красноярского «сучка».

Слава Богу, что все позади (тук! тук! тук! тьфу! тьфу! тьфу!) и Вы здоровы, а может, и в Овсянке среди щавелевых пирогов.

Спасибо за добрые слова о моем Рафаэле. Я жалел там фразу, которую так и не дали сказать тургеневскому Базарову, что «Рафаэль гроша медного не стоит». Мне было важно напомнить, что русский человек мало считается с авторитетами, если они не утоляют его жажды правды, но они же и защитят и оберегут даже и того, кого сами вчера срамили, если увидят его в подлинно несправедливой обиде.

Получил рецензию Яновского на свою работу о Вас. Он замечательно защищает Вас от моих посягательств, даже злится и готов передернуть мысль, чтобы только Ваше имя было неупрекаемо. Лакировщиком меня зовет, абстрактным моралистом. Это правда — моя мораль мало социальна. Какая может быть социальность в столько раз дискредитировавшей себя общественной жизни — только и надежда на матушку-мораль, как ее вовек старики понимали и какой она записана в десяти заповедях.

Рукопись я еще не смотрел — хочу пока как следует приготовить душу к морю редакторских замечаний. После того, что и сколько мне написали в рукописи о Пришвине, я неделю вынужден был бром вместо чаю пить и в полях похаживать целыми днями, чтобы вовсе сочинительство не бросить. Так что и нашему брату, который привык лечить других, время от времени тоже перепадает и — словно в компенсацию — перепадает с авансом, чтобы кровью харкал неделю.

А Яновский — молодец! Резко, зло, но с очень отчетливой позицией — видно чего хочет — соглашайся или нет — дело твое, но четко и определенно.

Я понемногу выхожу из декадентства. Съездил в Таллин, походил по улицам, в церквях тамошних русских постоял (каждая в мемориальных досках, напоминающих вкладчиков — русское воинство, клавшее здесь свои жизни со времен Грозного и Петра), морем подышал и как-то успокоился и выровнялся. Завтра можно будет и рукопись открыть.

Слышно ли что-нибудь об А. Г. Поздееве? Как я понял — его «показывали» приезжим господам. Не глумились ли они над бедным А. Г.? Он как вам ни чужд, а художник истинно большой, с глубокой мыслью и редким у нас теперь цветовым мировоз-

зрением (краску редко кто так слышит и так человечески понимает).

Вы поприглядывайтесь к нему — он стоит любых усилий, положенных на его постижение.

Мне очень хочется к Вам на кухню или в овсянский огород — в землице покопаться и поговорить о накопившемся и особо — об Урале.

Марье Семеновне — земной поклон.

Ваш Вал. Курбатов

22 мая 1983 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за книгу Воробьева. У меня и правда ничего его нет, кроме последней вещи в «Нашем современнике».

Еще раз перечитал Ваше послесловие и вот все думаю, думаю. Вправе ли художник требовать от читателя, чтобы его знали? Или хотя бы надеяться на это? Можно ли даже другому товарищу, даже брату, укорять публику в незнании своего большого и тяжко живущего современника?

Очень боюсь, что нет. Читатель выбирает книги сам, и критика, даже персонифицированная в таком Геркулесе, как Бровман, ничего в этом выборе не определяет. И если Воробьев остался неизвестен, то уж не Бровман тому виной, потому что нет большей чести художнику, чем быть оскорбленным Бровманом, — это было всегда высокое отличие. Да ведь к тому же, как Вы сами пишете, люди читали книги Воробьева, но не знали его самого и не удерживали в памяти фамилию. Так эка беда!

Это, пожалуй, лучшая рекомендация хорошему писателю. Всякий из нас мечтал бы так анонимно

существовать, то есть достигать сердца делом своим, а не звучным именем.

А что жилось трудно, так когда же на Руси честному художнику жилось легко? Правда ведь неугодна всякой государственности, всякой! А уж у нас и всегда была в дальнем углу, и хорошо, если еще по ямам не гноили, баланду не заставляли хлебать, не выкидывали из страны, как Солженицына или Войновича (которому, хорошо зная, что его дед — серб и адмирал Российского флота, день за днем намекали, что его место в Израиле, и держали оккупированным в собственной квартире, пока не взяли измором), или Некрасова, без чьей книги «В окопах Сталинграда» могло вообще не быть никакой правды о войне.

Нет у нас в заводе того, чтобы при жизни принести все цветы и доверчивые сердца, — слишком невозвратно искажено лицо народа, повреждены все центры, которыми он мог бы воспринимать истину. Есть, пожалуй, и новая, не знаю уж как определить, национальность, что ли, какую я вижу по своим товарищам-сочинителям. Вечером за чаем он и смел, и умен, и почти брат тебе, так что ты по доверчивости уж и обнять его готов, потому что душа-то просит отзывчивости и чистоты отношений, а утром он же тебе и скажет — вечер это вечер, старик, а теперь давай дело делать, не забывай, из чьей кормушки ешь. Они почему-то уверены, что и кормит нас всех не дело нашего ума и рук, не народная милостыня своим юродивым, которые поют по перекресткам и предсказывают мор или процветание, а она все — власть предержащая. И уж почти убедили нас в этом.

Я думаю, дело русского художника — достойно загибаться под забором, не надеясь на снисхождение и не коря глухих, потому что слышащий всегда слышит, а глухой сочтет укор, адресованный соседу,

и удовлетворенно прошепчет: «Так ему, подлецу, и надо, я всегда говорил, что он не понимает в искусстве».

Да и, положа руку на сердце, разве мы между собой-то так светло бескорыстны и отзывчивы? И разве все читаем, что выходит достойного в нашей прозе? Ведь тот же Воробьев спрашивает в Вашем письме: а кто такой Носов?

А я вот вчера случайно прочитал только что вышедшую горчайшую и свежайшую книгу эстонского поэта Пауля Эрика Руммо, который, оказалось (я позвонил друзьям в Таллин), мой сверстник и живет как собака, и книги выходят (у них все выходит), но в совершенном молчании, в общем заговоре безмолвия. А не попадись — век бы прожил и не знал. Но, может, и не пропустил бы — ведь толкнула же судьба. И так всегда и вовеки — судьба приведет, а укором не возьмешь.

Мне дорого в вашем послесловии братское призывание живых обняться — бессознательный укор своему брату фронтовику, который ведь где-то ходит еще, не весь ведь полег, а словно с другой войны вернулся, не бывало ли? Своего одноокопника продаст тем, что его правду не принимает, стесняется разделить ее, потому что другой национальности — именно той — странной новообразованной. Иначе с чего бы это жаркое славословие армии, эта бодрость угроз, это молодечество воспоминаний, это барабанное воспитание детей, на десяти сталинских ударах, это море военных киношек, где вроде и смертей в избытке, но «ура» все равно перевешивает, и у ребят не вырвешь из рук любимую игрушку — пистолет.

Правда, подраться все больше уклоняются, но это уж не от осознания бессмысленности всякой войны, а от негативной реакции на бодрое воспитание — душа ленивеет и мельчает, выветривается и

скудеет. Психиатрические клиники переполнены симулянтами, уклоняющимися от службы, и это уже сочтено действительной болезнью (да это и есть болезнь) и за нее дают инвалидность.

Замечательны в Вашем послесловии и заветы мужества для печатающегося человека — хочешь говорить правду — готовь сухари и укрепляй душу, потому что грядут тяжкие испытания — лаской, голодом, уговором, забвением. Все будет попробовано.

В общем, несмотря на многое, что во мне противоречит общему тону, послесловие вышло достойное мужества книги и вместе с нею сослужит хорошую службу русской культуре.

Спасибо, Виктор Петрович!

Простите за путаность этой нервной импровизации.

Сердечный привет Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

22 августа 1983 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Все твои письма при мне. Ответить абы как мне не хотелось, а на обстоятельное письмо не было ни сил, ни времени. У нас так и не было весны, да и лета тоже, вот только в конце августа распогодилось, но уже ночи холодны, туманы над горами и Енисеем густы. За лето леса, горы и почва опились влагой, выдыхают, что возможно.

Наша жизнь течет не без перемен — 8 июня не стало моей тетушки Апрони, кончились ее земные сроки, в очень тяжелом состоянии доживает жизнь в Подмосковье тетушка Марьи Семеновны, очень нам дорогой и близкий человек, первой встретив-

шая нас с фронта и хоть маленько обласкавшая («Курица — не птица» — это о ней).

Марья Семеновна недавно летала к ней, заехала к детям. Все они, слава Богу, живы и здоровы, только Андрей все еще мается с квартирой. Более всего радует людей и радуется жизни Поленька, ей уже 8-й месяц, она пробует ходить и всем приветливо улыбается.

Ну а я в осень, в непогоду, обычно работаю и, поскольку наше лето было почти как осень, я потихоньку да помаленьку влез в роман, причем начал его с третьей книги, уж больно Джеймс Джонс задел меня своим романом «Только позови». Я его читал и все время раздраженно ерзал — вам бы, бляди, наши беды и заботы! А мы ведь при всем ужасе и при всех держимордах, при нашей худшей в мире демократии выжили, устояли, а они выдохлись неизвестно отчего, и все им конституции не хватает! И такие вот хлюпики собираются воевать с нами? Тырятся!?

Я вот и покажу, на что мы способны были, и не только в прошлом. Потенциальные возможности для смертоубийства у нас еще преогромны, и, главное, мы все еще во сто крат живучей, мужественней и стойче их, при всем нашем нынешнем разброде и крохоборстве.

Избрал я для третьей книги самую простейшую, самую примитивную форму сказа от первого лица, ибо сам материал настолько обширен, страшен и уникален, что не нуждается в дополнительных инъекциях и ухищрениях. Первая и в особенности вторая книги будут по форме сложнее, особенно вторая. Третья книга состоит из четырех частей. Две я почти уже начерно написал — это около 400 страниц. Работаю, как и в молодости, много и, кажется, сильно, однако восстанавливаюсь уже медленно, вот лишь несколько ночей сплю без снотворного, более или менее уравновесилось давление, оттого

что погода сделалась ровнее, суше и лучше, а то садился работать и при плохом давлении, особенно стало мучить нижнее артериальное — ниже 100 бывает редко. Но что же ждать? Молодость и молодая прыть не вернутся уже, а роман хочется сделать. Если буду работать так же, как нынче, за 3-4 года одолею. Материал весь отстоялся, книга в голове выстроилась, дело за временем и чернилами, которые я, кстати, достаю с великим трудом. Надеюсь, что зимой или ближе к весне позову тебя прочесть более или менее прибранную третью книгу под названием «Веселый солдат», где будет и Чусовой, и все прелести, связанные с ним.

Кстати, любимый город наш бурно отпраздновал свое пятидесятилетие. Мне прислали ворох бумаг и приветствий, и я уж ущипнуть себя был готов — полно! Уж в этом ли городе я жил и угрохал свою молодость? Умеем, по-прежнему умеем пускать себе пыль в глаза, да и не простую, а все золотистую!

А Марья моя Семеновна вдруг весною затосковала о Чусовом, нос повесила, говорит и говорит каждый день воспоминанья, и я уж сказал ей: «Ну съезди, иного способа от тоски избавиться нет». Но я еще после тяжелой болезни хандрил, плохо себя чувствовал, и она не решилась меня оставить, перемаялась, и я ей пообещал, что зимою или весной мы сделаем турне по Уралу и непременно уж посетим родные могилки в Чусовом. Ей ведь только на могилках побывать, и она успокоится.

Два раза (всего!) выезжал я на природу — на водохранилище на катере и на мало-большой Абакан. Это довольно далеко, но реки — Абаканы — спокойнее Амыла, лодки уёмистей, хоть и деревянные, мужики надежнее. Проехали и повидали многое. Проехали даже стоянку старообрядцев Лыковых. Песков Василий Михайлович сделал очень плохую

и тяжкую им услугу, «засветив» этих чистых и святых людей, он вызвал на них стаи стервятников, да и сам, как ни горько это говорить, оказался в роли стервятника — три могилы возле дома Лыковых образовалось, остались дочь и дед, но ребята, мои спутники, меня утешили — Лыковы собираются, судя по всему, сменить стоянку в четвертый (!!!) раз и уйти дальше в горы, что могилы эти пусты и сыновья рубят новый стан где-нибудь в новом, еще более глухом и укромном месте.

Вот тебе страсти-то сибирские!

Половили рыбки, хорошо половили. Я до се ем хайрюзов малосольных, а вчера скромно справили день рождения Марьи Семеновны, так и гостей попотчевал.

Пришлось мне маленько поработать и за тебя, придумывать название книги. Редакторша приперла меня к стене. Много перебрали, остановились на словах «Миг и вечность» — это все же лучше, чем было у тебя, хотя тоже не ахти что. Полтора месяца работала здесь киногруппа из Киева, снимали фильм (теле) «Ненаглядный мой» по моему сценарию *[рассказ «Тревожный сон». — Сост.]* — фильм должен выйти на телеэкран в ноябре-декабре. Сам я ничего еще не видел, но актеры хорошие, не заношенные и работали все серьезно.

Обнимаю.

Виктор Петрович

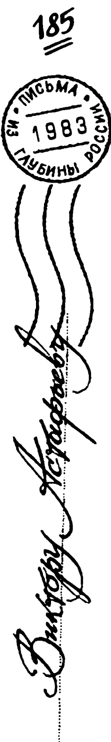
Поклон твоему парню и жене.

30 августа 1983 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Ну и слава Богу, что Вам работалось в это ненастное лето, а там еще и осень, глядишь, выпадет хо-

рошая и Вы третью книгу закончите. Если позовете прочитать, тотчас приеду и со всем занудством пущусь придираться почище самого опасливого редактора, чтобы Вы потом знали, с какой стороны ждать противника, хотя Вы это, конечно, и так насквозь знаете.



Ваше соображение по поводу героев Джонса (что они «тырятся», т. е. наследники их), я думаю, не вовсе обосновано. Солдат — смею думать — везде сторона страдательная, а тырятся те, кто сам оружия не держит. Это было во веки и так уж, видно, и будет, как ни кичится человечество демократиями и рассудительными советами (те и другие неизменно оказываются в бывших монархических покоях и скоро уже не помнят других жилищ). Очень бы мне хотелось совпасть с Вами в поездке по Уралу, но, видно, не удастся, потому что я имею право только на одну поездку в «сезон» (сынова школа не пускает), а я предпочел бы Красноярск и Вашу книгу.

«Литературная Россия» напечатала мою обезображенную заметку о Володе Зеленове, убрав начало и конец, построенные на письмах разных моих сибирских знакомых про «выветривание» Сибири, про ее «европеизацию» со всеми пороками пижонства, буддизма, кришнаизма, разного рода декадентства. Зеленов прочностью своей убеждал, что выветрилось не все. По изъятии этих демаршей вышла куца заметочка с какой-то отчетливой выщипностью из целого. Однако я все-таки послал ее Владимиру Алексеевичу единственно в доказательство исполнения обещания.

Передайте ему поклон.

Понемногу работаю над Широковым, хотя энтузиазм мой часто прокисает. Сам Евгений Николаевич капризничает и требует, чтобы я параллельно написал о 24-летии его творческой деятельности ку-

да-нибудь в периодику, в чем я ему и отказал, потому что тут уже говорит честолюбие, а я это качество недолюбливаю.

Вполне понимаю желание Марьи Семеновны махнуть в Чусовой. Сам я был там вроде недавно, а уж опять тянет. С названием «Миг и вечность» для своей рукописи примирился, хотя оно мало что выражает, кроме пустого щегольства.

Очень скучаю по Вам и Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

1 ноября 1983 г.
Красноярск

Все-то вы шутки шутите, молодой че-а-ек, а мы тут без устали боремся за высокую культуру и как посмотрим вокруг, то век нынешний и век минувший очненно, оказывается, похожи, и время не то движется и летит, не то остановилось и дремлет, как сытый кобель в конуре, охраняя чего-то и от кого-то, потрафляя хозяевам, бросающим ему мосол, подавая лапу по просьбе, а то и без оной, давая со скуки голос, все более скулящий...

Нет, ложная информация достигает богоспасаемого вашего города, который давно уж турки не осаждали, и оттого в нем дремлет мысль и угасло любопытство. Да и что говорить о городе, из которого сознательные трудящиеся ездят и ходят в очередя за сосисками за границу, к чухонцам, и едят их, пусть и с идейным отвращением, по необходимости животной, но не выплевывают же!..

Все лето мы-с сидели-с в Овсянке и писали чего-то-с и написали-с аж 800 страниц черновика, а это и на машинке будет 500 страниц, и это всего лишь половина романа, а сил не стало, и осень пришла.

Осень очень хорошая, сухая, солнечная, но ночи сделались холодные, а печь мы до се не переложили, и пришлось переехать в город.

Только один раз ездили на 4 дня в Читу, на «Литературную осень», а там дождливо и худо, так быстренько вернулись. Сейчас моя Марья Семеновна собирается в турпоездку по Финляндии, ибо после успешной атаки на вражеский самолет нас далеко никуда не пускают, а пустят — не рад будешь, заклюют или камнями забросают. Вот и наша поездка, в числе многих и многих, в Испанию не состоялась, и так, видно, не увижу я Ламанчу, в которой родился самый добрый гений этой недоброй планеты.

А поеду-ка я на курорт в Белокуриху отдохнуть. Очень устал. Надо отдохнуть и сил набраться для дальнейшей работы. Здесь отдыха не получается, звонят кому не лень и спасенье еще в том, что телефон плохо работает. Кроме того, в Алтайском крае живет мой фронтовой дружок и в самом Барнауле — семья погибшего товарища, надо навестить и того, и других. Может и к «Шукшину» удастся съездить без толпы.

Маня половину рукописи уже напечатала. Чего получается, сказать не могу пока, но что так «развязно» я еще не писал — это точно, видно, пора приспела.

В связи с писаниной, поскольку ты сектант и шутник, у меня к тебе вопрос. И серьезный. Я поставил эпиграфом к роману вот такой текст: «...человек не только не должен убивать, но не должен гневаться на брата, не должен никого считать ничтожным» (из первой заповеди «Евангелия от Матфея»). Мы сверились по «Евангелию», какое у меня есть («Новый Завет», издание сорок четвертое — 1916 год), но изречения этого не нашли.

Помоги мне вспомнить, откуда оно и точно ли переведено? Мне оно кажется обедненным в пере-

воде и упрощенным, а когда и где я его записал, вспомнить не смог — давно это было. Наверное, в Быковке еще я списывал с рукописных тетрадок у старух все «божественное», иначе мне взять негде было.

Та-ак, «Джонни получил винтовку» напечатан в девятом номере «Сибирских огней», и это мне, безбожнику, зачтется на небесах, а еще, слепуя, портя последний глаз, прочел я переписку фронтовых друзей из Красноярска, подготовил ее, написал предисловие и помог опубликовать на страницах альманах «Енисей», и это тоже мне зачтется. Делал и другие благотворительные дела. «Пора замаливать стихи», писал твой любимый поэт Алеша Решетов, и я считаю, что и грехи тоже, хотя они растут и разбухают так, что уж скоро никаких молитв не хватит, чтобы отмолиться.

Говорил ли я тебе, что посылал твоему братишке с критического миноносца Игорю Дедкову «Затеси», и он мне прислал очень доброе письмо, в котором двумя абзацами приделал литературных вождей, Бондарева и в особенности трепача Исаева так, что уж я чуть со стула не упал от точности и умности слова, вызревшего в тихой и суровой русской провинции.

За вырезку из рекламы спасибо, поте-э-эшил, во-во-о поте-эшил! Да и я мог бы кой-чем тебя потешить из «области культуры», но дел — гора, и руки дрожат.

С праздником осени и с ожиданием весны! Мечтаем о весне, о поездке по Уралу — с юбилея я отсюда сбегу.

Обнимаю.

Виктор Петрович

11 ноября 1983 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вы не ошиблись с эпиграфом. Он действительно взят из «Евангелия от Матфея». Не нашли же Вы его, потому что он записан у Вас в нетрадиционном переводе. В последнем издании Библии текст этот звучит так: «Вы слышали, что сказано древними: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему «рака» (пустой человек), подлежит синедриону; а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной» (гл. 5, стих 21). Вы можете оставить эпиграф как есть, и он будет звучать еще сильнее, если Вы скажете, что выписали его в войну из тетради, по которой молились старухи. Но в случае необходимости я обещаю Вам поискать в Священном писании эпиграф еще более точный, ибо там есть все.

Вот вчера вычитал у И. Стоуна «Библия для прозы — то же самое, что Гомер для поэзии: бьющая струя, живой источник, золотые россыпи». Бог даст, Вы позовете меня после перепечатки прочитать книгу, и тогда мы вместе поглядим Писание и найдем там самый чистый начальный звук.

Виктор Петрович, Вы помянули изданную Вами в «Енисее» переписку фронтовых друзей. Нельзя ли было бы мне заполучить экземпляр для душевного употребления, потому что я предчувствую там очень верную интонацию. Сами-то можете и не посылать — наверно, это смогут сделать издатели, если Вы их попросите — у них на это пойдет служебное время.

А «Джонни» я попрошу прислать Шапошникова из «Огней». Вася Юровских давно просит у меня монографию Яновского про Вас. Вы как-нибудь

шепните Яновскому — может, у него еще есть, а то Вася так настойчив, что выпросит мой экземпляр, а мне жалко. Вот у кого учиться бодрости-то — у Васи. Он за одно письмо столько изведет восклицательных знаков, что можно хороший огород обнести. И так уж и знай, что полписьма будет про Вас.

Сегодня получил грустное письмо от А. Соболева. На Байкале он не нашел не только ни следа своей водолазной школы, но и ни одного аборигена, кто бы о такой школе знал — так вот взяли и отменили его прошлое без следа, будто и не было ему 17 лет. Это как-то очень подкосило его — забвение показало свою расторопность уж очень наглядно.

Марья-то Семеновна уж уехала в Финляндию? Заглянула бы в Псков — мы с финнами-то соседи, через «стенку» живем. И как я в Эстонию еду, так и телевидение только финское гляжу, так что Хельсинки нам вроде Базаихи. Очень завидую Вашей работоспособности. Сам работаю плохо. Для работы выбираются крохи, а я урывками работать не умею (долго втягиваюсь, топчусь вокруг да около, отвлекаюсь, чтобы уж сесть, так сесть), а сейчас времени только на топтание и хватает.

Кое-как закончил Широкова. Перепечатываю, но и смотреть боюсь — он весь был написан в паузах, и эта пунктирность очень ощутима.

А вообще «отечески края» подмигивают и манят. Из «Современника» вдруг, не ведая ничего, присылают на внутреннюю рецензию рукопись Мишки Голубкова.

«Урал» просит написать о Тумбасове с картинками. Не пускают они меня в Европу. А я и рад — все корни получше чувствуешь.

Поклон Марье Семеновне и Зеленову.

Ваш Вал. Курбатов

29 ноября 1983 г.
Болгария

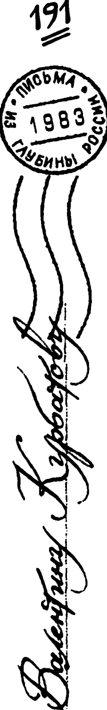
Дорогой Валентин!

Отселева мы улетим около 9 декабря, и дома, конечно же, писать будет некогда, вот и поздравляю тебя с Новым годом, с Новым счастьем.

Дом, на открытке помеченный крестиком, это то заведение, где мы живем и ты жил бы, если б не сдрейфил. Погода сухая, с морозцем ночами и с солнцем днями. Я сделал операцию, на ноге отдолбали мне кость, и, поскольку ходить пока не могу, строчу, как изголодавшийся пес кость хрумкаю. Добил большой очерк про Эвенкию, начерно написал рассказ и ликвидировал старый долг — написал киносценарий по «Краже», две серии. Беру разгон на роман, рука зудится добить его, а там уж и вольничать можно, коли жив буду и в тюрьму не посадят. Обнимаю.

Виктор Петрович

М. С. подсоединяется.



ПИСЬМА ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ 1984

Виктору Астафьеву

Дорогой Виктор Петрович!

Дорогой Валентин!

с. Овсянка 23 июля 1984 г.

12 января 1984 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Сегодня я бы мог встретиться с Вами в Москве, но, увы, обстоятельства не пускают. С одной стороны, последнее, почти уже стыдное безденежье: не плачено за квартиру, нет даже на конверт. Хорошо вот, добрый человек подарил почтовый набор с этой роскошной бумагой и счел небходимым приложить к нему десять конвертов. При значительности моей переписки такие подарки не могут быть лишними — если бы знал, умница, как вовремя он сделал это! Я еще с ухода со службы дал себе слово не занимать

ни на что, кроме как на еду детям в крайний час. Но это была только одна из причин, удержавших меня. Вторая была в том, что не на кого было оставить сына, который пока не умеет быть дома полдня в одиночестве до прихода жены — боится: у нас тут прокатились разные зверские случаи, связанные с детьми, и в школах их попугали как следует — да, кажется, и с перебором попугали.

Вот я и сижу дома, гляжу в календарь и считаю часы нашей воображаемой встречи, которая сейчас очень была бы нужна душе и сердцу: что-то я разладился и никак не найду необходимую житейскую интонацию, а с ней и сочинительскую. Критика-матушка опостылела. Человеческого слова не скажи — непременно подавай теоретические выступления, пережевывай общие места, умничай побольше и цитируй, а свои душевные движения прибереги для дружеской беседы, где с тебя правил не спросят.

И так вот поглядишь на господ критиков партикулярной жизни — люди как люди: умны, тонки, глубоки, талантливы, а в печати рот разинут и пошла мякина. Куда же ты, думаешь, родной мой, подевался? Где же твой острый ум, свобода слога, чистота и резкость мысли? И виноватых нет, потому что правила игры окаменели. Издатели их блюдут строго, и простое сердечное слово помирает не явленным. А там, глядишь, его уже и в устной беседе забываешь, и проходит год-другой-пятый, и ты уже мертвец мертвецом, хотя ведь было же в тебе что-то! Было!

Вы когда решили на Урал-то от своего юбилея бежать, Виктор Петрович? Может, судьба взяла да свела бы нас где-нибудь в Чусовом? А уж чего бы лучше! Или у Миши Голубкова спрятаться в деревне, да по лесам попропадать, больно уж он про них заманивающее пишет.

Книжка-то моя с этим кокетливым именем «Миг и вечность», за которое меня собаками затравят и со

свету сживут, поди, уж скоро выйдет — хорошо бы у издательства с полсотки попросить, да не знаю, куда написать, на чье имя.

А может, вместо Перми-то Вам на юбилей ко мне удрать — никто ввек не догадается здесь искать — у меня тут есть деревянный домик на примете, такое чудо — только небо да вода, да вечерний звон в старенькой церкви за версту, как при царе Горохе. А?

Ваш Вал. Курбатов

1 марта 1984 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Сносила меня нелегкая в Москву, а оттуда даже на пару дней в Свердловск, на родные горки поглядеть, уральским воздухом подышать. В Москве я позвонил Е. Ф. Капустину и зашел к нему. От него и узнал, что Вы хвораете. В этом уже есть какая-то периодичность — обыкновенно Вы заболеваете именно в это время, видно, к весне Красноярск особенно сыреет. Может, на эти дни уезжать куда-нибудь? Поглубже забирайтесь, где реки замерзают, где птицы улетают на юг и звери не выходят в город...

Поглядел среди прочего у Евгения Федоровича несколько акварелей Сиблы и сразу вспомнил и бабку Анну, и бабку Евстолию, и речку Кубену с сиротскими закатами за ней, и прясло, бегущее по холму, и опять был у Вас, как десять лет назад. Уже десять! Вот время-то что делает.

В «Современнике» заведующий редакцией прозы Стефанович посетовал, что пока нет в редакции Вашего «Печального детства». Как я и думал, они не читали рукописи. Ничего, пусть подождут. Они теперь переехали на Хорошевское шоссе. Это поближе и поудобнее, но дом им опять дали случайный, и, кажется, там стало еще теснее и бестолковее.

А я повинюсь. Рецензировал В. Потанина, которого, говорят, Вы ставите высоко, и не смог рекомендовать — так это было жеманно, так вяло и безжизненно, словно он всю жизнь в тесной комнате среди старых дев просидел, толкующих о любви и искусстве.

Теперь вот Г. Машкина читаю и опять сил нет — да что же это за тягомотные мужики пошли!? Ни пола, ни национальности не разберешь. Машкин очень оказался похож на то, как он вел тогда семинар на совещании — помните: сядет и пересказывает, и мусолит, мусолит...

Зовут в Пермь... Широков очень обиделся на меня за то, что я не принял его портретов К. Лаврова, В. Токаревой и несколько иных.

Я в общем тоже ведь писал не без умысла — именно в надежде вывести его из этого состояния счастливого забытья, растолкать, хотя бы рискуя его расположением. Пока добился только его досады, а там, Бог даст, она и делом прорастет.

Поехать я пока не могу, буду ждать замечаний здесь. Да и не умею я работать прилюдно и править рукопись под чужими глазами — ничего хорошего из такого занятия обычно не выходит.

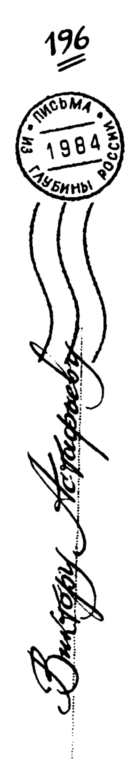
Маргарита Ивановна Николаева просила меня прислать ей мою книжку о Пришвине. Скажите ей при случае, что такой книжки в природе еще нет. Она поставлена в план выпуска 1985 года (а план еще не утвержден в Секретариате, так что еще может и вылететь).

Получил «Воспоминания о Рубцове» — прислали из Вологды. Спасибо Марье Семеновне за лучшие страницы в этой книге, за высокую и единственно верную интонацию ее памяти.

Очень тоскую без Вас и Марьи Семеновны. Нежно обнимаю Вас обоих.

Ваш Вал. Курбатов





25 апреля 1984 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Не знаю, где Вы сейчас и застану ли Вас в Красноярске, все-таки хочу сказать несколько слов в день Вашего рождения.

Прежде всего я хочу низко поклониться Вам от себя и Миши Голубкова, которых Вы вытащили с Больничной Горы в Божий мир, научили уважению к слову, терпению и труду и продолжаете учить достоинству перед родной литературой и отечественной историей. Эти уроки тем необходимее, что дорога сочинителя нынче как никогда скользка и без твердой руки наставника как раз приведет к дому первосвященника Каиафы, где срёбреники уже разложены по конвертам.

Я хочу сказать сердечное спасибо за интонацию доверчивой правды, ту исповедальную стойкость и мужество, которые Вы незаметно, но теперь уже незыблемо утвердили в литературе, вызвав это необходимое очистительное чувство и в читателях, и в тех писателях, кто дерзает идти Вашей дорогой. Этого переплавленного, вкорененного «я», которое стало «я» народным, еще не было в нашей литературе, как Вы ни хмурьтесь и ни считайте это преувеличением. Учителей у нас всегда было много, и «я» мы умели говорить, не опуская глаз, но такое «я» даже у Толстого оставалось именно единичное «я», и это было его Евангелие, его «не могу молчать», его моральное правило. А Вам этого учительства, этого мученического смирения, оборачивающего гордыней, и не надо было, потому что Вы были тем самым народом, в который ему надо было идти. Вы идете к своим, и они принимают Вас открытым сердцем, потому что сразу видят — это «своя от своих».

Пошли Вам Бог здоровья, сердечной ясности посреди сгущающейся темноты, твердости духа перед

суетливым коварством, которое обступает Вас, и дальнего острого зрения поверх ежедневных искажений.

Сердечный привет и нежная благодарность и сыновний поклон Марье Семеновне, делящей с Вами труд и мужество жизни.

Ваш Вал. Курбатов



4 июня 1984 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Сережа Задереев прислал мне красноярские газеты периода Вашего юбилея. Молодцы, земляки! Как начальство ни косилось, а сделано все в самом умном, самом достойном виде и хорошими людьми, что дороже внешних торжественностей с высоких, но риторически пустых трибун.

Я воротился из Ниды, холодноватого литовского Дома творчества, в котором впору было удавиться, когда бы не товарищество славного моряка Виктора Конецкого, с которым мы переговорили обо всей вселенной до самых последних ее углов. С 15 лет в море, он к своим 55 подходит с инфарктом и плохими надеждами на будущее, торопясь выкроить еще один поход в Арктику. Судьба одарила его многими встречами с великими — от Де Голля до Федора Абрамова, и он чудно умеет рассказывать о них, так что сюжет еще долго вертится на языке. Вот хоть бы один — об Абрамове.

«Придет, бля, сядет, в глаза не смотрит. Все по ботинкам.

— Откуда ботинки-то, аристократ? В Лас-Паламосе каком-нибудь купил?

(А у меня вот эти, «скороходовские» — 10 лет не снимаю.)

— Да, — говорю, — оттуда. В Гонконге брал.

— Вот не был, не знаю. А в Париже был. Хреновый городишко. Калины нет, клюквы не допросишься. В сортир зайдешь, таких духов тебе в нос напустят — срать не хочется. То ли дело у нас! Сядешь, бывало, а тебя так ракетой над дырой-то и подымает — такие сквозняки оттуда свистят. Вот почему мы войну-то у немца и выиграли!»

Как всякий серьезно занимающийся своим делом человек, все поворачивает на море, утверждая, что Россия-матушка еще дура-дурой, потому что давно великая океанская страна, а все ведет себя так, будто у нее кроме тихоструйных речек да землицы на прокорм и нет ничего, будто Петр никаких окошек никуда и не пробил, и будто это не наши имена украшают все карты мировых мореплавателей.

Валит, конечно, все на отсутствие хорошей морской литературы, в которой моря только на алые паруса хватает, а дела, силы пространства — ни сном, ни духом. Тут же, конечно, стал заманивать меня пройти Северным морским путем, утверждая, что это нужно бы насильственно ввести для всех русских литераторов. Может, и правда...

Пришли ли Вы немного в себя после этой, как до меня доходило от разных людей, самой трудной для Вас весны? Может, родная Овсянка, наконец, обняла и укрыла. Дай-то Бог!

Марье Семеновне нежный привет.

Ваш Вал. Курбатов

23 июня 1984 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Я уж и не помню, когда тебе писал? Почта зарыла меня в свои недра. Лишь днями я вышел из боль-

ницы. Лечили меня. Обследовали. И до того долечили и дообследовали, что я уж возопил и взбунтовался, хотя всегда являюсь «образцовым больным», все пью, под уколы подставляюсь, считая, что люди мне добра хотят...

Потом уж невтерпеж стало. К легким присоединились сердце, печень и такая апатия, такой пространственный пессимизм, что и никакие юбилейные хвалы во мне не отозвались. Да и какое тут может быть эхо, когда в день рождения пьешь брусничную воду?! Эхо, оно бывает, ежели гуляешь как следует — ведро выпьешь, лохань корму съешь, вот тогда эхо и в душе, и в сортире!..

Интересно же бывает на свете!.. Ты мне Витю Конецкого описал... Очень хороший мужик, в самом деле, и писатель первоклассный, но у нас же блядство, а не критика, вот и замалчивают его. Впрочем, читатель его хорошо знает, настоящий читатель, а не массовое это барахло, производимое самой «передовой» в мире педагогикой и оголтелой демагогией. Я как раз начал читать в прошлом году присланную им книжку (с дурацким, правда, названием: «В сугубо внутренних водах») и еще раз порадовался крепости его пера, богатству воображения. И весь его голос, и сам он в своей прозе, даже в прозе-то лучше, угадывается и читается, а то напустит на себя «аристократического черта», или в сноба начнет поигрывать. А Абрамова и я не любил как человека, и не все им написанное ставлю «на уровень мировой литературы». Он автор одной книги «Две зимы и три лета», которую потом подпортил хлестким и даже залихватским романом «Дом», очень дурно, торопливо писаным, и главное — торопливыми наблюдениями сугубо уже огорожанившегося человека заполненным. И еще люблю у него и выделяю из всей литературы «Жила-была семужка» и очерк «Вокруг да около». Но его письма,

назидания крестьянам, присвоенное себе право всех поучать, наставлять и чваниться своей «гениальной простотой» — все это было отвратительно. Он не любил людей, особенно не любил тех, кто, казалось ему, добился большего, чем он, и, по его понятию, совершенно незаслуженного преуспеяния. В нем таился человечишка, вставленный в природный дар, не столь уж и большой, сколь ловкий, но дар истинный, природный, который долго мешал ему «прорваться», куда он хотел — на трибуны, в газеты, в кабинеты, где он орал якобы от имени народа и «за народ», а на самом деле все это было непомерной амбицией и делалось ради все затемняющего, даже разум, тщеславия.

Его, по душе, не любил никто, и он никого не любил, даже бабу свою, шибко тоже надменную и «много об себе понимающую», звал он ее «моя барыня» и сделал он ради нее много и многим когда-то поступился...

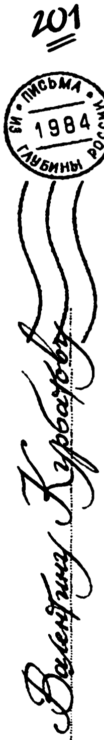
Ну, да Бог с ним теперь. Все мы не ангелы и все источены, как дерево короедом, нашим грозным и фальшивым временем.

Я пока еще не работаю и, наверное, летом работать не буду. У нас с середины июня наступило погодье и тепло, но все как-то душно, тревожно. Видно, отголоски среднерусских смерчей и нас достают с высей. Особенно какой-то грузный, удушливый и тревожный день был вчера. Видно, Господь напоминает о начале неслыханного еще кровопролития и тайной, в природе сокрытой, духотищей прижимает нас и тревожит сердце, напоминая об этом и упреждая, чтоб 22 июня более не повторялось.

Подействует ли? Сомневаюсь. Уж больно разброд на земле большой и все большую скорость и силу набирающий. А противостоять бедствиям и, может быть, гибели, может уже только разумное, крепко за руки взявшееся сообщество людей, а не

стадо испуганных баранов и много веков гоняющих их и рвущих стай волков...

К нам приехали внуки с дочерью. Веселят нас и развлекают. Особенно младшая девица — она и цирк, и театр, и кино, и все развлекательные места и средства заменяет собою. Все лето мы будем здесь, мне никуда ехать нельзя. Мечтаю лишь в сентябре выбраться на Амур и притоки его, к хорошим людям, а не к пьяницам. Подгони-ка время и деньги на всякий случай к сентябрю. Конечно, ты можешь и в Хабаровске подработать, там журнал и много рукописей всяких, напишешь «обсёр» или чей-то «патрет», но лучше просто так, с фотоаппаратом и удочкой ехать.



Ну, я заканчиваю, рука устала, всего не напишешь. Надо повидаться и поговорить неторопливо, а еще лучше порыбачить. Хорошую рыбалку обещают на Амуре. В восьмом номере «Нового мира» идет мой рассказ, ежели цензура не зарежет *[рассказ «Медвежья кровь». — Сост.]*. Я там тебя абзацем задел, не все тебе надо мной тешиться словесно и анализу меня подвергать, попался и ты, субчик, на перо или на уду, как хочешь, так и считай.

О Чусовом ничего не пишу. Лучше поговорить. Очень грустная и сладкая тоска о нем в сердце.

Обнимаю.

Виктор Петрович

30 июня 1984 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Слава Богу — получил от Вас весточку, а то все кормлюсь какими-то слухами из восьмых рук. Главное — Вы здоровы и в меру сил бодры — остальное уж как-нибудь.

Два раза попадались стихи, напоминающие о Вас. Одно — О. Ермолаевой, заканчивающееся строфой:

...Как поле картохи, возделывай времени пласт.
Ужо и напишем, и на ноги деток поставим,
И нам, словно в школе, сурово отметки раздаст
Высокий учитель наш — Виктор Петрович Астафьев.



А другое недавно — в «Советской России», Романа Солнцева, очень не приглянувшееся мне каким-то отчетливым духом торга, словно в цене хочет сойтись — «Знай, что я тебя помнил!»

Ко мне собирается какой-то дипломат из «Дружбы народов» советоваться, как выправить то мое старое сочинение, которое я написал о нашей с Вами поездке на Амыл. Два года подряд его ставят в пятый номер, и оба раза журнал выходит без него. Оказалось, вмешался таинственный Лит (уж не матушка ли это цензура надела на себя такое странное и невразумительное платье) — нас с Вами сочли пацифистами, тогда как в обществе большая потребность в героических молодцах, сокрушителях любого «унешнего» и «унутреннего» врага. Я предложил оставить сочинение и не роптать, но журнал упрямится и хочет печатать — тут, видно, их профессиональное самолюбие задето и вот они подсылают человека, чтобы поторговаться — что сказать, а чем поступиться.

Поглядим, чего они там накрасили на полях. Бог даст, найду у Вас уже напечатанное подтверждение того, что Вы там говорили, и ткну их носом, потому что есть у меня подозрение, что этот таинственный Лит не читал Вас прежде и войну-то по кинематографу представляет, как и нынешний государь, от которого, поди, это требование военных оркестров и исходит.

А мне более интересно не это, а то, когда имен-

но Вы собираетесь на Амур и в какое место? Я бы охотно выкроил в сентябре недельку-другую для рыбалки с Вами. А пока бы, глядишь, придумал какую-нибудь причину для командировки и организацию, которая бы меня послала, потому что своих-то шишей мне, может, до Красноярска еще хватит, а дальше уж на подаяние придется ехать. А так, глядишь, кто-нибудь и пошлет, хотя что-то дела мои поразъехались, все никак «в меридиан не попаду», как выражается Конецкий. Мы с ним очень сошлись и собираемся еще посидеть с недельку в середине июля, прежде чем он опять отправится в Арктику, в которую он уже сто раз зарекался ходить, а вот опять собирается...

Сердечный привет Марье Семеновне!

Поглядим, поглядим, за что Вы меня срамите в восьмом номере «Нового мира», а то за нами не залежится — пойдем таскать друг друга за волосья по всей России...

Я очень соскучился по Вам и на сентябрь буду глядеть с большой надеждой.

Ваш Вал. Курбатов

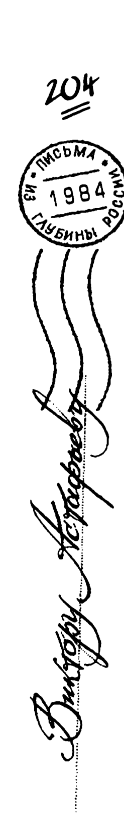
14 июля 1984 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Я уже лучше стал. Один раз поехал на рыбалку, на водохранилище. Щука брала героически. А вот за харюзом сунулись — я поймал пяток харюзов и двенадцать клещей, после чего охота ходить в лес пропала...

На Амур собираюсь в середине сентября, ибо в начале сентября решено все же провести юбилейное действо. А я надеялся, что про него забудут. Приезжай!

Виктор Петрович



22 августа 1984 г.
г. Светлогорск

Дорогой Виктор Петрович!

Гощу вот у Ю. Н. Куранова, купаю семейство в холодноватой, но бодрой Балтике, выдерживаю обольщающий напор здешних сочинителей, которые ищут присяжных критиков, записных льстецов, послушных биографов и видят этот образ во мне, грешном, и переманивают в Калининград, суля здесь ежегодные книги, неслыханные издательские заработки, художественные фонды, органные залы; а я только хмыкаю себе в усы да дивлюсь простодушию соблазнителей, которые не видят, что живут на чужой земле, без единого корешка, чего не восполнить ни органными залами, ни издательскими неслыханностями.

Юра Куранов тоже манит переехать, потому что ему тут одиноко и от одиночества он сердит на весь белый свет от американских госсекретарей до секретарш своей поликлиники. Я уж от него бегаю — спасаюсь на море, потому что устаю от этих отравленных сентенций до того, что свет делается не мил. Завтра отправляемся домой, и опять надо будет пытаться наладить развалившийся за лето рабочий ритм. Да уж, видно, налажусь не скоро — там уж новые сложности поджидают. Жена уезжает на сентябрь в Москву на какую-то ярмарку со своим предприятием и, значит, нам надо будет домовничать с сыном и только вздыхать, глядя в сторону Красноярска, где будут пировать Ваши друзья и петь «Ой тайгой, тайгой густою...» Так же накроется амурская рыбалка, и я уже не дам Вам повода выдавать мое рыболовное невежество на публичное смотрение, как, говорят, Вы сделали в восьмом номере «Нового мира». Журнала здесь нет, и я не могу убедиться, насколько Вы уронили меня в глазах рыбаков стра-

ны и Чудского водоема, куда я собрался на путину ряпушки.

Думаю, и калининградские писатели, узнав, что я плохой рыбак, не захотят пополнить мною рыболовецко-писательские кадры на местных сейнерах.

Вот ужо приеду домой, прочитаю...

Пошли Бог здоровья в испытательные дни официального и дружеского юбилея!

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

1 ноября 1984 г.

Дорогой Валентин

Ну, все тебе об нас известно, окромя того, что в октябре, в начале, развалили в овсянской избе печку, глины привезли, изготовились к атаке... Утром встаю, до конька снегу и свету белого не видать. Ну, я же у каких полководцев воевал? Самых лучших, самых умных, самых честных и храбрых! В атаку и все, хоть тут камни с неба вались! И пошли в атаку, и неделю с печкой провозились, и пока долезли до крыши, сделалось минус 15. Тут я отступать начал и бёг аж до Ставрополя, не оглядываясь, оставив избу без шубы.

В Ставрополе и Пятигорске было еще тепло, много цветов. Мероприятие было хорошо организовано. Из-за овсянского лихопогодья я отказался ехать на Домбай, где было холодно, и остался «внизу» и повез бригаду аж из пяти творческих умов и куда думаешь? В Александровский район, где родился и жил известный всем лауреат Нобелевской премии *[Александр Исаевич Солженицын. — Сост.]* и где его поминают либо в шутку, либо с грустной улыбкой, качая головой, со злом никто при мне не поминал.

Время ведет неумолимую работу, и оно «честнее нас», сказал не то Карамзин, не то Пушкин, а может, и я мимоходом придумал, а совсем оглохший Витя Лихоносов, стесняющийся своего недуга, как ему казалось, тихо, а на самом деле звонким, как и все глухие, голосом, указуя перстом вверх, вещал: «Не зря и не напрасно мы именно сюда угодили. Есть что-то там, что распоряжается нами помимо нашей воли...»

Хорошее место, умный и сдержанный секретарь райкома, гостеприимный и юмористый председатель богатого колхоза, посещение конезавода, где я обнаружил, что лошади не только древнее нас, но и мудрее. Видимым подчинением и красотою своею, да глубокой печалью в прекрасных глазах они явственно говорят нам, что пора уж за ум взяться, не свирепствовать на земле, беречь все живое, а значит, и себя. Но что нам тот конский немой глас? Мы сами с усами! И, конечно, никаким, даже самым красивым разумным существам, видимо, уж не образумить нас.

Пишу вот тебе, а перед глазами газета с портретом изрешеченной пулями Индиры Ганди, далекой от нас и непонятной, а все же человека, и не просто человека — женщины, матери, какого-никакого мыслителя. Убили, кретины, чтоб расчистить дорогу к трону кретинам еще большим...

В Москве на этот раз как-то непонятно провели время. Два раза были в театре и оба раза в Малом, и оба раза удачно. Навестили любезных моему сердцу художников, чудесных русских братьев Ткачевых, Алешу и Сергея, пробыли у них почти целый незабываемый день. Побывали дома у Анатолия Дмитриевича Папанова, навестили дома больного Михаила Ульянова и повидались с Толей Заболоцким, с Левой Дуровым и со всеми приятными нашему сердцу людьми. А то ведь я часто в Москве лежу у

друга в квартире, смотрю телевизор, а все равно умудряюсь увезти полную душу харчков, которые попадают в столице нашей даже сквозь стены.

Письмо твое о смерти отца пришло как раз в момент эпопеи с печкой, я ничего не мог писать, даже в Ленинград на конференцию по Шукшину не поехал, что вызвало, конечно же, кривотолки и раздражение некоторых «борцов», более любящих своих собратьев вдогонку, да и не угодить мне всем-то, а погреться надо было.

Вернулся сюда — осень наладилась и хорошо постояла, но вот второй день, будто на Вологодчине — сыро, снежно, дождливо. Болит все, но особенно болит раненое легкое, даже не само оно, его только печет, а все над ним ткани, кости и весь плечевой левый сустав будто под горячим кирпичом.

Вероятно, после праздника лягу дней на 10 в больницу, чтоб покололи, подладили для поездки в Японию, которая намечена на 10 декабря, а перед этим, 30 ноября, если буду здоров, хоть относительно, залечу в Ленинград с бригадою издательства «Советская Россия» и, наверное, там и договорюсь об издании твоей книги об Агине, либо в «Современнике», где директором сейчас Леня Фролов, и мне с ним договориться, пожалуй что, легче, нежели с Юрой Бычковым, которого я не видал лет двадцать с лишним и даже не знал, что он есть такой большой начальник. Но ежели надо, пойду и к Бычкову. Будь всегда уверен в том, что я еще не устал помогать людям всем, чем могу, а тебе тем более. Делай книгу без оглядок и, я уверен, она будет интересная.

Читал я твою статью о романе Борщаговского об Агине и подумал, что ежели роман на уровне твоей статьи, то это должен быть выдающийся роман, однако я его не читал.

Завален делами. Набросал в августе четыре рас-

сказа, один, кажется, стоящий, его и добиваю. Рассказ большой, почти на два листа, сейчас он в той стадии, когда ему надо полежать месяца три и тогда я его доконаю *[рассказ «Жизнь прожить». — Сост.]*. Сделаю и те три «рыбацких» рассказа. В них, правда, зла больше, чем рыбы, но куда же деваться-то? В задумке еще четыре рассказа. Надеюсь зимой их написать, хотя бы вчерне. Это много, конечно, но тут я заглянул в очередной том Диккенса, а в нем самая мной любимая его вещь «Дэвид Копперфильд» (когда-то я мог читать такие толстенные книги! Даже и не верится!), и обратил внимание на объем — вышло столько же, что и у Пети Проскурина в «Судьбе». Я давай углубляться, читаю, перечитываю и глазу своему не верю: над «Дэвидом Копперфильдом» Диккенс начал работать в феврале 1849 года. Первый выпуск романа вышел в мае того же года. С последним выпуском читатели познакомились в декабре 1850 г. Это что же они, буржуи проклятые, делают с нами, а?! И писатели, и издатели! Это ж их не зря хотели и хотят похерить. Это ж они компрометируют не только наш передовой век неслыханного прогресса, но и передовое наше, до зубов вооруженное техникой, опчество низводят до пещерного уровня. 55 листов исписать за несколько месяцев и издать в течение нескольких недель?! Ну-у, братцы, так нельзя, так нечестно. Это же издевательство над нами, это ж выходит, что в прошлом веке работали лучше, быстрее и качественней нас, таких самоуверенных, таких болтливых и самовлюбленных.

Лучше их, гадов, и не открывать...

Был в Пятигорске в доме Лермонтова в его юбилей. Толканул какую-то речужку возле памятника, в любопытной толпе изнывающих от безделья осенних курортников, стоя на дорожке средь цветов перед микрофоном, и памятник-то сзади почто-то

оказался, и Лермонтов, вроде как отвернувшись юным ликом в лес, слушал этакий полупьяный бред... До сих пор чувство неловкости в глубине души. Не умеем себя вести, не только средь «своих», но и среди «них», святых людей, на святых местах.

Еще я хочу написать пьесу и вместе с Ромой Солнцевым составляю сборник одного стихотворения для «Современника». Надоело слышать одно и то же, намозолили уши одни и те же, уже при жизни оплесневелые имена, хочется хоть немного приподнять занавеску над заживо похороненной Россией — помоги нам. Ты сносно знаешь поэзию, и не просто рекомендациями помоги, а пришли стихи — самое, самое лучшее. Лучшее одно. В ворохе и в книгах если рыться, мы вдвоем утонем, да и уже почти утонули. Периферия спохватилась и давай валить нам навильники стихов, сами из себя выбирать не хотят и не умеют.

Скажи Саше Бологову, чтоб он нам помог в этом деле, и еще я просил Сашу и повторяю свою просьбу: пусть псковитяне, ленинградцы, новгородцы и все, кого вы знаете, пошлют свои книги по адресу: 663081 Красноярский край, Дивногорский район, село Овсянка, библиотека. Стыд и срам, но в моем родном селе, в чистенькой библиотеке, где работают за нищенскую зарплату женщины, убогий-разубогий книжный фонд. Помогите!

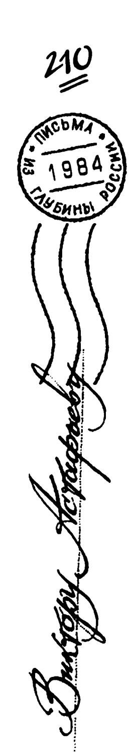
За сим прими мое сочувствие. От этой беды, увы, никуда не денешься. Поцелуй своих домашних — жену и сына. А я и Марья Семеновна обнимаем вас и поздравляем с надвигающимся праздником.

Преданно.

Виктор Петрович

P. S. Стихи только российской провинции — у москвичей и ленинградцев есть «День поэзии» и много других «трибун», с которых ворохами валится поэтическая солома...

11 ноября 1984 г.
Псков



Дорогой Виктор Петрович!

Вчера послал в овсянскую библиотеку пяток книжек и напомнил Бологову, чтобы он тоже не тянул со сбором. Написал об этом и Мише Голубкову, который дожидается холодов в деревне, потому что не может оттуда выехать из-за бездорожья: Россия-матушка! Вот поедете в Японию — поглядите: так же ли они там по своим хижинам сидят.

Вот еще три стихотворения для Вашей антологии. Это хорошая проверка «на вшивость»: я поглядел-поглядел сборники, которые дома лежат из провинциалов, да и пооткладывал многие — ни одного не нашел. То есть вместе-то друг за дружку стихи держатся и иногда неплохо держатся, а по одному на ногах не стоят, во всяком случае, не стоят настолько, чтобы не конфузить русскую музу. Зато у других, хоть у того же Решетова, можно было по нескольку брать.

Особенно мало любовных стихов. Не тянет русака на признания — все что-то бормочет, вякает, то ерничает, то вдруг пойдет такое заворачивать, хоть на заборе пиши. А старики умели. У Смелякова есть истинные чудеса по чистоте!

Что же до «Дэвида Копперфильда» и сроков его издания, то Вы не торопитесь уж особенно-то порицать родное книгопечатание. Вы поглядите, например, «Малую Землю» или иные «великие» книги. Бывало, что они вчера сдавались в печать, а уж завтра в свет выходили, о чем красноречиво говорят выходные данные — куда там буржуям с их Диккенсом!

Не забыли ли книжку для военного музея в Борках у Васильева? Если бы ему еще полстранички на машинке о памяти про солдата, то и вовсе бы хоро-

шо. Ну, а нет, так книгу-то уж непременно.

Поклон Марье Семеновне!

Очень скучаю по Вам.

Ваш Вал. Курбатов

211

15 ноября 1984 г.

Дорогой Валентин!

Да, конечно, русскую печку сложили и очень красивую, теплую, хотя эта современная, ну совсем охеревшая от мод интеллигенция настаивала сотворить камин. Камин им, бля, сауну, участок с дачей, хрусталя, ковров и машинешку, тогда хоть небо рушься — всем довольны!

Вы, если будете делать каменку (тоже ведь пижонство, только обратного порядка!), выбирайте средних размеров камень, желательно гладкий, обмытый водой, и зорко следите, чтоб не попал дресвяной, пористый камень, а то угорите и подохнете от пижонства в расцвете лет.

Я сейчас в больнице. Лег на полмесяца подладиться перед поездкой в Ленинград, Вологду, и вот пришла телеграмма — 7 декабря в Японию. Зима у нас взялась за дело хорошо. Сегодня было минус 30 утром, да и неделю с лишним меньше минус 20 нету, но сухо, солнечно, морозно, погода «моя», и я даже пытаюсь между уколами и процедурами работать. Два из четырех летом написанных рассказа почти доделал, один мне и самому по душе — это попытка сделать подобие современных «старосветских помещиков», правда, в мужицком облике. Получилось и сурово, и трогательно, чего я и хотел. Рассказ большой — 62 страницы, и хоть в этом, в количестве страниц, я Николая Васильевича превзошел, а в остальном-то никому и никогда его уже не превзойти. Он, как планета наша, видимо, непо-

вторим в мироздании мысли, слова и природности, да и в изображении России и россиян. Даже Федор Михайлович в этом деле ему не соперник.

Стихами ты нам помог. Толи Гребнева стихи у меня есть, и я бы нашел что-то, но стихотворение ангарского парня (Анатолия Кобенкова), лучшее из присланных, я бы и не узнал.

Провинция, мама! Взяли мы с Ромкой Солнцевым на себя благородный и тягостный труд — напечатать антологию одного стихотворения профессионально работающих авторов, чтоб как-то образумить публику, помешанную на Высоцком и еще двух-трех поэтах, ничего не читающую и не знающую, да и знать не желающую! Написали письма в организации, в города, поэтам — обрушился на нас поток книжек, папки рукописей: не хочет провинциальный российский поэт отобрать свое лучшее стихотворение или не знает его у себя, но больше из-за лени, из-за инертности, будто все ему обязаны, и мы тоже, а он оставил за собой право лишь ныть, жаловаться на невнимание, судьбу и бегать по платным аудиториям, сшибая червонец на простой и жидкий аплодисмент для самоутешения.

Конечно же, много хороших стихов попадается в море стихоплетства, есть просто выдающиеся поэты и среди живых — Володя Жуков, Федя Сухов, Асламов, те же покойные Ручьев, Рубцов, Прасолов, но какое же количество ужасающее поэтического назьма, уже и перегноя, горами, полосами, отвалами заполнены книжки с квасным местным патриотизмом, злобой дня, убогой уединенностью, плачем о деревне и криками о Родине, нигде никто не поднимается до откровения: «люблю Отчизну я, но странною любовью»...

Не знаю, сколь будет пользы дорогому читателю от нашей работы, но для меня лично польза большая, она освободит меня от всяческих заблуждений

насчет нашей «высокой» культуры вообще и от преувеличений всяческих в частности. *[Антология одного стихотворения российских поэтов «Час России» вышла в издательстве «Современник» в 1988 г. Составители В. Астафьев и Р. Солнцев передали гонорар за эту книгу в Детский фонд страны. — Сост.]*

Книгу, куда ты велишь, непременно пошлю, если ранее не послал (ты ведь мне уже писал об этом), коли не забуду. У нас расширяется квартира — подсоединяют соседнюю, двухкомнатную — задыхаюсь от книжной пыли, да и когда дети приезжают, спать негде.

Вот пока и все. Писать неловко. Столик низкий, а пузо у меня, невзирая на болести, по-прежнему толстое, хоть я и хлеба не ем, и водку не пью, и ничего, кроме художественной литературы, не делаю.

Поклон твоим домашним и Саше Бологову. У Игоря-то Григорьева, наверное, тоже один хороший стишок найдется? Помнится, когда он не дурел, вроде писал путем. Давайте, помогайте, россияне, доброму делу...

Обнимаю.

Виктор Петрович

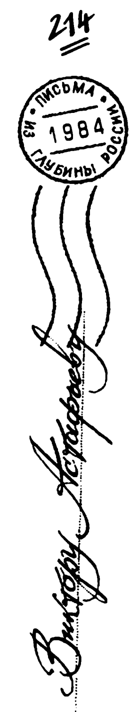
22 ноября 1984 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Ездил я в Ленинград вызволять Конецкого из тягчайшего запоя и, увы, не вызволил. После Юры Куранова я второго вижу такого спеца, но Юра не мучался, а этот которое утро взывает к своей морской воле, выкликает в себе капитана, старого волка, но одиночество (он ведь один-одинешенек) скоро опять скручивает его, а матушка-работа, помогавшая ему прежде — в бегах, нейдет, зараза. Позво-

ните ему — буде судьба занесет Вас в Ленинград.

Он очень Вас любит и будет рад. Очень бы хотел перекинуться с Вами словцом и Василий Михайлович Звонцов (график), если и ему позвоните, то тоже будет славно и, думаю, что эта беседа будет обоим Вам во благо и душевное укрепление.



Все дни с Конецким я уже все-таки поглядывал вперед в возможную будущую работу о нем, и материал проглядывал хороший и, по-моему, важный для нашего позабывшего свое море отечества, так что если «Советская Россия» сочтет эту кандидатуру достойной зваться писателем «Советской России», то — хорошо.

А чего бы ей не счесть, если он уже два ордена «Знак Почета» получил и вот на днях «Трудовое Знамя».

Ну, а что пьет, так мы никому не скажем. К тому же я верю, что он все равно вырвется — он еще мужик дай Бог! Мореманы, они народ специальный — их одной водкой не утопишь.

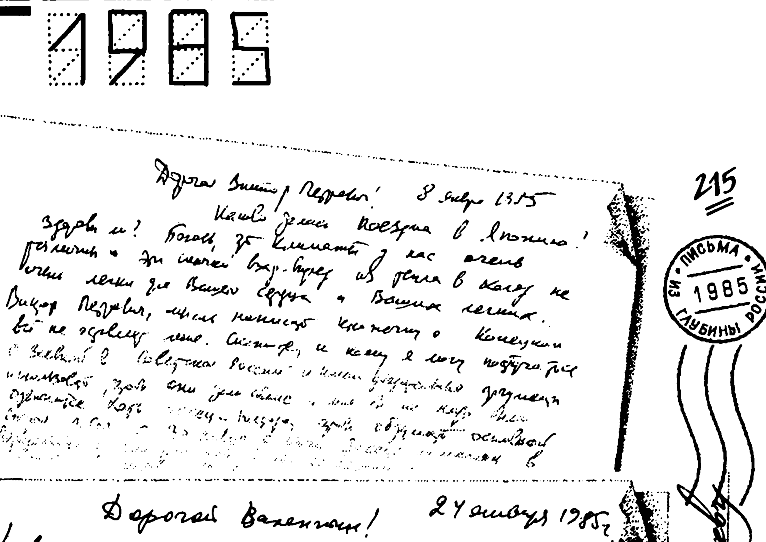
Очень рад, что Вы не охладели к нашей провинциальной поэзии. Нет, Москва-матушка, она не дура и под себя знает, что гребет. Хотя, конечно, есть еще по России живые голоса и на антологию Вам хватит на отличную.

Когда правительство расширит Вашу квартиру настолько, что хватит места для раскладушки наезжего критика, позовите. Может быть, мы вместе придумаем какой-нибудь повод для командировки и свидимся.

Очень мне хочется на Японию Вашими глазами поглядеть. Кланяйтесь там императору.

Поклон Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

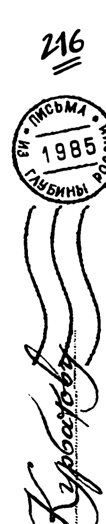


8 января 1985 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Каково далась поездка в Японию? Здоровы ли? Боюсь, что климаты у нас очень различны и эти скачки взад-вперед из тепла в холод не очень легки для Вашего сердца и Ваших легких.

Виктор Петрович, мысль написать книжечку о Конецком все не оставляет меня. Скажите, к кому я могу постучаться с заявкой в «Советской России» и какие убедительные аргументы использовать, чтобы они дали аванс и мне не надо было бы суетиться



хоть месяц-полтора, чтобы обдумать основной строй работы. С 30 января я хочу засесть на месяц в Переделкино и как раз там в лыжной беготне и домоседстве можно было бы набросать заявку и скелет, а оттуда и завезти в издательство и выклянчить рубчик-другой, хотя я из трусости и не заикнусь и заявку отдам какому-нибудь вахтеру, чтобы тотчас удрать. Ах ты, деревня, деревня-матушка...

Поклон Марье Семеновне. Жду ответа, как соловей...

Вал. Курбатов

24 января 1985 г.

Дорогой Валентин!

Давно уж не писал тебе. Получил уж, кажется, писем пять твоих. Завертело! Перед Новым годом ездил в Японию, а потом расширение и реконструкция квартиры, не закончено это дело и до сих пор, да еще, как всегда в середине дела, навалились «важные дела», да такие, что папку с черновиками рассказов не дают открыть, и в башке совсем догнивает рассказ. Вот хоть до писем добрался, и то дело.

О деле. Я заходил в «Сов. Россию» и говорил про Конецкого. Урки, давно окопавшиеся на проезде Сапунова, начали говорить, что видели где-то в другом издательстве заявку на книжку о Конецком, и вообще отнеслись к этой кандидатуре и теме без всякого энтузиазма. Остается «Современник», но там мне самому надо быть и говорить, там те люди, которых я еще могу в чем-то и чем-то убеждать. Мы с Солнцевым заканчиваем работу над антологией одного стихотворения, в конце февраля надеюсь ее повезти в Москву, вот тогда и поговорю.

«Оженил» я тебя совсем по другому поводу и делу. Получал авторский экземпляр однотомника в «Художественной литературе», и меня прижали к стене две дамочки из тех, что любят литературу и служат ей честно (все реже, но еще встречаются такие), и убедили написать предисловие к девятитомному собранию сочинений Мельникова-Печерского. Я сразу вспомнил, что ты с бородой, стрижен под горшок, и подумал, что тебе не чужд этот автор, и согласился, выговорив условие, что будем писать двое, а это значит — писать будешь ты, а я «консультировать». Работу надо будет сдать осенью этого года или в начале 86-го. Мне до той поры надо прочесть хотя бы «Письма о раскольниках». Главная моя забота, чтоб ты заработал хоть какие-то деньги. В «Худ. лите», кажется, хорошо платят за вступительные статьи. Вот пришлют договор — увидим.

Тебе надо как-то приехать ко мне. Есть тут у нас теперь «камара-одиночка», как называл сии заведения мой разлюбезный папуля, с книгами, папками, где пахнет книжным тленом и клеем. Можешь в ней запираться хоть на неделю, никто и не заметит, даже если помрешь. Тогда и о делах поговорим, хотя дела кругом, прямо сказать... но заработок на дорогу какой-нибудь изобретем тебе.

Кланяюсь, обнимаю.

Виктор Петрович

9 февраля 1985 г.
Переделкино

Дорогой Виктор Петрович!

Про Мельникова-Печерского — это чистая утопия! Кто же позволит писать предисловие уличному человеку? Если даже две Ваши девочки готовы ри-

скнуть, то ведь есть еще главный редактор и иные прочие инстанции. К тому же, девятитомное собрание — это значит обширный комментарий, море справок, ссылок, сносок — это десятилетие архивных сидений по истории официального и подпольного христианства. Если уж нам и писать предисловие вдвоем, то с этим комментарием, который, очевидно, уже есть, раз они замышляют начать дело в конце этого года. И потом это еще зависит от того, чего они хотят в предисловии — историко-биографической справки или собеседования. Если справки — я ее не дам, разве что спишу у кого-нибудь, а если собеседования, то боюсь, что тут все равно пристегнут какого-нибудь нынешнего марксистского «духобора», который разъяснит все заблуждения всех ветвей христианства. В общем, я гляжу на затею без оптимизма, хотя, конечно, поработать с таким чистым материалом было бы большой радостью, да и деньги бы не помешали.

Пришвин мой все так и не пролезает в игольное ушко издательства — прочли уже и редактор, и зав. редакцией, и главная редакции чуть не вся, и каждый раз новые требования, все более дикие, и все уже склоняется к тому, чтобы мне хватить дверью да — вон! Окончательно это выяснится в конце февраля — начале марта. И тогда, значит, пять лет работы — псу под хвост. Противно! Не обидно, а именно противно! Что делают у нас с несчастными критиками, каких капканов насовывают на дорогах, раз пообломаешь себе ноги, изобьешься в кровь, износишь сердце и «поумнеешь», глядишь, дело гладко пойдет, а в отместку на других кидаться начнешь — так концы и попрячутся, и опять не поймешь, кто виноват.

Чудное чтение взял у Елизара Мальцева — стенограмму первого писательского съезда. Матушка-литература сама тут себя выставила на позорище!

Как Горький на Достоевского кинулся — фашист, говорит. А Шкловский подпел. Вот Вам дословно: «...если бы пришел сюда Федор Михайлович, то мы могли бы судить его как наследники человечества, как люди, которые судят изменника...»

А Вы — Мельников-Печерский...

Простите. Это я, видно, от Пришвина очумел, живого места нет. Скверно.

Поклон Марье Семеновне.

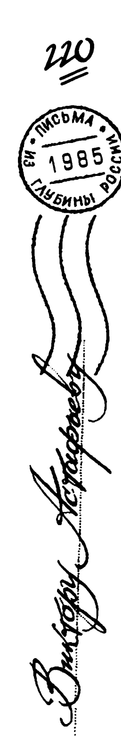
Ваш Вал. Курбатов

17 марта 1985 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Сережа Задереев прислал мне две замечательные карточки, сделанные А. Белоноговым в Красноярске и в Овсянке, и я зверски затосковал по Вам, по Овсянке, по этому переулку, идущему к Енисею, будто это родной переулок.

Прояснилось ли что-нибудь с Мельниковым (Печерским)? Если все устоится, то встреча наша станет неизбежна и я, пугаясь одной частью души — ибо работа предстояла бы почти непосильная, другой — очень жду ее. Отправил бы сына в пионерлагерь в июне, да и на самолет. На всякий случай тороплюсь сделать какие-то мелкие необходимые работы. Пришвин мой окончательно увяз в «Советском писателе». Я уже близок к тому, чтобы сдаться. Все редакторы (а прочли все) требуют от Пришвина разного и очень хотят, чтобы он был кем угодно, но не самим собой. Не нравится им, что он плохо принял революцию, не нравится, что сидел с Мережковским и Вяч. Ивановым, не нравится, что не написал ни «Цемент», ни «Гидроцентраль». Да и я не по душе — все к религии тяну, а не к освобо-



дительному социальному знанию, которое уже до того доосвобождалось, что человек от этой свободы готов куда угодно кинуться — хоть в обжорство, хоть в спиритизм.

Все время какие-то неведомые мне оттенки рукописи оказываются для редакторов связаны с тем, кто сейчас Там, наверху. От надежд они переходили к досаде, потом совсем было примочили рукопись, а теперь опять сидят ждут, «чем сердце успокоится». А я махнул рукой и вычеркнул из сердца — пусть сами делают, как знают.

С Широковым же в Перми все вроде хорошо. Добрый «Урал» выбрал оттуда целый лист для шестого номера. На мою книжку про Вас «Вопросы литературы» дали рецензию во втором номере.

Дела идут, контора пишет... Мелочи опять норовят задушить, и как всегда в таких случаях думаешь — хорошо бы писать что-нибудь неторопливое, длительное. Но потом догадываешься, что это тебя с мякинным рылом в калачный ряд тянет, что это ты в прозаики норовишь. Сиди уж и хоть свое-то повседневное дело делай, как следует. Ишь, умного дела захотелось.

Вы уже, поди, в Овсянке. Тает-то скоро, солнышко вовсю шпарит и уж, поди, дорога обсохла, хотя дом-то, наверно, так выстыл, что его еще греть да греть, чтобы воздух подсох для легких.

Эхма! И чего это наша страна такая большая. Жили бы мы с Вами в княжестве Лихтенштейн — на велосипед и айда! Глядишь, через полчаса уже бы на завалинке вместе сидели...

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

31 марта 1985 г.

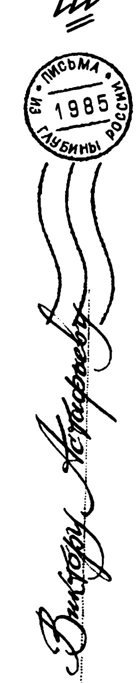
Дорогой Валентин!

Четыре уже дня, как и у нас началась весна, поплыло все кругом, а снегу было много. В Хакасии и в Минусинской впадине его подняло, сдуло до зелени и к нам принесло. Овсянка завалена до крыши.

Я в морозы и ветра не выходил из дому. Много сделал, большую работу задал надзорному оку любимой Родины. Один из лучших, вполне безобидных, рассказов уже цензура зарезала в «Новом мире» *[рассказ «Жизнь прожить» опубликован в «Новом мире» позднее, в сентябре 1985 г. — Сост.]*. Карпов грозился надеть погоны и звезду Героя, дабы защитить мое художественное детище. А где? И от кого? От тех, кто цензуру породил, утвердил и за своей спиною спрятал и дергает за ниточку: «Усь, усь!»... Игрушки! Остальные рассказы потыристей и позлей — лежать им в столе. Но и пусть лежат! Там им спокойней, и из меня кровь не пьют. Работать-то меня все равно не отучат, и к зиме или зимою я сделаю сборник из новых вещей на 20 листов. Чем я лучше или хуже того же живого Леонова или мертвого Нилина, у которых остались полные столы превосходных рукописей, а свету является бог знает какое варево?!

Очень мы уходились и устали с Маней и подаемся из дома на месяц. Сейчас у нас Ирина с детьми. 5 апреля мы вместе с ними, всей ордой, улетим в Москву, откуда проводим их в Вологду, а сами числа 10-го улетим в Болгарию, подальше от юбилейной политики, и попробуем отдохнуть вдали от этих глупых немытых рож и не голубых, но все тех же, бездушных российских мундиров.

Насчет Мельникова-Печерского пока все спокойно и ни звуку, но они обещали сделать договор



к осени. Я, как и ты, становлюсь скептиком и ничему уже не верю. Польке, вон, два годика, и та настырничает и пробует хитрить, что уж про нас-то и говорить!

Домой вернемся числа 3-го мая.

Значит, тебя, жену и Севу с весной и с Победой!

Все лето собираюсь быть здесь, а осенью уеду на юг края, зайду с тыла на известный тебе Амыл — там еще можно себе принадлежать.

Обнимаю.

Виктор Петрович

Май 1985 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Прислали мне из Иркутска номер газеты «Советская молодежь» с Вашей беседой с Геннадием Сапроновым. Спасибо Вам за этот резкий, трезвый голос среди фанфарных звуков. Я что-то совсем захирел душой, в тоску ударился, скис после экзекуции, проведенной над Пришвиным. Теперь вот Вас почитал. Ну, думаю, еще поживем, покоптим слишком безмятежное литературное небо.

Поклон Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

25 июня 1985 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

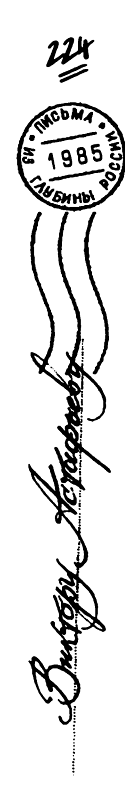
Не хвораете ли Вы? Избалованный весточками от Вас, теперь, не получая их около полугода, совсем закомплексовал и утешаю себя только тем, что Вы, значит, засели в Овсянке и вовсю пашете. Если так, то и дай Бог! Письма, оно, конечно, хорошо, но

дело дороже. Хуже, если болеете, и тут уж сам себя начинаешь корить, что бухгалтерски считаешь ответы-приветы, вместо того чтобы писать почаще и побольше, потому что в болезни нет утешения лучше письма.

Я тут в конце мая ездил в Москву: надо было показать Окуджаве послесловие, которое я сочинил к его старому роману «Путешествие дилетантов», а потом четыре дня прожил у Нагибина, попивая разную инопланетную горькую, не забывая и свою. Два дня отбивался от его гостей — американских профессоров-славистов, этаких удалых комсомольских атеистов, намертво лишенных слуха к тому, что у нас и баушка в деревне хорошо слышит, и о чем и член ЦК тайно догадывается, бочком проходя мимо храма с мыслью: «Эх, неспроста это понастроили — что-то тут, видимо, все-таки есть...» К концу второго дня я возненавидел этих здоровяков и просил Нагибина рекомендовать их в президиум Академии общественных наук, потому что свои и там «с червоточинкой» и тоже кровь свою помнят, а у этих (хоть тоже русские, и деды теплили лампады в родных красных углах) темя совсем заросло. Марковичу пришлось все смягчать и выправлять. Сам он, бедняга, все попивает, и все там не ахово, шумно, со всеми этими подмигиваниями, кхеканьями, задыханиями — ждать боязно, ну, думаешь, щас все, ан нет — ничего: давай еще по одной! Так что Алла уже просила меня наливать себе побольше, чтобы ему поменьше досталось, как некогда просила Зоя Куранова — а со мной-то хрен ли возиться, пей давай, — все равно сорняк литературный, ума-то все равно не надо, раз Бог таланта не дал. А в часы передышек читал в его хорошей библиотеке разные хорошие книги, да и самого Юрия Марковича — из того, что не напечатано. Он ведь, оказывается, еще и непечатное успевает писать, то есть не то что не-



печатное, а что потом полежит-полежит, в журнале до верстки дойдет, полностью оплатится и вернется к нему — до времени. Вот работяга! Машина! Завод! Я и так глядел, как у него это выходит, и этак — нет, не понимаю.



Съездил на неделю еще и в июне. На этот раз пять дней в Госкино просидел и посмотрел восемь итальянских, испанских, французских, японских, немецких фильмов из программы будущего кинофестиваля. От силы пять из них достойны разговора — остальные сор хуже нашего. Всегда думаешь, что вот у них там вот уж где кино так кино! А поглядишь и пожалеешь: как же они, бедняги, это смотрят и раз им это делают, значит кто-то у них это любит (они ведь деньги-то на ветер не станут бросать). Наелся теперь на год, наверно — в сторону кинотеатра и смотреть не хочу.

Видел В. Распутина, хотел выпросить командировку в Сибирь, на Иркутск поглядеть (сам-то никогда не заработаю) да с ним неспешно поговорить, а он все лето бегать собирается — Якутск, Тобольск и Бог знает что еще... Условились на октябрь.

Сам буду в Пскове, работы накопил (надо предисловие к А. Соболеву, потом про Мишу Голубкова еще не сделал, да и по мелочи...), а не сидится — лето так и тянет, как мальчишку, на реку, в лес. Эх, бы на Амыл али еще куда...

Сердечный привет Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

12 июля 1985 г.

Дорогой Валентин!

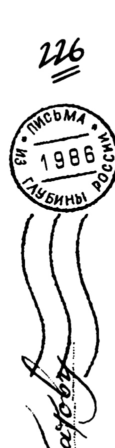
Да, я в Овсянке, с 15 июня, тогда как раньше приезжал к 9 мая. Не было у нас весны, лета тоже нет, ни у нас, ни у Вас, и на всей планете беда за

бедой, главная из них — в Канаде все сгорело, а Канада кормит полмира и нас тоже, с нашим передовым сельским хозяйством. Давно на Руси голода не было, так кабы он нас, да нас-то что, мы полупривычны, дитев наших и особо внуков, побрасывающих хлебушек от невежества и сытости, врасплох не захватил бы.

Не знаю, писал ли я тебе после Болгарии, но перед нею писал, знаю, большое письмо, что ответил на все письма, лежавшие на столе, чтобы иметь моральное право на отдых, но по приезде из Болгарии в холод и снег начал болеть легкими, обострение за обострением, и до се не очухался. Вот, избывая очередное, седьмое по счету подряд, обострение, наелся антибиотиков, и хватанул меня такой приступ печени, а я в деревне один, так добрые люди воды подавали, горчичники ставили и кормили, да и варят мне до сих пор. Жена, дочь и внуки в городе.

Я сделал роман, аж на шесть листов, и вот завершил вчера третий, основной на него заход. Будет еще работа и немалая, но уже не главная. Роман этот, «Печальный детектив», вынул я из заброшенной рукописи. Вещь странная, самому мне непонятная, зачем и что я написал — сам не знаю, кто его будет читать — и вовсе не ведаю. В «Новом мире» набрали два новых рассказа, безобидненьких в сравнении с романом, но так их «отредактировали», что я вынужден был просить второй рассказ снять — одна от него шкурка осталась, они мне в ответ упрек: как, мол, так, мы все согласовали с Вами, мы хорошие. А хитрые ж все стали, спасу нет! Звонили без конца, согласовывая слова, обороты и даже слово «капалуха», и меня умилило: «во работают с автором!», а от текста осталось — хер, да и тот в соломинку толщиной...

Но все равно к зиме думаю составить сборник на 20 листов. Написалась даже новая глава в «После-



ний поклон», и глава, на мой взгляд, совсем не дурная, самое радостное для меня то, что после такого большого перерыва я без труда попал в тональность книги и в «образ», будто и не прекращал работу, да, наверное, внутренне она и шла, и будет идти до конца дней моих, коих, видимо, осталось не так уж много, вот я и заставляю себя работать даже во время приступов, конечно же, физическое состояние сказывается на тексте, но и опыт уже есть, пусть тяжкий, горький, а все же во многом уже помогающий, но и мешающий тоже.

Сережа Задереев, дела которого не без моей помощи потихоньку налаживаются, с согласия моего включил тебя в семинар молодежный, который будет в Красноярске осенью. Я просил его, и он выполнил мою просьбу включить тебя в число руководителей семинара. Работа, конечно, неблагодарная, но это даст тебе возможность за казенный счет приехать в сибирские дали, пообщаться со мной и с ребятами, прочесть мои рукописи в неотредактированном виде и поговорить надобно о многом, в том числе об Алеше Прасолове. Предлагают в «Современнике» написать предисловие к его избранному, а я им ответил, если в паре с Курбатовым — пожалуйста, а одному мне обстоятельное, путное предисловие к такому сложному и глубокому поэту не освоить...

В августе, в конце, если буду здоров, съезжу в Монголию. Пришло приглашение от посла ФРГ. Туда, если тоже буду здоров, собираюсь поздней осенью. Пока очень устал... Может, вырвусь на рыбалку, но холод ночами осенний, звезды ясные, невозмутимые пялятся, не стыдясь, на землю, заросшую бурьяном от сырости и гнили, в лес не сунешься — клеща больше, чем комаров, стало.

Вот 12 июня (самый жаркий месяц в Сибири) сижу в тельняшке, обут в валенки — светопрестав-

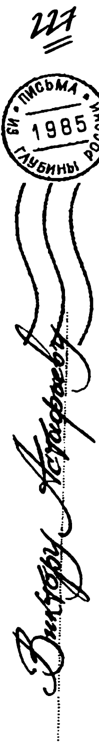
ление-то, оказывается, и так может простенько начинаться...

Обнимаю тебя, жду писем и самого. С тоскою жду и с тревогой, чтоб не быть в больнице, меня в любое время могут туда взять, но я пока держусь и не даюсь.

Поклоны жене и Севе. Большой, наверное, уже парень? Бороду еще не отрастил? С гробовозовским поклоном!

Виктор Петрович

P. S. А у нас, у гробовозов-то, все сложно! Вино в Овсянке совсем не продают. Тихо и боязно, собаки круглосуточно бухают, не понимают ситуации...



22 июля 1985 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Эка у Вас жизнь-то пошла — из Болгарии в Монголию, из Монголии в ФРГ — скажи-ка баушке Катерине Петровне, что «мнук» у нее будет по миру, как генерал какой, ездить, только бы перекрестилась да сказала: — чё только не удумат, комунис сопливый! — и не поверила.

А мы все власть нашу ругаем, а она кормилица — вон чё для нас делает...

Вы-то вот работаете, а я, грешный, мрачнею, каменею сердцем, уезжаю в поля на своем лисапеде и там еще больше разогреваю обиду, но понемногу все-таки отхожу — солнышко, река, травки наши бедные свое дело делают, и хоть работать-то еще долго не можешь, но жить уже можно.

Сегодня получил письмо и от Сережи Задереева. Конечно, на семинар я приеду, если Вы в это время будете в Красноярске: и повидаться надо, и почитать, и просто посидеть молчком — иногда разду-

маешься, как Вы там, и затоскуешь по Овсянке, как по дому. Сел бы да поехал, а как вспомнишь, что надо на одну дорогу месяц работать, так и остановишься. Да и время все как-то не выкраивается: то одно, то другое. Сейчас вот ездил в Ленинград помогать В. Конецкому вынырнуть из очередного запоя. Бедняга совсем плох. Как одиночество скручивает человека, смотреть больно. А талантлив, умен, ядовит за пятерых! Сидит вот, выливает негодование в придуманном сюжете: как приезжает Аркадий Аверченко из Праги перезахораниваться в родную землю и гуляют они с Конецким по старым аверченковским местам: за пивом стоят, в Союз заглядывают, Литераторские Мостки навещают — много чего видят и еще больше слышат.

Прочел последнюю рукопись Конецкого о Юрии Казакове — никто ее не будет печатать в ближайшее столетие — совсем безобидную, потому что пьют мужики через слово, как всегда пили, и этого уж из истории отношений и сюжетов не выкинешь. Горькая книга вышла, злая, мужественная, и Казаков — громадный, живой, жалкий... С предисловием к Прасолову можно было бы посидеть — поэт он серьезный, с глубиной, еще не достигнутой нами.

Я пока сочиняю предисловие к А. Соболеву. Он написал хорошую, хотя местами почти детски наивную книгу «Якорей не бросают». Выдумщик он слабый, публицист неглубокий, но там, где о 37 годе, где об отце, где о море, о тяжелой работе, о гибели океана, о всеобщей безответственности — так хорошо. На это я и упрусь в предисловии. Сдам через две недели и на юг — семейство баловать. Мне не хватает мужества отправить их одних. Инна со страху помрет — она писателей-то только по телевизору видела и думает, что это высокие святые подвижники, живущие праведной жизнью, говорящие все о бессмертном, недосягаемо умном. А уж какие у них

жены и дети, она и представить не может и уже сейчас паникует. А они, матушки, действительно бывают куда какие разные, и я видывал таких, что свет не мил делался через день. Вот поеду загораживать и значит бездельничать, а от безделья я быстро зверею — так что отдых еще и не начался, а я уже тороплю час его окончания.

Что-то Сережа не пишет — когда семинар-то? Как мне работу свою рассчитывать, чтобы ехать без суеты. Хотел еще осенью и к Распутину съездить. Дает командировку литературное отделение. Надо бы воспользоваться — когда еще дадут, а Иркутск, говорят, город ненаглядный, да и с Валентином есть о чем поговорить, хотя печатности из этого разговора, поди, не получится.

Сохрани Вас Бог от хворей и от ссор домашних — они хуже болезней.

Поклон Марье Семеновне.

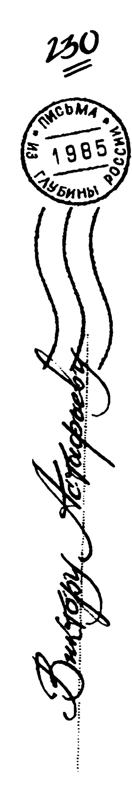
Ваш Вал. Курбатов

3 ноября 1985 г.

Дорогой Валентин!

Сейчас я тебе не могу написать много. Устал. «Печальный детектив» я отослал в «Октябрь». Приступил к собиранию сборника и просмотрел пять рассказов и отдал их на машинку, еще четыре на подходе, два — около дела, два — почти черновики, а один — заглавный — еще и не написан, буде уж зимой напишу, сдавши в издательство сборник без него пока. Был и еще в задумке один рассказ, но такой сложный и тяжелый, что его писать надо на свежую голову и с запасом сил, которых сейчас у меня почти нет.

Все еще много забирают силы и время посторонние дела и суета, ну никак от этого не спасешься!



Был недавно в Иркутске. И у Валентина *[Распутина. — Сост.]* то же самое, пожалуй, что и похуже: дом — в городе, телефон работает, а я все же в сторонке и связь с миром аховая.

В конце ноября собираюсь в ФРГ на 10 дён, а оттуда уж прямо на съезд. Марья Семеновна тоже едет на съезд, и тоже делегатом. Авось и увидимся где-нибудь, а нет — будем ждать февраля. Приедь пораньше. У нас теперь есть где жить и спать. Перечтешь все, что я тут наворокосил, в «неотредактированном» виде. А редактируют!.. Мати Божья! Да уж неохота и плакаться на эту тему.

Поклон твоим домашним.

Видел ли ты последнее «Литературное обозрение»? Эвон как тебя хвалют, а попутно и меня. Обнимаю.

Виктор Петрович

12 ноября 1985 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Да, уж, наверно, до февраля нам не увидеться — на съезды я не езжу. И вообще чем далее, тем боле начинаю забираться вглубь. Почитываю себе разные разности — жду, когда надоест. В этом преимущество нашего брата — новообразованного интеллигента. Все в новинку. Куда ни кинься, везде ты невежда, и это защищает нас от скуки, которая поедом ест бедных наследственных умников, которые с двух лет говорят на всех языках, а к восемнадцати уже исчерпывают человеческую мудрость.

А я сегодня читаю Ключевского, завтра — Шпенглера, а еще три дня пройдет — буду на Восток заглядываться, чтобы через четыре — увязнуть в родных славянофилах. А еще океан музыки, чуть надкушенная мной живопись; а ведь есть еще коро-

лева наук — богословие, которому сослужит весь этот бедный хор философии, литературного театра, научного и доморощенного атеизма. Вот куда бы я пошел — пусть меня научат! Но, увы, кишка тонка и темечко уже заросло с отрочества насаживаемым сором здравомыслия и расчета. А туда надо идти чистым, потому что пока в себе навоз-то не разгребешь, не будешь знать, куда и сунуться. Единственная наука, в которой источник света в тебе, и ты, поднимая и протирая его, начинаешь видеть все дальше. Остальные все сулят, что они свет, а заводят иногда в такие чуланы... Тут все зависит от тебя и впереди свет бесконечный. Жалко только, что тут словами ничего не объяснишь даже самому себе, а молчанию уже не выучиться. Поздно.

Завтра пойду читать Ваши рассказы в библиотеку. Сам-то по скудости средств журналов не выписываю, с родными писателями не разговариваю, а тут заехал молодой, крепкий челябинский парень (теперь в Подмосковье, сосед с П. Красновым) Володя Карпов, все и рассказал, что и в «Новом мире» у Вас рассказ, и в «Юности»... А я тут сижу читаю... Что за молодцы были эти старые писатели.

«Люди начали садиться на лошадей: собаки радостно взвыли и заметались вокруг охотников. Русское солнышко засветило нам с левой руки». А? Напиши-ка я это сейчас — мне это русское солнышко свой же русский редактор почистит, чтобы еврею было лучше видно.

Бедные мы, бедные.

Сердечный привет Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

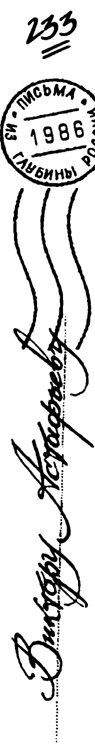
17 марта 1986 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Купил в нашем магазине последний сборник Юры Белаша. Поглядите хоть те стихи, что я отметил в оглавлении, а там решайте — надо ли читать всю книжку. В сборнике есть немного игры, философических забав, голого конструирования, но основа все-таки здорова и тревожна.

Ю. М. Нагибин кланяется Вам. Я слинял из его дома на третий день — очень уж нехорош был контраст после здоровой сибирской простоты — кар-

тинные режиссеры, перебирающие американские картины, которых никто, кроме них, не видал (изумительно! гениально!), декоративные жены, считающие деньги в своих и чужих карманах. Сам-то Юрий Маркович тоже бегал от них, но все-таки это ему попривычнее, а я, грешный, терпел плохо и сразу уходил к себе.



За сочинение про него еще не садился — только все дочитал. Есть вещи, никак не принимаемые сердцем, и я радуюсь, что сборник достаточно широк, чтобы уклониться от одних сочинений под спасительную сень других, лукаво притворившись, что обо всем не скажешь.

Душа моя еще в Сибири, в Вашем доме, и в бессонницах я тоскую, что Вы не шуршите за дверью газетами и Вас нельзя окликнуть. А вечером, выходя под звезды, все так и вижу мглистый Енисей внизу и Орион в полнеба над Столбами, и желтую, как малявинская нижегородская девка, луну. Да посреди дорожной слякоти и скуки нашей типовой мерзости все вижу синие сугробы Енисейска и резьбу тамошних ставен и каменных фронтонов, и долго еще буду греться в этих вспоминательных «укромьях».

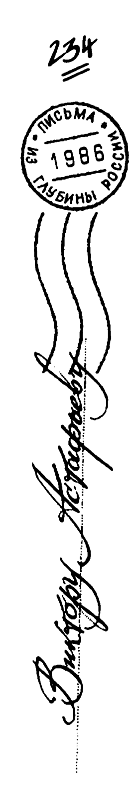
Книги, которые мы посылали с Марьей Семеновной из Красноярска, еще где-то бредут, и я уже начинаю тревожиться, добредут ли — там ведь волошинский «Суриков» и богословские труды с житием Никона и иные дельные книги. Пришла пока только самая маленькая бандероль с Вашей книгой, а трех больших бандеролей нет. Буду надеяться, что везут их на собаках и к осени, глядишь, доедут.

Все думаю над рекомендацией Сереже Задерееву. Жанр оказался трудный — никак не сложу.

Были ли Вы у о. Михаила? Захватили бы Сережу. Боюсь, он один застесняется, а ему — надо, и он тайно, поди, мечтает видеть Вас в крестных отцах.

Да и я бы хотел этого для него, потому что давно привязан к его доброму сердцу.

Я уже пытался звонить Вам отсюда, чтобы сказать спасибо и Вам, и Марье Семеновне за счастливые дни покоя и отрадного домашнего, родимого света.



Спасибо, спасибо, Виктор Петрович!

Спасибо, Марья Семеновна!

Еще и уехать не успел, а уже скучаю.

Ваш Валентин

Апрель 1986 г.

Дорогой Виктор Петрович!

А вот и день рождения Вашего подошел (а теперь уж, поди, пока почтальоны нашу открыточку довезли, уже и прошел). Дай Вам Бог здоровья и здоровья, Виктор Петрович! Сейчас его много надо. Народ в траншеях смешался, все в первую линию полезли — вдруг, думают, награды и званья будут раздавать, как бы не промахнуться. Тесно, народ пестрый, а от этого возбуждения в воздухе сплетни, тайные счеты, сговоры и взаимное ожесточение. Дай Бог нам пережить это, не вляпавшись в какую-нибудь глупость — в суете-то это просто — не заметишь, как уже числишься по чьему-то глупому ведомству. Хорошей Вам сухой весны и спокойной работы, которая одна нам целительница и защита. Сердечный привет Марье Семеновне. С Днем Победы вас, родные мои.

Ваш В. Курбатов

Следующее мое письмо обнаружит в содержании явное отсутствие какого-то письма (а то и обоюдных писем). Тут потребно объяснение.

Тогда, в 1986 году, в первом номере журнала «Октябрь» вышел роман «Печальный детектив». Я читал его в рукописи прежде, и мы говорили с Виктором Петровичем о неправедной тяжести романа, нарушавшей Господню правду жизни, в которой и непроглядная тьма всегда в конце концов уравновешивается искрой света и обещанием надежды. Астафьев понимал это лучше меня и говорил, что ждет только минуты, когда найдется настоящий женский характер, который все и осветит, и выровняет, и рукопись будет готова окончательно. И когда он писал в предыдущих письмах, что послал рукопись в «Октябрь», я понимал это так, что характер нашелся и книга готова. А оказалось, что время повернулось, редакции кинулись искать дозволенную, наконец, «правду», и тогдашний редактор «Октября» А. Ананьев сумел склонить Виктора Петровича напечатать книгу как есть. Для меня это оказалось больнее, чем я думал, и я напомнил Виктору Петровичу о давнем разговоре и ненайденном женском характере. И, наверно, не все слова подобрал, как следует. Виктор Петрович решительно замолчал.

А о ту пору мы должны были по просьбе «Художественной литературы» вместе писать предисловие к Мельникову (Печерскому). И вот по милости судьбы как раз после моего несдержанного и, верно, потому несохранившегося, пущенного в досаде на растопку письма о «Детективе» пришел издательский договор. Записка от Виктора Петровича была короткой. Я ее тоже от досады не сохранил, но помню почти дословно: «Раз уж мы договорились, прошу прислать свой вариант текста. Астафьев».

Ну вот, теперь, я думаю, следующее письмо будет понятно. (А в скобках замечу только, что когда читатель дойдет до конца книги и увидит автограф Виктора Петровича, он, может быть, вспомнит эти страницы и догадается, почему текст записи именно таков — автограф был оставлен в моей записной книжке как раз после тяжелого разговора о «Детективе». Каким бы он был прекрасным эпилогом романа!)

8 июня 1986 г.
Псков

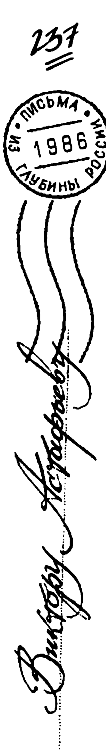
Дорогой Виктор Петрович!

Договоры я отослал. За работу сяду после Чусового, куда намереваюсь съездить к концу июня, когда управлюсь с домашним ремонтом. Мишка Голубков зовет посидеть на Усьвенском угоре, справедливо утверждая, что он не ниже бугров над абрамовской рекой или Бобришного угора у Яшина.

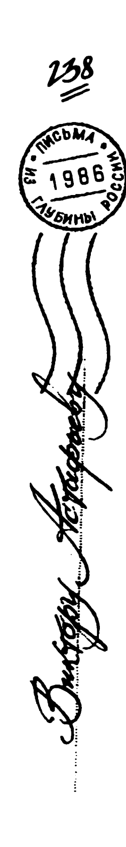
Судя по свирепой официальности письма, Вы бы и не стали писать, когда бы не договор. Я, вероятно, заслужил этой резкости, хотя написать мне свое письмо было труднее, чем Вам прочесть его. Если бы мной двигало самодовольство человека, ведающего истину и считающего свою точку зрения непреложной, то, может, и правда следовало плюнуть да и позабыть, но меня тревожит само существо дела. Для меня Ваше имя слишком близко и всякое слово из родного сердца, и когда возникает непонимание, то тут надо выговариваться как есть. Тем более оскорбительно выслушивать разные двусмысленности в адрес «Печального детектива» — от господ литераторов, умеющих улыбаться в обе стороны сразу. С этими просто — отшил и в сторону, а ког-

да сам не видишь просвета, то куда же идти с сомнениями-то? Все чаще, однако, думаю, что дело, наверно, во мне самом, в слишком комнатном воспитании.

Позабыл Чусовой-то, сижу между книжечек, почитываю известных мастеров родной и заграничной прозы, и только время от времени долетит из реальности какой-нибудь осколок такой злобы и омерзительности, что только зажмуришься и не знаешь, завыть ли волчьим воем или кинуться и крушить все без разбора. Но потом, однако, шнырь в книжечки, и опять гармония и порядок, и опять душа в литературе не принимает злости. Может, еще и Пришвин слишком въелся, который настаивал на правиле, что писатель должен равно видеть и злую, и праведную стороны, но дело свое вести к свету, за что корил Платонов: цветочки пишет, тогда как совестливый человек должен в рельсу бить. Вот и Вы в рельсу, а я все хочу, чтобы звон при этом был мелодичен и строен. Но что-то все-таки упорно сопротивляется — всегда ли удар-то от боли сердца, нет ли меж ними и того, который от задора, от удали русской, а в таких сочинениях ложная нота сразу видна, потому что о беде можно только кровью, а не словами писать.



Это у нас вон о Чернобыле все словами — страшно слушать. Не видели ли краем глаза? Была передача о чернобыльских пожарных, и после того как их показали в больнице, когда и по глазам видно, как страшно обновлены эти люди необратимостью случившегося, вышел пошляк Ошанин и засандалил кудрявую балладу на полчаса о доблестных ребятах. Страшно было за слово наше, вытерпевшее это, стыдно состоять в Союзе, где такие молодцы стригут купоны на чужом горе. Что мы за народ, что с нами со всеми сделалось? Что так перекосило и кидает с боку на бок? Впервые, пожалуй, как-то



особенно проявилось, как далеки сочинители от русского своего народа, именно по чернобыльской реакции; в особенности скверны оказались журналисты.

Простите меня, Виктор Петрович, если я чего по запалу не так сказал. Сейчас бывает под горячую руку сам готов бы к самому черному словарю, если бы понадобилось, например, об Ошанине написать. Может, гармонический-то язык и не для нас писан. Во всяком случае, я извлек тот урок, что надо не торопиться с судом, пока свое сердце как следует не оглядишь в оба конца — там тоже много чего понамешано.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

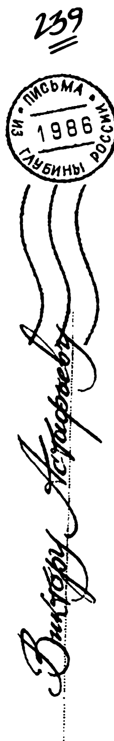
15 июля 1986 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Воротился сегодня из Чусового, посмотрел материалы съезда, отошел с досадой. Все правды запросили: Михалков, Марков, Юл. Семенов, Иванов и Боровик. Бедняги, сколько их, кормильцев, видать, душили по темным углам идеологические деспоты. Вообще это храмовое пение во славу дозволенности правды ребячливо и прискорбно. Разве спрашивали на нее дозволения К. Воробьев или В. Быков, Шукшин или Вы вот. И когда бы все-то так, так и не надо было бы теперь этих «новых ветров». А так пошумят, пошумят, да и за старое — что они, бедняги, не понимают, что всякая казенная машина на лжи едет? Понимают. Оттого и декларации-то все такие сырые, отвлеченные, пережидательные. И каждый еще видит, как повалить старое, но и во сне не видит, что на этом месте построить. Потому что

для постройки надобны такие экономико-идеологические отношения, о которых лучше и не заикаться. Нет что-то во мне пафоса, хоть убей!

И, может, поэтому особенно больно было прочесть о смерти Соболева. Так мы с ним и не повидались, хотя собирались не один год. Как они крутили ему руки-ноги за «Якорей не бросать», а теперь вот С. Михалков уже выставляет себя защитником этого сочинения, но я знаю, что главное-то, тридцать-то седьмой год, они из книги выживут без единого намека, а вся другая смелость там, без этой главной и самой болезненной, никакого значения не имеет.

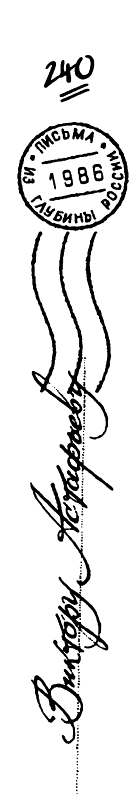


Как он хотел, чтобы книжка вышла к 60-летию, как торопил издателей, а она и по-прежнему где-то плетется на перекладных, пока ораторы по съездам славословят правду и ее румяного апостола.

Чусовой наш все непролазен, автобусы все ходят по чайной ложке, и бабы не рожают в них только потому, что за жизнь пузо в этих автобусных давках стало, как у слона пятка, а сунь-ка туда европейских мадамов, они тут и опростаются.

В музее собираются делать какую-то экспозицию по литературе. Дело это благое — глядишь, кто-то и книгу в руки возьмет. Не пошлете ли с Марьей Семеновной по книжечке и по карточке? У них карточки-то есть, но с книжек переснятые, очень уж бедные, а сами они не решатся постучаться. Пошлите, Виктор Петрович. Марья Семеновна, Вы тоже не забудьте им «Отца» надписать. Музей хоть зовется заводским, но там весь город и все глядится родным и совсем не музейным. По-моему, это лучше, чем какой-нибудь аристократический ЦГАЛИ, где сочинителей загоняют в бараки картотек и стеллажей и помнят больше по номеру.

Ваш Вал. Курбатов



Сентябрь 1986 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Сережа Задереев мне написал два слова о Вашем выступлении. Меня особенно задели слова об Афганистане. Думаю, что нам надо как-то объединить усилия и написать что-нибудь общее (обращение к пленуму, съезду — не знаю к чему) о необходимости немедленно уходить, сохраняя остатки международного авторитета и не губя ни своих детей, ни чужого народа. Поговорите с Залыгиным, Распутиным. Тут надо всем (Быков, Кондратьев и другие). Это бы писателям зачлось, и многое бы простилось. Пока мы по отдельности говорим — это слова, а люди гибнут и нужны уже дела. Тут именно слитность нужна.

Мы все о качественно новой политике твердим, а сами все по старинке. Все хотим как-нибудь интеллигентно уйти, не замечая, что «интеллигентность» оплачивается человеческой кровью. Пора уже учиться не в дипломатические игры играть, а человеческие решения принимать.

Мой товарищ, у которого отправили в Афганистан сына, справедливо написал в Министерство обороны и Верховный Совет, чтобы руководство первыми послало своих детей и тогда, пожалуй, впервые поняло бы, что есть дипломатия и есть отцовство, и пора научиться их согласовывать. Никто кроме писателей напомнить этого своим правителям не сможет. Политики позабыли людской язык и готовы отучить и свой народ — кому-то надо говорить, что политика — это человеческая жизнь, а не создание буферных государств и не имперские амбиции.

Экологию мы научились защищать, а вот своих детей — нет, и тут совершаются необратимые нрав-

ственные потери. Обманываем взрослых, растлеваем детей и загораживаемся словами о мире.

Сейчас необходимо писательское слово. И не в отдел писем ЦК втихомолку, а на весь мир — и это было бы лучшим документом к чести нашего народа и, я уверен, лучшим аргументом к примирению — отовсюду было бы видно, что мы не выгод ищем, а человека спасаем. Кто-то должен решиться на простые людские «наивные» поступки посреди обезумевшего расчета и механических государственных добродетелей.

Ваш В. К.

12 октября 1986 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Пишу тебе прямо вдогонку. Как истопил печи и еду сварил, так и читать твою рукопись взялся.

Блистательно! Иного слова и не хочу искать — блистательно! Я лучше и вдохновенней ничего у тебя еще не читал. Мо-ло-дец! Не зря ты самообразовывался. Остается лишь позавидовать хорошей завистью. И свое собственное невежество кажется малость окупившимся, когда пообщаешься с такими мужиками, как ты, да прочитаешь такое вот. Мне показалось даже, что за последние годы ты многое еще и приобрел. Наверное, тут и общение с духовенством сказалось. Только в словах не утони (я имею в виду все, что всуе сказано). Русским интеллигентам все же свойственно «умственность» держать «при себе» и не любоваться ею даже в подпитии. Может быть, тебе еще предстоит что-то пройти и до чего-то дойти.

Знания существуют не для того, чтобы «побеждать», т. е. давить невежество, а чтобы помочь оту-

читься от него, помочь прозреть, пробудить в человеке стремление к самоусовершенствованию, и ты это уловил, тонко уловил у Мельникова-Печерского.

Наверное, терпение старообрядцев есть высочайшая, нами так и не понятая степень культуры, внутренней их культуры. Уж очень часто мы, увидев невежество и невежественного человека, торопимся ткнуть в него пальцем и сказать слово — дурак! А так как дураков кругом очень много (дураков, думающих о себе, что они умные), у нас, у «шибко умных», работы не убавляется и порой даже во сне рот не закрывается.

Я много вчера думал, ходил по вечерней Овсянке. Хорошо у меня на сердце было, хоть и получил очередную угрозу по почте, что приедут два грузина и зарэжут меня *[речь о реальных угрозах Виктору Петровичу и его родным от грузинских националистов после публикации рассказа «Ловля пескарей в Грузии» в журнале «Наш современник», 1986, № 5. — Сост.]*. Хорошо оттого, что вот не прошли даром наши «жертвы», недочитанное, недоученное, недодуманное, недобратое нами все же кем-то «добирается», люди не только дичают, но и образовываются.

А мне что уж, куда уж? Более 10 страниц и прочесть не могу. Разламывается голова. Не оправдание, конечно, да что же сказать, когда говорить нечего?! Я и не бичую себя особо-то. Из Чусового выбрался, сажу малость отряхнул с себя, продвинулся от полного невежества, злость и темь военную в себе преодолел за полжизни, пусть не всю и не до конца, а все же...

Я это к тому, что в текст твой вмешиваться не стану, «помогать», т. е. портить ничего не буду. Отошлю за твоей подписью и постараюсь издателей убедить, что так оно и лучше, правильней будет.

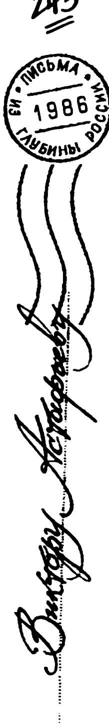
Кроме того, узнав из планов об этом предисловии, Лиханов просит его в «Смену», и разреши мне его отправить туда. Текст я попрошу перепечатать, этот все равно — грязноват.

Ну, а мне и радости от чтения достаточно, и желания, возникшего после чтения, перечесть хоть одну книгу Мельникова-Печерского.

А тут еще наши французов обули — 2 : 0 выиграли! И погода по-прежнему солнечна, суха, правда, ночью был крепкий морозец, но ты ж его еще застал, сегодня ж только двенадцатое.

У Андрюши Поздеева, как отсюда «ослобонюсь», непременно побываю. «Картинки» Тойво Ряннеля посмотрел. Хо-хо-хо, тебе о Печерском было веселее писать. Не знаю, как я выкручусь тут. Может, опыт «Чусовского рабочего» пригодится? Такой страшный и «полезный» опыт! Обнимаю тебя. Спасибо! Спасибо! Живи, работай, молись, у тебя все основания для этого есть.

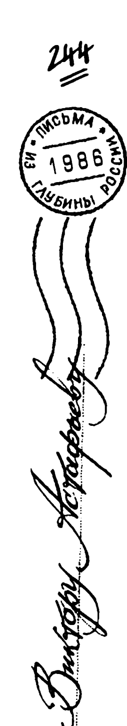
Твой Виктор Петрович



21 октября 1986 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за ободряющие слова — когда совсем искомплексуешься и уже страшишься всякой своей строки (все кажется и мелко, и неважно в сравнении с тем, что делают образованные собратья), такое ободрение может очень помочь в следующей работе. Издатели вряд ли пойдут на Ваше предложение — их заедят специалисты по Мельникову. И потом, им ведь не предисловие надобно, а Ваш нынешний взгляд, диалог Ваш с Мельниковым, и тут написанное мной только подспорье Вам, только часть путей, по которым этот диалог возможен.



И уж, конечно, это не надо давать Лиханову. Он тоже не в Мельникове нуждается, а в Вашем имени, что Вы и без меня знаете. Ему будет только неловко.

А мне довольно Вашего доброго слова. Спасибо Вам!

Женя Гущин прислал свою последнюю книжку «Храм Спасения», а с нею и приглашение приехать зимой в тайгу, суля показать «небывалое». Я вот думаю — не сойтись ли нам вместе в его зимовье. Я ведь тут зимы-то и не вижу совсем. Если по Пушкину «северное лето — карикатура южных зим», то северные зимы и вовсе нечему уподобить — слякоть, скука, долгая тоска, как в стылое предзимье. Так бы правда в тайге втроем-вчетвером за спокойными прогулками, вечерами у печи, за молчанием перед ночным величием Божьего мира провести недельку, и, глядишь, на год бы и хватило.

Для меня, правда, и Овсянка значила много и хорошо подкрепила меня для работы. На октябрьские хочу съездить к Звонцову и с ним в деревню — он просит написать статью для каталога его выставки в Москве, а уж там буду думать об Алтае — может, к январю выберусь.

Посмотрел я тут и письмо Эйдельмана у Бологова. Наглости и раздражения много, а смысла, увы, куда меньше, чем я ждал. Письмо очень вяло и уязвимо, и очень хорошо, что Вы не стали пускаться с ним в длительные объяснения — оно того не стоит.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

12 ноября 1986 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Унесла меня нелегкая в Ленинград, и горькое письмо Ваше о болезни Марьи Семеновны я получил вот только сейчас, по возвращении. Кабы знать, чем помочь. Подлинно — только молитвой, хотя мы уже и разучились это делать и таких уж плотин понастроили в душе, что ей и к свету не пробиться, а тут слово должно идти прямо от боли к боли, от любви к любви. А мы и любовь развеяли на пустяки, на какую-то духовную синтетику. Вы не сочтите лишним позвонить о. Михаилу — его слово идет более чистой дорогой, да и Вам будет не так одиноко. Бог даст, все обойдется, во всяком случае, будем молиться всеми силами души, ведь Марья Семеновна и правда только-только начала жить. Только немного разогнулась от дел и вот все боялась, что не сможет ездить, а сейчас, наверно, скоро не выпустят. Да и Бог бы с ним — долго, скоро, — только бы окрепла и воротилась домой. К внукам-то, поди, тоже сразу нечего думать собираться. Им бы лучше приехать, хотя ведь тоже как? Вот чем и нехороша наша разметнувшаяся на полсвета жизнь: сами тут, дети — там, внуки — в третьем месте — и все концы для самолетов неблизкие, отчего мы так и сиротливы на свете и отчего наши дети плохо ладят с родной землей — родимость-то уж больно разбавленная разъездами. Сам порой ночами криком кричу от одиночества и такого успеваю надуматься, что легче, кажется, в петлю слазить.

А уж пишущему человеку и вовсе беда, особенно в нашенское время, когда всяк сам себе голова и всяк честолюбив и взвинченно эгоистичен.

Прежде хоть узда веры, единство собирающей под свой крест церкви удерживало от крайностей

разгулявшиеся личности, а теперь, когда такой разгул именуется самовыражением и жарко лелеется как индивидуальность, то уж пощады ниоткуда не жди.

Пошли Вам Бог сил в эти трудные дни, Виктор Петрович! Сил и любви, потому что сильны мы только любовью.

Черкните мне два слова, как идут дела. Не тратьте времени на письмо — двух слов будет довольно.

Ваш Валентин

23 ноября 1986 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Марья Семеновна вырвалась домой, именно «вырвалась» и пока еще не очень, чтобы очень, но устала от больницы и больных, хотела домой, а что дома-то? Психованный муж и пустота. Но сулятся в начале декабря прилететь Валентин Григорьевич и Володя Крупин, а затем Андрей, сын. Может, он и возьмет мать в Вологду, тогда я сам отправлюсь лечиться в какой-нибудь здешний приют под названием профилакторий. Нервы на пределе — голова разламывается.

Мне все время кажется, что кто-то пытается достать меня через жену и угробить ее, зная, что без нее мне не работать и не существовать. Я даже подозреваю одного «друга дома», но верить этому не хочу. Может, это моя мнительность, к старости обострившаяся.

Возил тетушку Августу Ильинишну к глазному профессору — правый глаз у нее погас совсем, в левом зрение чуть-чуть, и задача удержать его хоть на время.

Есть и другие неприятности, но поменьше. По-

пробую вывернуться и сойти с этой ухабистой полосы. Заставляю себя писать «Затеси», авось и на этот раз они помогут мне войти в рабочий ритм, а тогда мне сам черт не брат.

У нас намечается зима, третий день минус 7-15, и довольно хорошо дышится.

Посылаю выпрошенную для тебя очень славную книгу очень славного человека. Был он зав. кафедрой фауны в Томском университете и травник известный, начал с помощью народа нащупывать, что горец (аконит) действительно может послужить основой лекарства от рака — бездари тут же ополчились на него и выжили из университета. Ныне он работает в филиале нашего института леса «по кедру», а годов через пять-семь какому-нибудь Эйдельману-внуку дадут Нобелевскую премию за «открытие», давно сделанное нашим народом и Геной Свиридоновым.

Обнимаю. Пиши почаще и прямо на имя Марьи Семеновны. Сегодня я прочел в газете, что возле Вашего знаменитого города найдена самая северная стоянка древнего человека. Ну никуда от Чусового! Маня посмеялась...

В. П.

4 декабря 1986 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за весточку, обрадовавшую, что Марья Семеновна двинулась на поправку, и за книгу Свиридонова. Кланяйтесь ему за благой его труд. По-настояшему, конечно, дело-то делают эти люди, а мы, особенно в нонешние времена, больше шумим. Шуму уж наделали такого и столько, что моя консервативная душа покоя запросила и скоро будет

просить реакции, чтобы в словах все не потопить. Упоенное наше говорение скоро совсем лишит слова смысла, а дело-то (хоть по магазинам поглядеть) стало еще хуже (во всяком случае, у нас).





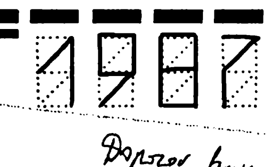
Репетиловские пошли времена. Все по-нашему, по-родному: разгульно, наспех, без достоинства и обдуманности, все с декоративными переменами, все с желанием ненароком не задеть фундамент, о котором говорил Солоухин. Все крышу латаем — то толем ее, матушку, то шифером, теперь вот европейской красной черепицей, чтобы как у людей и дальше видно.

Виктор Петрович, Мельников-Печерский меня все-таки очень беспокоит. Боюсь, что ему свету при моем сочинении все-таки не видать. Может быть, им предложить сунуть меня в конец, во второй том, а Вам открыть издание хотя бы двумя страницами благодарности Мельникову. По-моему, это ход возможный и, вероятно, устроит издателей, а Вы их поставите в крайне неловкое положение — они случайно затевали издание и вдруг — какие-то провинциальные «мыслители» Они бы для этого могли найти автора посерьезнее и поубедительнее для читателя. Поставьте-ка себя на их место!

Завидую я Вашей зиме. У нас все дождь, все 7-8 тепла, скука, сумерки, самая искусительная погода для самоубийц. И, конечно, какая работа? Так, одна досада...

Кланяйтесь Марье Семеновне! Дай ей Бог скорее вернуть силы и душевное равновесие! Поклоны Валентину Распутину и Владимиру Крупину, если уже приехали.

Ваш Вал. Курбатов

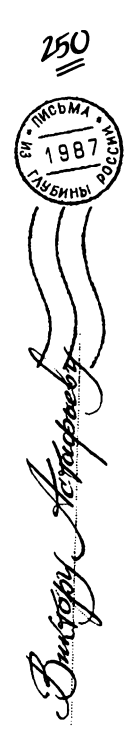


18 февраля 1987 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Как же Вы с Витькой-то? Вот и новая жизнь и новые заботы... Хлопот в сто раз больше, но одновременно жизнь маленького человека рядом как-то роднее связывает с жизнью, поближе ее подвигает, лишает той умозрительности, в которую мы нет-нет и загоним нашу житуху, чтобы половчее истолковать и тем хоть немного приручить ее.

Я уж вот как иногда сержусь — и туда бы съездил, и там погостил и поработал, и с тем бы повидался, а нет — сиди тут, присматривай, в школьные



премудрости вникай... Но как раздумаешься, так Бог с ними, с этими дальними поездками — был бы тут мир и согласие, и все само в свой час придет.

Поехать в Красноярск мне бы очень хотелось, но пока все темно. Я уже писал Вам, что затеяли религиозную общину и выпрашиваем для нее храм XII века. Это и в Москве было бы сложно, а в Пскове и просто поднялась паника. Начальство остервенилось, не желая ни общину регистрировать, ни храм отдавать. С такими мотивировками, что только за сердце схватиться да или в диссиденты идти, или окна бить.

Невежество наше еще так богато, так разнообразно, так унизительно, что с отчаяния хоть сам головой об стену бейся. Да зачем нужно наше слово и кому оно нужно, если народной жизнью руководит такое низкое и неразумное сословие? И народ это терпит и даже подсюсюкивает, а кинется сопротивляться, то тоже с каким-то холуйским приседанием — и на заслуги их сошлется, и подольстится к их уму, и Ленина процитирует, не замечая, что уж и сам, пока приседал, стал другого роста и мировоззрения.

Я все чаще живу в монастыре, где время течет иначе и где долгие ночные службы выравнивают и удерживают слишком разбегающееся сознание. Оказались бы Вы в наших краях — мы бы и вместе заглянули. Я все уговариваю В. Г. Распутина, и он вроде обещал в конце марта, да ведь что значат наши обещания, если мы сами себе не принадлежим и на дню по сто раз новые решения принимаем.

А все же и подумайте. От Москвы — это только ночь ехать...

Про литературу не думаю — некогда. Да и очень тяжело и как-то нечисто на душе. Все как-то исфальшивились. Это тем более странно, что вроде все наоборот — полно правды и правды...

Сердечный привет Марии Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

18 апреля 1987 г.
Псков

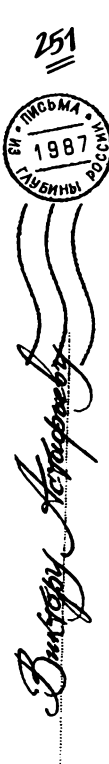
Дорогой Виктор Петрович!

Как смешно с Мельниковым-то вышло. Редактором русейшей книги оказалась Чулпан Мусеевна Закирова (я даже и не знаю, что это за национальность), и, конечно, ей было так дико читать о православии и расколе, что она в письме дружески подмигнула мне: «Не можете же Вы серьезно относиться к этим вопросам». Вот и возьми ее! Я, конечно, извинился, что обременил издательство своей кандидатурой, и мы разошлись... Вперед буду ученее и уж предисловий — ни-ни...

Съездил к В. В. Конецкому. Нашел его впервые за годы (уже) наших встреч трезвым и оттого новым, сердечным, кротким, терпимым. Хотя пора была не самая благополучная — остановлена была его последняя книга. Цензура брала за горло, потому что он написал о войне Египта и Израиля и нашем в ней участии, о чем нам хотелось бы умолчать. В. В. надел мундир, награды и покатил в Москву, точнее, по высоким кабинетам. Отстоял, воротился успокоенный и немедля надрался.

Теперь, кажется, готовится ехать на пленум СП в конце апреля, потому что из материалов пленума малого Союза заключил о неизбежности столкновения правых и левых, необходимости быть в курсе и держать порох сухим. Я тоже поглядел эти материалы с тоской. Опять, кажется, нам не хватит достоинства, как всегда не хватало в переломные времена, и мы замараемся суетой, срывами, сведением счетов и иными интеллигентскими нечистотами, тем более, что будет много провокаций и искушающей глупости со стороны азартничающих, задирающихся, нечистоплотных молодых.

Я гляжу из своего угла с тоской, и сердце все чаще болит, потому что слово опять никому не нужно,



а нужно что-то партийное, фракционное, «наше-ваше». Все мои работы дружно остановились — в ногу не попадаю и, кажется, даже мешаю своими консервативными призывами помнить о свете и красоте, потому что детям-то просвет надо оставить. Ожесточиться они и без нас могут, им для этого особенного и не надо ничего — жестоким быть эффектно, притягательно, современно, не то, что добрым и милосердным. И ироничным, брезгливым, снисходительно-высокомерным к отечеству тоже быть красиво, а к свету тащить — глупо и консервативно.

Сижу вот брюзжу и жду не дождусь, когда молодые сорняки заполонят огород в Овсянке и придет пора полоть и окучивать. Увидеться бы... Друг возле друга-то от ветра надежнее и мир впереди яснее.

Поклон Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

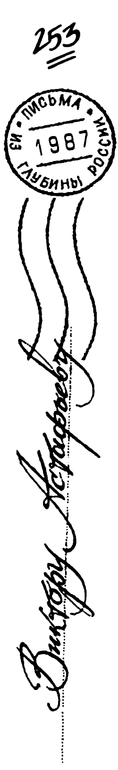
8 июня 1987 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Кинулся в Вологде звонить Андрею в надежде тут же повидать Вас. Увы и увы!

Поездка была в пользу и радость — Ферапонтов монастырь навестили, Кириллов-Белозерский. Одного этого достало бы на год. Поглядели из фильмов «Плотину» Сережи Задереева, «Земля в беде» и «Компьютерные игры», которые показал Ф. Я. Шипунов. Аудитория так раскалилась, что попадись под руку правительство, тотчас бы и сместили, а то и до побоев бы дело дошло. Шипунов утешал нас только тем, что его лабораторией предложено правительству распустить все институты Минводхоза (60 тыс. дармоедов), а само министерство предать суду. Утопия, конечно (в применении к этому ми-

нистерству и делам его «утопия» уже звучит остротой), но хорошо уже и то, что вопрос там все-таки поставлен и заставит кого-нибудь поворочаться ночью с бока на бок. Один безумный полковник был красноречив и ушел в перебор, только когда заговорил о жидомасонской системе общепита, вводящей в пищу таблетки, предрасполагающие к смешанным еврейско-русским бракам и исподволь меняющие наш генетический код. Дм. М. Балашов назвал в областной библиотеке советскую власть при переполненном зале е... с пляской, отчего сам тотчас побледнел, но слово уже вылетело. Все это, надеюсь, передаст атмосферу, в которой проходил Вологодский праздник славянской письменности.



Но были и живые чудеса! Это поездка в Устюжну, которая не переменилась с той поры, как ее навещал Иван Александрович Хлестаков, разве только нет на мосту стоявшего там «для благоустройства» городового. Два дня русских лиц, старых песен «с выносом», детских хороводов, костров над рекой, соловьев и какого-то покойного обнадеживающего счастья. Авось, и правда не все потеряно!

Поклон Марье Семеновне.

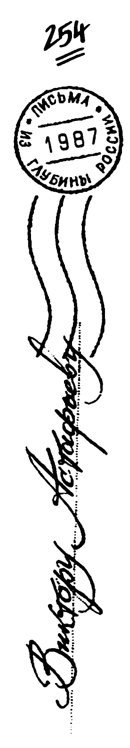
Я скучаю по Вам все острее, душа уже просится в Овсянку, но домы, и чады, и грехи не пускают.

Ваш В. К.

17 июня 1987 г.

Дорогие Мария Семеновна и Виктор Петрович!

Ах, лето, лето! Всегда его узнаешь по тому, как сиротеют почтовые ящики. Разбегается народ кто куда в веселых заботах огорода, странствия, пляжного безделья, забывает, что где-то кто-то все заглядывает в прорезь почтового ящика в надежде — не забелеет ли там край конверта, а оттуда тьма египет-



ская совиным голосом: иди, иди, Бог подаст. Скучно и одиноко.

Самому бы спрятаться куда. Так все вокруг ожесточилось. В Вологде звучали таковы слова, что только на краю человек сказать может, когда уже все равно: узилище или продолжение жизни — все едино.

В Москве на родном совете по критике тоже веревочка завилась так, что только намылить ее да голову сунуть. Я, как старый консерватор, остепенял сотоварищей от ликования над бедами своего Отечества, просил вспомнить, что не чужая земля истреблена, а Родина-матушка, и чего же тут так соревноваться в красноречии. Звал к милосердию и выглядел странно, как случайный насельник из Оптиной пустыни посреди веселого пира.

Все оживленно судили общество «Память», а я вдруг вспомнил роман Солоухина, и смущавший меня его финал (в котором умный, открывающий глаза писатель-фотограф мерещится провокатором) открылся как давно угаданная Владимиром Алексеевичем правда. По-человечески фотограф, вероятно, прав, но художник углядел, как человеческая правда в игралище общественных страстей оборачивается противоположностью и честный порыв выворачивается в провокацию. Нет, сейчас коли хочешь человеком остаться, надо в Овсянке сидеть и спокойно делать свое несуетное дело, а то веселое время подхватит под микитки и не узнаешь, где и окажешься.

Дай Бог, чтобы вы оба были здоровы, Овсянка была в свет и утешение. А мне, видно, придется приехать огород полоть — Виктор Петрович уверяет, что сорняк после моей осенней работы пошел вдвое веселее на просторе-то, что я, как и положено нашему брату критику, выполол-то выполол, а всякому пырею — свобода, гуляй не хочу.

Хотя, думаю, что «омманыват» — весной ведь и во всяком огороде первым сорняк на волю бежит —

оттого его и виднее. А уж теперь-то, поди, культура пошла — не огород, а кремлевская лужайка.

До свидания, родные мои!

Я скучаю по Вам.

Ваш Вал. Курбатов

Сентябрь 1987 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Надо жить, ребят растить...

Кажется, еще никогда так трудно не заставлял себя начать работать, но натура все же мужицкая, заставил, написал три кусочка и новую главу в «Поклон», презабавную и светлую, но заболел Витя воспалением легких. Маня топталась, топталась и слегла, пробовала опять умирать. Оставил я Овсянку да сюда. Проку от меня немного, а все же поддержка. Почты чемодан привез. Сам-то ведь даже и бандероли не умею завязывать. Оля, невестка, приехала на неделю из Перми, полегче маленько. В воскресенье — сорок дней. Тоже надо переварить *[17 августа в Вологде от сердечного приступа скоропостижно скончалась дочь Астафьевых Ирина. Похоронена на овсянском кладбище. На попечении Марии Семеновны и Виктора Петровича осталось двое внуков-сирот. — Сост.]*.

Я рад, что ты согласился написать предисловие к томику юношеской библиотеки. Оно, по-моему, на пол-листа, так сделаешь без надсады и все, глядишь, копейка какая-никакая заработается.

Я посылаю тебе первый томик библиотеки, чтобы ты имел о ней представление. Может, где и доброе слово скажешь о добром и действительно нужном деле; а то ведь, как воды в рот набрали. Начни бы эту библиотеку «ихое» предприятие, уже бы шум был на весь свет.



В четвертый том станет Толя Соболев с «Грозовой степью», будет и фантастика, и том поэзии, может, удастся продлить библиотеку с 20 на 25 томов и выпустить ее не за десять, а лет за шесть.

В Ленинград мне уже не поехать, а вот во Францию, если Марья Семеновна «отпустит», в конце октября на неделю съезжу представлять «Печальный детектив», если, обратно, генералы-брежневцы не прикончат за материал, что обещает дать «Литературка» 7 октября.

От Миши Голубкова пришло письмо, даже и почерк хлябает от хвори у него. Да что же это такое, что за напасти на нас? В Овсянке неделя без покойника не обходится.

Не хворайте хоть вы-то, семьею всей держитесь!

Обнимаю, целую.

Виктор Петрович

О трагедии с дочерью я узнал почти сразу, и после похорон мы говорили по телефону с тогдашним духовным наставником Виктора Петровича отцом Михаилом, отпевавшим Ирину, и с самим Виктором Петровичем. Писать было невозможно. Есть минуты, когда сбивчивое живое слово важнее и слышнее душе, чем хотя бы и очень выверенное письменное.

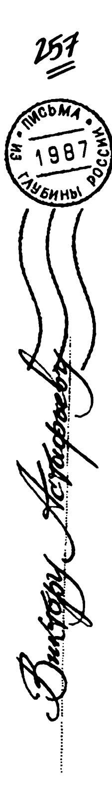
Числа точно не помню, но сейчас по своему дневнику 1987 года вижу, что на Успение Божьей Матери в Печерском монастыре на общем молебне у Образа уже молюсь, как умею, только о помощи Виктору Петровичу и Марии Семеновне.

Вот почему в следующем письме мне легче подхватить обмолвку Виктора Петровича о Франции и отвести его память от все не заживающей боли.

14 ноября 1987 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Действительно ли Париж так хорош, как вот уже не первое столетие уверяют нас свои и чужие сочинители? Врут, поди? В Овсянке не были — вот и мелют. А я вот посидел в Култуке на Байкале и думаю, что и нам парижанам есть, чем нос утереть. Пожили бы они там со мной в крайней избе в лесном распадке, когда утром промерзают окна и пар изо рта и не знаешь, с какой ноги выбираться из-под одеяла. Когда ручей за избой обмерзает так, что надо сначала долго лупить ведром, прежде чем доберешься до воды. Когда дым сначала норовит весь вва-литься в избу и, только обогревшись, нехотя заглядывает в трубу. Зато днем — тайга, кедрачи, шишки прямо на тропе, чуть тронутые белкой, а то и вовсе целые, редкие глухари шарахаются между деревьев, так что ты приседаешь и тайком проверяешь штаны, и частые рябчики, которые, сорвавшись, уже не идут на манок — нашел дураков! А вечером неторопливое чтение какого-нибудь Розанова или Бердяева, пока не высыплют звезды и не устанешь дивиться их чистоте и свету. И падают, как в августе, и сколько ни намеревайся загадать желание, успеешь только воскликнуть «О!» Сосредоточишься, но опять только — «О!» Всего неделя, но у меня прошла голова, перестало болеть сердце.



Вале Распутину бы туда, а он мается в неврологии. И хоть палата отдельная, да столовая-то, да народ-то в коридоре — обычный нервный больной, от одного вида которого мир перекашивается и сердце темнеет. Хоть бы Вы уговорили. Я понимаю, что ему надо было быть в городе, пока шли митинги и кипела схватка вокруг трубы *[по решению тогдашнего Минводхоза предполагалось отвести вредные стоки Байкальского целлюлозного комбината в реку Иркут,*

что могло повлечь за собой экологическую катастрофу в целом регионе. — Сост.], но теперь-то на время все выправилось и можно пока успеть набраться сил, потому что скоро они снова понадобятся. И ведь не пишет ничего. Так можно и вовсе разучиться. Иногда мне уж кажется, что комбинат для того и завели, чтобы одним писателем в России меньше было, и желательно самым совестливым, иначе-то к нему не подберешься. Глядишь, побьется, побьется, да и разучится писать, а только того и надо — они своими заткнут образовавшееся пространство. И то, что своих в такую брешь понадобится много, даже и лучше. Кого Аралом, кого Енисеем, кого поворотом рек изведут писателей, а умрет эта духовная сила, им оставшиеся-то уже и не страшны будут, тем более они уж и сами скоро попадают без присмотра. Гляжу иногда на желтую нашу серию «Дороги к прекрасному», где рассказывается о славе российской, о лучших землях наших, и сердце обливается кровью — сами того не ведая, мы печатаем приговор своей беспамятности. Ведь что на карточке-то: купола набок, все осыпалось, выветрилось, измылось дождями, заросло бурьяном. И уже ничего не воскресишь — душа умерла, а отреставрируешь да под органный зал, так это тоже все равно, что под картошку — духа в наших органных залах не больше, чем в овощехранилищах.



Никак вот не знаю: благо ли то, что и Вы, и Валентин *[Распутин. — Сост.]*, и Василий Иванович *[Белов. — Сост.]* целиком в общественных занятиях. Вроде да — если не вы, то кто же остановит этот сбесившийся поток лжи, безродной наглости и поругания родного дома. Но, с другой стороны, иногда кажется, что они почти с умыслом втравливают вас в эту экологическую, гидротехническую, сельскохозяйственную, плановую и иную борьбу, чтобы обескровить литературу, истощить слова переводом

на чужой язык. Ведь мир-то строится, душа-то человеческая не статьями и не митингами (это революции ими делаются), а спокойным, мудрым, во все стороны освещенным словом. Нет, русская жизнь непременно, как только родится в ней могучий художник, постарается затолкать его в свои революционные помешательства, непременно на него перевалит все беды и в конце концов именно его заставит расхлебывать свое варево. И пока он этим мается, пока болеет, а то и погибает, она уже варит другое.

Так вот иногда думаешь — не послать ли ее, эту общественную борьбу. Не стараться ли сохранить свет и силу слова вопреки этому шабашу. Не знаю — как сохранить, но как хранили русские молитвенники в своих лесах и скитах, чтобы к ним шли потом за словом совета Дмитрии Донские, и позже — уже и сами Толстой и Достоевский к оптинским старцам, потому что там была сила выше иных сил.

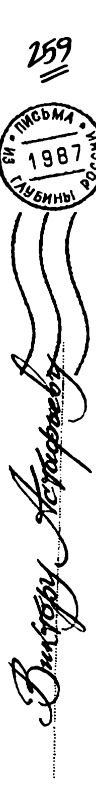
Вы, конечно, скажете, что это уже будет не русская литература. Понимаю, но сердце болит, и злость томит от жестокости нашей русской, опять и опять обворовывающей себя и своих лучших детей.

Бодрое время все больше вгоняет меня в тоску, и что-то мне мерещится, что оно породит среди нашего брата столько «лишних людей», сколько и не мерещилось в самые застойные времена. Вот опьянение-то пройдет, пар выйдет, и начнет пробиваться тоска и недоумение, а там уж и скука. С короткими идеями всегда так. Все двухтысячным годом меряем, как будто дальше — дыра или светопреставление. Да и немудрено — когда жизнь рода, всей дали от прадедов к правнукам, рвется и каждый своим живет, то надолго ли загадаешь?

Дай Вам Бог здоровья.

Нежный привет Марье Семеновне. Хоть бы зима была посуше.

Сердечно Ваш Вал. Курбатов



Виктору Астафьеву

24 февраля 1988 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

С горечью услышал, что Вы хвораете, и вот кричу под окном, чтобы выманить Вас к форточке и немного рассеять Ваше больничное уединение, потому что в больнице, по-моему, хоть с утра до ночи будто на людях, а все один, и человек с улицы приходит как из другого мира, где все кажется чуждо, суетно и незначительно. Впрочем, это одни мои теории, потому что я по эту сторону стекла.

Живу я по-прежнему в своем, выключенном, ми-

ре и понемногу отрываю одну связь за другой, так что и удивляюсь, когда кто-нибудь еще заказывает что-то из журналов.

Из Москвы, как из преисподней, долетают отзвуки политико-литературных сражений, в которых «амуры и зефиры все распроданы поодиночке» и торговля идет уже более насущными вещами, и уже нашего брата затворника пытаются втянуть в перестрелку кто прямым призывом, кто змеиным шепотом, кто византийской дипломатией.

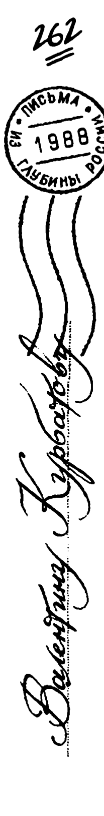
И с особенной злостью и горечью вижу, как затягивается на шее петля провинциализма.

Вырываюсь, укрепляюсь, окружаюсь книгами, музыкой, в переписке избирателен, предметы для сочинений ищу поопрятнее и попросторнее мыслью, а душа все равно темнеет и сужается, потому что жива она по-настоящему одной живой беседой, откликом встречного чувства и внезапно рождающейся мысли, а собеседников нет. Ходил, стучался у всех дверей, искал — все без толку. Разбиваюсь о все те же копеечные внутрилитературные страсти и счеты. Всяк свою мысль для сочинения экономит, а на беседу не остается — расчетливый народ пошел. А уж скажет, так и сам не рад, весь потом искосится на тебя — не украдешь ли. Вот поневоле и запираешься, и отгораживаешься от мира, и все надеешься, что однажды душа успокоится и примирится.

Собираюсь в Чусовой, маме помочь да ледоход застать. Здесь путного-то ледохода ни разу не видал и уже соскучился, да и весны в Чусовом давно не встречал, а она там хороша — веселая, грязная, молодая, здоровая — тоже не чета псковской.

Марье Семеновне — 1001 сердечный привет. Поправляйтесь, Виктор Петрович. Весной болеть грех. И скоро уж в деревню пора, а там река, покой, лес...

Ваш Вал. Курбатов



24 марта 1988 г.

Дорогой Валентин!

Написать путнее письмо мне некогда. Марья Семеновна в санатории, под Москвой, но уже через несколько дней приедет.

Я зимогорил почти месяц один. Отдохнул малость. Даже ничего не делал посредством ручки. И бумаг скопилась куча.

Июнь — время подходящее. Период цветения у нас. Надеюсь, тепло будет, а пока постояло полмесяца солнечно днем, стыло ночью, и началась московско-псковская погода. Ломает все косточки.

Может, до июня увидимся на съезде славистов в Новгороде? А нет, так садись и приезжай. Машина на ходу, Овсянка цела еще, слава Богу, и я шевелюсь. Походим, поговорим, писать я что-то не могу, да и не хочется.

Кланяюсь, обнимаю.

Виктор Петрович

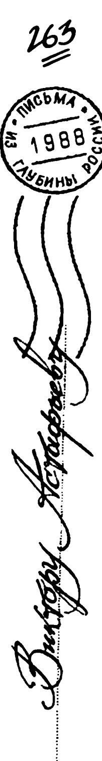
31 июля 1988 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Как тоска-то прижимает! И чем внимательнее вглядываюсь я в наши газетки с журналами, чем больше слушаю своих товарищей и гляжу на родимый город и дела его, тем душа темнее. Какая-то гигантская воронка затягивает наше бедное отечество, закручивает в омут праздного говорения, суесловия, все нового обещательства и все новых и новых заплат на нашем и без того лоскутном тришкином кафтане.

И что-то не похоже, чтобы решились мы на ко-

ренную ломку строя своего, изолгавшегося и бессмысленного, все хотим какие-то святыни оставить и за них держаться, хотя уже очевидно, что только боязнь остаться совсем без опоры принуждает нас не валить оставшиеся, такие же гнилые кумиры. Но сколько еще можно будет тянуть с недоговоренностью, увертками, полуправдой? Как конца не прячь, а придется нам встать перед революцией с последней прямотой и покаяться, как в страшном заблуждении, и попробовать все сначала. Пока мы только познаем свою историю все глубже, допятили уже до двадцатых годов и пока притворяемся, что хоть там-то все ладно, а уж знаем — и там смерть и преступление. И все тянем, тянем, откладываем важнейшее признание, а значит, растягиваем агонию, запутываем следы, обманываемся полумерами и недореформами. А это уж и хуже прямого вранья, — мучительнее.



Нет, надо в деревню, в Овсянку, в молчание, в грядки, в спокойные заботы о земле и доме... Или в церковь.

Наши тысячелетние торжества в Пскове обошлись без докладов и банкетов, зато был хороший духовный концерт в театре, и были подлинно величавые Всенощная и литургия с хором ленинградской митрополии и собором ленинградского и псковского духовенства. Мужики все здоровые, и пение потому могуче и властно. Были мгновения, когда наша Троица силою голосов явственно отделилась от земли и не уносилась в небеса только под тяжестью нашего сомнения.

Осень и зиму просижу, наверное, в родных стенах. Закрою окошки шторой, чтобы не видеть своего тюремного двора, и буду читать монастырские желтые книги, в славянской вязи которых еще, слава Богу, живет покойное, несуетливое укрепительное знание. Правда, в брюзгливом своем деле его не

употребишь, да, признаться, как-то и применять не хочется.

Как бы грехи не держали и еще хватило физических сил, так бы в монастырь-то и ушел. Да вот только кишка тонка, не хватит меня на такой труд. Слава Богу, хоть наведываться могу и жить там, собирая черепки своего порядочно искрошенного духа.

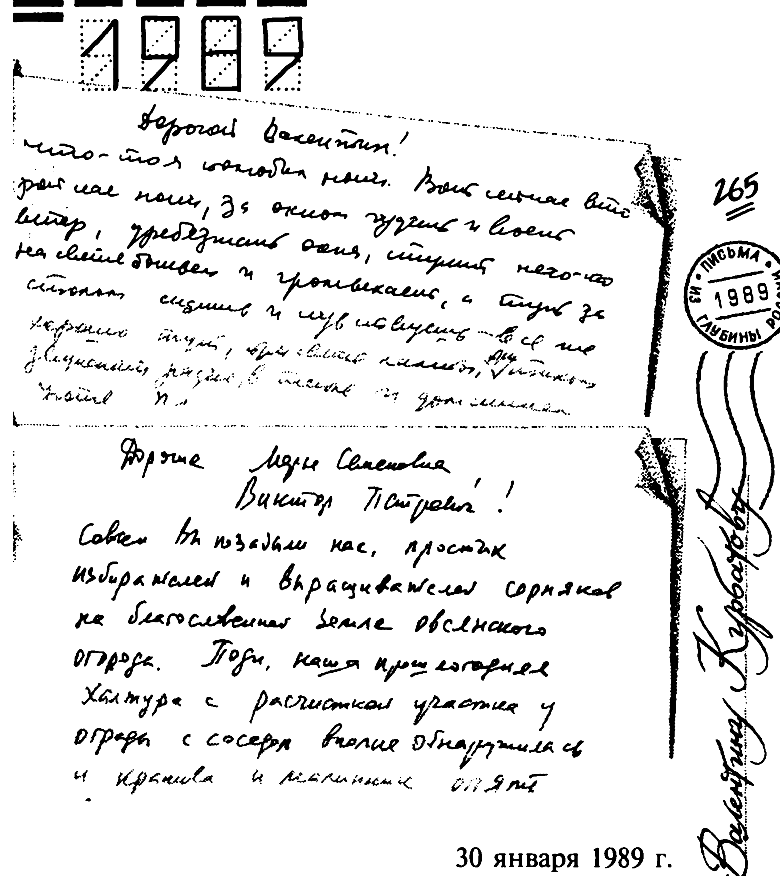




Теперь вот, Виктор Петрович, как в наши края соберетесь, мы с Вами — р-раз! — и в монастырь. Поживете день-другой-третий, поглядите, с отцом Зиноном (коли он там будет об эту пору) перемолвитесь *[архимандрит Зинон (Теодор), иконописец. — Сост.]*. Это хорошее целебное средство, и Вы про него не забывайте. Я о. Зинону заикался — он сказал, что будет очень рад. Как военный-то роман прижмет до сердечной боли, так Вы оставьте его — пусть отдохнет, — а сами сюда!

Сердечно обнимаю Вас.

Ваш Вал. Курбатов



Дорогой Валентин!
Что-то я полюбил ночи. Вот сейчас вто[рой час] ночи, за окном гудит и воет ветер, дребезжат окна, стучит чего-то на свете Божьем и громыхает, а тут за столом сидишь и чувствуешь — все же хорошо тут, при свете лампы, при тихом звучании радио, в тепле и домашнем...

Дорогие Мария Семеновна,
Виктор Петрович!
Совсем Вы позабыли нас, простых избирателей и выращивателей сорняков на благословенной земле овсянского огорода. Поди, наша прошлогодняя халтура с расчисткой участка у ограды с соседом вполне обнаружилась и крапива и малинник опять

30 января 1989 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Что-то я полюбил ночи. Вот сейчас второй час ночи, за окном гудит и воет ветер, дребезжат окна, стучит чего-то на свете Божьем и громыхает, а тут за столом сидишь и чувствуешь — все же хорошо тут, при свете лампы, при тихом звучании радио, в тепле и домашнем уюте. Вроде и постоянная сосущая тревога под сердцем дальше или глуше становится. Может, это еще и оттого, что днем совсем ра-

ботать не дают, да и жить не очень позволяют. Давно уж собираюсь тебе написать, слышал, что хандришь. А кто сейчас не хандрит?

Мы, как приехали с Марьей Семеновной из Болгарии в декабре, так с тем запасом и зимогорим. Не очень чтобы здоровы, но и не совсем больны. У меня было ухудшилось давление и довольно сильно разгулялось, так на уколы походил, таблетки глотаю, так вроде бы и помогло.

К Новому году переехал к нам, и теперь уж навсегда, наш Витя. Сын и невестка наша, делая широкий жест, не совсем представляли себе, что такое ныне иметь троих детей, да еще одного в очень трудном возрасте.

В эту же пору были у меня самые тяжкие дни и годы, и вот Витя начал повторять мою судьбу, по существу превратившись в затравленного беспризорника. Но у меня не было никакой опоры и защиты, а у него все же живы еще дед и бабка, и недопустимо, чтоб его загнали в детдом. Я там отбыл срок за всех, за многие поколения вперед. Словом, теперь он с нами, и ему, и нам легче во всем.

Очень уж Марья Семеновна плакала, когда мы уезжали из Вологды. Ночью на верхней полке вагона как носищем-то своим зашмыгает. Я ей раньше не очень-то говорил, каково там детям-сиротам с дядюшкой-фельдфебелем живется, в себе носил, не зная, как быть и что предпринять. Теперь все разрешилось само собой. На лето Полю привезут, и если достанет сил, и ее оставим у себя. На сколько хватит нас — потянем, а там уж как Господу будет угодно. Сироты уж в Его распоряжении. Правда, сейчас ни сиротам, ни кому пощады нет, все несут кару за сотворенные нашими комиссарами и дураками преступления перед Богом и миром.

Не знаю, писал ли я тебе, что в Болгарии малость работнул. Но дома так взяло в оборот течение

жизни, что лишь теперь принялся за черновики рассказов. И вот ныне ночью хорошо прошел один рассказ, изрисовал его весь и очень удовлетворенный и довольный собою взялся за это письмо. Наверное, скоро закончу три рассказа. Один довольно серьезный. Очерк доделал, отослал в «Наш современник», в два листа он получился; киносценарий тоже отослал. Разойдусь, так, может, и еще чего сделаю.

В Москву на пленум и в Ленинград на кинофестиваль не поехал — очень уж на западе сыро и гнило, так боюсь простудиться и заболеть, а это мне ни к чему. Болеть простудой я стал тяжело, могу однажды и не подняться, а у нас ребятишки, кто их ростить будет.

В Овсянке холодно и тоскливо. Августа, тетка моя, совсем ослепла, одна в доме, никуда и ни к кому ехать не хочет, и так жить тоже негоже. Всю неделю, до субботы или воскресенья, пока дети не приедут, управляется сама. Хворать шибко стала, в избе необиходно, а ведь чистюля и хохотунья была, а тут осенью в огороде заблудилась, людей с дороги кличет, чтоб домой увели...

О мачехе вот тоже хлопотал. Забыли, затуркали ее дочь с зятем-бичом. Я попросил власти хоть чем-то помочь старухе, квартиру подладить, всего семь градусов в жилье, болеют. Поскольку никогда и ничего не прошу, власти уважили и дали мачехе однокомнатную отдельную квартиру, так трудящиеся тут же накатали письмо за сотней подписей: «Ах, сын-писатель, так ей фатеру, а мы — пропадай!» Совсем народишко наш шпаной и оглоедом стновится. Горлохват и вор — главное действующее лицо у нас. Преступность и смертность здесь ужасающие. Ситуация жизни, кажется, уже не контролируется. Полный разброд и анархия вместо обещанного порядка и благоденствия. Уже приходит на ум мысль о том, что жить, слава Богу, остается немного, тревоги о

детях и судьбе нашей измучили. Но наш брат хоть частично может излить тревогу на бумаге, а каково людям, которые носят все с собой и в себе?!

Год надвигается юбилейный — Шукшин, Игарка, Енисейск, и все летом, так, может, хоть весной у нас побываешь или сейчас давай рвани. Что-то Марья Семеновна часто тебя поминает, по Уралу тоскует, скорее, по могилкам, оставшимся на Урале. Со смертью бедного Миши Голубкова словно еще чего-то оборвалось и безысходность какая-то душу охватила — уж больно неподходящий для ранней смерти человек-то был.

Ну, вот писал, писал и вроде ничего еще не высказал, не сообщил, устал, наверно. Поэтому закругляюсь и спать буду ложиться. Полежу, подумаю, повспоминаю леса, реки, походы, рыбалки, приду к выводу, что все же я счастливый человек — столько красоты перевидал, столько радостей изведал от природы и людей, да с тем и усну.

А про литературу уже ни думать, ни говорить не хочется, все же удалось отравить отношение к ней, даже в таком преданном ей и благодарном человеке, как я. Наверное, скоро совсем я запрезираю и себя, и дело свое, а это равносильно смерти. Твой кореш Конецкий вон хоть пьяный бред пишет и безответственно, мимоходом обижает людей, не щадя даже инвалидов вроде Жана Каталя, человека хлебосольного, много лиха на веку хватившего и не лишенного благородства, пусть и французского. Вякал бы про нас, про нас все можно, мы уж и обижаться сил не имеем, да и досугу тоже.

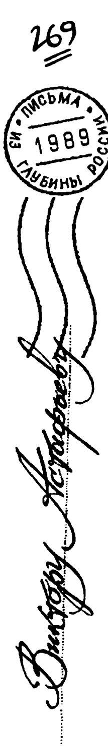
Ну, обнимаю тебя. Желаю спокойной ночи — третий час пошел. Пора и мне на боковую. Храни тебя и близких твоих Бог. А Михаил Сергеевич *[отец Михаил Капралов. — Сост.]* уехал-таки в Барнаул... Там молится за нас грешных.

Преданно твой — Виктор Петрович

20 июня 1989 г.
Псков

Дорогие Марья Семеновна, Виктор Петрович!

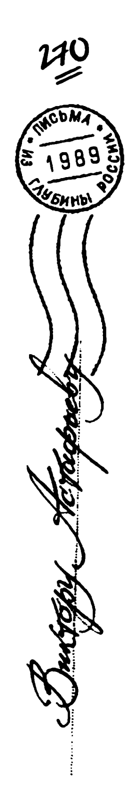
Совсем Вы позабыли нас, простых избирателей и выращивателей сорняков на благословенной земле овсянского огорода. Поди, наша прошлогодняя халтура с расчисткой участка у ограды с соседом вполне обнаружилась, и крапива и малинник опять встали стеной вместо того, чтобы давать товарную продукцию для дивногорского рынка, где отошедший на покой В. Белкин мог бы реализовывать ее «рупь кучка».



Я совсем спрятался от мира, больше живу в монастыре, читаю разные вечности и совсем позабыл, какое на дворе тысячелетие, тем более тысячелетие, судя по краем глаза увиденному по TV съезду, — все то же самое: то есть с красноречием у нас как всегда хорошо, но деятельному и на словах желанному переустроителю Штольцу мы все-таки предпочитаем родного Илью Ильича Обломова, потому что Штольц-то еще может и евреем оказаться.

Очень хотел оказаться в Сростках. Включали меня в какую-то конференцию, но сейчас засомневался — место ли мне там? Сейчас по таким поводам надо собирать настоящие деятельные русские силы, чтобы они там друг около друга ума набирались и матушку Россию на себе дальше тянули. А из меня, увы, тягач плохой — я только где помочь, где уже кто-то несет и только одному не по силам. Для этого ездить никуда и занимать место более необходимых делу людей не надо. Так что пока сижу и раскидываю пасьянсы: ехать — не ехать, хотя официальных приглашений пока и нет никаких и, может, никого кроме меня, эти мои заботы не задевают.

Похоже, просижу лето дома, а в сентябре, когда мне имеет быть 50 лет, если доживу, сбегу на родной Урал, к маме, чтобы не обременять доброе местное начальство заботой, как избежать этого глупого «юби-



лея». А там неутомимый Роберт Белов предлагает на два дня в Овсянку наведаться — один он боится показываться Вам на глаза, а ему бы очень нужна страница предисловия к его детской хронике военных лет.

Я понимаю всю чудовищность Вашей занятости, Виктор Петрович, но Вы ведь читали рукопись и одну-то страницу общего благословения всем действиям (и особенно таким нескладным военным) можно бы написать, чтобы Роберт успокоился, начал свои издательские мытарства и меня бы не подбивал звонками из разных мест Союза ехать к Вам тотчас, хотя мне бы и хотелось побыть около Вас при пермских воспоминаниях.

Простите мне эту настойчивость, Виктор Петрович, я повинен в ней только косвенно.

Не решаюсь спросить: а «Последнего поклона» у Вас не осталось? Мы когда с Валей Распутиным звонили Вам из Иркутска, Вы говорили, что вот-вот ждете из издательства, и мне обломится.

Письмо вышло какое-то крохоборское, хотя я хотел только сказать, что очень скучаю, даже тоскую без Вас до какого-то горького одиночества внутри.

Сердечно обнимаю вас обоих.

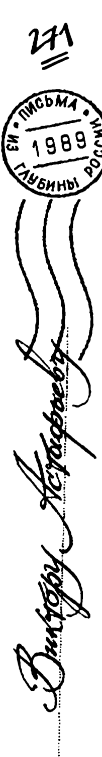
Ваш Валентин К.

13 июля 1989 г.
Псков

Дорогие Марья Семеновна и Виктор Петрович!

Гостили в Пскове отец Михаил с матушкой Галиной, да и в Москве мы потом виделись, куда я ездил на неделю по мелким заботам. Матушка торопится в Барнаул ждать Вас на Шукшинские дни, и я опять жалею, что дела не пускают меня на Алтай, хотя приглашение уже пришло. У нас тут именно в эти дни затевается большой разговор о судьбе горо-

да в ближайшие годы, и я хоть мало вижу проку в своих противостояниях, а должен остаться тут и, может, хоть чего-то загородить от массовой распродажи (решили нас сделать городом международного туризма и торопятся раздать все храмы за валютные полушки в любые басурманские руки). А душой-то я в эти дни буду там, в Сростках, где и Вы будете, и Валентин *[Распутин. — Сост.]*, и Крупин, и тьма иных добрых людей, которых хочется увидеть именно разом, чтобы подкрепиться душой, почувствовать необходимую опору.



Время изговорилось и избегалось до того, что уж глядеть стыдно. А слово наше бедное совсем стало никому не нужно. Журналы битком набиты старыми драгоценностями, каждой из которых в недавнее время хватило бы, чтобы понять, что мир еще постоит, а теперь именно их множество и общее равнодушие к ним убеждают, что история вот-вот кончится. И не Апокалипсисом кончится, не войной, не Страшным судом, а какой-то ленивой скукой, общим наплевательством. Одна надежда, что это, кажется, становится видно всем, и похоже, что вот-вот мы набегаемся и наговоримся, и если за это время не вляпаемся как-нибудь в кровь, то начнем спокойно обдумывать самих себя. Материал уже собрался, диагнозы в великих публикациях прописаны, рецепты — тоже. Дело за малым — за желанием услышать и сдвинуться (это всегда русскому человеку тяжело — и нам бы в середину-то колосьев нашего герба не земной шар помещать, а Илью Ильича Обломова, чтобы он в тени этих колосьев мог дремать слаще и чтобы ему голову не напекло).

Спасибо, мои родные, за «Последний поклон»! Что за чудо-издание! *[В издательстве «Молодая гвардия» «Последний поклон» издан двухтомником в красочном подарочном оформлении. — Сост.]* Вот поеду в деревню, возьму с собой, да и почитаю, как встарь,

побегаю опять с Витькой до сумерек, полюблю Божий мир и поплачу.

Пошли Вам Бог здоровья!

Ваш Валентин



5 августа 1989 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Съездил я на денек в Ленинград, повидал Толю Пантелеева. Привез он, как всегда, пленки и карточки с Шукшинских чтений.

Вас я там не нашел, как не нашел и Валентина *[Распутина. — Сост.]*. Киношники приехали потеснее, но и они, кажется, без Рениты Григорьевой. Что-то, кажется, вышло не очень ладно в том смысле, что приехали на 60-летие к Василию Макаровичу не совсем близкие люди. Как-то так невольно вышло, что не хотелось-то Вам видеть своих суетливых сотоварищей, а сиротою-то опять остался Василий Макарович — не приехали к нему дорогие люди. Может, Союзу и не надо в таких случаях трескотню-то затевать, а пусть бы ехал, у кого сердце родное. Учености же всякие можно было и независимо провести. Нет, непременно трубы подавай, барабаны, Егора Исаева. Толя прокрутил мне часть пленок. Федосеева читала замечательное последнее стихотворение Василия Макаровича, не забыв пококетничать, что никому кроме нее не читал. В. Золотухин скричал частушки: «Хорошо, что Ю. Гагарин не еврей и не татарин...» Похоже, что все было с обычной нашей беспутностью без настоящего слова, которое уж пора бы сказать о Шукшине, как Леонов некогда сказал о Толстом (с такой внутренней уверенностью и серьезностью).

Ленинград был жарок, душен, невыносим. Охотно верилось, что в его воздухе свинца на 100 процен-

тов больше нормы, — не продохнуть. Зашел к Конецкому. Он третий день пил после того, как из журнала «Советская библиография» в его переписке с Солженицыным выкинули включенное Конецким «Письмо к съезду», посланное вместе с солженицынским. Но вообще произвел впечатление хорошее — не лезет в политику, мягок в анализе сегодняшних тонкостей, чтобы ненароком не задеть живое. Вообще больше, кажется, рисует, чем пишет, и рисует замечательно. Все тоньше и чище. Видно, душа светлеет... Похвалился, что В. Аккуратов зовет его в кругосветный полет на МИшках (для рекламы этих вертолетов) на 4,5 месяца с залетом в 50 стран. Показал и письмо, чтобы я не сомневался: «Если все утвердится — полечу. До конца, может, и не дотяну, сдохну где-нибудь в тропиках с моим сердцем, но не тут же, не на этом же диване подыхать одному...» Было немножко кокетства, но больше — тоска, обостренная тем, что его в 60 лет не поздравил ни большой Союз, ни Ленинградское отделение, никто из официальных организаций, будто он уже помер.

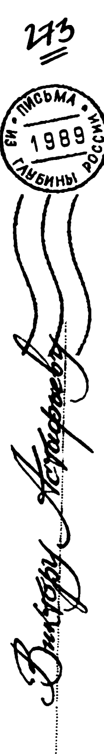
Как Вам съездилось в Игарку? Поди, уж такие дороги и тяжелы, да и воспоминания не все светлые, хотя воспоминания, говорят, не увечат сердца, разве только больнее дают почувствовать возраст.

Я закончил книжечку о Валентине *[Распутине. — Сост.]*, но вот перепечатал и отчетливо вижу, что сейчас как будто не до этого — не до попыток помолчать с человеком о родимых бедах. Что-то нужно другое, задорное, наркотическое. И это скучно и тяжко, будто литературу взяли и отменили, да, кажется, и душу — тоже.

Все думаю, как бы это Вас в Псков заманить, посидеть на наших завалинках. Отсюда Россию-то иначе видать. Может, что и в утешение сердцу будет.

Сейчас шибко мало чего в утешение-то.

Ваш В. Курбатов



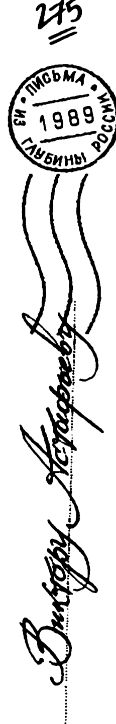
26 ноября 1989 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Попытки мои дозвониться до Вас кончаются ничем — телефон помалкивает, то есть все срывается на первых же цифрах, и впервые становится понятно, что Красноярск очень далеко. И ребята пишут реже. Раньше хоть от них узнавал — что Вы и как. То Олег Корабельников напишет, то Сережа Задереев, и все будто виделись. А теперь они пореже за стол садятся. Доброе демократическое время окончательно разогнало нас всех по своим углам и оборвало остатки письменных перекличек, которые еще теплились по святой Руси и давали надежду, что все у нас устоит и очеловечится. А вот оказалось наоборот — одни рассыпались в бенгальских огнях несчетных митингов, другие — разбежались по норам отсиживаться. Покойного старого быта не осталось вовсе — никто уже не сидит вечерами спиной к теплой печке и не разговаривает с соседом об урожае, никто, связав очки веревочкой, не пишет дальнему другу обстоятельного письма о нравах, наблюдениях, погоде, здоровье. Все стали экономить свое дорогое время для более корыстного использования. Я и сам, грешный, все чаще откладываю письма («чего время-то тратить — лучше статейку сочиню»), но скоро вижу, сколь мстительна такая экономия, как она сиротит душу.

Очень надеялся увидеть Вас в Москве, куда ездил на вечер Печерского монастыря. Пооораторствовал маленько, постращав начальство рассуждением о том, что мы пока говорим о меньшем из зол — сталинизме — и ничего еще не сказали о преступлении государственного атеизма, который унес не миллионы жизней, а всю Россию, и что это преступление неизживаемое, длящееся, возмездие за которое по-настоящему ждет нас еще впереди, а пока мы толь-

ко цветочки видим. И наместник наш, молодец, поддержал, заметив, что расстрелять человека — это убить настоящее, а растлить душу — это потерять будущее. Писателей отчего-то никого не было, хотя вечер шел через дорогу от Дома литераторов — в Доме архитектора. Наутро, правда, увидел Распутина с Крупиным, и они посетовали, что не знали о вечере — нигде не было объявлений.



Посидели мы с ними на заседании славянского общества, на котором обнаружился преисподний срам. Как это у нас так славно выходит, что при самом высоком деле непременно тотчас самая низость гнездо совьет... Не хочешь, а заплачешь и пойдешь гвоздить своего же брата под глумливое хихиканье «апрелевцев».

Вы хоть строку-другую отпишите — когда в Москве-то будете, я бы день-другой выбрал — к печке-то спиной посидеть да о погоде поговорить.

Ах, Россия-матушка бескрайняя... Я очень скучаю по Вам и Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

2 декабря 1989 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Мы — в порядке, но я углубился в роман после поездки в Америку, где все работают хорошо, много смеются, здороваются друг с другом, а не говорят про работу и не перегрызают глотки друг другу. Мне, чтобы меньше хотелось блевать и умирать от вида нашей паршивой помойки, нужно было срочно погружаться в дела свои, а не общественные. На сессию я не ездил, там есть кому и без меня штаны протирать и языком болтать, а принялся за роман, за первую книгу (вторая и третья в набросках есть), и ничего,

рабочее настроение, нажитое за морем, не иссякло до се, перешел сегодня на 200-ю страницу черновика, пока температура в рукописи низковатая, но и материал-то не кипящий, а скорее вопящий, и постепенно я и рукопись, надеюсь, раскалимся.

Да вот съезд надвигается, отрываться от рукописи придется.

Ах, как не хочется! Для меня и раньше было это больное дело, а теперь... Когда сил меньше, годов больше, а на сердце беспросветно, и вовсе отрыв от рукописи и дома болезнен, ну, да куда же денешься-то? Все втянуты в колею, и я тоже, вертимся, или по Клиффорду: «...и вертится планета и летит к своей неотвратимой катастрофе».

Встаю рано, в 5 иногда, работаю часа два, потом Полю в садик веду, делаю два-три кружка по лесу и снова за стол. Надо бы и перед сном гулять, да устаю и смотрю телевизор, обратно, как все совграждане.

Маня моя бьется с детьми и вроде еще не падает, дай Бог, и еще не скоро упадет, иначе хана нам всем. Поля подросла, стала кокетливой и презабавной девчушкой, Витя входит в юношеский возраст, ломается голосом и вредничает, грубит бабушке, иногда и пнул бы его аль по башке дал, да жалко — сирота, еще побьют его люди и жизнь, а если она и дальше таковая будет, как нынче, может, и перебьют они друг дружку.

Я почти нигде не бываю, кроме деревни, ото всех всеми силами отбиваюсь, а людишки аж рукава отрывают, волоча на свои, более важные, чем мои, дела. Спасаюсь музыкой, дома слушаю, сегодня вот на концерт поедем — Слава Овчинников приехал с племянником-альтистом, племянник Баха будет играть, а Слава с оркестром свою 1-ю симфонию и 4-ю Чайковского, которую наш оркестр еще ни разу не играл. Композитор этот очень талантлив, но хвастлив непереносимо, все на свете, кроме него говно, да и только.

Фотки твои из Чусового прелестны, зазывы соблазнительны, может, Бог даст, и съездим когда, а когда? Когда ребята подрастут или вместе с ними. Поля нынче осенью пойдет в первый класс, то есть, кому сказать, осенью 1990 года, но она уже сейчас говорит, что учиться не хочет, а хочет только играть и затем сразу замуж, поскольку считает, что женихов вокруг нее дополна. Программа у нее хорошая, намерения здоровые, ничего не скажешь, вот только жизни бы им еще хоть на поколение Господь отпустил.

В Овсянке все подросло, лесисто и травянисто в огороде стало. Приезжай, работой обеспечу, а вина нет, разве что самогонкой гробовозы порадуют.

Добиваюсь я реабилитации, пусть и посмертной, деда и отца. Есть Господь, есть! Это он не давал мне закончить «Поклон». Ныне мне попало в руки «Дело» деда и отца, и вот тут-то и конец книге будет, тут-то и последняя глава ее. Посмотрел тюремные фото отца и деда — слезы прошибли меня, и все-то я им на веки вечные простил. Может, и Господь-милостивец простит этих непутных, гулевых мужиков, которые и сами горазды были путать свою жизнь, а лучшая в мире власть и самая любимая в мире партия и вовсе их запутали.

Ну вот, хотел маленько написать и разбежался, взял утром-то разгон и не могу от стола подняться, снег сегодня выпал белый, и морозец малый.

С наступающим Новым годом тебя и твое стойкое семейство, еще, надеюсь, пока не перешедшее границу эстонского государства за продуктами питания. Здоровья, работы по сердцу, тихой молитвы и радостей больше, чем горестей. Обнимаю.

Виктор Петрович.

Марья Семеновна, Поля и Витя подсоединяются



Декабрь 1989 г.

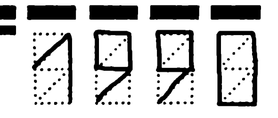
Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за письмо. Видно, теперь веселого везде мало. Я все чаще нахожу укрытие в монастыре, все чаще чувствую потребность бывать там, чтобы не впасть в общее ожесточение. Темы для своих сочинений теперь тоже придумываю промежуточные между церковью и литературой. Спасибо, что словесность наша все чаще поворачивается в ту сторону и делает это все глубже и достойнее. Жаль только, что дороги писателей в монастырь удлинились. И еще я думаю, как же Вы теперь без отца Михаила?

Сейчас все высматриваю Вас в телевизор на съезде, чтобы хоть через это окошко повидаться, но пока не вижу. Все в кадр говорливый народ норовит попасть, все народные спасители, хотя теперь потребно спасение не красноречием, а как раз словами самыми простыми и здоровыми, которыми Русь веками стояла, да хорошо бы, чтобы слова эти и значили то, что для отцов значили, а то вроде словарь-то тот же (благотворительность, милосердие, попечение), а приглядишься — что-то картинное, публичное, показное, честолюбивое. Прежде-то милостыню тайно норовили дать, чтобы правая рука, как говорил Спаситель, не ведала, что делает левая, а нынче — с трезвоном, афишами, интервью и славословием.

Не успели оглянуться, как опять — Новый год! Как они стали быстро меняться, только поворачивайся! Пошли Господь, чтобы новый год был к Вам милосерднее уходящего. Дай Бог Вам и Марье Семеновне и здоровья, послушания внуков и отрадной работы (я понимаю, что она сердцу тяжела, но в ней же и утешение — только бы шла). И со скорым Рождеством Христовым, родные мои!

Ваш В. Курбатов



Дорогой Виктор Петрович

Дорогой Валентин! 21 июня 1990 г.
с. Овсянка

ПИСЬМА ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ 1990

Виктору Астафьеву

27 января 1990 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Выгляну в окно — дождь, дождь над грязным льдом, ни пятнышка снега, и так неделя за неделей: Новый год, Рождество, Крещение — и думаю, как же Вы там, если тут и здоровому человеку легкие не распрямить. Отчего-то кажется, что и у Вас зима не веселее нашей (где оно теперь, веселье-то, на святой Руси?).

А уж в Москву и заглядывать боязно: веселые мужики поют на папертях кинотеатров «Ох ты,

Мишка Горбачев, ты снаружи как Хрущев, а внутри как Берия, нет тебе доверия...» Углан какой-то лет семнадцати таскает вечером под памятником Пушкину плакат «Долой ЦК — банду коррумпированных лжецов!» и ищет мученического венца, но венцы то ли все разошлись, то ли их, как мыла, тоже не хватает, но на него никто не обращает внимания, и он складывает свою тряпочку и бредет к маме продолжать скучную жизнь советского школьника.

Как-то все это невесело, и холодом и пропастью тянет, как из погреба. Не может все это кончиться добром. А душа-то покоя просит, лета уж подошли такие, когда надобен покой, ровная мысль и здоровое, согласное с сердцем дело — поди вот, поживи с такими желаниями посреди нынешних бурь.

Сейчас только друг за дружку держаться. Не заводить себя, а, напротив, в опоре и согласии свету душе прибавлять, вопреки миру восставлять сердце к добру, потому что, кажется, кому-то уж и на руку, что мы вот-вот остатки святых русских начал в народе прикончим, а уж тогда выйдут вперед такие наши «добродетели», что только разбегайся, ребята, по деревне, прячься кто куда, потому что мы быстро остатние заборы поразберем да и перебьем все подряд — окошки так окошки, живность так живность, хоть бы и человеческую...

Скорее бы весна да в деревню — я бы, глядишь, пока ребята еще в школе, уже погрел бы домишко-то, потопил, посидел на завалинке да подумал, как на свете нам жить, горемычным...

Как на грех, и в Москве никак с Вами в один час не оказываюсь.

Низкий поклон Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

8 мая 1990 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за книгу для детдомовских ребят, я на днях был у них, и как всегда после таких поездок неделю в себя не придешь. Грязнейшие все (на улице бегают — не уследишь), облепили со всех сторон — задать вопрос, крикнуть что-нибудь, просто коснуться. У большинства лица уже порченные наследственностью, уже без мысли, и выправлять такие будет уже тяжело. Семьями бегают из родного детдома. По 3, 4, а то и по 5 детей сдают мамаши, и ребята держатся друг за друга. Им хоть малость повеселее и понадежнее — все семья. «А скоро побегут, уже все потянутся, — говорит директор, — гон пойдет весенний, не удержать. Иной и убежит-то вон за парк — некуда ему больше, а все убежит и в яме будет на земле ночевать».

Не первый уж раз я, грешный, со злобой подумал о родном народе — это где еще такое есть? Ведь ни одного еврейского ребенка тут и представить нельзя. «А цыганенка, — говорит та же директриса, — у которого родителей машиной убило, у нас случайно мимо ехавший цыган увидел и даже побелел: это почему, кричит, ребенок у вас? И через день приехал, забрал». Эти тоже своего не оставят. Одни мы про себя величания поем, а детки наши...

Скоро поеду снова — отвезу и Вашу, и Валину книгу «Уроки французского» тоже с моим предисловием. Пока же сижу сочиняю бумагу для наших депутатов обо всем этом. Съездил и к Ивану Афанасьевичу Васильеву. Он, бедный, уцепился двумя руками за партию и надеется ее, несчастную, удержать в целости и все как завороженный твердит, что опоили, обморочили ее дурные силы, а вот повыметешь их и останутся одни святые и апостолы, и ка-а-ак



повернут страну к счастью — только и держись, а кто у них не будет счастлив, тому они все рога обломают. А сам и впрямь святой — громадную картинную галерею для села построил, да жаль, смотреть некому, библиотеку, совхозный музей, экологический центр, даже «дом творчества» — избу для заезжих публицистов. И все сам — рубит, стеклит, строгает. Все это теперь государственное. Праздники проводят, а село как зарастало грязью, так и зарастает, а мужики как пили, так и пьют, а мат как летал, так и летает над селом... Беда, беда...

Сердечный привет Марье Семеновне и Витьке с Полиной.

Ваш В. Курбатов

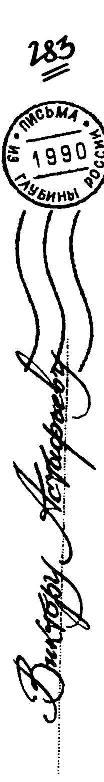
6 июня 1990 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вот (уж Вы знаете) похоронили и Юру Селиверстова. Для меня это был удар из сильнейших за последнее время, потому что хоть мы с Юрой и дружили только три года, но это была дружба, какая в наши лета уже не посылается — чистые близнецы были. Стоило одному первое слово сказать, как второй договаривал, только заведи песню, и уж пошло-поехало, дома, в машине — где хочешь. И эта радость жить, которая во мне тоже была, да вот убывать стала, в нем держалась всегда, и я рядом опять оживал. Мы и звонили друг другу через день, если не ехали навстречу. И назадумывали вперед бездну всего, а теперь только сожмись сердцем и, что можешь, дотяни один. Как он оформление Вашего собрания сочинений отстаивал — порох! И как сильно задумывал (как всегда у него, с глубокой метафизикой, умной далью) — теперь уж, верно, издатель-

ство вернется к старому подписанному обычному варианту.

И Пушкина в восьми томах, уже обдуманного, не успел выпустить, и четырехтомного Гоголя с дивной мыслью в понимании пути (тома должны были зваться «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», и на форзаце соответствующие фрагменты памятника Андреева и повороты лица Гоголя в памятнике от надежды к изнеможению). Да и только ли это — у него на дню было по три замысла. Разве что стала бы отнимать силы «Русская энциклопедия», в которой он возглавил было «Духовно-эстетические программы». В общем, начинаю собирать себя потихоньку, потому что, оказалось, надо предварять Юрины работы, уже сданные в производство: «Легенду о Великом инквизиторе» и «...Из русской думы».



Встретились мы в Москве с Игорем Штокманом. Он уговаривает меня переиздать «Миг и вечность» в каком-то его издательском объединении, прося только вставить последнюю главу и прибавить фотографий. Позволите ли Вы попробовать? Вдруг и правда напечатают — глядишь, я бы еще и продержался. Ваших фотографий последних лет у меня довольно много, а вот если есть переснятые детские, фронтовые, чусовские, то штук пять очень было бы к месту. Обещают хорошую бумагу. Я и сам мало верю в эти обещания, но Игорь настаивает, а мне странно привередничать, когда предлагают благое дело.

Работается плохо. Душа расхищена пустяками, мелочью быта, сбегающейся отовсюду неправдой. Даже и дом как будто отняли, и тут ни покоя, ни устойчивости.

Была бы своя Овсянка, заперся бы и ворот на улицу бы не отворил.

Поклон Марье Семеновне и ребятам.

Ваш Валентин Курбатов



22 июня 1990 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Еще до твоего письма звонили нам, писали и кричали о смерти Юры...

Ну что тут поделаешь? Неужто Бог берет к себе тех, кого любит? А может, мы и помогаем ему? Говорил ли я тебе о том, что на кладбище, где лежит наша дочь, своей смертью упокоились лишь старики, остальные, как могли, сжили себя со свету...

Я в деревне, с Полей. У меня идет ремонт избы. Раззадоренная моей отчаянностью, быстро провела ремонт квартиры и М. С., после чего мается руками, не может спать, и вся посинела.

Я забрал Полю к себе, чтобы ей полегче было.

Сегодня день начала войны. Вчера в честь этого на сессии произнес фашистскую речь командующий Уральско-Волжским округом. Шквал аплодисментов сопровождал эту речь, а аплодировали истинные штурмовики, готовые броситься на народ по первой команде, только чтобы доказать свою необходимость и правоту своего оружия. Ничего не переменилось. Недоумки и фанфароны правят бал.

Марья Семеновна в связи с приближением своего невеселого юбилея настаивает уехать из дома на Урал, поклониться родным могилам и чтобы избавиться от гостей, поздравлений и речей.

Если сохранится рейс Красноярск — Пермь, мы непременно полетим на Урал после того, как проведем день поминовения дочери, т. е. числа 20-22 августа будем в Чусовом. Раз ты просил об этом известить, вот и извещаю, может, и ты соберешься.

Я смотрел семейные альбомы, чтобы подобрать для переиздания твоей книжки фотографии. Все путное уже выбрано, есть интересные фотки, но качество плохое, однако несколько штук я подобрал и

отдал на перефотографирование. Мне что-то так с зимы и нездоровится, болеть по-настоящему не болею, но и бодрости тела не обрету никак, не говоря уж о духе, тут совсем все подавлено. В июле на теплоходе опять поедем вниз по Енисею, так, может, там придем в себя. Обнимаю.

Виктор Петрович



23 июня 1990 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Задереевы дозвонились до меня и передали Ваше приглашение приехать в Пермь. Боюсь, что ничего у меня не выйдет. Мой Чусовой предполагается к концу лета, к началу осени, когда надо будет собирать маму в Псков, а сейчас заявляет свои права семейство, требуя деревни, отдыха, хорошо организованного безделья. Я заранее страдаю, потому что безделье переношу плохо, туристом быть не умею, дачником — и того менее и уже наперед завожусь.

Сейчас-то вот как раз из деревни пишу, из Выры (есть деревня такая). Помните пушкинского станционного смотрителя Самсона Вырина (по этой деревне имя герою дал)? Мы уже несколько лет дружествуем с человеком, воскресившим эту почтовую станцию, у которого я порою летом живу. Мой добрый Самсон для полноты жанра купил молодую кобылку, и я теперь каждое утро подкашиваю ей травы, потом вывожу на лужок, а она — дура молодая! — идти не хочет, рвет повод, выдергивает кол, разгибает заклепки на узде, и я чувствую себя цитатой с Аничкова моста в Ленинграде, где крепкие юноши усмиряют коней. У меня это выходит хуже, чем у клодтовских крепышей: я часто не удерживаю, и моя кобылка летит, задрав хвост, домой, и надо на-

чинать все сначала. Да еще чистить ее и мыть. Да готовиться к сенокосу и уже глядеть на небо крестьянским глазом — просохнет ли, не сгниет?..

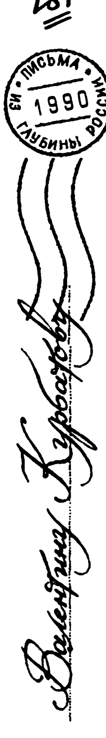
Сразу стало ясно, что со скотиной (а если еще коровенку завести) на писание остается времени поменьше и писание это уже делается другого свойства. И уже совсем не важно, как поделят власть наши марксистские, демагогические и коммунистические коммунисты, а важно, как собрать душу, чтобы животное при тебе не нервничало, и как сделать, чтобы дети умели стреножить коня, и что вообще сделать с Россией, чтобы она не забыла своего крестьянского ремесла.

Перед отъездом сюда позвонил Штокман, напомнил, что издатели подтверждают свое желание напечатать расширенный «Миг и вечность» (вот тут-то я и вернулся бы к «Жизни на миру»), и я опять прошу Вас, если можно, прислать мне копии с трех-четырех Ваших ранних карточек, чтобы напечатать их вместе с теми, которые собрались у меня, и напечатать хорошо (если к тому времени ничего не перевернется — теперь только и знай, что оговаривайся, на волоске висим).

Валентин Григорьевич (Распутин) с Володей Крупиным хотели приехать ко мне днями, чтобы вместе съездить в монастырь, но, похоже, что опять это останется одним благим упованием. Теперь у Валентина жизнь завертится тугая — родной Иркутск он будет видеть по христовым праздникам. Сейчас вот звонит, что совсем собрался, уж билет был в кармане, а тут новое заседание — билет сдавай и сиди Бог ведает сколько *[Валентин Григорьевич в тот год был приглашен в Президентский совет при М. С. Горбачеве. — Сост.]*.

А в газеты и заглядывать боязно — все заваливается совсем уж в воронку — партии через день новые. Радетели наши и спасители — и каждой скоро

райком и горком подай, и штат ее содержи! Вся страна будет в секретарях и инструкторах, а кому осуществлять программы этих молодцов — никого не занимает. Развеселился родимый русский говорун, истосковался по трибуне. Что все бабе да бабе на кухне — теперь гуляй, ребята, — мы вас слушали, теперь вы нас послушайте.



Про Чусовой еще буду думать, но вероятности нет никакой, хотя не было бы ничего дороже, как вместе с Вами пожить денек-другой у Леонарда Дмитриевича Постникова на Архиповке да «навестить поля пустые, леса, недавно столь густые, и берег милый...» Может, еще это все и перевесит деревню, лошадь, сенокос...

А в промежутке еще съезжу в монастырь — отслужу панихиду по Юрию Ивановичу Селиверстову с монахами, которые его знали и любили...

Поклон Марье Семеновне.

Ваш В. Курбатов

29 июня 1990 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Вот подвезли мне в деревню остальные переснятые фотографии — посылаю. Какие не подойдут, оставь себе на память — это копии. Марья Семеновна, привыкшая все решать сама, взяла билеты на 16 июля, а на 30 июля уже есть билеты на теплоход. Я к такому темпу жизни уже не способен, поэтому на Урал не полечу, да и середина лета опасна для меня, может пойматься обострение в легких, а этих обострений уже было столько, что все легкие в рубцах, и с каждым разом я выхожу из кризиса все труднее...

Сижу, читаю верстку сборника рассказов, а не

хочется, но накопилось много ошибок и пропусков, вот и насилую себя.

Лето переваливает к середине, настроение всякое. Обнимаю.

Виктор Петрович

12 сентября 1990 г.
г. Чусовой

Дорогой Виктор Петрович!

Вы уже и по листу, наверное, видите, что я у Леонарда Дмитриевича, на родном «Огоньке» *[школа олимпийского резерва под Чусовым. — Сост.]*. На него все нет угомону, и скоро он загородит каждый угол — теперь вот еще мартеновцам военным памятник поставил, а там уже трясет местных кагэбэшников, чтобы они отдали ему лагерную матчасть — вышку с проволокой, потому что и эту страницу не хочет пропустить, тем более что чусовские лагеря много хорошего народа перемолотили и вот каких крепких людей вырастили — Глеба Якунина, Леонида Бородина, Бориса Черных. Но кагэбэшники матчасть не отдают — видно, надеются, что еще послужит их доброму делу на месте.

Нравы все те же — вчера ночью разговор за стеной моего «зимовья» закипел выше нормы, а утром узнаю, что командированному трактористу после совместной пьянки трактористов и пермских киношников, снимающих здесь первый художественный фильм (в новом качестве — филиала Свердловской студии), проломили череп обухом топора. А кто проломил — ни сам мученик по понятной причине не помнит, ни те, кто это сделал. Хватили ребята спирту (и у нас стали по-красноярски питьевой спирт завозить, и такой, видать, спирт, что народ — кто травится, а кто уже коньки поотбрасывал) — и

вот не помнят. И видно, что не врут, а правда не помнят — больно все были хороши, и очень уж все крупно говорили: так что скучать Леонарду Дмитриевичу не дают.

Я пытался работать и вот еще одну штуку высмотрел, чем провинция губительна — интонация-то вот этой жизни, удаль этого быта, злая его чернота как-то отменяют наши словесные заботы. Странно и ненужно кажется думать о чем-то более тонком, чем эта остервенелая жизнь, а она не литературы требует, а такой же защитной простоты. Так что или будешь сопротивляться и все время чувствовать дребезг непопадания, или сдашься и завьешь горе веревочкой. Вдруг я подумал, что Леонард Дмитриевич делает то, что делает, из сопротивления, чтобы не сдаться, как заговаривает себя.



Нежно вспоминает он Ваш приезд, Марью Семеновну, Витьку и особенно Полю, говоря, что теперь за наследницу характера Виктора Петровича он совершенно спокоен.

Повидал в Перми Евгения Николаевича Широкова. Мне очень хотелось, чтобы Вы поговорили с ним, но телефон не слушался. Все ждет, что герои сами к нему в мастерскую будут приходить и приезжать, а он — только великодушно писать их. Загорелся он написать портрет Леонарда Дмитриевича, но хочет, чтобы тот бросил все и сидел перед ним, между тем как его по-человечески-то можно только дома на Арининой горе писать. Э-э, ну да что...

Все это письмо только говорит, что я скучаю по Вам и хотел бы разорваться и быть везде сразу — и тут, и в Овсянке, и дома...

Кланяюсь и обнимаю Вас и Марью Семеновну.

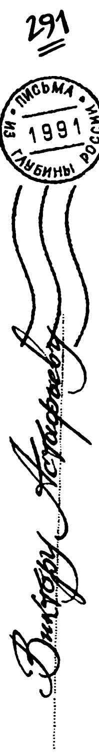
Ваш Вал. Курбатов

11 марта 1991 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Поневоле вспомнишь старые времена. Дни были длиннее, не так безумны, солнце вставало веселее, и Вы еще писали письма. Теперь уж и почерк забываю и корыстно тороплю Вас в Овсянку в надежде, что там времени будет немного побольше и я еще дождусь весточки от Вас. Телефон-то, он и хорош, да по нему не всегда и дозвонишься — я уж вон давно бьюсь, а все без толку. Да и слова по телефону вода водой — утекают сквозь пальцы, не посидишь с ними, не подумаешь. А хочется именно посидеть

рядом (хоть с письмом), покивать головой: да, да, беда-а, нет сердцу успокоения и нет душе просвету. Вот ведь чудеса-то: можно заранее хоть до слова знать, что близкий тебе человек напишет, а все-таки письмо будет теплее твоего знания и утешительнее. Видно, сами буквы, движение рук хранят что-то такое, что иногда и дороже самого значения слова. Даже, наверное, и не так, а слово по-настоящему только и полно, когда в глаза сказано (а не по телефону) и когда написано.



Я, пока мама полгода гостила, был поспокойнее, посветлее душой, а вот уехала вчера, и опять душа заметалась, опять все из рук валится и глаза... в Чусовом. Не сидится ей тут — комнату жалко, а на деле-то вижу, что не в одной комнате дело, а уж Чусовой снится, подружки у дома, могила отцова на Красном поселке.

Работается плохо. Никак книжку про Ю. И. Селиверстова не закончу. Жизнь ушла из нее, пошло «исследование», а я этих «исследований» не люблю. И страшное дело — привез я сюда его выставку, смотрю, а это будто и не она. Все работы — те, которые мы вместе собирали и выставили в Костроме и которым так радовались, а что-то и отлетело. Душу с собой унес, и мне уже надо усилием вызывать эту жизнь, подергивать себя. И какой-то укор звенит, и я уж тайно жду ее окончания и окончания работы над книжкой, чтоб отдохнуть, отодвинуть...

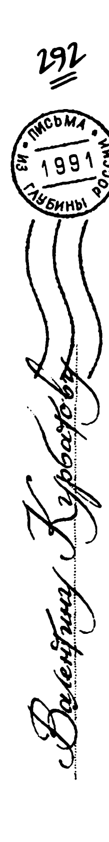
Одна отрада — заботы о своем храме (вот он на этом скверном кооперативном календарике). По-прежнему хожу с шапкой, продаю свои картины, книги — на это заказали двери, рамы в окна, лопат купили, инструменту разного, церковную библиотеку начали собирать, хотя в храме еще грязь, леса, штукатурки нет, полов. Кости кучами, где внучка Невского где-то в безымянных костях расстрелянных тут энкавэдэшниками монашек, а потом

расстрелянных немцами русских пленных.

Тем живу, двигаюсь и бесконечно скучаю по Вам, по откосу над Енисеем, по Овсянке.

Сердечный привет Марье Семеновне и ребятам.

Ваш Вал. Курбатов



13 марта 1991 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Вчера ко мне пришел первый том собрания сочинений! Дожил, сподобился! Слава Господу, что Он так щедр и милостив ко мне. Ну, а молодогвардейцам, прежде всего Асе Гремицкой, наивечнейшее мое спасибо за уважение и внимание ко мне, к моей скромной работе. Прежде всего, конечно, Ася молодец, изо всех своих сил старается и радеет за меня.

Ну и тебе спасибо. Сегодня ночью, в тиши и одиночестве, перечитал твою вступительную статью. Ты, по-моему, превзошел не только самого себя, но и уровень нашей критики. И дело тут не во мне, я лишь повод для того, чтобы дать тебе возможность порассуждать и помыслить.

Вспомню я родимый и мне город Чусовой, его нравы, дымы, сажу и рабочее житьишко при советской власти, погляжу на Марью свою, подумаю о тебе — индо и руками разведу — откуда чё берется?!

И мысль моя с веком наравне о том, что писатель заводится в саже, не только утверждается временем и прогрессом, но и углубляется в том смысле, что ценная мысль тоже выкристаллизовывается, как жемчужное зерно, в навозе и отходах металлургической и углесаженской промышленности. Своим фактом существования, пусть и в социологических пределах, чусовляне подтверждают это — вон Щуплецов-то, или, как его напарница именует — Щуп,

вверх тормашками прокатился и чемпионом мира стал! Разве в Лысьве или даже в самой Перми этакое возможно? Не хватает у них почвы, то есть дыма и сажи для выращивания этаких талантов и подвижников, вроде твоего брата — Леонарда Постникова.

Вот, брат, какой заряд бодрости я получил! Но главное, надоумлен был находчивыми людьми сменить номер телефона. Два дня бывшие клиенты посибирски выразительно материли мою и без того мной изматеренную госпожу и хозяйку, а потом все умолкло и я бросился к столу, взял на абордаж рукопись и в общем-то довел ее до читабельного состояния — сейчас она на машинке, после — сверка, уточнения, правка еще одна, перевод некоторых фраз и слов с русского на казахский и наоборот, и можно рукопись первой книги отдавать в журнал, да чего-то не хочется. Закончить бы вторую книгу и сразу их вместе тиснуть, а тогда бесись вся военная и коммисарствующая камарилья. Третью-то книгу я на волне первых двух вынесу.

Написал я, кажется, главный кусок о погибшем хлебном поле. Это вот и есть смысл всей человеческой трагедии, это и есть главное преступление человека против себя, то есть уничтожение хлебного поля, сотворение которого началось миллионы лет назад с единого зернышка и двигало разум человека, формировало его душу и нравственность, и большевики, начавшие свой путь с отнимания и уничтожения хлебного поля и его творца, — есть главные преступники человеческой, а не только нашей, российской, истории. Разрушив основу основ, они и себя тут же приговорили к гибели, и только стоит удивляться, что и они, и мы еще живы, но это уже за счет сверхвыносливости и сверхтерпения русского народа, а оно не вечно, даже оно, наше национальное достоинство или родовой наш недостаток. Бог его знает, что сейчас думать, куда и как думать, о чем и зачем?

Конечно, пропустив плодотворное время — осень и начало зимы, — сейчас я быстро выдохся, устал, очень раззвенелась контуженая голова, встаю утром трудно, а уснуть не могу долго, и если не посплю днем, совсем дело мое плохо, да еще и простудиться умудрился на исходе зимы, да и до тепла, видно, хрендить буду. А пока у нас солнечно и морозно. Ночью до 18-20, днем отпускает, сегодня вон даже таять пробует. Говорят, в конце марта начнется бурная весна. Дай-то Бог!

Я тебе книжку не посылаю, боюсь — стали все воровать, и на почтах тоже. Очень тебя ждем по теплу оба с Марьей Семеновной. Право слово, назрела надобность встретиться и погутарить, и на весну не чухонскую — нашу тебе посмотреть. Командировку уж как-нибудь и где-нибудь оплатим, и дорогу тоже. Давай приезжай! В письме всего не скажешь, как бы длинно оно ни было. Обнимаем, целуем тебя по-чусовлянски — крепко и преданно.

Я и Марья Семеновна

26 марта 1991 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за доброе слово о чусовской саже — я и сам, как услышу, что опять Серега Щуплецов всех в художественных прыжках бортанул, то всех оглядываю вокруг с чувством наглой самоуверенности — вот мы как умеем, а вы, едрена Матрена? Сажа-то сажей, но, видать, и климат здоровый — при больном так не распрыгаешься. Мама вот у меня полгода пожила — нет, говорит, не могу больше, давай в Чусовой, к родным тараканам, к Нюркам и Клавкам. Уехала, звонит от соседей — довольна: снегу по колено, мороз, метель покручивает, а у нас уже тут

вторую неделю дожди и грязь без вылазу и ни снежинки — одно слово «гнилой угол».

Весну красноярскую я уже не застану, а вот начало лета хорошо бы. Я уж подумал: самое бы хорошее — на съезде посидеть, да в Овсянку. Раньше-то детские заботы не пустят — экзамены сыновы.

Попы чуть в Германию не увезли. К нам ихние богословы приехали. Потом попросили ответных. А ответный у них я оказался. Давай, говорят. А я только вздохнул. Ни разу не был, и, видно, уж не те лета, чтобы начинать — нет, говорю, я уж лучше тут, а «впечатлений» захочу, так в Красноярск дуну, тем более, тут и там с богословами не шибко — как в Германии.

Поеду сдавать книжку о Юре Селиверстове, спрошу у Агнессы Федоровны *[Гремицкой. — Сост.]* — не «отслюнит» ли книжку-то. Ну, а нет, так в руках погляжу, да и наберусь терпения до красноярской встречи.

Денег они мне не заплатили. Ну да теперь никто не платит. «Енисей» вот за шестой номер прошлого года — молчок. Журнал «Москва» за первый — ни копейки, «Лит. учеба» — ни копейки. Видать, решили, что печатают, и то спасибо. А мне стыдно признаться, что вот уже три месяца живу в долг. И спросить не с кого — бухгалтерия-то отдельно от редакции. Охо-хо, грехи наши.

Ну да живали ведь и похуже...

Обнимаю Вас.

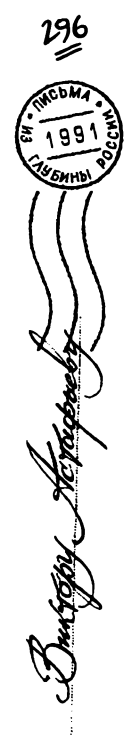
Ваш В. Курбатов

31 июля 1991 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вспомните покойный день в Никольском у Володи Кузнецова. В деревню я тоже карточки послал.

Когда я вернулся туда после прощания с Вами,



первое, что рассказала Володина сестра Татьяна, написано на обороте одной из фотографий. Вообще мужики очень убивались, что не знали. Особливо один шукшинский персонаж, который «давно интересуется вопросами литературы и искусства и хотел бы объясниться лично». Володя от него насилу огородился. А поездка наша по Чуйскому тракту до монгольской границы была чудо как хороша и нужна душе. Наглядеться не мог на землю, все слова порастерял — для этих пространств нужно поискать другие глаголы.

Пытался дозвониться и Вам из Барнаула — без успеха. Из Москвы только с Витькой словцом перекинулся. Москва на все лады судит Ваше заявление по телевидению — чистый муравейник или улей. Самого обращения я так и не видал, а Ваш текст в «Комсомолке» посмотрел. Все верно, кроме укора Распутину (то есть и суть укора верна, но не в этом конкретном контексте — тут это будет использовано всякой нечистью во зло). Если бы я осмеливался на замечания по поводу интервью, то сказал бы одно — они ловят нас на порыве, на первой реакции, а сами действуют по реакциям восемьдесят восьмым, перемерив все на аптечных весах. Мне кажется, что такие интервью надо всегда переносить на следующий день, когда ум выверит движение сердца и, оставив существо, найдет менее уязвимые формулировки.

Прямота хороша, когда мир живет ею, а когда он пользуется ею для своих кривых целей, то стрелы надо оперять с предельной выверенностью.

По приезде тотчас позвонил в Михайловское. Гейченко по-прежнему борется со смертью, и все вокруг уже теряют рассудок от двухмесячного непрерывного крика и перепутанных дня и ночи. Приехал, говорят, навестить друг Дудин, подошел, сказал «Будь» и сбежал тайно в соседнее село, что-

бы не видеть. Глядеть на умирающего — занятие невеселое, особливо посреди красоты лета.

О Господи, Господи, как плохо мы выдерживаем самые-то тяжелые испытания.

Поклонитесь Марье Семеновне.

Ваш Вал. Курбатов

26 августа 1991 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Ну вот и выпал нашей матушке России еще один срам! Я был в деревне Выра и услышал о перевороте в Храме на преображенской службе, сразу страшно заболело сердце — от тоски и стыда. Утром между 4 и 5 часами пошли мимо (дом стоит на шоссе) танки, бронетранспортеры, оружие, бензозаправщики, полевые кухни — все в сторону Ленинграда. Я поехал туда, уже ставили на переходе к Ленсовету баррикады, больше, правда, похожие на строительный мусор — никакого захудалого бронетранспортера они остановить не могли, но как знак сопротивления действовали. Народ кричал, заводился. Скоро из-за отсутствия врага (танки остановились в Гатчине) все стало скучно и просто крикливо. Я вернулся домой и уже там радовался, что все развязывается к лучшему, но после победы опять впал в тоску. Особенно скверно пережил митинг победителей и все последовавшее — эти торжества для народа, эту накачку страстей, это злое упоение. Что ты будешь делать — никак мы с достоинством не умеем подержаться.

Ну да Бог с ним. Главное — Бог опять явил по отношению к России чудо. Опять можно начинать все, как после войны — любовью и верой, христианским единством и трудом. Но что-то очень похоже, что мы опять пропустим этот дорогой момент,



потопим все в словах и передавим, как котят, много лишнего и, как всегда, ни в чем не повинного народа, накреним наше прохудившееся судно в другую сторону и наживем новое начальство хуже прежнего, потому что победитель — всегда нетерпелив и самоуверен, ему не до человека. Отпишите словцо-другое: здоровы ли, работается ли Вам (в таком состоянии работается плохо).

И еще я хотел попросить: не напишете ли Вы полстранички для создаваемого у нас в Новгороде Б. Романовым и М. Петровым журнала «Русская провинция» о значении провинции для России, о том, что вообще такое провинция в русской судьбе (не гибельная ее сторона, а та, что к пользе и спасению).

Нет так нет, а если напишется, были бы очень рады. Там Шафаревич обещал написать, С. Ямщиков, В. Распутин. Журнал желает вести себя высоко и держаться без суеты.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш В. Курбатов

31 октября 1991 г.
Псков

Дорогие Мария Семеновна, Виктор Петрович!

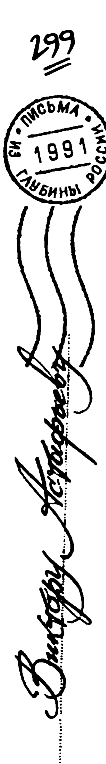
Эка, «Тихая-то птица» как хороша! *[Сборник повестей и рассказов. М.: Сов. писатель, 1991. — Сост.]* То-то она с прилавков-то вмиг улетела, может, и не прилетала даже: ни в магазинах я ее не видал, ни в богатых домах, у кого «рука» в магазинах есть. В очередной раз убедишься, что не зря на святой Руси (да и в иной земле) встречают все-таки «по одежке» — много она значит не для человека только, а вот и для книги — и знакомые вещи, а будто иной стороной поворачиваются.

Спасибо за газеты, Марья Семеновна, — все лишний раз в Овсянке побывал да ворчание Виктора Петровича послушал. Хорошие вышли беседы.

Съездил я в Москву, хотел «Россию спасти». Пошел к Распутину — он готов. Спросил у Крупина, он помялся, помялся — нет, говорит, давайте без меня. Заглянул к Белову — он туча тучей глядит на особенно отвратительную в его работе Москву и смеется зло — нет, коли воевать, то вон и сапоги готовы, и обрезишко какой-никакой в деревне найду, а словами — нет. Наведался к Никите Ильичу Толстому в Академию... Он в качестве «отступного» спел марши всех белогвардейских полков, но Россию спасать отказался. Так вот я и уехал с больным сердцем и с еще меньшими силами, чем приехал. А всего-то и хотел, чтобы писатели обратились к нашему патриарху и митрополиту Виталию (зарубежная церковь), чтобы те поняли страшную меру ответственности церкви, которая одна теперь еще может удержать Россию на краю пропасти, и перестали бы лаяться прилюдно и приходы друг у друга перетаскивать перед общей бедой.

Ну и ничего — буду собирать своих попов да мирян и их мнение отражать нашим иерархам. Глядишь, еще кто со своей стороны капнет, и церковь-матушка поймет, что дела у нее теперь прибавилось и надо заботиться не только, чем крышу покрыть да где цемент взять, а вот и о прихожанине, оставленном нашей властью подыхать в одиночестве, маленько подумать, да, кстати, и о самой безбожной, потерявшей голову в пустой беготне власти.

Белов церковь-то у себя восстанавливает, а молиться, кажется, в ней будет некому, да и общину, хоть малую, не из кого составить, чтобы приход в епархии числился. Вот и Ивана Афанасьевича Васильева уговорил я в родном селе кроме картинной галереи да военной библиотеки церковь построить.



Он сначала только ошалело глядел на меня и страшно матерился: «Меня, старого политрука, ленинца и ленинского лауреата — церковь, да как у тебя язык повернулся!..» Но вот год прошел, другой, приехал я — пошли, говорит, место смотреть, да скажи, как это у вас, мракобесов, делается. И вот тоже стали перебирать, из кого бы приход составить, а народу-то и нет. Село большое, а в нем уж и бабки все без Бога выросли (село послевоенного рождения). Ну, решили, пока суд да дело, пока проект да срубы, да хорошо пущенный по селу слух, да подогревка местного начальства, — глядишь, народ и подберется.

А вот Леонард Дмитриевич уже снаружи все сделал — церковь как игрушка вышла. Теперь алтарь просит, а у нас уж и в монастыре иконописцы набаловались и даром ничего делать не хотят. Хоть сам пиши. Был бы у нас Евгений Николаевич Широков духом посветлее — ему бы и самое время для исцеления души алтарь написать (всего-то два больших да пару малых образов), но куда-а-а...

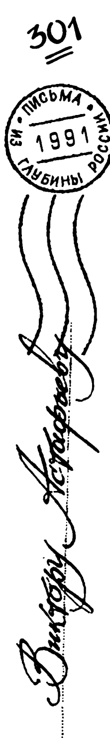
Я очень скучаю по вам, мои родные. Были бы поближе, так душа-то бы, глядишь, посветлее была. А то... Ну, да чего теперь... Храни вас Господь! Здоровья вам и терпения.

Ваш Валентин Курбатов

16 декабря 1991 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

После того, как я позвонил Вам из «Нашего современника», зашел В. И. Белов, принес рассказ. А вечером мы говорили с Распутиным — как было бы хорошо, когда бы вы все опять сошлись под крышей «Нашего современника», позабыв случайные рас-



при, и какой это было бы укрепой для читателя — увидеть, что вы спокойны и едины, тверды и надежны. И в самом журнале вся шелуха немедленно облетела бы, случайные авторы сгинули как от крестного знамения, и, страшно сказать, но и общее безумие, захватившее мир, почувствовало бы над собой строгий надзор и не распускалось бы так безоглядно. А сейчас Вы рассеяны по другим изданиям и тем словно уничтожены опытной и уверенной рукой. Гениев-то в стране может быть и через край, но если один будет печататься в одном издании, другой — в другом, десятый — в десятом, то их словно и не будет вовсе — тут законы простые и здоровые.

Это я все клоню к тому, что если бы у Вас нашлось что для «Нашего современника» и Вы послали бы им, то это и духовно дисциплинировало бы журнал, и, уверен, мощно подкрепило наше распавшееся народное сознание. Чем далее, тем более я понимаю значение контекста: можно написать великую русскую книгу и сунуть ее в раму еврейской или иной интернациональной пошлости и тем прикончить книгу, не переменив в ней ни запятой. Этим сейчас наши умные устроители русской культуры и заняты. И много преуспели.

Впрочем, что это я? Я ведь хочу напомнить, что Новый год пришел, а там и светлое Рождество Христово поспеет. Здоровья вам и счастья, родные мои Марья Семеновна и Виктор Петрович. Терпения Вам и любви, взаимной опоры и душевного согласия. Сердечно обнимаю Вас.

Ваш В. Курбатов

1 января 1992 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

На Новый год поехали в деревню к знакомому пасечнику, вытопили баню, попили, попели, находились по лесу, а в 12 ночи даже пчел с десяток выпустили, чтобы оживить наших сморившихся жен и детей. Разом все вымахнули на улицу, а то под звезды не вытолкнешь. А уж с утра домой с первым автобусом, и словно и не было ничего — как приснилось.

Получил чудесное и печальное письмо от Тани Андросовой (сестры Володи Кузнецова) и страшно затосковал по Никольскому, по счастливым нашим



вечерам на крылечке, по песням. Что за славные были дни! А уж теперь долго не соберешься. Цены-то на самолет и так были аховые, а нынче на них и глаза поднять боязно. Я даже и спрашивать не стану. Как вот узнал вчера, что у нас гроб семь тысяч стал стоить *[в ценах 1992 г. — Сост.]*, так уж больше ни о чем и не спрашиваю. Все могу понять, но твердо знаю одно. Что правительство, при котором гроб стоит в два раза больше старушечьей пенсии (да и в два ли?), не имеет права на существование. Сами-то они, видать, бессмертны или у них гробовщики совестливее наших. Ладно, ну ее, эту невеселую материю!

Вы-то, поди, Новый год дома сидели, хотя Польку с Витькой, наверно, было не удержать — куда-нибудь наладились? А отпускать боязно — страшновато становится жить. Все ближе мы к «цивилизованному человечеству», и оттого все тревожнее и все опаснее. Розов недавно на папановском вечере верно сказал: «Это мы жили в цивилизованном обществе, а вот боюсь, что коли подольше проживу, так уж и неизвестно, в каком окажусь»... Свобода-то, она и всегда дама сомнительная, а уж в России она сразу такой стороной поворачивается, что Ваша Урна из «Печального детектива» невестой глядит.

Слава Богу, Вы хоть через силу работаете — непременно рука разойдется, а я толкал, толкал, да и отступился — все немило. Особенно меня доконали лауреаты Букеровской премии. Сел, почитал, разозлился. Почему это называется русским романом — убей не пойму! Особенно победитель. Европейцы наградили европейца за европейское формальное сочинение. Мы-то тут при чем? Он не написан по-русски, а на русский переведен. Интересно, хватит ли кому сил дочитать этот победный роман М. Харитонова по своей воле, без всякого вознаграждения. Сомневаюсь.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Храни Вас Бог и в светлое Рождество, и в Крещение, и во все дни. Покоя душе и здоровья!

Ваш В. Курбатов

3 января 1992 г.
Псков

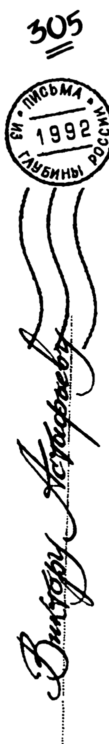
Дорогие Марья Семеновна, Виктор Петрович!

Ни старый, ни новый телефон не отзываются — то ли землетрясение виной, то ли замечательное качество советской телефонной связи. Не знаю, как мы теперь будем: раньше можно было обложить наш сервис словом «советский» и этим все объяснить и уберечь матушку Россию в чистоте, а теперь вот «русским»-то обругаешь, так в жидомасоны попадешь, между тем качество-то (чувствует мое сердце) лучше не станет. И вообще России чтобы Россией стать — не той, которой она была, а той, которую себе наметила, очень придется напыхтеться... Пока во всяком случае я что-то не вижу, чтобы она очень торопилась к тому идеалу, который живописует в ежедневных изданиях.

Я несколько раз принимался «спасать Россию» и наконец отступил. Теперь уже ясно, что словами ее не спасешь, что «врачи» (равно демократические и патриотические) сделали все и теперь дело за самой природой, как во всяком живом организме на критическом пороге: либо одыбает, либо загнется. На пороге Рождества мне почему-то верится, что все понемногу наладится. И не в последнюю очередь поправке послужит церковь. Она тоже нарадовалась первым свободам, навыступалась в декоративных позах и теперь тоже понимает, что придется работать, придется заниматься испорченным русским человеком с терпением врача и настоящего пастыря —

тем более что сейчас-то мы уж подлинно стадо, овцы словесные, да только пока не Христовы.

Поглядел на новые цены и понял, что я с моими тремястами (в лучшие месяцы) рублями уже никогда не доеду до Вас. Разве что клад найду или в кооператив фальшивомонетчиков запишусь. Это единственная причина, позволяющая мне еще сетовать на правительство: сами-то, паразиты, поди, зарабатывают на билеты к своим друзьям (если у членов правительства могут быть друзья). А сейчас бы вот самое время на самолет и посидеть потихоньку на кухне, даже на берег не выходя — дома, в тепле, за долгим разговором. И по снегу уже соскучился. Забыл, как выглядит. Одна стылая грязь без конца. Это мало соответствует просветлению души. Да и Рождество без снега мало походит на Рождество.



Вы хоть в Москву-то наезжаете, Виктор Петрович? Я хоть туда прибегу — на завалинке посидеть да о житье-бытье посудачить.

А Валентине Михайловне *[Ярошевской. — Сост.]* скажите, что у нее в Чусовом грозный соперник — Леонард Дмитриевич, и тот свой музей скорее сострoит и все документы и раритетные изделия первый выпросит. Поклон ей.

Сердечно обнимаю Вас и очень скучаю.

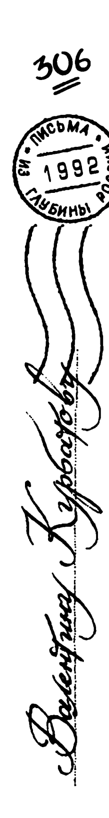
С Крещенскими Вас морозами и с Праздником Богоявления.

Ваш Валентин Курбатов

3 января 1992 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

И тебя с Рождеством Христовым! Пусть будет просветление на душе твоей и всего нашего погибающего народа. А еще с настоящим, не большевист-



ским Новым годом! Хлеба и мира да встречи нам на уральской земле весною, ну и всего того, что должны желать друг другу люди, еще не совсем обезумевшие во зле и духовной бездне.

А я все же не думал, что ты такой наивный человек! И забыл строчку не мою, но в «Царь-рыбе» присутствующую: «...и в обратный отправившись путь, все равно не вернешься обратно».

Как это мы можем вернуться в «Наш современник»? В каком виде? Зачем? Когда-то Викулов, хитромудрый мужик, объединял нас в журнале, начинавшем жизнь для начала очень важной работы, для объединения существующих и нарождающихся литературных сил в России, и мы, частично побросав свои дела, а затем захваченные успехом этих дел, работали, не жалея сил, на журнал, после и на себя, на свое общественное сознание, которое в работе этой созревало, а заканчивалось в дебатах, часто горячих, но искренних. Народ, как на подбор, был даровитый, языкастый, внутренне заряженный на полезные дела, еще не уставший от бесполезности и, как оказалось, бессмысленности этих дел. Сам же Викулов, еще при нас, и начал губить журнал, подначиваемый сверху, из ЦК, который всегда был «за народ». И из Союза писателей РСФСР, который тоже был за народ, но только уж за русский, за тот, что нарисован на картинках Нестерова, изображен на иконах российских богомазов, да трясет шароварами и подолами в разных ансамблях и хорах.

На самом же деле его давно нет, и большевистский обман постепенно приобрел окраску голубого цвета, а дурман пролетарской демагогии и атеистической пропаганды таким ладаном густым закадил, что уж самих кадильщиков в здании на Старой площади сделалось не видно. Зато понукаемые ими «защитники народа», всех ты их хорошо знаешь, за-

припрыгивали, закривлялись, завизжали на площадях, в редакциях, в курных и злачных помещениях, и всюду задребезжало: «Народ! Народ! Народ!» А это самый подлый обман и есть, самый страшный грех против Бога и своего народа, ибо его уже нет, а есть сообщество полудиких людей, щипачей, лжецов, богоотступников, предавших не только Господа, но и брата своего, родителей своих, детей предавших, землю и волю свою за дешевые посулы продавших.

Среди этого сброда отдельные личности, редкие святые, себя забывшие труженики вроде отца Сергия из Чусовского прихода, фильм о котором мы смотрели (и плакали) вместе с Марьей. Я не успел списать с экрана его данные и прошу тебя спросить его адрес у Леонарда, да и сообщить мне, а я ему помогу как смогу.

А народ нам не спасти уже, хоть бы мы все вернулись, куда велено. Кроме того, с Васей Беловым я тем более не хочу никуда идти и объединяться. Бывший секретарь райкома комсомола, вечный член бюро обкома, истовый ревнитель идей партии, ныне тюкающий топориком церковь, в которой некому молиться, как-то мало у меня вызывает энтузиазма на объединение духа и согласия идти единым путем в светлое будущее. Да и к Валентину Григорьевичу *[Распутину. — Сост.]* я уже отношусь настороженно, какое-то здоровое сомненье он во мне породил и в меня вселил.

Мы все изменились, Валентин, и время изменилось, и даже меня, шибко компанейского человека, все чаще и настойчивей тянет побыть с самими собой наедине, благо рядом еще есть, пусть и усталый, задерганный, больной, но бесконечно мне преданный и достойный человек, друг и помощник, с которым быть я не устал, и друг другу мы все еще не надоели.

Когда уйдет из «Нового мира» Залыгин, уйду и я, уйду отовсюду, где маячит моя фамилия, как ушел из всех союзов писателей, ибо ни для каких союзов не гожусь, тем более для союзов, все более принимающих форму банд или шайки шпаны, исходящих словесным поносом и брызжущих патриотической слюной. Знаю я этот патриотизм, сам его сочинял и тискал на страницах незабываемой газеты «Чусовской рабочий».

Продолжаю работу над романом, точнее, вхожу только в нее и попутно пишу «Затеси». Пиши почаще, а то ты сделался истинным столичным деятелем, отделывающимся телефоном, а телефон, он что — поговорит да и замолкнет.

Обнимаю.

Виктор Петрович

16 января 1992 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Как же жить-то будем? Союз наш писательский рассеялся в дым. И не без вины Бондарева и Романова. Один прохудожествовал, другой пропил, а ловкие-то ребята все и прибрали к рукам. И вот, похоже, остались мы без пенсии. Очень я на нее, матушку, надеялся. Ан нет — теперь крутись как знаешь.

Сочинили мы тут товарищество «Русская провинция», журнал стали выпускать, пчеловодческую школу думаем содержать, меды варить, горшки делать и даже кровельные работы для дачников. Нужда заставит. Книжки-то чё писать, когда их не печатают. У меня вон книга о Валентине Распутине была уже в рабочей верстке, а издательство закрылось и ждет, когда его кто к рукам приберет, и там уж не

до Распутина. А журналы навострились печатать, а денег не платить — решили, видать, что и славы довольно, а то еще печатай их да им же и деньги плати. Вот и крутимся. В связи с этим (как пишется в сурьезных документах) я опять прошу Вас написать две странички, а то и одну, про российскую провинцию, про то, что там путного осталось и на что можно надеяться. Я по-прежнему уверен, что коли что здоровое где и есть, то там же, в провинции. Прямо от руки и напишите, я тут перепечатаю. В первом номере хороший Балашов пошел, из его «Государей Московских», да и иное многое. Печатаем хорошую статью «Русский улей» (нашелся мужик, который тут у нас умудрился и в этой насквозь вроде известной области много нового наоткрывать), а потом хорошего ветеринара, который с юмором и знанием пишет, и как козу подоить, и как козла зарезать, и теленка принять. Все ведь сначала надо начинать! Отучились уж мы руками-то жить — все на все на готовое ладимся...

...А вот тут и Ваше письмо пришло, где Вы костерите народ и любимый «Наш современник». Наверное, Вы правы, и я наивно помечтал, что все можно начать сначала — собраться в один журнал и опять поверить в возможность слова, в спасительность союза близких сердцу людей. Нет теперь таких союзов. Ни с кем уже без оглядки не поговоришь. Скажешь словцо, да и поправочку про себя — тут запятую пропустишь, там междометьице вставишь. Все как в партизанской разведке — в родном вроде селе, а шут его знает — на чьей стороне твой собеседник. В таких условиях особенно не распишешься. И я, грешный, думаю, что и Вы свой роман сейчас с места не сдвинете. Правда в мире расшаталась, система ценностей изломалась. Добро со злом стали меняться местами. А при такой расплывчатости только бумагу исковыряешь, а сердце не







утолишь. Сейчас только на «Затеси» может дыхания и хватить, а на долгую книгу нет, тем более такую болезненную.

Я не знаю, кто тут виноват. Все понемногу, но нам теперь долго душу надо будет лечить и все на место возвращать — чтобы небо было над головой, земля — под ногами. Даже и в церкви все мается и мечется. И там расторопных молодцев больше, чем отцов Сергиев (я попрошу Леонарда Дмитриевича самого написать все о нем, а то пока он мне, я — Вам, а там, может, помощь-то прямо сегодня требуется).

Мы свой храм тоже понемногу двигаем, хотя община оказалась больше бумажной. Пока вот сами со старостой полы кладем, бетонируем да свет ведем. И вот уже надеемся, что к Пасхе в притворе начнем служить. Рабочих нынче не наймешь. Баушки нам посылают кто пятерку, кто десятку, а мужики согласны помочь за полсотки в день. Да пошли они — и сами еще не без рук. Зато на эти пятаки и тесу подкупили, и извести. За день так накрутишься — не до бумаги.

А Союз-то пусть валится. Проку-то от него. Вот только пенсию и жалко.

А про провинцию напишите, Виктор Петрович. Можно и всю неприязнь выговорить, только уж чтобы руки не опустились: все равно Россия-матушка отсюда поправляться начнет. Какая-то другая, не глупо-монархическая и не патриотически-мечтательная (не было той России, о которой они пишут). Совсем иная и, Бог даст, не последняя в ряду, но пойдет из провинции. Жду ответа, как соловей... Сердечный привет Марье Семеновне. Здоровья Вам и хорошей работы.

Ваш Вал. Курбатов

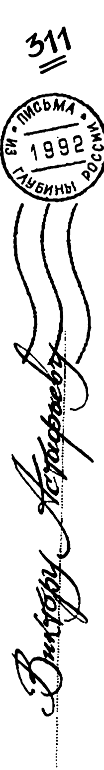
17 февраля 1992 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Еще и дочитать Вашего письма не успел, а уж начал собираться в Красноярск. Планов понастроил. Бегом в Овсянку, по сугробам походить. Не усидел — в Дивногорск. Опять домой, на кухню — за вечернюю беседу. А сижу вот дома, в Пскове. Ничего не вышло. Как раз подоспела наша «Русская провинция» — беготня последних дней. А там возложенные на меня заботы о ее представлении. А более всего — срочное приведение в порядок притвора нашего храма, чтобы Великим Постом начать служить. Обрели мы, наконец, финансовое гражданство, так что если Вам попадется толстосум, чувствующий угрызения совести за неправедно нажитые деньги и думающий о спасении души, как все советские предприниматели, то шепните ему прилагаемый счет и разбудите гордость, что его будут поминать во здравие в храме, в котором стоял последнюю обедню перед битвой св. Александр Невский. Работы наши в церкви с Нового года скоро замерли — при двух-трех тысячах капиталу, которые оставались на начало года, шибко не разработаешься. Приехали, правда, американские востроглазые «милосердники», поглядели, громко поговорили, белозубо посмеялись, похлопали по плечам: «Горбатшов! Перестройка! Рашен водка! Привет-привет!» и уехали. Через третьих людей сулят, что вот ужо в другой раз приедут с деньгами, но пока что мы приходим со старостой, вздыхаем и из подручного сора сами, что можем, начинаем пилить да приклеивать.

А душа в Красноярске на кухне сидит.

«Записную книжку» Вашу о любимой провинции сдам журнальному начальству — пусть решает. Я давно пытаюсь отучить от бесконечных дифирамбов





разному народу, который теперь распустился пуще прежнего, и сосед вон мой орет: «Да они мне только за то, что я вышел на работу, тыщу должны платить, исплататоры! Сколько они наших денег не доплатили»; а сам, родименький, всегда-то больше часу подряд не рабатывал. Меня Вы тоже ловко припечатали. Так мне и надо! И за притворство, и за «приклеенную бороду».

Зовут в Москву на пленум нашего полумертвого Союза. И мне бы и надо съездить — все-таки командировку оплатят (а теперь билет до Москвы на поезде, как летом — в Красноярск) и надо бы поглядеть, что там с книжками моими про Распутина и Селиверстова, но боюсь: опять, конечно, брань пойдет, суесловие, нарядная ложь со спекуляцией на «исстрадавшемся народе». Вообще жизнь как-то перекипела и пошла затягиваться тиной, заболачиваться. Устали все до равнодушия. Только писатели еще покрикивают, заводят друг друга, но на них, кажется, никто уж и внимания не обращает — своих забот у людей через край.

Сердечный привет Марье Семеновне!

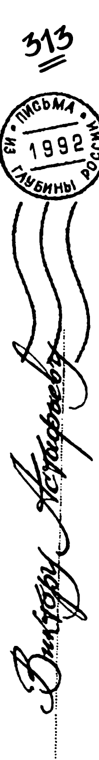
Скучаю до тяжелой тоски. Да еще грязь, дожди...

Ваш Вал. Курбатов

11 марта 1992 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Трудно в безумном мире не потерять рассудок. Креплюсь, креплюсь, а все равно чувствую, как почва ускользает из-под ног, и даже церковь не поправляет сломанной системы координат. Вот сейчас каждый день идут службы Великого Поста, канон Андрея Критского. Самые обыкновенно лучшие дни года. Ан и тут — только пока в храме стоишь, и



спокоен, а чуть за порог, тут тебя жизнь и скараулит. Ни одна книжка нейдет. Журнал «Москва» — на грани закрытия (а у меня там должны были быть статьи во всех 12 номерах — твердый заработок, и для шести я уже написал, а вот еще и первый никак не придет). «Литературная учеба» тоже смолкла (а эти мне 60 руб. за редколлегию платили). Жизнь еще как-то вздрагивает, как убитое животное, но это уже так — остатки. Это ведь и в государстве так. По инерции еще чего-то телепаемся, но остается только ждать, когда твердая рука (своя или чужая) сгребет это слабое тело или дострелит, или примется выхаживать уже своими методами, не обращая внимания на попытки прикрыть стыд и оборониться.

Работать в таких условиях почти странно. Кажется, уже никому ничего никогда будто не надо. Менее всего — нашей литературы, которая радостно разбежалась по подворотням и лает оттуда, как качинские собачонки.

А мы еще надеялись спасти веру, природу. Они теперь под шумок, под задорные крики о насущных нуждах, об инвестициях, брокерах и маркетингах еще скорее окажутся погребены, потому что уж подлинно окажется не до них, и на того, кто сегодня о смерти природы будет продолжать говорить, посмотрят уж просто как на блаженного: «О чем ты? Тут человек не знает, как выжить, а ты — природа. Видно, хорошо получаешь, раз такими пустяками занят».

А самое пакостное — это что с нашими детьми-внуками в школе родной происходит. Там уж и вовсе всякие нравственные «цены» давно «либерализованы», там уж учителя пошли соревноваться в смелости друг с другом и самими детьми, а это уж значит — вали кого куда вывезет. Во всяком случае, у нас тут так. Думаю, что в Красноярске не многим лучше. Здоровые-то идеи на всех одни.

Напиться бы, да душа не принимает. Да и приняла бы, так поднести нечего.

Марья Семеновна, Вы-то как? У Вас вон на кухне радио все время говорит. Оно Вам наговорит! Его нынче лучше изломать и в помойном ведре вместе с новостями вынести. А самим — внуков под мышку и в Овсянку и там телевизор изломать и в огороде копаться. Глядишь, душа и выпрямится и посветлеет.

Да и вообще, скорее бы весна, зелень, огород...

Очень скучаю по Вам.

Ваш Вал. Курбатов

7 апреля 1992 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Заканчиваю работу. Нет сил. 15-го летит Роман Солнцев в Москву, тороплюсь с ним отправить рукопись в «Новый мир», а сам, е.б.ж., 20-го улечу в Пермь. Самолет идет через Челябинск. К празднику постараюсь вернуться домой. Моих надолго одних оставлять уже нельзя. Попу в Чусовские Городки денежек немного послали, и он их уже получил.

Извини, что не ответил на письма. Устал. Угорел. Голова разламывается. Но книга получилась, чувствую, а это для меня самое главное.

Обнимаю.

Виктор Петрович

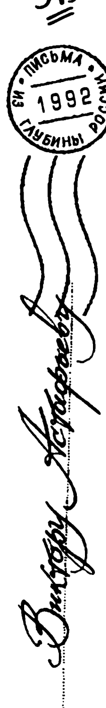
28 апреля 1992 г.
Псков

С днем рождения, дорогой Виктор Петрович!

Пошли Вам Господь здоровья для Вашей святой работы!

Позвонил мне после Вашего челябинского гостевания Володя Курносенко: «Никак, — говорит, — в себя не приду. Это откуда у них такая сила? Это ведь нам с тобой сильными-то надо было бы быть, а от нас уж одни головешки!»

Ну и слава Богу, коли так! Я понимаю, что роман-то свалить — это, конечно, праздник великий, и тут можно плечи широко развернуть, так что не одного Курносенко можно со своего места стряхнуть. Пусть бы только это чувство подольше продержалось. А то за вторую-то часть сядете, так ведь опять станете туча тучей.



Это я уже по себе знаю: пока работаешь (да если еще туго идет), лучше близко не ходить, а то можно и до греха довести. Вот почему мне бы хотелось застать Вас именно в этом крепком состоянии. Да уж, видно, не сразу соберусь.

К тому же дома-то Вы сразу и потемнеете от смерти тетки Августы, хотя тут только и можно по-крестьянски сказать: «Отстрадалась». И, может, только в гробу лицо-то и распрямилось и посветлело.

А вот Володя Кузнецов принесет Вам кассету, где она записана живая, и сердце Ваше отойдет. Он приезжал сюда, привез фильм про Семочкина. Три раза смотрю и все слушаю — молодец Семочкин-то! И говорит верно. За раз-то все не услышишь — картинка отвлекает, а вот за три — хорошо. И жить надежнее, когда такие мужики есть. И Володя-то какой молодец! В экую даль добрался — кино показать. Сколько денег извел. Летом нас на Алтай обещал позвать в родное уже Никольское, где мы блины на крыльце ели. Вдруг да и правда удастся, хотя я уже ни на что не надеюсь. Кое-что печатают (были статьи в «Иностранной литературе», в «Москве», в «Нашем современнике») — никто не заплатил. Книжка о Распутине дошла до чистых ли-

стов, подарили мне эти листы на память — и до свидания. Книжка о Селиверстове оставлена из-за сомнения — разойдется ли по 70 р., а меньше никак нельзя.

Одно утешение — возня в нашем бедном соборе, который мы взвалили на себя. Щепка по щепке, а вот притвор уже живет, и с начала поста начали служить и вот уже отвели первую Пасху.

Обернулся я на крестном ходе (впереди шел, крест нес), когда встали перед закрытыми дверями храма, как перед гробом Господним, а речка свечей негустая, но ровная, течет понемногу. Звезды во весь небосвод, колокола гремят у Троицы за рекой, и окошки нашего храма теплятся. И когда хватил наш батюшка накопленным за пост голосом «Да воскреснет Бог и расточатся врази его!», и разверзлись души, и весь крестный ход высоко и весело ахнул «Христос воскресе из мертвых...», то я, грешный, и заплакал — слава тебе, Господи, дожили! Еще один храм поднялся и уж теперь, как ни трудно будет, а пойдет, пойдет...

До земли поклонитесь Марье Семеновне!

Очень я скучаю по Вам — до острой тоски.

Обнимаю Вас.

Ваш В. Курбатов

19 августа 1992 г.
д. Выра

Дорогой Виктор Петрович!

Все думал, что мы в какой-то предотъездный день сядем на завалинке и я скажу о счастье дней в Никольском, о здоровой несуетливости бесед, вообще о том, как «сполоснулась» душа «от всякия скверны». Но вечера как-то не вышло, все слова увез с собой, и теперь они выгорели непроизнесен-

ными. Ну, может, и Бог с ними! Главное, что мне приоткрылась какая-то дверь в освобождающее понимание, в какое-то выравнивающее пространство, где уличные «правды» не очень годятся. Если бы я мог это еще и словами назвать, то, может, и добрые люди вокруг что-то бы поняли, во всяком случае, те, кто захотел бы понять (нынче ведь то и беда, что человек нарочно себя понимать не хочет, выплевывает правду — все мы в этом очень преуспели).



Теперь вот опять спрятался в деревню, увяз в простой, отрадной сердцу работе, и когда набегают из Петербурга тамошние либералы и консерваторы и пытаются втянуть в свои заботы, уже чувствую одну досаду. Не понимаю ни тех, ни других. Читаю по вечерам картинного Набокова, поскольку живу на его земле, и не могу надивиться ключевой чистоте слова, и так не хочется возвращаться к некстати данным обязательствам и писать что-то «злободневное». Прячусь пока за маленькие заметки для башуновской «Прямой речи» о П. Флоренском, С. Булгакове, С. Франке — деревня вполне ладит с этим умным богословием, даже как-то укрепляет и укореняет его. А уж надо за предисловие к Распутину садиться, к его собранию в «Молодой гвардии». Попробую что-то прояснить для себя в том, что делает с некогда дорогими книгами обезумевшее время (а временами скользит неожиданная опровергающая мысль — а не поздоровевшее ли время-то? Безумны же в нем мы сами со своими окоченевшими представлениями о разуме и безумии).

Много думаю и о Вас и смущаюсь только Вашим отношением к церкви, которую Вы терпите в качестве народной нравственной узды, но в которой сами не чувствуете потребности. Это все оттого, что «не распробовали». Попадись Вам умный, глубокой веры поп, умеющий держать службу, Вы бы быстро

раскусили, что тут общими словами и европейской воскресной службой не отделаешься, что тут — единственно достойная исследования и духовного внимания тайна, что тут и художественная, и метафизическая бесконечность, опьяняющая неисчерпаемость — чем больше пьешь, тем больше хочется. Тут только моих ошибок повторять не надо — самому надо подальше от «внутренности» церкви держаться, от ее служилых людей. Даже и хорошего-то попа я ведь не в знакомых держать имею в виду, а именно только знать, что служит такой так-то и там-то. И вот у него бочком в сторонке на службе и стоять, на доброе его сердце смотреть да на паству, на оттенки службы, когда уже вроде бы ее наизусть знаешь и когда всякий раз новым светом ее может осветить только любящее сердце. Вот тут неисчерпаемость тайны-то и открывается. Ну, а близко подойдешь, так непременно скоро отец Матвей, как Гоголю, попадется и начнет из-за письменного стола выдергивать. И это уж не Боги, а именно отец Матвей начнет говорить. А больше никакое творчество и никакое художество близко не подходит, и непременно с какого-то порога скучно делается. И тогда, если в церковь не вошел, только два пути и остается: или свое Евангелие писать, как Толстой, или публичное брюзжание разводить, как тьмы и тьмы собратьев.

Жалко, что мы все на людях да на людях...

Сердечный поклон Марье Семеновне.

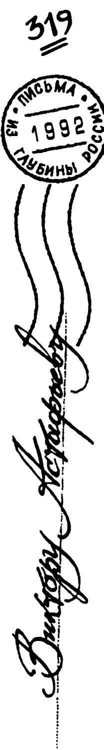
Обнимаю Вас и очень скучаю.

Ваш В. Курбатов

22 октября 1992 г.
г. Чусовой

Дорогой Виктор Петрович!

Видали, какие бумаги завел Леонард Дмитриевич! Он ведь сам и председатель этого приходского совета, а спрашиваю: крещен ли? Говорит — не знаю: мать с отцом не крестили, а баушка, та могла и окрестить. А ведь председатель-то — это староста, это борода лопатой, это Евангелие наизусть, это строгость постов и обихода, это служение по канону. Я, грешный человек, даже и смутился, когда увидал, как по-солдатски прямо решает эти вопросы Леонард Дмитриевич. Вот уж подлинно — широк русский человек! Но втайне я все-таки и рад, что теперь не флагом и гимном будут соревнования начинаться, а общим молебном — глядишь, меньше будут сволочиться, обманывать, передергивать. А там, глядишь, начнут понемногу и в службах разуметь и поймут, чего там отцы-матери видели и на чем стояли. Правду-то не все горлом брать, она может и в молчании прорасти, и в простом стоянии посреди старушек на воскресной обедне.



Приехал я в Чусовой в несусветную грязь, а уж наутро город убрался совершенной невестой. Я уж и позабыл, что зима может быть так нарядна. Ходил, дышал, смотрел, добрался до леса, орал там песни, молился, вздыхал, вспоминал стихи — опьянел, одно слово. Потом поехал к Леонарду Дмитриевичу и уж тут опьянел без метафор. Хватили мы с ним коньячку, разделись и пошли два дурака босиком в трусах по снегу и морозцу через всю базу в Архиповке купаться. Хорошо, никто не видал. И обратно тем же порядком. И вот ничего — здоровы оба!! Это уж после звонка к Вам совершилось, а то бы непременно известили. Утром снегу еще подвалило, и я в ботинчошках, увязая по колено, полез по

кладбищу отцову могилу искать. Слава Богу, сугробы еще не вошли в силу, и нашел я ее довольно скоро. Я вроде не подрос, а она с прошлого года словно умялась. И пирамидка с крестом стала пониже, и оградка. И каждый год кладбище так стремительно растет, и все прибывает, прибывает знакомых фамилий...

В Перми навестил художническую братию. Через пять минут затосковал от скуки и однообразия этих невыразительных пьянств, словно время остановилось — так было в прошлом году, в позапрошлом. Ушел в другую половину мастерской и, к счастью, был забыт товарищами. Бедные мы, бедные! И разговоры все об одном, об одном.

Виктор Петрович, а как бы мне узнать содержание-то собрания сочинений — списочек бы, чтобы я понемногу думал о послесловии. Оно ведь, чем больше времени, тем лучше — можно и обдумать спокойнее. Жду не дождусь десятого номера «Нового мира» *[речь идет о публикации первой части романа «Прокляты и убиты» «Чертова яма» в № 10, 11, 12 журнала «Новый мир» за 1992 год. — Сост.]* — интересно, как будет выглядеть текст. Введение ругательств иногда смущает не ухо, а глаз — слишком непривычно начертание этих для уха обыкновенных оборотов. Можно поверить уху, но как изменить психологию зрения, как преодолеть бессознательное сопротивление глаза? Ну, да поживем — увидим...

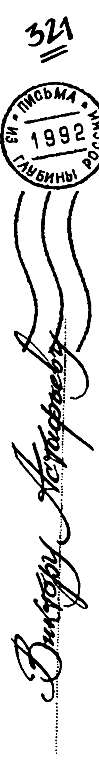
Сердечный привет Марье Семеновне и Витьке с Полей.

Ваш Вал. Курбатов

16 декабря 1992 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Поглядел я Володин фильм и очень себе там понравился — сидит какой-то мужик и кивает, иногда говорит «угу» и опять кивает. Когда у зрителя кончается терпение и он уже устает спрашивать: а этот кто и чего тут торчит? — последний титр извещает «в фильме снимался критик В. Курбатов». Это на сегодня пока лучший портрет советского критика, хоть на деньгах печатай — молчит, кивает и говорит «угу». Типический, так сказать, образ.



А вообще — много очень хорошего. Хотя бы тетка Августа, снятая пронзительно и сильно — вся крестьянская доля тут. Дорогого стоит такой портрет, даже если и не знать, что это Ваша тетка. Руки как сняты, все говорят при онемевшем лице. Жалко, Вас постеснялись снять во всей печали и одиночестве. В кино лучшие-то победы настойчивым даются — там скромным быть нельзя. Зато природа какова! Гроза! Полька-певунья!

Я, может, много бы иначе смонтировал, но мало ли чего я хотел. Что сделано, то сделано. Тем более что материалу еще на фильм осталось.

Виделся в Москве с Валентином Григорьевичем. Гнул свое, понуждая его выйти из ложно использующих его организаций. Он обещал, но еще сто раз передумает, связанный ложным чувством общего дела. Воли не хватает на разрыв, хотя когда они его связывали, они как раз сомневались мало и сейчас будут держать изо всех сил, зная, что лучшего знамени у них не будет, и уйдет он — они окажутся только бойкими говорунами и искателями власти. Он и это знает. И все-таки не уходит, боясь, что их сейчас начнут преследовать, а он окажется в стороне. Непременно надо со всеми пострадать, хотя бы

и не разделяя их правды. Чувствует себя тяжело. Спрашиваю: «Что же вообще-то делаешь? Ну, если не пишешь, то хоть думаешь о чем?» — «Ни о чем не думаю. Коротаю жизнь». И так тяжело сказал, что я заткнулся и больше не лез. Сейчас он в Иркутске. Дал бы Бог, чтобы душа согрелась.

С Новым годом Вас и Марью Семеновну!

Берегите себя, родные мои! Здоровья вам и покоя, терпения и послушной работы!

Ваш В. Курбатов

Декабрь 1992 г.

Дорогой Валентин!

С Новым тебя годом! С новым счастьем! Здоров будь! Да чтоб весна и тепло скорее, остальное от съезда советских депутатов зависит.

Мы живем, как и все, в трудах, заботах и тревоге. Я пытаюсь делать вторую книгу романа, но не скажу, что попытка очень уж успешна, пока пишется вяло и неинтересно, однако буду тянуть лямку, а то без работы и вовсе останешься.

М. С. сдает, дети растут и наглеют, ничего радостного вокруг нету, кроме поездки на могилу дочери, и уже завидую ее покою и усмирению.

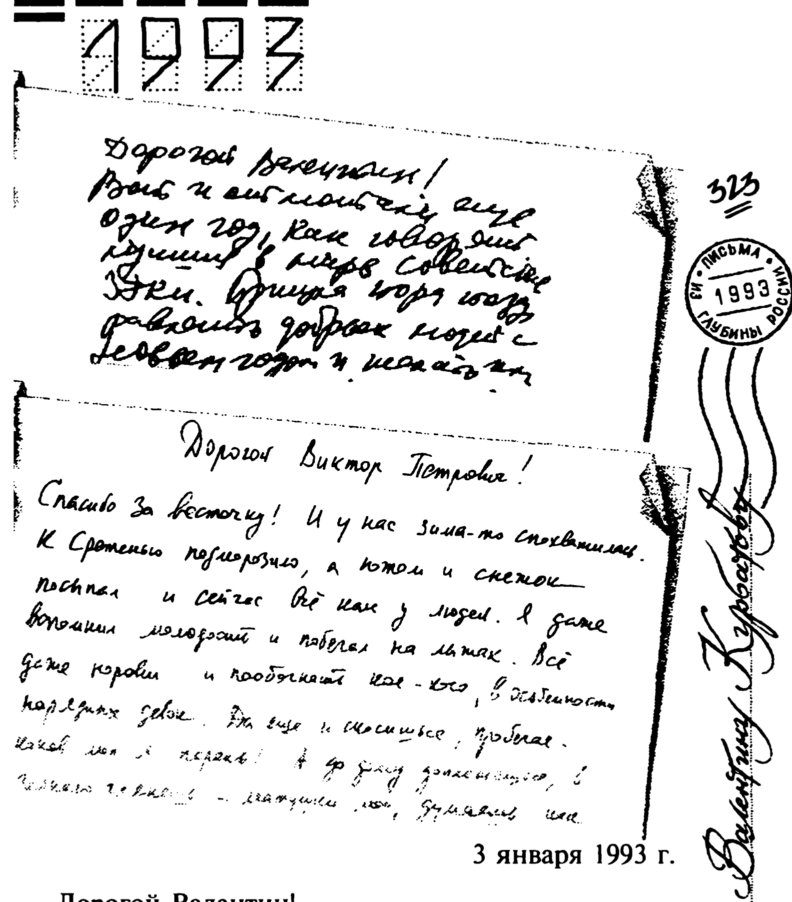
Никуда не езжу, ни с кем не общаюсь, кругом сплетники и стервятники одни.

Проходил бы скорее декабрь, а там уж и до весны близко, может, перевалим еще в одно лето.

Ну, храни тебя Бог, не пишу оттого, что настроение худое и на сердце паскудно.

Кланяюсь, обнимаю.

Виктор Петрович



3 января 1993 г.

Дорогой Валентин!

Вот и отмотали еще один год, как говорят лучшие в мире советские зэки. Пришла пора поздравлять добрых людей и желать им всего доброго. Вот и желаем здоровья и всего хорошего. Мы живем помаленьку. Меж болезнями пытаемся работать. М. С. уже топчется по дому, но на улицу почти не выходит. Полю, внучку, отправили в Вологду, в каникулы, наверное, отправим и внука — не справляемся, нет сил. Зима серая, тяжелая. Я работаю над «По-

клоном», но шибко отрывают. Если закончу, то в январе поеду в Москву, а пока пробуем жить, часто ездим на могилу Ирины.

Целую, обнимаю.

В. П.





11 февраля 1993 г.

Дорогой Валентин!

Зима свалилась на склоны горы. Была она у нас квеленькая, не сибирская, но, к счастью, и не псковская, без дожжэй, хотя мокренько на дорогах и становилось порой. Но и зима, и Сибирь все же «людя́» женского рода и так просто не уступят, непременно спохватятся в мае, а то и в июне, навалят снегу, подморозят, упредят, что они все же есть и забывать о них не надо. Но и при этаких клим. условиях, когда морозы держались в пределах минус 7-15, и лишь несколько суток до минус 27, в городе все лопалось, тонуло, люди жили при 5-7 градусах тепла, в том числе и моя сестра, Галина Николаевна, святая душа и добрейший человек, которую всю жизнь за что-то иль печет, иль морозит.

В середине января в Овсянке мы отпраздновали 80-летие ее матери, известной тебе бабули — Анны Константиновны *[Потылицыной. — Сост.]*. В поределой родне, которой стало хватать и горницы в дядином доме, и одного стола (а то вечно друг на дружке лепились), поели, попили мы и даже попели, хотя прежнего ладу и строю уж нету. Да и где он ныне на Руси есть? Я уж и от этакого хора растрогался, до слез дело не дошло, но ретивое рассолодилось, пожалеть всех захотелось.

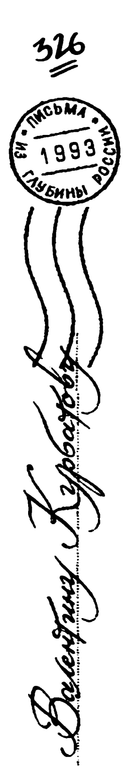
Всю-то зиму-зимскую я проработал, оттого и не писал тебе. Делал черновик второй очень трудной книги, более объемистой и страшной, по сравнению

с первой. Хотел избежать лишних смертей и крови, но от памяти и правды не уйдешь — сплошная кровь, сплошные смерти и отчаянье аж захлестывают бумагу и переливаются за край ее. Когда-то красавец Симонов, умевший угождать советскому читателю, устами своих героев сказал — немец: «Мы все-таки научили вас воевать», а русский: «А мы вас отучим!» — так вот моя доля отучивать не немцев, а наших соотечественников от этой страшной привычки по любому поводу проливать кровь, желать отомстить, лезть со своим уставом на Кавказ, ходить в освободительные походы.

Литература про «голубых лейтенантов» и не менее голубеньких солдат, романтизировавшая войну, была безнравственна, если не сказать круче. Надо и от ее пагубных последствий отучивать русских людей, прежде всего этих восторженных учителок наших, плебейскую полуинтеллигенцию, размазывающую розовые слезы и сладкие сопли по щекам от умиления, так бы вот и ринулись она или он в тот блиндажик, где такая преданность, такая самоотверженная любовь и дружба царят...

Носом, как котят слепых, надо тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы — иначе ничего от нашего брата не добьешься. Память у россиян так коротка, сознанье так куце, что они снова готовы бороться с врагами, прежде всего унутренними. Не успев возродиться при попустительстве вчерашних партократов, современные перерожденцы уже вякают: «Мы скоро вас перевешаем!» Нас?! А потом друг дружку. Если они, как Наполеон, пусть и ненадолго придут к власти — России конец, всему тогда конец, и им — этой заразе, навязавшейся на российское тело, тоже конец, но уж с такими потрясениями, от которых и мир может содрогнуться и рассыпаться в прах.

Мало кто, в том числе и коммунисты, черт знает



во что переродившиеся, уцелеют. Вот напасть так напасть на Россию, самими нами и вскормленная, и взращенная.

Идут уже письма на первую книгу романа. Есть интересное письмо от военного, 24 года проработавшего в КГБ, судя по письму, в самом его чреве. Так вот он запросто и почти точно предсказал судьбы героев романа. Ну, конечно, бесятся высокопоставленные военные, так истово укреплявшие ряды верноподданных и нас гнувшие до самой до земли.

И беда, горе горькое. 1 февраля умер в Темиртау мой фронтовой друг, тот самый, что тащил-вел меня с передовой в 1944 году, Слава, Вячеслав Федорович Шадринов, и я не смог полететь на похороны. Надо было лететь с посадкой в Омске до Караганды, потом еще автотранспортом ехать, а я что-то подраскис, истощившись работой над рукописью. Помаленьку шалит все, бывает очень высокое давление, болят суставы, особенно правое плечо, не могу снять самостоятельно шубу, М. С. или Поля помогают. Поля иногда говорит: «Давай, деда, я тебе массаж сделаю», потыкает кулачишком, потискает плечо и вроде уж легче. Надеюсь на солнце отогреть свои кости, может, и пройдет. Но до весны еще эвон сколько!

Чтобы сократить время до весны, согласился полететь в Париж на презентацию журнала «Феникс XX», первый номер которого вышел, наконец, после 7-летнего мытарства. Компания хорошая: Василь Быков, редактор — Владимир Огнев, хочется рассеяться, встряхнуться, в Москве дела кое-какие приделать, но пока Огнев не может найти денег на поездку. Если найдет, в конце февраля отбудем. Не состоится поездка в Париж, залезу в тайгу, на лес посмотрю, на речке посижу у лунки.

Гена Сапронов из Иркутска предложил мне со-

брать двухтомник моей военной прозы вместе со статьей, которую я написал для собрания сочинений, и мы с Марьей Семеновной опять пурхались в бумагах, опять ворошили старье и расклеивали «Чертову яму». Собрания-то мои сочинений, бодро начавшись, замирают тихо из-за обвальных цен, а жить надо. Гена предложил мне хороший гонорар, а современно мыслящие и действующие люди говорят: «Пустяки!» А цены-то у нас на продукты оглушительные. Местное издательство, тоже новое, намеревается переиздать целиком «Последний поклон», так что пропасть не дадут, а вот как ты сводишь концы с концами, не могу представить.

Однако при всем при том, если ты захочешь летом побывать в Сибири, можно найти того, кто оплатит тебе дорогу (дорога сделалась немыслимо дорогая), картошек же и крупы на кашу, да и концерву к ней, все одно найдем. Таня из Никольска *[Андросова. — Сост.]* и мне прислала чудное письмо и вот-вот должна прилететь на леченье. Тем временем у Володи Кузнецова обчистили квартиру, но он ничего, держится. Позавчера мы с М. С. были у них в гостях. Люба нас вкусно кормила, Володя поил коньяком. Поля наша бредит Никольским и не допускает даже мысли о том, что летом она не побывает там. У Кузнецовых она бывает часто с ночевой, дружат они с Тоней. А учится плохо, мотает нервы бабушке, врет на каждом шагу, да танцует и наряжается. Может, инстинктивно хочет пожить, как положено жить детям — беспечно, ибо без бабушки и дедушки хватит такого лиха, что и думать об этом не хочется.

Ну, ладно, Бог не оставит нас всех, надо же и Ему о нас иногда вспоминать и совсем-то не отворачиваться, хотя и поганцы мы изрядные. Вон Крупин поет: «Любит нас Господь, оттого и наказывает, любя».

Пусть бы Он не так выборочно это делал, иногда

и «помотал», как требовал чусовской профсоюзник, когда ему директор клуба металлургов, спутав туалет с балконом, писал на голову. Не все же нам одним пользоваться безоглядно этакой добротой, как поляк-то хитромудрый определил: «Эгоист это тот, кто думает только о себе и не думает... обо мне».

Кланяемся, обнимаем, к сердцу прижимаем, часто вспоминаем, то в связи с Чусовым, то просто так, тревожимые памятью.

Храни вас Господь!

Я, Мария, Витя и Поля — твои Астафьевы

20 февраля 1993 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за весточку! И у нас зима-то спохватилась. К Сретенью подморозило, а потом и снежок посыпал и сейчас все как у людей. Я даже вспомнил молодость и побегал на лыжах. Даже норовил и пообогнать кое-кого, в особенности нарядных девок. Да еще и скосишься, пробегая — каков, мол, я парень! А до дому доплетешься, в зеркало глянешь — матушки мои, думаешь, как еще девки с лыжни-то со страху не разбежались, видать, еще крепки нервами — и похуже чего видали.

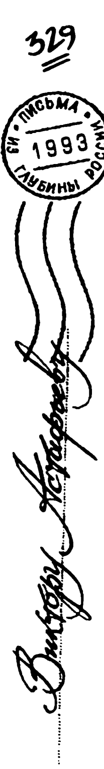
Очень я расстроился, узнав, что Володю Кузнецова обокрали. Это ведь вроде изнасилования — нечистыми руками вышарят все не в доме будто, а в самом тебе — оттого тут и не жалость больше к утраченному добру, а мерзость в душе, брезгливость какая-то. Потом уже покоя не будет и всякая оставшаяся вещь будет глядеть обесчещенной. Дай ему Бог сил перемочь это без особенных потерь для души.

Все поглядываю в подписной магазин — нет ли

Вашего четвертого тома. Пока нет как нет. Специально и копейки на сей счет придерживаю. Накопил. А уж как живу — иногда сам дивлюсь. Наверное, жена держит — ей зарплату дают. А я вроде и пишу больше чем когда-либо, и печатаюсь — грех жаловаться, а все больше четырех тысяч в месяц не выходит. Ахнули мне две годовых премии — в «Литгазете» и в «Нашем современнике». Они обе (!) составили тысячу триста рублей. Засмеялся бы, да неудобно. Зато чести вон сколько!

Так что до Вас мне уж, видно, теперь вовек не добраться, хотя Солнцев затеял какой-то стихотворный сборник «без политики» и просит меня написать предисловие, чтобы по выходе вместо гонорара позвать меня в Красноярск. Конечно, это было бы лучшим и высшим гонораром, но я как-то мало верю в затею. Сколько у нас было таких издательских порывов и сколько находилось благодетелей, но как все начинало сталкиваться с производством, бумагой, типографией, так все первоначальные расчеты летели прахом, и идея помирала в эмбрионе. А уж тем более сейчас, когда все наелись всего и никого ничем (а паче того «чистой литературой») не соблазнишь.

Вале Распутину сделали операцию. Я не спросил, что у него там вырезали, но пока, Света говорит, все нормально, и через неделю обещали выписать. Я предпринимаю разные попытки уговорить его выйти из всех организаций и воротиться в Иркутск. Да и не я один. Но противодействующие силы посильнее — непременно успеют убедить, что без него Россия не спасется, и понудят «последний раз» и там посидеть, и в составлении этого документа участие принять. Хотя я понимаю, что он сам внутренне сильнее всех своих перетягивателей и еще не решается принять окончательного решения, значит, внутри себя не все еще расставил.



«Молодая гвардия» обещала его собрание сочинений. Я написал предисловие, но опять дело затихло. Вообще ощущение, что жизнь затаилась и както пересиживает самое себя в тайной надежде, что все обойдется как-нибудь само собой. Журналы сулят завтра целую плеяду новых сильных прозаиков большой формы — преимущественно романистов. Но очень похоже, что все это будет проза имени Букера — пусть русские, но непременно такие, как Горенштейн, Алешковский, Харитонов, то есть нечто, для восприятия чего потребна уже будет иная душа и иной ум, чем тот, которым мы обходились прежде. А поскольку нашему брату переделываться уже поздно, то мы просто пойдем в отходы и будем медленно вытеснены вон, чтобы не путались под ногами. Будем доживать жизнь дома, но вполне в эмиграции, угасая в печальных воспоминаниях и теряясь могилами на своих домашних Сент-Женевьев-де-Буа. И опять это будет очень по-русски, и опять очень несправедливо. Сами оборвали родовую нить, естественное предание и живую жизнь нормально движущихся поколений — сами будем и расплачиваться. Ведь те-то господа, кто по Парижам угасали, тоже за свои социал-демократические мечтания расплачивались, вот и мы будем за свои. Так что, с одной-то стороны, вроде и очень несправедливо, а с другой — вполне по заслугам.

На этой светлой ноте позвольте Вас обнять, поклониться Марье Семеновне, сказать «привет» Витьке с Полькой и откланяться.

Господи, если бы Вы были поближе.

Здоровья Вам и покоя.

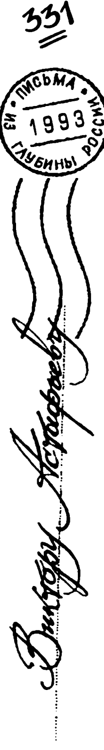
Ваш Вал. Курбатов

22 мая 1993 г.
Псков

Дорогие Марья Семеновна, Виктор Петрович!

Спасибо за весточку — сразу мир поустойчивее стал. А то ведь один не пишет, другой, и ткань жизни начинает рваться, будто сквозняками начинает потягивать. Привыкаешь, что тут родное сердце, там, и они тебя как-то отчетливо держат. А замолчит один, замолчит другой, и душа теряет устойчивость, беспокоится, а там и тоскует, хотя внешне как будто такой тоске и поводов нет никаких. Нынче надо бы друг другу через день писать, потому что уцепиться кроме родных и друзей не за что, а мы наоборот именно теперь и помалкиваем.

Володиного (Кузнецова) звонка я ждал напрасно, хотя я знаю, что он был в Москве и показывал свои картины в программе «Русский витязь». Ну что ж, у всех у нас теперь свои заботы — все врассыпную. И так по всему народу и даже порой по семье через всю державу — бескровная, но оттого едва ли не более смертельная гражданская война. Души пошли в расход при здоровых телах — этого матушка Россия еще не знала. Боюсь, что виноваты мы в этом все поровну своим безлюбовным, не знающим снисхождения ожесточением. Виноваты не тем, что сейчас пошло (теперь уже не склеишь, да и не надо — понаделано уже много неизвиняемого), а тем, что позволили втянуть себя в это, что не были достаточно крепки душой, чтобы не поддаться общему безумию, не втянуться в нечистую воронку политики. Учили нас, учили великие предшественники, что художнику и мыслителю не место в боевых рядах казенных мироустроителей, но все кажется, что они (Платон, советовавший сенату, Конфуций, учивший императоров) поглупее нас (оба потерпели поражение неслыханное). А уж мы-то, конечно,



психологи покрепче прежних и знаем, как устроить справедливое общество. А добились только того, что теперь не знаем, как в глаза друг другу смотреть, и встречаем преклоняющиеся к закату лета на руинах прежних дружб в случайных изменчивых окружениях и опасности одиночества. Глупо и горько. Только и утешения, что это говорит о молодости русского народа и вполне отроческой его глупости.

А в Овсянке, поди, цветут стародубы и уж вот-вот пойдут жарки, и Енисей прогрелся, и вечера теплы и покойны, и книга перевалила половину и просится под уклон... Как мало мы умеем быть счастливыми и как мало умеем научить этому детей. А много ли надо?.. Хоть бы карточку какую прислали — поглядеть, посидеть, поговорить, повидаться. Снимают ведь, поди?

Обнимаю. Скучаю.

Ваш Валентин Курбатов

18 июня 1993 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Да, конечно, надо бы каждый день по письму писать, да ведь на бумагу-то просочится из души смута и вдали поразит другую душу, которой ныне так нелегко, коли она не из полена, как Буратино, излажена.

Сижу в деревне с 4 мая, больно уж надоело в городе, да и топить перестали, мне с моими легкими в панелях совсем худо сделалось. Топил тут печь по два раза в мае, сейчас только раз, на ночь. Пожег дрова, сунулся к забулдыгам-землякам, а они мне 22 тыщи за машину, а в машине-то конский воз, и послал я их подальше. Александр Николаевич Кузнецов, мой добрый знакомый, внушающий моим зем-

лякам высокопоставленным, что Астафьев у нас один и замерзать ему не резон, велел своей властью привезти машину дров, а я нанял бичей овсянских колоть и убирать их, так не рад и был, все выпили у меня и съели, и так разошлись, в смысле гонорара, что еще несколько ночей ломились в окна и двери... Зато теперь я не экономлю топливо, тепло, сухо и я работаю, наслаждаясь одиночеством. У одиночества и непогоды есть положительное свойство — ничего другого не остается делать, как работать. И под дождь, снег и холод (думаю, что на Новой Земле рванули дуру, вот и гонит к нам благодарный Ледовитый океан свои излишки) работается, и глаза боятся — руки делают. Уже далеко я продвинулся со второй книгой и вот при третьей редакции вижу, что-то начало и получаться, но работы еще очень и очень много. Я усложнил себе задачу тем, что не просто решил написать войну, но и поразмышлять о таких расхожих вопросах, как что такое жизнь и смерть, и человечишко между ними. Может быть, наивно, может, и упрощенно даже, но я все же пытаюсь доскрестись хоть до верхнего слоя той горы, на которой и Лев Толстой кайлу свою сломал.

Стараюсь и читать. Много любопытного ныне пишется и печатается. Страшное все более казнится на бумаге. «Тихий» и прелестный рассказ Жени Носова в десятом номере «Знамени» за прошлый год, как увядающе-прекрасный и светлый островок среди параш, камер, казарм, общаг и московских квартир, где маются интеллектуалы с похмелья... Рассказ называется «Красное, желтое, зеленое», таков был цвет хлебных карточек, и рассказ о них, о хлебных карточках. Ко времени и к разу он пришелся, а то коммунисты почти уже убедили наш горемышный народ, что при них было сплошное благоденствие, а ныне вот все не так.

Марья Семеновна бывает у меня редко, не очень

она уже мобильна, да и погода, 70 раз на день меняющаяся, сырая, мозглая, мучает ее. Пробовал я сюда забрать Поленьку, чтобы дать бабушке роздых, она на второй же день сильно поранила ногу на берегу Енисея, а в Троицу на кладбище, у матери, или уж у меня в огороде клеща поймала, и бабушка под крыло ее заключила, как старый боец и патриотический чусовской комсомолец, рассуждая: «Погибать, так вместе!» Собрался я полететь к брату в Игарку порыбачить, но отказался от этой затеи — комара ныне налетело — тучи, а здесь еще и клещ осыпной, так я и в лес не хожу, съездил разок за черемшой и все. У нас ведь на северных склонах гор и в глубоких распадках еще есть снег и лед.

Апокалипсис, батюшко, это называется, или, как старая овсянская баба хорошо говорит, — свето-переставление.

Кстати, о «переставлении» — в конце июня Чусовому-то 60 лет! Нас с М. С. пригласили на торжества, но куда нам. Жопы неподъемные, дети на руках, а ты, небось, метнулся, если не телом, то душой на Урал-то? Любопытно было бы посмотреть и послушать, какими достижениями хвастаться будут чусовляне? Ведь без достижений и без хвастовства какой же у нас праздник?!

(Вот письмо-то начал сразу после работы, а на плиту поставил горох, побежал сейчас, матерясь и торжествуя, а горох упрел и плита не успела сгореть, одна-то уж накрылась. Заправил я его картошкой, луком, ветчинки построгал и подумал: «Был бы тут Валентин Яковлевич Курбатов, знаменитым супом бы побаловались и экую стрельбу по врагам открыли!»)

Словом, пока, похлебка доваривается, времени три часа дни, ись охота, чего и вам желаю.

А еще здоровья и продыху в мыслях и сердце.

Обнимаю.

Виктор Петрович

21 августа 1993 г.
Псков



Дорогой Виктор Петрович!

«Вот и лето прошло — словно и не бывало», — как писал старый Тарковский. И, кажется, это первое, в которое мы не виделись. А повидались — и, поди, не узнали бы друг друга, так много и так неожиданно меняет нас теперь затейливо бегущая жизнь. Все, что считалось в душе опорным и данным навсегда, оказалось совсем не таким прочным и вечным. Вдруг выяснилось, что Россия — это нечто иное, чем мы успели нарисовать в воображении и с чем успели сжиться, как и народец наш куда витиеватее написанного бессмертной литературой. Как всегда, всякого хватает, но подлое и злое както особенно повылезло, и нет-нет сорвешься и пойдешь костерить налево и направо, пока на себя в зеркало не поглядишь, пока не соберешься к исповеди и не увидишь себя во всей красе, так что всего-то никак не решишься и Богу сказать — уж больно все это нечисто. Ну, тут и на «народ» по-другому станешь смотреть и терпения набираться. Так и качаешься взад-вперед. Хуже всего, что теперь и в деревне не спрячешься, и в монастырской келье от политики не укроешься — лезет из всех щелей и засоряет душу. В сотый раз материшь себя за глупую профессию, которая не дает укрыться от улицы. Читаю вон в своей Выре всегда здесь читаемого Набокова и завидую — ведь вот мог человек выращивать свои дивные цветы посреди европейского безумия, словно в окно не глядел и ни радио, ни газет, ни современников в глаза не видал. Сам так и эдак пробую, но куда там — уже через пять минут, глядишь, по уши увяз и уже вот-вот на крик сорвешься.

А Вам и того труднее. У меня хоть церковь к ожесточению не пустит и от последней тьмы убережет, а Вы — как на ладони. Вон какой страшный рассказ

в «Огоньке» написали. Это уж как-то и не по прозе идет *[рассказ «Две подружки в хлебах заблудились». «Огонек», 1993, № 25/26. — Сост.]*. И очень похоже, что наша литература литературу в себе пока позабудет. Разумеется, только у совестливых людей. Бессовестные-то сейчас как раз и распишутся — только поспевай Букеровские премии поставлять. Вообще же ваш рассказ в очередной раз (как и после «Печального детектива» и «Людочки») опять заставил меня думать, почему душа сопротивляется такой тьме, героям ли она сопротивляется или автору. И вообще, что такое зло в литературе? Конечно, тут же сразу стали попадаться словно нарочно к случаю писаные цитаты. Пришвин сразу сказал: «Мне бессмысленно показалось обращать внимание людей на пороки, потому что обращенное на порок внимание его только усиливает. Мне казалось, что нравственность всего мира попалась на удочку греха: пороки беспрестанно бичуются и беспрерывно растут». Вот и тут вроде зло явлено во всей невыносимости, а в сердце отчего-то не очищение, а ненависть к человеку и миру. И еще вот читаю милосердные военные воспоминания Николая Старшинова о разных святых людях, попадавшихся ему на войне, и думаю: что же я-то, сволочь такая, все себя приберегал и ни в чьей жизни вот так не отразился? И стыд точит, словно мог что-то доброе сделать, а вот «сэкономил», не сделал. И душа от этого укора, странно сказать, растет. А когда является со страниц нечеловеческая сволочь, во всех видах, то только рвет душу бешенство и бессилие и свет не мил, а стыда за себя нет. Перебил бы всех или сам с собой что сделал, чтобы человеком не числиться — вот и все состояние. Тут, наверно, тот парадокс, что такие рассказы не читают сами их герои — ни страдающие женщины, ни лагерные сволочи. А те, кто читает, живут иным миром, и рассказ как бы идет стороной.

Простите мне это умствование. Это давно мучает меня, как нерешенная, но необходимая для решения проблема, потому что тут внутри что-то важное, и если механизм разъяснить, то, может, даже и жить можно в литературе как-то совсем по-другому, а значит, и вообще в мире все как-то поправить. И понимаю, что это детские надежды, и все не могу оставить своей наивности. Куда денешь в себе «трактирного мудреца» Достоевского, этих непременных всемирных вопросов.

Сижу в деревне, вернее, работаю не покладая рук — строю понемногу свой домишко, чтоб было куда старую голову подклонить. Если еще доживу до старости-то и потерявшие себя сограждане не затолкают как-нибудь в междоусобной драке.

Очень скучаю, но все меньше верю, что судьба еще сведет нас. Жалко, что Володя Кузнецов так и не переслал мне фильм — хоть бы так иногда повидаться и вместе побыть.

Обнимаю Вас, родные мои Марья Семеновна и Виктор Петрович!

Храни Вас Господь в многотрудной жизни!

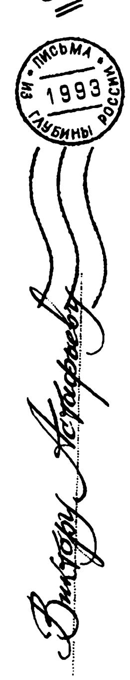
Ваш В. Курбатов



17 сентября 1993 г.
Псков

Дорогие Марья Семеновна и Виктор Петрович!

Я писал Вам из «своей Выры», где по десять часов работал на своем домишке. Если доживу и родимое государство не потеряет ума (само-то не потеряет, а вот южные и восточные соседи очень могут помочь спятить), то к середине будущего лета, Бог даст, и въеду, и сяду гостей поджидать, чтобы вместе с ними проездиться по соседям Набоковым в двух верстах, Рылеевым — в четырех, Рерихам —



пяти, да и по иным многим, которые тут вокруг моего дома кружком стоят — домишко Арины Родионовны, в землю усунувшийся, «из окна видать», Ганнибалы чернеют арапскими рожами тут же за леском. Так что попировать будет с кем и умные речи послушать тоже [Не въехал и не сел. — *В. К.*]. Но Вы, видно, моего письма из этого высокого окружения не получили.

А до того ездил к Ивану Васильеву — он просил меня помочь ему крышу перекрыть в деревенском музее. Крыли и ругались, крыли и ругались. Он мне все про каких-то «очищенных» коммунистов твердил, которые скоро возьмут власть и спасут Россию, а я ему все напоминал, что Бонапарт-то хоть и сбежал со святой Елены и сто дней похозяйничал, но все равно дело кончилось Ватерлоо. Вот и вас, говорю, опять поганой метлой, да только жаль, говорю, что Вы опять людей поувечите и опять матушку Россию назад упятите. Она хоть вперед-то и скверно идет и глядеть на ее позор и холуйство сил нет, а странно сказать, если куда-то в самую глубину поглядеть, то там где-то теплится что-то еще небывалое на Руси и очень обнадеживающее. Сказал бы следом за Пришвиным «о весне света», да боюсь. А есть, есть что-то живое в нынешнем внешне позорном движении! Словно Россия все время бессознательно сплачивалась и так как-то само собой до великой империи доросла, а вот сейчас пришла пора понять себя, разглядеть, что это за существо такое «русский человек» и на кой ляд он землю топчет и чего все время на Европу косится и «дурой» ее зовет. Только-только стал этот смысл откуда-то проступать (никак пальцем не покажешь откуда), а может статься, что его опять забьют и так в росте и задушат, не успев разглядеть.

Вы хоть в Москву-то выбираетесь, Виктор Петрович? Я бы до Москвы-то дотянул как-нибудь,

чтобы хоть там повидаться, с добрыми людьми посидеть. До Красноярска мне уже не добраться, а соскучился — страсть. А у Вас, поди, разные дела в Москве нашлись бы? Впрочем, предвижу, что все это напрасно. Это уж я так — от тоски. Простите.

Обнимаю Вас, мои родные. И очень скучаю.

Ваш В. Курбатов

15 октября 1993 г.
г. Чусовой

Дорогой Виктор Петрович!

Сразу (чтобы не мучиться самым тяжелым) — я был очень расстроен, увидев Вашу подпись под категорическим призывом Черниченко и Нуйкина «разогнать, остановить, прекратить» *[«Раздавите гадину», обращение писателей в газете «Известия» в дни октябрьских событий в Москве, 3-4 октября 1993 г. — Сост.].* Так русские литераторы еще не разговаривали. Это уж, простите, от холопства, которое успело процвести в наших новодельных демократах, от привычки решать вопросы райкомовскими способами. Судя по тому, что Ваша подпись вопреки алфавитным ранжирам явилась за г-ном Чулаки, Вас «приписали» простой телефонной просьбой. Но понимание случайности не избавляет от горечи. Хотел не говорить об этом, но осталась бы заноза умолчания, так что уж лучше начистоту.

Я об эту пору плыл на пароходе в Ярославль с господами из международного конгресса «Культура и возрождение России», хотя международности там было только полтора немца да один монгол. Всем было тяжело, и никакая ученость на ум не шла. В Угличе отслужили литию по погибшим, и зарезанный царевич как-то померещился в ряду сегодняшних жертв.

Бедный Сергей Палыч Залыгин вымечтал поездку на теплоходе в Святую Землю, где надеется со-

брать Вас, Валентина Григорьевича, Окуджаву, Нагибина, Белова... Я уж и разочаровывать его не стал, что такой корабль переломится и затонет еще в порту, не успев отойти от причала. Вообще Сергея Павловича было как-то особенно жалко — так он был отчетливо одинок на нашем разговорчивом корабле. Прилепился он было к Никите Ильичу Толстому, но тот уехал раньше, пересел за стол ко мне, но и я убежал из Ярославля в Чусовой.

Хлопочу вот с маминым перевозом — хватит ей тут одной куковать и мотаться перелетной птицей каждую весну и осень — поедем совсем. Квартиру пока оставлю — сам еще приеду, да и не хочется увозить ее из пустых стен. Это уж на смерть было бы шибко похоже. Пусть для нее все останется на своих местах.

Заглянул, конечно, к Леониду Дмитриевичу. Он перестал быть Леонардом (крестился на старости лет). Церковь построил — чисто игрушка и сам никак на нее не насмотрится — освещает на ночь, и она горит во тьме, как Господня Свеча. А в доме мира нет. И я тороплю, тороплю его скорее привозить священника и начинать служить, уверенный, что это единственный способ поправить их ненадежный дом. Он со дня на день оставляет основное директорство и уходит в музейщики, еще не зная, что это сразу приведет его к пестрым музейным бабам с их неподъемным характером.

А город все ветшает, сыплется, тонет в грязи, умирает в равнодушии и тоске... И меня уже никак не хватает больше, чем на неделю, словно он душит меня. Даже воспоминания не утешают, и кажется, и на них ложится какая-то тусклая тень, так что впору и их спасать тем же бегством отсюда.

Поклон Марье Семеновне с Пашийской и Партизанской. Обнимаю Вас.

Ваш В. Курбатов

1994

22 февраля 1994 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Съездил я в конце ноября — начале декабря по морям и странам в опчестве, названном «Культурная миссия России», и было нас 520 душ, в том числе более 20 писателей — Солоухин, Залыгин, Розов, Окуджава, Чухонцев и два Вити были — Лихоносов и Потанин, а со мною дак и три, был Ваня Завражин из Липецка, большой знаток поэзии, и Миша Кураев из Петербурга был, очень это хороший писатель и человек. В каюте со мной зимогорил Алек-

сандр Михайлович Борщаговский, сперва он угнетал меня многословием и перечислением друзей во всем мире, а потом иссяк и все пошло нормально.

Денег у меня почти не было, поэтому я отдавался созерцанию, отдыху и трепотне с ребятами, поскольку до этого работал, разумеется, молча над второй книгой романа и очень устал. Побывали мы в Греции, Египте, Израиле и Турции. Посещение Иерусалима, Вифлеема, гроба Господня, Назарета и места Крещения Христа на Иордане произвело на меня успокаивающее, благотворное действие, и, вернувшись домой, я навалился с новой силой на роман, и вот сдал М. С. на машинку уже читабельный вариант, а М. С., бедная, первый раз в жизни взбунтовалась, говорит, больше не могу, такого тяжелого текста еще не печатала и печатать не могу, выдохлась. Да и я еще не писал такого тяжелого текста, и не все я вывез на гору и не сделал еще роман таким, каким хотел бы, но лучше не умею, не справляюсь со страшной задачей, какую сам себе задал, но и того, что есть, с меня довольно. Не скоро я примусь за третью книгу. Шибко устал, обескровился, надсадился.

Никто ведь с меня и с М. С. не снимал домашних забот, текучки, тревоги и нервотрепки. Плавая по морям, придумал я веселую детскую повесть. Это мне помогало и раньше, после блевотных «Снегов» *[имеется в виду роман «Тают снега», опубликованный в Перми в 1958 году и по желанию самого Виктора Петровича последние тридцать лет ни разу не переиздававшийся. — Сост.]* написал я между прочим «Дядю Кузю», а после «Царь-рыбных» надсад и терзаний — «Оду огороду». Заполнял и другими «легкими» опусами паузы, и это мне помогало собраться с духом, накопить сил для очередного штурма «высот», мною же нагребенных из российской политики, камня, грязи, слез и крови.

Великий умница и патриот Отечества нашего по фамилии Кузмин Валериан Матвеевич, убухавший на «миссию» вроде бы более 30 миллионов им где-то заработанных денег, поинтересовался под конец рейса — удалось ли нам и мне, в частности, отдохнуть. Узнав о том, что я придумал на корабле повестушку, сказал, что уже этот рейс и его немалые хлопоты и старания оправданы.

Дело за малым — осталось сдать книгу в «Новый мир» и, отдохнув в деревне, напечатать повесть. А тут юбилей надвигается — этакая страсть. Марья Семеновна грозится от всего этого залечь в больницу или сбежать куда-нибудь. Да куда же деться-то? И детки-подростки — тоже не подарок. И местные фашисты в лице тов. Пащенко и его связников по какому-то патриотическому русскому союзу шельмуют всех и вся, в том числе и меня, борясь за то, чтоб ничего не писать и ходить в писателях, а если и писать, то плохо, бездарно и отстаивать эту стряпню как величайшее достижение духовной, творческой и всякой другой мысли.

Я-то не читаю ни красноярской подворотни, ни «Дня» — донора и вдохновителя тов. Пащенко, хотя они просто воют, требуя ответов, полемик и всяческого к себе внимания — и здесь ты и Валентин Григорьевич хорошо пригодились. Печатая и перепечатывая из таких же боевых листков, издающихся на уровне стройбата, товарищей Зюганова и Проханова, с гордостью трясут Вашими умствованиями и духовными на «народную тему» напоминаниями — во, у нас кто попадается! Во, кто нас поддерживает!..

Валентин Григорьевич вон в «Правде» обвинил меня в том, что я оторвался от народа. От какого? Что касается «моего народа», то лишь в прошлом году я был на восьми похоронах, в том числе и тети Дуни Федоратихи, которую ты видел. Двоих из

восьми сбило машинами, остальные тоже по-всякому кончили свои дни, только старухи умирают своей смертью. Я бы рад от этого народа оторваться, да куда мне? Сил не хватит. И поздно, и места мне в другом месте нету, да ведь и страдаю я муками этого народа. Ну ничего, чувство мое сильнее яви, и я закончу роман, а тогда уж судите меня, подсудимые и больные, как Вам хочется.

Кланяюсь.

Виктор Петрович

23 февраля 1994 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за журнал! Роман *[Солнцев. — Сост.]* прислал мне его, и я уже отписал ему «рецензию». Отрывок из Вашей книги показался мне краток, но дал вполне ясное представление о размеренной силе дыхания и несуетливой твердости книги, которой еще не было в «Прокляты и убиты» (в первой книге). Или эти герои поокрепли, понавидались всего и стали жестче и ровнее — оттого и книга стала зрело уверенна. Во всех случаях, спасибо Вам за это спокойное, редкое теперь дыхание.

Что до тонкого предмета «фашизма», то тут мы с Вами не сойдемся. Ни Проханов, ни Пащенко никакие не фашисты. Они просто, может быть, не очень умные и через край честолюбивые люди, что и дает такие страшные плоды. Проханов, конечно, поумней и порасчетливее Пащенко и скорее сделает более верный выбор, а Пащенко замучается, ожесточится и кончит неудачником. Олегу я часто писал об этом, хотя, Вы знаете, он неприятен мне с первой встречи, с поры, когда Вы еще были друзьями. Он с той поры не переменился ни на йоту —

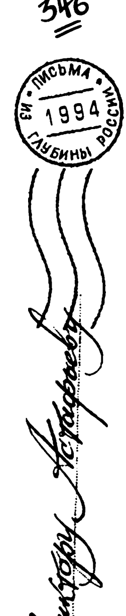
каким Вы его рекомендовали в Союз и опекали, таким и остался. А мне его жаль, потому что живое зерно в нем есть. Я уж не раз просил его расстаться с газетой и взяться за спокойный умный журнал, где не надо мельтешить. Но газета скорее утоляет честолюбие, и он вряд ли оставит ее. Ладно, Бог с ним!



А к Валентину Григорьевичу Вы несправедливы во всех обвинениях. Его часто искушают и сталкивают в ненужную сторону, но сам он остается по-прежнему чист душой и ясен зрением. Ему бы здоровья немного и он еще вернется к крепкой дороге и останется на ней самим собой, ровно независимый от левых и правых. Меня же не переделаешь. Я все время говорю то немногое, что чувствую, и не оглядываюсь на профиль издания, потому что знаю — единственный способ образумить тех и других одинаково нечистых, положим, «Литературную газету» и «День» (а я печатаюсь у тех и других с одними взглядами) — это говорить третью правду, которую некогда проповедовал Волошин: «молиться за тех и за других», потому что среди читателей того и другого направления есть просто люди, которые хотят слышать обычный голос «из хора», и с ними надо говорить на человеческом языке. Вы думаете, меня одни «фашисты» используют, нет, вот и Егор Яковлев в «Общей газете» премию дал за церковные статьи.

Впрочем, это я как будто оправдываться начал. Между тем я хотел сказать только, что мне тяжело видеть происходящее с нами со всеми, стыдно видеть родную литературу, в которой вчера родные люди собачатся, как враги, вместо того чтобы увидаться друг с другом и поговорить без посредничества подлых газет и телевидения.

Это, конечно, не может длиться долго. Обморок кончится, и нам будет стыдно глядеть в глаза друг



другу. И чтобы это кончилось поскорее, я готов стоять посередине, как и сотни других таких же дураков, и получать обвинения той и другой стороны. Как в «Дне» всегда приветствуют: «А вот и автор «Литературной газеты», прячь оружие!», а в «Литературной газете» — «А вот и автор «Дня», руки за голову!» И выслушивать удивление «Нашего современника»: «Как ты можешь печататься в жидовской «Юности». И раздражение «Юности»: «Пора уж бы Вам с фашистами-то и разобраться».

Бедные мы, бедные — когда же мы поймем, что это мы, мы, господа литераторы и журналисты, складываем и своих «фашистов», и своих «демократов», и спросится с нас, а не с них. Никогда мы, наверно, со времени РАППа так не роняли имени литератора. Опять повторяю — обе стороны одинаково.

По мне бы вовсе нигде не печататься — те и другие противны и ни одного чистого издания, которое устояло бы от соблазнов выбора, ни одного независимого издания даже в церковной прессе, да никуда уж привычки думать не денешь. А что используют — так кого теперь не используют? Одних — одни, других — другие. Но нам бы хоть самим-то в этом участия не принимать. Вы вот «Пеструху» Распутину посвятили, я вчера перечитывал ее маме, смотрел, как она плачет, и не мог ей сказать, что Вы с Валентином теперь «не здороваетесь». Она бы не поняла — и правильно бы сделала. И я не понимаю и не могу простить ни Вам, ни Валентину Григорьевичу. Не так, не так относятся друг к другу родные люди. Не по-русски это, не по-Божески, не по-людски.

Пошли Вам Господь здоровья. Все-таки это большое счастье — закончить книгу. А в храме, в эти Ваши 70-то лет поют на Пасху, как от века пели: «Воскресенья день и просветимся торжеством, и

друг друга обымем». Ах, Господи, пусть бы не обнять, но хоть бы не бесчестить.

Копите силы, Виктор Петрович — ох, чую, их много понадобится.

Поклон Марье Семеновне.

Ваш В. Курбатов



20 апреля 1994 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

С любовью и благодарностью поздравляю Вас с днем рождения! Как раз будет двадцать лет, как мы знакомы, и все эти годы были для меня неизменно связаны с Вами — трудом, радостью коротких свиданий, просто перекличек в письмах и дружеских оказиях. И часто я знал Вас подлинно родным человеком, с добром и бедой бежал к Вам первому. Спасибо, спасибо Вам, Виктор Петрович, и пошли Вам Господь здоровья и вопреки всему прежнего света, на который мы, бывало, слетались отовсюду и отходили сердцем от свирепости жизни. Мы и сейчас все вокруг Вас — даже и те, кто снесен течением общего безумия в сторону. Это умом в стороне, а сердце-то куда денешь. Я писал Вам, как В. И. Белов прошлым летом, когда мы прощались в Пскове, вдруг как-то без повода сказал: «Если бы Виктор сказал хоть слово, кажется, пешком бы ушел в Красноярск». И я уверен, что не он один так. К старости прошлое делается значительнее настоящего. И чем больше вокруг нас людей, подтверждающих наше минувшее, тем нам покойнее и тем наша старость светлее.

Я на днях завернул в Петербург, к Конецкому. Он полтора месяца не пьет и, как всегда в этом состоянии, по-детски ласков и печален, рвется рабо-

тать и тоскует, но не ожесточается. Просил Вам кланяться, нежно вспоминал Овсянку, бестолковость своего приезда, а на предложение написать самому обидчиво буркнул: «А чего он меня с 60-летием не поздравил!» Дите малое — он тогда был очень обижен общим молчанием. Познакомился я и с Валерием Гаврилиным. Он тоже просил передать благодарность и любовь. Портрет Ваш у него над столом рядом со Свиридовым. Душой тоже растерян и тоже не работает. Ездил, говорит, в Вологду, хотел родной землей подкрепиться, но только больше окаменел — смерть и вырождение. А старое его мы хорошо попели и так бы хорошо, когда бы и Вы рядом. Песня, она как-то скорее остального врачует и умягчает сердца.

Я в дни Вашего торжества буду в Москве, потом в Нижнем Новгороде на большом конгрессе «Культура и возрождение России» разглагольствовать на тему «Грех и культура», а сердцем буду с Вами, с Вами, с Вами...

Обнимаю Вас с Марьей Семеновной, низко кланяюсь за Ваше добро и неизменную помощь мне, скучаю и не оставляю надежды еще сойтись вместе в Чусовом, Красноярске, Пскове...

Ваш В. Курбатов

23 мая 1994 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

По журналам «Енисей» и «День и ночь» и по программе филармонии немного представляю тесноту и напряжение первых майских дней. Тем лучше представлю покой теперешних овсянских дней и понемногу прогревающихся вечеров.

А я катился в те же дни по Волге с ученым кон-

грессом и скоро устал от учености, от прекрасно одетого равнодушия к мимо проплывающим берегам, где церкви пока в каждом селе пусты и заброшены, где и сами села кажутся безлюдны — ни машина не пройдет, ни зевака не выйдет. Пусто. Целыми днями ни попутного, ни встречного судна — это на главной-то дороге России. Чайка одна в час вылетит откуда-то, сконфузится и пропадет. Вот где запустение-то особенно видно. А мы посередине, в уютных каютах винишко попиваем и потом хорошо формулируем для стенографистки свое домашнее знание. Одно было утешение, что за столом мы сидели с Никитой Ильичом Толстым и Сергеем Павловичем Залыгиным, да и на берегу не разлучались, а с Никитой Ильичом нет-нет да и засиживались в его или моей каюте за рюмочкой-другой. Тут он мастер счастливый, отрадный, утешительный, уютный. Наверно, не чета угрюмому прадедушке, с которым они минутами так похожи, что я готов был его Львом Николаевичем звать.

А в Москве свиделись с Валерием Гаврилиным, и Вы, поди, поикали всласть, потому что Ваше имя не сходило с его уст. Навестил я и приехавшего в тот же день Распутина. Он сказал только, что последние месяцы в Сибири убедили его в правоте Вашего взгляда на народ — ничего уже из этого теста не испечешь. Оттого он попробовал было еще рассказ написать в пару к своему слабому недавнему сочинению «Сеня едет», но написал, да сам в ведро и бросил, потому что понял, что никуда Сеня не едет и обманывать себя на его счет нечего.

Я собираюсь на съезд единственно с тем, чтобы повидать и своих барнаульских, и красноярских, и читинских, и вятских, и курганских товарищей. Другой возможности не будет, потому что съезд без сомнения окажется последним и покажет нашего брата совершенно уж в бесштанном виде, потому

что никто никаких резонов слушать не будет, а пожелает свою «правду» выложить всему миру.

Вас, конечно, и калачом не выманишь, а все-таки я краем сердца надеюсь — Вам-то тоже, поди, кого-никого повидать бы не лишнее. Да и издателям хорошо бы в глаза поглядеть, которые собрание на 3-м томе остановили *[Собрание сочинений В. П. Астафьева в 6 томах, начатое издательством «Молодая гвардия» в1991 году, после 3-го тома было приостановлено. — Сост.]*.

А в Новосибирске-то издают ли?

Сердечный привет Марии Семеновне. Ей бы теперь тоже в Овсянку...

Ваш Вал. Курбатов

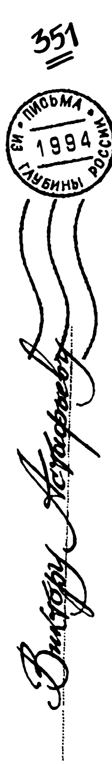
15 июня 1994 г.
Москва

Дорогие Марья Семеновна, Виктор Петрович!

Не стану оправдываться. Мне казалось, что всякое слово было взвешено и выговаривало не нравоучение, а одну мою потерявшуюся душу. Которая, как я чувствую, только отражает и общую смятенность читательского сердца, когда это выбитое из колеи сердце пытается удержать прежде дорогие и неразрывные писательские имена вместе. Конечно, многое переменилось необратимо, и иные раны уже незаживляемы, но расширять эту пропасть — дело неправедное. Я продолжаю со всей наивностью думать, что когда бы Вы однажды, простив все друг другу, обнялись, как встарь, это и было бы началом спасения. Не возвращение старого, оно ушло и жалеть о нем не надо, а преображение этого старого в совсем новое человеческое качество, рождение чего-то совсем нового (и именно из прощения рождающегося), чего еще не было на святой Руси и чего

она только ждет и ждет, десятилетие за десятилетием, и о чем молится.

Мы все доживаем какие-то старые принципы и традиции, а на дворе уже скоро не только столетие новое, а и тысячелетие, и коли мы хотим переступить этот порог по-людски, нам надо бы над собой какие-то усилия сделать, показать, что мы необходимость этого нового человеческого качества видим и делаем усилия как-то это качество приблизить.



Тут, на съезде, я окончательно увидел, что это утопия, что человек не хочет меняться, а уж русский писатель в особенности. Тяжело слушать это неустанное токование — об одном, об одном, об одном. И никто не хочет смотреть реальности в глаза, а только ищет возвращения тех времен, когда ему было хорошо, и все дальше валится в пустоту и ненужность.

Съезд был мертв, и смерть эта как-то засела во мне и не выходит, будто отравился. Одно было утешение — Валентин Григорьевич начал работать. Речь его на съезде была вполне старомодна, будто из старых цитат сшитая, а вот рассказ его я прочел в седьмом номере «Москвы» с большой радостью. Там и материал нов — городской абсурд власти, и язык, и способ мысли. Все еще очень робко, но с выходом в новое качество. И если это укрепится, можно надеяться — он вернется в литературу. Тем более он говорит, что впервые душа торопит в деревню, где начат еще один рассказ. Дай-то Бог!

Юрий Васильевич *[Бондарев. — Сост.]* опять начадил метафорами, присоветовал не быть нарциссами своих чернильниц и с ложным смирением сложил с себя полномочия, опережая позорное изгнание. И опять с пафосом, клятвами, призываниями... Тлен, разложение, смерть...

Вот почему я и надеялся, что Вы когда-нибудь, поверх съездов и вне организаций, сами за себя и по

чистому велению сердца сойдетесь однажды где-нибудь в Овсянке или Тимонихе, или Аталанке и ничего не будете выяснять, кроме того, кому как пишется. Теперь уже знаю, что не увижу этого, и оттого мало верю, что родина наша выпутается из случившегося без еще большего позора, и — что хуже всего — я совершенно уверен, что всем вам будет хуже писаться и реже будет настигать радость от писания и, значит, все меньше будет света в сказанном. А без света этого мы не жильцы.

Ну, это я опять в пророчества пошел — заразился духом времени.

Простите, если что-то сказалось обидно. Я тоже живой человек и коли что болит, то и не удержишь. Только всегда и впереди всего я люблю Вас, каждый день в храме и дома я молюсь о даровании Вам сил и это уже навсегда до скончания века.

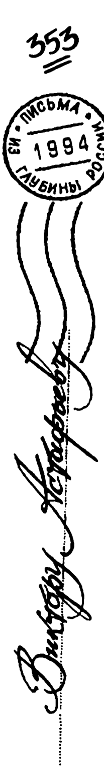
Ваш В. Курбатов

8 июля 1994 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Из письма Марьи Семеновны я понял, что принес Вам много огорчений своими публичными выступлениями последнего времени. Простите, коли так. Я со своими «мирными инициативами» и деревенской привычкой искать непременного мира между исключающими друг друга людьми уже не раз получал от обеих сторон соответствующие внушения, а то и болезненные тычки. Так это, очевидно, и должно быть. Ничего, кроме вреда, такие попытки насильственного сближения не приносят. И умом-то я это понимаю, а сердцем вот хочу невозможного. Все хочу остановить время и навсегда остаться в днях, когда мы были молоды и едины, ра-

довались друг другу и считали, что так будет всегда. Ан нет, видно, мы просто прятали друг от друга какие-то оттенки или по слепоте не видели таящихся в глубине поводов к расхождению. И коли подумать как следует, то это и естественно. Всяк человек на особицу, а уж который сочинитель — просто обязан видеть мир по-своему, и это только наша крестьянская общинная традиция, протянувшая свои законы и в литературу, и общественную жизнь, опасливо ищет единомыслия, чтобы чуть чего — выбираться миром. Но, видно, пришла пора и нам чего-то в основах своих менять и позволять себе глядеть на мир, не озираясь на единомыслие соседей.



Мы только вышли в эту дорогу, получается еще плохо, нервов приходится изводить несчетно, но никуда не денешься. Не все же за спинами общины отсиживаться, пора и свой ум наживать. Дело это затянется, потому что тут уж кровь говорит, генетика, но, похоже, никогда назад не вернется. И большой литературы в ближайшее время это неизбежное разбегание не принесет. Тут надо будет (для большой-то литературы) дожить до времени, когда это новое в кровь войдет, приживется, а это у нас скоро не делается. Обо всем этом я начинаю думать после всего, что успел написать о Вас и о других, после всего, что перемолол в душе без возможности перекинуться словцом с людьми, глядящими в ту же сторону.

Пока мы все лагерями ходим, что вместо общины уж больше шайки стало напоминать, и мысль у нас не работает, а мучается. Я много нового читаю, все ищу, куда будет выводить эта новая русская кривая, но пока что-то не вижу здоровых-то плодов — все больше в цветы исходит. Всяк сам норовит процвести, а в рабочие пчелы охотников не найдешь — ни хороших редакторов, ни крепких литературных середняков, ни чистых будней, которые и служат такими пчелами. Еще стало понятно, что время —



всем нам соавтор и сегодня оно соавтор плохой — непременно просунет в текст какую-нибудь мерзость, о которой ты и думать не думал.

Еще раз простите, если умножил Ваше одиночество — сам все в тоске метался, не знал, как из себя выбраться — вот и хотелось вместе, а выходило все дальше. Любовь-то не всегда бывает умна.

Здоровья Вам и Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

3 августа 1994 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Я в курсе, что Марья Семеновна писала тебе. Что-то вы, чусовляне, подзаболели нотационной болезнью. Маня уж не может и часу прожить, чтоб не сделать мне или Польке замечание или дать руководящее указание, задача ее усложнилась в связи с тем, что третий член семьи находится в армии и ему там ценных указаний дают предостаточно.

Самое худое наследство большевизма — это вот желание всех чему-то научить, указать правильный путь, совершенно при этом забывая, что указующий и воспитующий невольно себя ставит выше всех, принимает позу пророка и вещуна. Я уже не раз говорил тебе, что по причине отвращения к большевистским нравоучениям с раздражением воспринимаю и все Христовы поучения, которые тоже были придуманы людьми, много о себе понимающими, естественно, что в конце концов надоели мне и твои нравоучения, особливо когда они писаны не для меня, а по поводу меня в газетках и журнале, пусть и «Москве».

Но сейчас мне совсем недосуг рассуждать на эту тему. Болея, я бился со второй книгой, забросил для

ознакомления один вариант в «Новый мир», а сам решил отдохнуть после бурного юбилея, ан не тут-то было! Открыл как-то рукопись что-то поправить, и понесло меня, а тут юбилеи — Игарки, Енисейска, какие-то события, как-то: приезд Солженицына ко мне, в Овсянку, приезд Ельцина в Красноярск, но я не прекратил работать и вот узнаю — «Новый мир» начал сдачу романа, и десятый номер ушел в печать, так я решил хоть одиннадцатый и двенадцатый догнать и поучаствовать, предложить текст более совершенный и избежать тех нелепостей и недоразумений, что произошли с первой книгой — там ведь нет половины двенадцатой главы, не говоря уже о «мелочах».

Билет у меня на столе и хоть дорого, хоть накладно, 8-го лечу в Москву. Свалю гору с плеч — отдохну, постараюсь до зимы за стол вплотную не садиться. Усталость такая, что аж шатает. Третью книгу раньше зимы не возьмусь делать, хотя вся она в башке выстроилась и есть все же набросок, аж страниц 800.

В остальном все более или менее. Летò в нашей местности снова хорошее, урожайное, хотя юг края и Хакасия выгорели от засухи. Марья Семеновна здоровьем еще больше сдала, бывает здесь редко, народ меня одолевает, но терплю, деревья в огороде сделались большие, кедры пышные, так что ниоткуда меня уже не видать, одиночество никакое меня не мучает, даже наоборот радуюсь, когда удается побыть с самим собой. От народа и рад бы оторваться, да передохнуть не удается. А народ становится все хуже и подлей, особенно наш, полусельский-полугородской, — межедомок ему имя.

У президента мы выпросили полтора миллиарда на культуру, и теперь хочешь не хочешь, приходится молить Бога, чтоб его не свалили коммунисты до той поры, пока он эти деньги нам не выдаст.

С Солженицыным проговорили около трех часов «без свидетелей». Вот это была беседа полноправная, с полуслова понимали друг друга, разночтений не было — Великий муж Александр Исаевич, Великий! С ним общаться нелегко, ответственно, но интересно и, надеюсь, взаимообогащающе.

Лето перевалило за середину, у нас много огурцов, ягод, появились грибы, в лесу колоссальный урожай ореха — держись, кедр.

Меж делами взял я подшивку «Литературной России» и прочитал про съезд. Экий все же товарищ Бондарев-то! Ну, Костя Воробьев не нам чета, он о нем еще молодом матерно отзывался. Да и другие тоже ничего. С удивлением узнал, что они меня все еще числят в своем союзе, сделали вид, что про заявление мое о выходе забыли, и получается, что я состою в одном союзе с Прохановым, Бушиным, Бондаренко, Бондаревым, Ивановым и прочая, а я с ними рядом и в сортире-то в одном не сяду. Боюсь, что и Валерий Николаевич (Ганичев) не наладит жизнь российских писателей — остарел народ, саморазрушился, не пишет и не поет, скорее богадельню надо открывать, а не союз, это заведение полезней и нужнее сейчас.

Ну, да время и Бог, глядишь, все исправят. И порядок наведут во всех рядах, в том числе и писательских.

Будь здоров! Недавно был тут у меня ученый-китаевед, который съездил на Урал, в том числе и в Чусовой, привез горькую весть, что Леонарда согнали с должности и «Огонек» осиротел, а Витя Шмыров организует музей на месте политических лагерей в Кучино...

Так вот и живем, если не бурно, то разнообразно хотя бы.

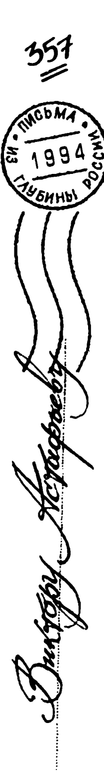
Кланяюсь.

Виктор Петрович

21 августа 1994 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Пытался дозвониться до Вас тотчас по возвращении из Франции, похвалиться хотел, ан все оборвалось на полуслове и уже больше не смог пробиться. А дома нашел Ваше письмо.



Простите, Христа ради, если где-то примерещилось поучение. Простите, что я не могу вот взять и замолчать. Это было бы очень по-нынешнему: годы и годы были люди близки, тут р-раз — и по сторонам. Это, может, у господ политиков хорошо, а нашему брату как-то не пристало. Слишком это было бы не по-христиански. Тем более — шепну совсем потихоньку — я вины-то своей и не чувствую. У Вас же и учился говорить то, что на душе лежит. Ну, а что померещилось... Вот только с чужого голоса я никогда не пел. Смолчать приходилось, а «коллективное мнение» выражать — нет. Я при всех расхождениях сначала буду дружество беречь, а уж потом частности выяснять. Горе, конечно, что частностей этих уж очень много, но, слава Богу, и терпение у меня не последнее — понемногу разберусь. Конечно, самое-то простое было бы сесть друг против друга, да уж через десять минут и позабыть все, как дурной сон, но... И я уверен, что именно из-за этой невозможности приехать друг к другу порвались многие связи и разошлись сердечно необходимые друг другу люди. Но это уже профессия, видно, без этого наш брат никуда, хотя пора бы уж край-то знать и не падать.

Конечно, хотелось, чтобы все было как встарь, но, видно, древний грек Гераклит был прав и в одну воду дважды не войдешь. По себе уж вижу. Сколько разорвалось, казалось, незыблемых дружб и как-то все незаметно, по словцу, по недомолвоч-

ке, а набралось — на полные разрывы. Теперь вот после Франции этих разрывов прибавится, потому что много чего я там понял и к русскому человеку существенно охладел.

Я пока все укладываю в душе французскую поездку, братьев-католиков, их вполне русскую тоску по здоровью и единству церкви. И как нам верилось, что это общее помрачение пройдет и не мы, конечно, и не внуки наши еще сойдутся у алтаря. У нас бы это, наверное, мечтательностью показалось, а там, как проедешь по земле, где храмы VII и VIII веков, то и поймешь, что история менее тороплива, чем мы грешные, и она умнее, спокойнее и рассудительнее нас. Ей два-три века — не время, и она спокойно сводит нас и внуков в одно целое и уходит дальше, к более разумным нашим потомкам, хотя поверить в этот наш разум уж очень трудно.

Боюсь, что после этой поездки я вовсе разойдусь со своими лжеединомышленниками, с их мертвой агрессивностью, в особенности тяжелой оттого, что они как бы дневную и вечернюю душу выучились иметь — одну для общественного пользования, другую — для внутреннего — и как-то не путают их. Особенно скверно то, что делят литературу с церковью. Это опоздавшее юродство, эти нынешние «старцы» и «блаженные», к которым нам рекомендуют припадать. Пока хватит сил, я с этим пришепетыванием не смирюсь и «святой» матушку Русь в ее нынешнем, да и прошлом вековом виде называть пока поостерегусь. А похоже, что основное-то противостояние скоро на эти поля перейдет, и из церкви начнут строить бодрую идеологию. Ох, недуги наши, недуги! Хотел о спокойном и сердечно светлом поговорить, а уж будто и нельзя — тьма не с той, так с этой стороны зайдет и непременно постарается тебя ожесточить и своему «странному господину», как зовут Дьявола в канонах Пасхи, передать.

Мы-то хоть этого злого племени пополнять не будем. Сердца нам еще много понадобится, потому что свету пока впереди не предвидится.

На церковь тамошнюю поглядел, какие там недуги. Тоже всякого хватает.

Русскую эмиграцию не видел и не хотел видеть, даже и нарочно все пять недель от возможных встреч уклонялся, потому что мне и тут этих «тоскующих по святой Руси» разговоров через край хватает. И тут меня этот скулеж извел. И я хоть и без языка, с одним словарем, но кидался к французам, и с ними мне было полегче.

Теперь вот сяду переваривать и что-то в себе поправлять. И поправлять, похоже, придется много.

Особенно мне там понравилось, как помнят первую войну — в каждой деревне, в каждом городе солдатик-памятник стоит, и все имена (и на памятнике, и в храме) перечислены. Народ на памятниках все простой, без натуги, как окопные ребята у Ремарка или у Барбюса. Никакого героизма — грустные, усталые, намаянные. Я, кажется, даже понял, почему они так своего Де Голля любили — он один за всех них вернулся и был всем братом, мужем, сыном. И знал это, и вел себя так, и этих ребят с памятников в обиду не давал, и сам их не забывал.

Хорошо, оказывается, жить в стране, где есть нормальный президент и парламент — можно своими делами заняться — домом, детьми, работой, зная, что те что надо сделают, чтобы ты тут себе башку не расшибал. Эхма... Жалко, что разминулись мы с Вами совсем маленько — Вы улетели днем, а я вечером прилетел. Уж я бы порассказал. Тут в письме-то средств мало, а там надо и руками размахивать, и глазами блестеть, и шептать, и выкрикивать...

Теперь вот отдохну, дела запущенные поправлю и в Чусовой надо ехать, с квартирой разобраться,

Постникова навестить — может, и помочь можно чем при обступившем его бесстыдстве.

А Шпигель-то! Роман-то! Наследник — в Израиль укатил, шлет оттуда разные советы Постникову — как дела вести, как на плаву удержаться.

Кланяйтесь Марье Семеновне. Я и во Франции в каждом храме (нашем и католическом) о здоровье для нее Бога просил, и тут каждый день помню, догадываясь, сколько ей надо сил даже и с одной Полькой. Пусть простит меня, если чем огорчил. Это уж у нас любовь в России так проявляется, что иногда хочется, чтобы любили поменьше.

Ваш В. Курбатов

21 августа 1994 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Пришло твое письмо, уже второе, и «Вечерний Красноярск» привезен, где сокращенно дана наша беседа. Я уж боюсь читать всякие беседы о себе и эту газету опасливо развернул. Вроде бы ничего, большой отсебятины нету. А то ведь вот уж и в кандидаты в депутаты чуть не попал. Заезжал в гости М. Н. Полторанин, попросил поддержать блок Рыбкина на выборах, а так как ничего приличнее я в той шатии не вижу, то и согласился поддержать словом и пером Рыбкина, а газетиры сразу за узду и ну поскакали на просторы блудословия, им привычного. Ведь и телефон знают, и ломятся в дом, когда не надо, а тут и позвонить, уточнить им в тягость, знай, блуди, лепи слова на бумаге, повод приспел.

А я тем временем ушел больницу — перепады температуры невероятные. Днем +35, ночью, от воды, спускаемой ГЭС, +5, и меня разморило. Надел на голое тело кожаную куртку и в огород ягод по-

щипать, с сорняками побороться. По потному телу поддувает-холодит, ну ночью на «скорой» и умчали чуть тепленького. Неделю пролежал, искололи всю жопу и руки, чтобы помнил, что легкие гнилые и не рыпался, а потом моя врачиха, Ольга, в отпуск пошла, а я в Овсянку вернулся и теперь прею в тельняшке, когда и телогрейке, боясь и малого ветра.

А М. С. заканчивает ремонт, сметя все деньги со всех счетов, даже и с детских, ибо квартира-то была очень запущена. Сама она едва живая. Ребята приехали в отпуск, маленько ей помогают. Позавчера, 19-го, исполнилось 7 лет со дня смерти дочери, побывали на кладбище, завтра, 22-го, у М. С. день рождения, я поеду чаю попить, ибо уж кроме чая ничего нельзя. Это я при тебе еще орлил, а сейчас уж совсем усмирел, даже и на берег реки не хожу, хочу подкопить здоровья и в начале октября двинуть в Индию, в рериховские места. Художники рисовать туда ездят и меня с собой сулятся взять.

Народ у меня тут разный бывает, так, недавно занесло сына Грэхэма Грина, интересный, очень веселый мужик. У него родовой замок на севере Англии, я и спрашиваю: «Где лучше-то, в Овсянке или в замке?» — «Овсянка лутче. Замок — это дорого и скучно».

С тем и остаюсь.

Твой Виктор Петрович

20 сентября 1994 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Давненько уже твое письмо лежит перед глазами, как и других с десяток, но меня, как завело весной в вертящееся колесо, так и вертит. Такой уж, видно, год выпал — вертеться. Ездил в Москву, почти вы-



нужденно ездил. Прошлой осенью в поездке по морям и странам я спросил у Залыгина, как в журнале с прозой? И он бодро ответил: «А хорошо! На год есть». Вот я весной, едучи из-за границы, засунул в журнал компьютерный набор «Плацдарма» с надеждой, что в редакции его с толком, чувством, с расстановкой прочтут, дадут мне заключение с замечаниями и я, благословясь, за зиму подготовлюсь к публикации в 1995 году.

Тем временем рукопись прочли Саша Михайлов (он бывший командир роты саперов, критик хоть и «тихий», но чего-то в литературе мерекающий) и генерал один толковый прочел. Оба они сделали замечания, подали толковые советы. А я в Овсянке выспался, отдохнул малость, и нечего, думаю, ждать-то у моря погоды! Давай работать и довольно-таки изрядно подправил рукопись, и Маня из последних сил впечатала вставки, где и подпечатала, где и допечатала.

Сижу или, точнее, колесю по Сибири — юбилей Игарки. Хорошо посидел на берегу Енисея с удочками, полежал в лесной избушке брата. Правда, началась жара, а она лихая в Заполярье, потяжелей морозов. Но зато зацвела лесотундра! Разом вся, ибо весна затянулась и соединилась с летом единым цветением. Боже мой, что это за чудо! Я-то уже подзабыл, да и смотрел на чудо такое привычно, двумя, но незрелыми оками, а тут... Тут я еще раз вспомнил грустные слова Жени Носова о том, как бессильно слово перед могуществом красоты природы.

Затем был юбилей города Енисейска, грандиозный, с русским широким запоем, с крестным ходом по подметенному и подкрашенному городу под звон колоколов и хряск бутылочного стекла о камни на Енисее....

Уже собрался в Овсянку, но не успел там обопнуться, как свалилась на меня киногруппа из С.-Пе-

тербурга. Оказывается, в гуле и суете юбилея, я, чтоб отвязаться только, пообещал осенью поучаствовать в съемках док. фильма «По следам «Царь-рыбы», и вот поехали мы, полетели по Енисею по осеннему на рыбнадзоровском катере — красота, покой, родная природа, и если б камеру не совали в рыло, было бы хорошо. Но киношники-документалисты народ настырный, свое дело сделали и рыбки дивной — тогунка — вместе со мной маленько поудили, и за рябчиками сходили. Осень у нас снова хорошая, способствует уборке урожая, ибо и лето в наших местах было хорошее (юг выгорел, и в краю сгорели несметные пространства леса), и все бы ничего, да моя Марья все уж вроде перенесшая, плохо переносит разлуку с внуком, а тот, не то шантажируя нас, не то в самом деле, сулится из родной армии сбежать или застрелиться. Коли то и другое в их рядах происходит нередко, да и дошел он за три месяца, комнатный мальчик, до ручки, вот бабушка свалилась, лежит в больнице. Я бегаю, справки достаю, чтоб вызволить парня из армии, и, как плохую скотину в плохую погоду часто срать тянет, так меня во дни бед и напастей — писать. Сейчас вот взяла за горло, держит, давит, от себя не отпускает маленькая военная повесть...

Полторы-две недели, и я бы выкрикнул черновик, разродился, опростался чревом. Я с Полей дома один. Маня маленько очухалась, а то ведь падала и сегодня с поддержкой внучки пришла на два выходных домой. Сейчас полезет в дела, я знаю, руководить начнет. Да и руководила бы! Из меня хозяин худой.

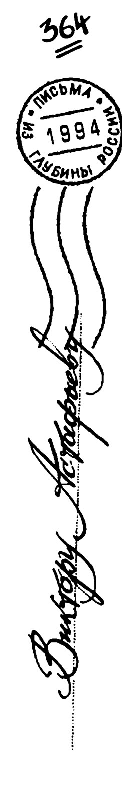
Ну, Бог даст... Надо бы рассказать эпопею с изданием сибирского собрания моих сочинений и как я был в гостях у Андрея Золотова, слушал музыку, его слушал, и это было лучшим моим временем и подарком мне в Москве. Надо бы и о панихиде Ле-

онова написать, да Марья пришла и надо с нею хоть посидеть на кухне, а то ведь, неровен час, подумает, что я и не рад ей, и обидится...

Словом, до свидания! Здоровы все будьте!

Твой Виктор Петрович

P. S. А в Овсянку я все же попаду, чует мое сердце, и повестуху накатаю. Симпатичная по замыслу, повестуха-то.



4 октября 1994 г.

Дорогой Виктор Петрович!

У нас осень явилась со всей календарной аккуратностью — прямо 1-го сентября. Дожди почти ежедневны, и душа сразу потемнела, и пестрые парижские праздничности быстро выцвели и потускнели под родным северо-западным небом, которое Вы хорошо помните по Сибле (там небо «пониже», чем в Вологде, и повиднее). И мама у меня как-то сразу съежилась и погрустнела и чаще вспоминает Чусовой, над которым, как она теперь уверена, никогда не заходит солнце. А я гляжу в сторону Овсянки, где, вероятно, тоже все отсырело и Вашим легким все труднее переносить этот отволгший потяжелевший воздух.

Сибирь медленно задергивается для меня занавесом Урала. Редко-редко долетит случайное письмецо от Володи Шапко, от Коли Гайдука. Разве Володя Башунов пишет почаще, но и у того письма короче, короче... Роман Солнцев, видно, остыл к журналу (если журнал еще держится) и уже не спрашивает — нет ли чего своего или чужого. Вообще умолкли. Не знаю, кому ставить в вину эту осиротелость — большевикам, меньшевикам.

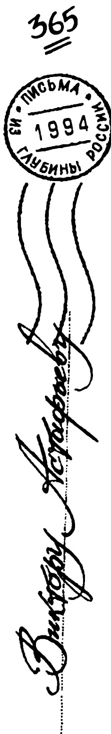
Съездил в Петербург. Зашел к Валерию Гаврилину, с которым мы очень сошлись после смерти Юры Селиверстова. Потерян, одинок, замкнут, не

знает, куда голову преклонить. Чистая душа, держится разве за такого же одинокого сейчас Г. В. Свиридова. У обоих ни записей, ни изданий, ни конкурсов — ни хоров, ни оркестров — всяк сразу со сцены начинает. Живут все туже, скуднее, темнее. Навестил и Виктора Викторовича Конецкого. Лежит. Ходил только открыть дверь — ноги высохли, чистые палочки, и расстояние до двери уже почти неподъемно. Трезв, печален, твердит о смерти. Оживляется только, когда я напоминаю ему, что еще надо отпраздновать 300-летие русского флота. Тут он вспыхивает, орлом оглядывает карту над диваном.

— Сделаем кругосветку. Возьму гранит, мрамор, возьму толковых ребят-специалистов, поставим по всему Северу памятники последним настоящим морякам: Лаптевым, Вилькицкому, Челюскину, Серову... А по югу пойдем на атомных лодках, в Арктике, в Антарктиде, позовем своих Беллинсгаузенов и Крузенштернов... Последний парад...

Тут же и мне находится место в экипаже... И, опираясь на меня, чуть ковыляет к двери прощаться. Я обнимаю его кости и храбрюсь как могу. Просит кланяться Вам и Марье Семеновне, что я с радостью и делаю.

Ваш В. Курбатов



23 октября 1994 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Совсем ли вернулась Марья Семеновна из больницы или «на побывку»? И что, Витьку-то обещают отпустить? Дело, конечно, не в том, что он мамин или бабушкин и домашний. Крепости ему хватит, да совесть, слава Богу, бережет его от перехода в «кру-

тое сословие» тех, что сейчас определяют существо армии. Политрук-то, может, и сволочь, и Мать-Родина больше мачехой отдает, но все-таки это хоть что-то и держало, а когда ни Родины, ни идеи, а «иностранного» Бога еще никак в нашу армию не зачислишь и со священством еще все в сослагательном наклонении, то, конечно, побеждает сильнейший и право на стороне кулаков и бесстыдства. Военные лагеря тут начинают смыкаться с лагерем строгого режима. «Казенная сказка» Олега Павлова (про которую и я Вам хотел написать) еще вполне романтична, там еще людей полно, а уж нынче солдата не «сказочные» капитаны Хабаровы берегут. Не везде, наверное, так — есть и человеческие островки, но в большинстве, кажется, плохо. А он еще, наверное, и года не служит и полегчает ему не скоро. Да и Полина, наверно, одна-то похуже себя чувствует?

Завидую Вашим спутникам по енисейским поездкам. Если Вы были здоровы и хоть немного спокойны, то и жизнь вокруг была светла, и питерские ребята возле Вас подкреплялись. А коли еще и красота вокруг, и дни благословенные, то на минуту можно и в твердое чистое будущее поверить и, как в лучшие дни, человеком себя почувствовать.

Я уж свою Францию позабыл, как предутренний сон. Теперь вот собираюсь в Иркутск на какие-то «Дни» *[речь о Днях, посвященных памяти Александра Вампилова. — Сост.]*. Звали и летом на день всех святых, но то было на епархиальные деньги (а они, как ни ряди, в основе своей из «лепты вдовицы» состоят) и не поехал — не на то баушки в храм свои копейки несут. А вот теперь вроде на административные, а эти как бы и из моего кармана, так что вроде свое возвращаю. Хочу с Сибирью проститься, с Байкалом — когда еще Господь приведет — скорее всего, как ни копи, уже не накопишь. А оттуда

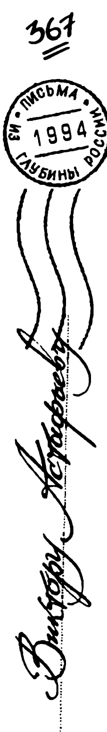
намереваюсь прямо в Пермь — повидать Широкова с Тумбасовым (у этого уже второй инфаркт, и в мастерскую ходить не разрешают), а там — в благословенный Чусовой, квартиру мамину продавать. Она хоть и рвется еще иногда туда, но уже понимает, что силенок нет, что доехать, может, еще доедет, а уж пожить нет. Ну вот, чтобы уж искушения не было — надо развязаться. Однако чую уже, что и у себя какую-то живую жилу рву и еду с неохотой.

Церковь нашу многотерпеливую Леонард Дмитриевич наконец набрался решимости освятить, так что она пока хоть и не станет регулярно служить (некому, кадров нет), но уже как случится заезжий поп или как начальство епархиальное кого пришлет, уже можно и послужить. А там, глядишь, и приживется. Я вот третьего дня в лагерь строгого режима у нас под Псковом ездил — тоже не думал, что что-то удастся с задуманной там часовней. А вот вышло — «элемент» работал на совесть, иконы писал (Богородицу уж писал такой красоты, что сказать нельзя), так все брал «под лак», что глазам больно. Ну вот и служили с ними как умели, и читали они сами что положено, и после без конца все «про божественное» говорили. И видно, что у некоторых это уж и зацепилось, и росток не сшибешь, и они среди шпаны стоят на удивление твердо. Хотя, конечно, пока никаких тюремных священников. Только бы кто не спятил и не пошел по-русски снова одним махом решать, жизнь бы и зажила, и затянула рубцы, и прижилась. Эхма, так и качается — от тоски к надежде и наоборот.

Поклон Марье Семеновне!

Пошли Господь успеха с вызволением Витьки. И повесть-то в себе не переносите — переношенная-то не лучше недоношенной. Осень-то еще, наверно, постоит теплая — можно и в Овсянке посидеть.

Ваш Вал. Курбатов



368

7 ноября 1994 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Во время юбилея подарил мне один тип, мой старый добрый приятель Миша Литвяков из Петербурга, ручку, и я возьми и опробуй ее, а ручка такая оказалась, что сама пишет, даже и думать не надобно. Ну куда тут графоману деваться? Тем более что М. С. дошла до ручки, залегла в больницу, а как она угадывает в больницу, меня бросает какая-то спасительная сила, скорей всего, Господня, за стол. Так уже было, когда она умирала в пермской больнице от энцефалита, а я лихорадочно писал рассказ «Ясным ли днем» (с которого и началась твоя любовь ко мне). В другое время, в другой обстановке детки-подростки, не понимая беды, на нас надвинувшейся, как с цепи сорвались, и мне бы их смертно бить, а я их изображал на бумаге с явной симпатией. Они, поузнавав и отгадав себя на бумаге, возликовали и ненадолго задумались, а я тем временем цап Марью свою, да в лес, в Быковку, где она и оклемалась, слава Богу, однако ж и из полуживой М. С. они, детки, довольно попили уже шибко подпорченной клещом крови, да и я тоже.

Ну вот и тут то же, остался я с Полей один (Витька в армии мается), хозяевал тут и на пределе сил писал повесть, которая виделась маленькой, с названием «Дорога на фронт», но в процессе работы этак называться стала первая часть, вторая часть «Дорога с фронта», а вся повесть теперь называется «Не надо крови» *[окончательное название повести — «Так хочется жить». — Сост.]*. Заключительная, минорная третья часть называется «Лунный блик». (Есть у меня маленькая «затесь» с таким названием, так вот весь ее аллегорический настрой и смысл сделался заключительным аккордом в жизни слав-

ных и несчастных русских людей, мужа и жены, попавших после войны аж в Красновишерск!)

Вся повесть в моем любимом размере, т. е. размер «Пастуха и пастушки», для нее я вынул из третьей книги романа «Прокляты и убиты» целую линию, и еще попутно вынулось два рассказа, потому как только набросок третьей книги составляет почти уже 800 страниц, а я в «Плацдарме» и с 650 страницами большие муки принял. Роман начал печататься, и никакой радости у меня от этого нету, пришлось сокращать семь листов, резать по живому, многое успели зарезать без меня, и теперь я вижу, что под нож попало, как водится, самое живое, коегде и логики никакой уж нету. Сергей Павлович *[Залыгин. — Сост.]* с журналом уже давно не справляется, уходить бы надо — остарел, но, говорит, замениться некем. В журнале ветер гуляет по комнатам, а я был в тот момент, когда Валентина Ивановна, секретарша, была в отпуске, а без нее уж и вовсе никто ничего не знает и никто ни за что не отвечает.

Один раз я до того устряпался, что ноги сделались ватные, в голове трезвон и плакать хочется. Позвонил я старому знакомому Андрюше Золотову, он меня забрал домой, я там полтора часа поспал, потом мы супчику поели, сосисок пожевали (жена с дитем были на даче) и пошли смотреть и слушать фильмы о Мравинском, о Рихтере и под занавес уж, совсем маленько, о Тосканини. Наговорились, нашептались, навспоминались, и это помогло мне одолеть остальные дни в гнусной столице.

Ну, а повесть вылупилась из давно задумывавшейся книги «Рассказы на госпитальной койке», однако ее время я пропустил, часть материалов использовал в романе, часть их благополучно померла, но некоторые, как пепел из моей печки овсянской, жгут сердце. Вот и дожгло!

Вернулась Марья Семеновна из больницы, за стен-

ки держась ходит, Поля ее водит в больницу, хозяйничает, как может — почта, магазин, мусор и весь дом на малой девчушке (которая, впрочем, вымахала на голову выше бабушки), а я, эгоист, предатель и еще не знаю кто, смылся в деревню и бросился за стол.

Погода третий год подряд (Господь милостив к нам и дарит урожайное лето) являет длинную солнечную осень, которая, дойдя до ноября, без канители уперлась в зиму и перешла под снежный покров. Все было за меня, за повесть, и я ее начерно закончил, причем черновик, вижу я, не раздрызган, не запутан, писано все на одном дыхании, потому-то и цельно, и без ужимок художественных, а остальное после машинки видно будет.

Марья Семеновна тем временем поднялась, бродит по дому, стирает, варит, и сама попросила печатать повесть, хочу, говорит, узнать, чего у тебя там. А я и рад, а то куда бы, к кому бы я со своим черновиком-то делся? Пусть я и волшебной ручкой пишу, но, как видишь, почерк от этого не улучшился. Будучи в деревне, средь выросшего на огороде леса, я думал о твоей вести о дождях, от которых маме твоей Чусовой уже раем кажется, а Андрей из Вологды сообщает о том же, и ежился. Я ведь из Вологды рвался еще и из-за гнилого климата и правильно сделал, что покинул гостеприимную, милую, но сырую Вологодчину. Давно бы уж сгнил там, а здесь еще и рюмаху когда подниму, и работаю еще и по дому, и за столом, да и прочих дел навовсе не кидаю.

Но сейчас-то вот уж не до хвастовства. Я ведь хотел после «Плацдарма» с годик ничего не писать, да вот не себе принадлежу-то. Давление, бессонница, нервы на пределе, левая рука немеет, но налажусь, непременно налажусь. Надо бы съездить хоть в ближний санаторий передохнуть, поколоться, воды попить, но уж не могу больше М. С. на произвол нонешней жизни кидать, не на кого. Из Овсянки

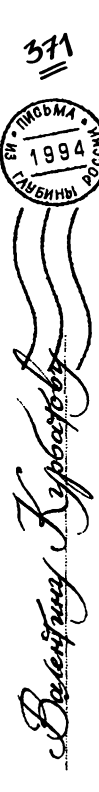
каждый день звонил, в случае чего (спаси Бог!) рядом нахожусь...

Ну, всего, что накопилось, мне в одном письме не изобразить, да и силы все роман забрал, будь он неладен. Меня уж пащенковцы сулятся истребить за «неправильное отражение жизни любимого народа». Нашли чем пугать! В энтой современности так тянет иной раз скорее сдохнуть, что и хорошая погода не помогает. Видно, доживу я и до нового пришествия Красной сатаны, вот уж этого-то я не переживу, это ж значит, мы все, умники и борцы за свободу, в лужу пернули, только пузыри и вонь возбудили! Т. е. зазря с больной головой истязали себя, трудили организм свой изношенный, хлеб горький ели и жалкую свою долю и жизнь на алтарь отечества этого разнесчастного клали?!

Нет уж, пусть резвятся тогда и рукоплещут сатанисты и спасители народа без меня, а я не хочу видеть, как будет часоветь Россия и ее несчастный народишко в последних судорогах, мордуя друг друга, захлебываясь последней кровью.

Что-то совсем у нас с Марьей Семеновной оборвались всякие связи с Чусовым. Как там? Что с Леонардом, его все-таки доели, изжевали или нет? Напиши маленько. Я как-то, после последней поездки на Урал, вовсе остыл к нему, хотя Женю Широкова повидать хочется (прислали мне тут его интервью в «Звезде», стареет Женя, миротворно и печально разговаривает, а печаль все же признак мудрости), но Маня моя тоскует по Уралу, где ей по здоровью больше уже не бывать, и, может, от этого понимания тоскует, пытается со мною говорить о прошлом, а что со мной говорить? Я-то дома, да и об Урале мало каких воспоминаний в сердце осталось, особенно светлых, а ей же светлые нужны, она ж любит эту родную землю. Ну, обнимаю.

Виктор Петрович



16 ноября 1994 г.
Псков

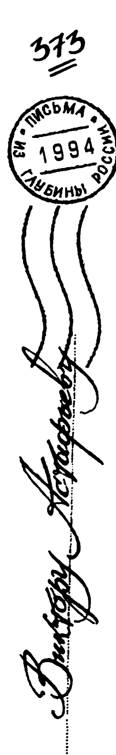
Дорогой Виктор Петрович!

Как много поместилось в Ваше письмо — труды и дни, как звали прежде нормальное течение жизни. Я за это время съездил в Иркутск, где было по-разному, но чаще хорошо. И хорошо прежде всего тем, что наше стройное патриотическое «движение» оказалось совсем не стройно и не согласно, и всяк уже норовил возразить друг другу, и лучше погрешить против идеи, чем утолить недоговоренность сердца. Это, говорят, потом было и в Орле, где деление было еще острее и резче. Это должно было случиться неизбежно — куда русский человек без сердца. Повоевали и поняли, что пора возвращаться к письменным столам, где голова с сердцем часто оказываются не в ладах. До настоящего вразумления еще далеко, но в воздухе уже слыхать. Или это только мне кажется, но, похоже, все-таки нет. Вижу хоть по тому, как все чаще писатели стараются отгородиться от «Нашего современника» и «Дня», а про «Молодую гвардию» и просто молчат, как про общее стыдное место. Ничего — так все потихоньку и отстоится: муть осядет, чистое посветлеет, и они перестанут смешиваться.

В Перми было сыро, тускло, одиноко. Зашел к Тумбасову — он потихоньку выбирается из инфаркта, ходит с опаской, говорит — будто оглядывается, боится и думать про работу, хотя без нее совершенно потерян. Явился и неизменно бодрый Роберт Белов, рассказал, как у Вас братался с Горбачевым и как они условились, будто Ноздрев с Чичиковым. Широков неизменен. Цветут вокруг юницы — полная мастерская, пишут обнаженную натуру. Жизнь старого профессора вполне академична. Ну и, конечно, не без патриотизма. Но это как-то больше

для уличного пользования — на вынос, так сказать...

А Чусовой совсем махнул на себя рукой — грязь и разрушение как-то выедают его, вытачивают. Леонард Дмитриевич, молодец, освятил церковь, снял про это хорошее кино, но что делать с этой церковью и со своим православием, пока не знает. Надумал отделяться от спортивного комплекса — он ведь теперь директор только «художественной части» и за каждой копейкой ходит к своему бывшему ученику — новому главе «Огонька». И, конечно, для самолюбия это нож острый. На вторые роли он годится плохо. Вот и решили теперь два берега Архиповки поделить. Я ходил к главе Чусовской администрации убеждать, уговаривать. Тот тоже растерян (из мастеров ЧМЗ), сложился в «наше время» и «по-нашему». Ничего в новой реальности не понимает и эту растерянность даже и скрыть не умеет, так что, поди, долго не насидит. Вроде склонился к тому, чтобы взять музей Леонарда Дмитриевича под городское попечение и финансирование. Но это еще и перерешено может быть сто раз. Погибал Леонард Дмитриевич от долгов строителям, но, слава Богу, на днях «хитрые евреи» все ему оплатили, повредив цельности его мировоззрения. Теперь глядит вперед посмелее. Я продал мамину квартиру и отрезал ее чусовскую пуповину. Манатки (от «ковров» с лебедями до буфета и стола и половиков) забрал на «Огонек» Постников — «будешь как домой приезжать!», остальное раздал, любимые мамины пустяки сунул в багаж и привез в Псков. Сам отрыва не чувствую, потому что в этой квартире и вообще в Новом городе не жил, а старый стоит, как стоял. И Ваш домишко все администрация намеревается у жильцов выкупить и уберечь — все остается, как было.



Только отец с карточки на кладбище глядел так, будто на подоле висел или ноги обнимал. Не отой-



ти. Словно чувствовал, что отрываюсь. Это было самое тяжелое из поездки. Маме уж не говорю.

Прочитал два номера «Плацдарма». При всех ощутимых разрывах и сокращениях, размывающих время повествования (оно все рвется и никак не строится в ясную последовательность, несмотря на корректировку глав «день первый, день второй...»), никакой эпизод нельзя вынуть без того, чтобы время не поползло в швах. Но при всех утратах видно, как роман ширится и матереет (простите за опасный глагол). И он же яснее всего обнаруживает, как изломалось русское время вообще. Как будто написанное Вами и не в 44-м году происходило, и не в России, и «великая река» не Днепр, а Стикс или Лета, и земля эта — Троя: так мы оторвались от самих себя, от того строя сердца и мысли, от идеи и корня. Представляю себе, как ломает это Вас во время писания, потому что сердце не может жить сразу в двух несмыкаемых временах. Тут еще надо мне думать и думать.

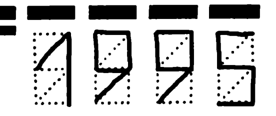
Книга неожиданно оказывается судьей этого расползшегося времени именно потому, что люди страдают и гибнут в какой-то совсем нечеловеческой истории. И иногда кажется, что и никаких авторских отступлений не надо, а все самой кровью, и бытом, и смертью лучше всего говорится.

Мучительно жалею, что сижу далеко и не могу уже сейчас заглянуть через плечо Марьи Семеновны в черновик Вашей новой повести. Что-то я там предчувствую очень важное и очень существенное и для Вас, и для вообще происходящего сейчас в литературе. Ну, да что теперь тосковать — не полетишь. Не птица.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Пошли Господь ей и Вам сил, сил и сил!

Ваш В. Курбатов



ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ • ПИСЬМА • 1995

Виктору Астафьеву

26 января 1995 г.
Псков

Дорогие Мария Семеновна, Виктор Петрович!

Ну вот, мама не утерпела Вам написать после прочтения книги Марии Семеновны *[«Знаки жизни», Красноярск, 1994. — Сост.]*. Каждый вечер мне все пересказывала: то плачет, то улыбается и не может нахвалиться. «Вот книга так книга! Прям душа успокаивается. Уж и наплакалась — как слова-то все правильно сложены, и Лысьва-то и Чусовой, и вот это ровно про Зойку, у которой и отца так звали, и брат был Николай, а это про Нюрку...»

И видно, что читает и боится, что книжка кончится и разлучит ее с похожей судьбой, с близкими людьми и с Чусовым, по которому она тоскует, как путные люди вдали от Родины по Овсянке тоскуют. А я вот все хочу летом съездить, а то все осенью да осенью, и оттого город в моих снах грязен, темен, запущен, а про Углежженье с заводскими отвалами шлака даже во сне не смотрю — настолько там все уже стало бесчеловечно и страшно, как после чудовищной катастрофы — ни одного живого клочка земли. И речки все исказились — не узнать ни Усьвы, ни Вильвы, ни Чусовой. Надо повыше от города забраться, чтобы живую-то воду и живые-то берега вспомнить.

В Чусовой-то бы она, конечно, птицей полетела, тем более от нашей каждый день меняющейся зимы, умудряющейся за день всеми временами года побыть, но сил уже совсем чуть-чуть — от электрички в гору-то, пожалуй, уж и не залезла бы: ходит потихоньку, но, слава Богу, топчется, подружек нажила полон двор. А я гляжу на нее да радуюсь — и каждый день праздник!

Про литературу позабыл. Собирался было на Славянский Собор, посвященный проблемам современного православия, чтобы высказать там все, что я об этом деле думаю (а тут одни болезни — в православии-то — и все болезни, попрятанные в надежде, что авось не увидят), но архимандрит Зинон категорически запретил мне — нечего, говорит, мученического венца раньше времени искать — декоративные казаки отлупят вместе с патриаршими иподьяконами и опять свои ложные парадности и славословия продолжат, словно ничего и не было. Однако, письмо я Ганичеву обо всем, что думаю, написал и понимание предмета изложил, хотя и сам вижу, что путного из этого ничего не выйдет. Сядут обсуждать вопрос светские молодцы, которых в

храм на веревке не затянешь, если это будет обычная деревенская литургия, где их никто не увидит. Это все декоративное лужковское православие имперской закваски вроде закладки храма Христа Спасителя. Ладно, Бог нам всем судья.

Здоровы ли Вы? Вернулся ли Витька?

Чеченские программы и смотреть боюсь.

Храни Вас Бог! Здоровья Вам и сил!

Ваш Вал. Курбатов

6 марта 1995 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Письма от тебя нет-нет, да и достигнут меня, но отозваться на них все недосуг и недосуг. Опять болела М. С. и опять очень тяжело (видно, в этом возрасте болезни, что полегче, не про нас писаны и не для нас предназначены). Уволокли на носилках, в реанимации две недели пролежала, в палате немного, ныне дома, за стены держась, ходит, но уже дает ценные указания, командирничать принимается, значит, восстает. А я боялся, что на этот раз все...

Я же все бумагами шуршал, заканчивал новую повесть, потом редакторша из «Знамени» прилетела, дожимали, правили и пр., повесть идет срочно и досрочно в четвертом номере «Знамени». Тем временем подоспела пора прокомментировать собрание сочинений, которое из раскорячившегося издательства «Сибирская книга» забрало одно московское издательство, надеясь на помощь спонсоров, причем могучих, но они, спонсоры, пить чай-кофе и даже водку — пожалуйста, обещают все — пожалуйста, а потом просто на звонки издателя не отвечают или отделываются подачками и новыми обещаниями. Люди, повторяю, высокого полета, так чего уж говорить

о просто чиновниках, о просто гражданах. Тут тех, кто скурвился, даже и не порицают, даже и наоборот.

Но я все же написал комментарии томам к восьми, остальное «в голове», и если даже издание не состоится, а так оно скорее всего и будет, комментарии мои все же останутся, и меньше за мной останется вранья и отсебятины. Кстати, статью твою Роман сдал в № 6 «Дня и ночи», журнал вроде бы на выходе. Статью я прочел и понял, что это еще не все, и прошу тебя подождать с продолжением, роман неловко сокращен и печатан не по последнему варианту. Кто тут виноват, сейчас уже разбираться не стоит, но моя вина главная. Роман будет печататься в четырнадцатом номере «Роман-газеты» и выйдет в издательстве «Вече», как обещают, ко Дню Победы. А первую книгу вместе со старыми повестями напечатало, и довольно симпатично, это же издательство. Словом, наступил март, а у меня только-только посветлело и я хочу отдохнуть и разгрести почту, а то уж пробовал в обморок падать, да в неловком месте, на кухне, по пути задев поврежденной стороной лица и головой все предметы, начиная с плиты и кончая раковиной. Лицу и башке не привыкать к биению, а колено вот болит до се.

У нас, как и в прошлые три года, сияет февральско-мартовское солнце, теплынь, и это значит, что в мае будет снег и холод.

А в остальном жизнь, как и везде — смутно, неуютно, грядет вспышка фашизма, который тлел в загнете русской печи и мы его, всякий в меру своих сил, сохраняли, а когда и раздували, то шаля и заигрывая с так называемыми родными подельниками, то молча и равнодушно глазели на него, а кто и грелся от угольков-то.

Наверное, все-таки мы сами виноваты во всех наших бедах и злоключениях, нам и гореть в фашистском кострище, если все же не опомнимся и не

начнем с ним не то чтобы бороться (где уж нам уж...), а хотя бы противостоять соблазну пополнять его озверевающие стаи.

Посылаю тебе заметку из «Общей газеты» Егора Яковлева, газеты антирусской, настроенной против всего, что «за нас», и в поддержку всего, вплоть до Дудаева, что готово погубить нас, умыть кровью. Скажи им, что они заодно с русским фашизмом, обидятся ведь и начнут тыкать пальцем в полосы, где порой явно, но больше чуть скрытно торжествует «свобода слова» прохановского понимания и толка.

Умер еще один мой родственник, муж сестры Кати, мужик под два метра роста, сознательную свою жизнь проработавший в доке грузчиком и сгнивший от небрежно сделанной операции грыжи. Отравились зельем и повымерли мужики вокруг моей избы в Овсянке, в том числе и румяный, косолапый и здоровенный мужик Миша Еремеев, одни Семка и Витька Юшковы живут, бьют — один бабу свою, другой — старуху мать, их и отрава уже не берет, а Семку и тюрьма уже не страшит, та же битая и резаная им не раз баба и выкупает его из тюрьмы.

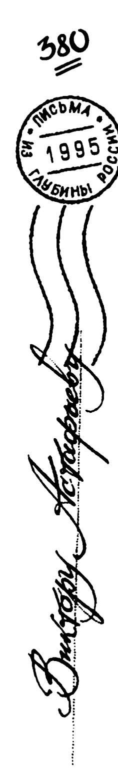
Письмо мамы твоей я относил Марье Семеновне в больницу, она когда очухается, думаю, напишет или уже написала ответ. А пока сидит или лежит и приводит в порядок альбомы, письма и документы своих и моих родственников, бередит и без того надсаженное сердце. Да что ж делать. Я уже видел в свалках, под берегом Енисея, деревенские «дела» и картинки, да и она видела всякое, вот и не может оставлять родных людей без призору.

Бог и за это пособит ей, поддержит так стремительно убегающую ее жизнь, нужную и нам, живым, да вот и мертвым необходимую.

Крепко и преданно обнимаю.

Виктор Петрович

20 апреля 1995 г.
Псков



Дорогой Виктор Петрович!

С днем рождения! С Днем Победы! Спасибо Вам за рождение Ваше и за Победу! И пошли Вам Бог здоровья!

Вам теперь этого здоровья много надо, а после публикации новой повести *[«Так хочется жить», журнал «Знамя», 1995, № 4. — Сост.]* и еще больше понадобится, потому что ожесточенных на Вас людей еще прибавится — Кащенко-то (Пащенко) Вам как-нибудь простят, а вот с Рвановым (Романовым) будет сложнее — ему строят лицо не в одном Красноярске, а и наши вот даже, псковские, ревнители государственности на него ставят. А уж в Овсянке, поди, все подчистую за него, как за товарища Щетинкина, так что и в деревне Вам бабы будут больше с пустыми ведрами навстречу попадаться. Крепко Вы взялись одиночество свое строить. И не доедешь до Вас, чтобы разделить его — теперь окончательно такая нужда пропала, потому что, как я ни упираюсь, а больше двухсот тысяч никак у меня в месяц не зарабатывается [Ах, цифра-то — песня! Теперь бы так! — *В. К., 2002 г.*]. И это в лучшие «звездные» месяцы, а так сотня-полторы — вот и весь «приварок». Уж и в Москву готовлюсь, как в старое время готовились — откладываю по копейке. И уж забыл, когда в купейном вагоне ездил — смирился до плацкартного. Жизнь заботливо возвращает на исходные позиции, к достатку чусовской Больничной Горы, к Дому холостых (помните такой? — теперь там Дом культуры). Оно для смирения-то и ничего — нечего по Москве-то и шастать, да вот только друзей-то хотелось бы видать почаще и к родным душам заворачивать, когда их прижмет. В другое-то время я бы уж у Вас сто раз побывал, и все наши «противоре-

чия» мы бы уж давно разобрали и все узлы развязали, а вот поди...

Мне тоже в родной писательской организации все труднее — тяжело мне слушать своих «коллег». И с журналами все тяжелее. «Москва» все натягивается — с Крупиным никак не сойдемся — все уже на волоске. С «Нашим современником» давно разошлись. А ни к «Октябрю», ни к «Знамени» душа не лежит — какие-то они уж очень «литературные», безжизненные, словно за границей выходят. Некуда крестьянину податься. Ну, да чего об этом. Будет день, будет и пища.

Здоровья и здоровья Вам, Виктор Петрович. И Марье Семеновне — здоровья и сил. И с праздником Победы ее! Спасибо вам, родные, и простите, коли что не так.

Низко вам кланяюсь.

Ваш В. Курбатов

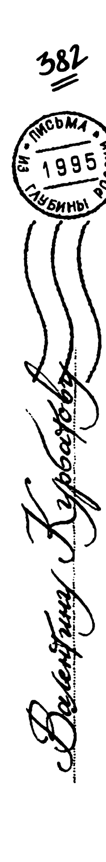
18 мая 1995 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Телепатия есть — я недавно подумал, поди-ко нонче Курбатов приедет, подрядит его кто-нибудь. Я сейчас в деревне, отсаживаюсь в огороде. А потом, в конце мая, отскочу в Енисейск, спрячусь на даче у своего дружка возле той самой речки, в которой ты когда-то купался. Кемь она называется.

Тут меня достают по любому поводу, да все с выпивкой чаще, а я уж кроме чая ничего бы и не пил. Все еще не отделался от усталости, не выспался, не восстановился нисколько.

Ты можешь приезжать в июне в любой срок — если я буду в Енисейске, подъедешь. Я оставлю все телефоны и адреса. Хоть помолишься за нас, греш-



ников, побеседуешь с отцом Геннадием и со мной пескарей половишь. М. С. с благоговением встретила твое сообщение о приезде. Если меня дома не будет — поручу тебя встретить Витьке — внуку иль друзьям-приятелям.

На этом кончаю. Завтра у нас день тяжелый, «день молитвы и печали» — дочери-покойнице исполняется 47 лет, и уже 8 лет нету ее с нами и с детьми, а дети, сам увидишь, какие уже большие. Полю горе организует и заставляет жить уже взрослой жизнью — вся тяжелая работа по дому, магазин, почта, больница на ней. Ну да все увидишь и узнаешь. Печальная она бывает очень, видимо, осознавать начинает, что ее ждет впереди.

Ну ладно, обнимаю.

До встречи.

Виктор Петрович

11 октября 1995 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Экой ты прыткий! И во мне прыть еще прежнюю подразумеваешь, когда я на рыбалку, иль с ружьишком мог избродить 30 верст и еще на какое-никакое дело годиться. Нет, брат, я еще летом поймал себя на мысли, что все идет как-то чересчур уж без бед, встрясок и приключений...

И вот почти уже полтора месяца в больнице с воспалением легких, и на этот раз воспаление-то в раненом легком: на субботу я к Володе в баньку сходил. Никто, никакая «скорая» в Овсянку не едет, литература опять же помогла. Два мужика с правой стороны Енисея, услышав вызов и отказы диспетчеров, сами приехали за мной, забрали, привезли. Забрали меня в полубеспамятстве, все осталось в доме,

даже адресная книжка, и М. С. отправилась в Овсянку с Полей вместе, порядок навести, убрать, что валяется, и на обратном пути в автоаварию попали, и Мане левую-то «рабочую» руку сломало, а Поля ничего, слава Богу, ушиблась и испугалась только.

Ну уже ничего, М. С. сняли гипс, она ходит на массаж и ко мне на свидания приходит. Так золотую, солнечную осень я провел в больнице, что-то на этот раз шибко духом упал, пробовал писать хотя бы «Затеси» иль письма — не выходит.

Сейчас меня обследуют — держится температура на 37, чуть побольше, поджелудочная железа, печень, желудок шалят. Завтра за реку еду на какой-то аппарат — будут меня просвечивать. Домой так пока и не знаю, когда попаду, а здесь я уже с 3 сентября.

Получил от Постникова письмо и фото Щуплецова-мальчика, из Перми получил письма и узнал о праздновании 60-летия писательской организации и что чусовлянин Олег Селянкин умер. Из старой пермской гвардии один Роберт Белов стоит, как гранит! Да еще Коля Вагнер, дай ему Бог здоровья.

Посылаю тебе обрывки из отрывков, напечатанные в «Красноярском комсомольце».

Хотел в Иркутск на дни священника Меня слетать, но не столь уж само событие манило, как охота побывать в Иркутске. Уже прислали мне материалы из Иркутска. Ну, они молодцы, что затеют, завсегда на хорошем уровне проводят.

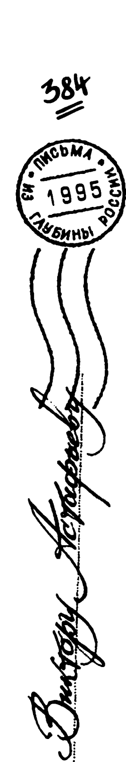
Обнимаю тебя, добра и здоровья желаю.

Виктор Петрович.

А что со «Сменой»-то получилось? Ты им скажи, чтобы хоть журнал-то мне прислали.

Еще раз поклон.

В. П.



20 октября 1995 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Да как же? Вроде все так начиналось, и лето обещало покой, отдых, рыбалки и охоты. И еще август вроде бы ничего, и Вы с Андреем куда-то ездили. Там-то, поди, и нахватали простуды. Известно, мы в чужих краях позабываем о возрасте — кровь наша горяча, силы немерены... Но теперь-то хоть похоже, что скоро выпишетесь? Самое, конечно, славное время — ни в деревне, ни в городе места себе не найти — такая разливается тоска за окном и в сердце. Разве у хорошего человека в теплом доме на печке жаловаться друг другу на жизнь, на вой ветра, на непрестанный дождь. Да и Марье Семеновне тоже бы хорошо в чужой теплый дом и на печку, а не по кухне мотаться, не думать, чем накормить Полину и Витьку. Но, видно, это только в старых книжках усадебный покой, бабушкин сад, хорошо протопленные печи и вовремя приходящие соседи — с чаепитием, воспоминаниями, покоем. Уж не жили с молодых лет по-человечески, видно, нечего и начинать. Не про нас это писано.

Спасибо за вырезку из «Красноярского комсомольца». Хорошо иногда ткнуть себя в такие свои умствования. Пока выпимши говоришь, кажешься себе и глубок, и умен, а потом взглянул на печатные-то буквы и видишь, какой ты дурак и суеслов. Сто раз зарекался какие бы то ни было интервью давать, потому что всегда результат одинаков, но все неудобно гордецом себя выказать, отказать неловко — вот и расхлебывай. Правда, когда издание поближе, я выправляю текст и порой до слова переписываю, а вот когда далеко, там получаешь по заслугам и в полный рост.

«Смену» Вам обязательно пришлют. Журнал еще

не вышел. Они получают тираж в самом конце октября. Во всяком случае, обещали, что пошлют. Да и я напомню, потому что через неделю поеду собирать московскую дань. Давно никто ничего не платит — поеду и буду ходить по редакциям — авось кого и устыжу.



Денек побыл в Петербурге — ездил представлять одну белогвардейскую книжонку. Собрали разных лжедворян и якобы графов на крейсере «Аврора» и в кают-компании читали разные «Ананасы в шампанском». Я злился, орал, что их мало били и будет хорошо, если побьют еще раз — когда-нибудь и научат, что «ананасы в шампанском» и один-то раз добром не кончаются, а уж во второй так и прямо требуют пинка в задницу (конечно, этому выражению я подыскал замену поприличнее для лжедворянского слуха).

Вообще жизнь в городе показалась насквозь притворной.

Хорошо поговорили вечер только с Валерием Александровичем Гаврилиным. Больной, глядеть тяжело. Переезжает в квартиру подальше от центра, где потише, потому что уже не может сочинять музыку. Глядит в будущее мрачно, почти безнадежно, и я весь вечер и часть ночи бодрился, искал хоть малые лазейки свету и надежде, вытаскивал запылившийся воз славянофильской аргументации о небесном назначении, о всемирной отзывчивости, о великом будущем. Его-то вроде на минуту подкрепил, а сам иссяк и всю ночь крутился в тоске, не находя места.

Поправляйтесь поскорее, дорогие Марья Семеновна и Виктор Петрович! Да уж и за стол пора — иногда под дождь-то куда как хорошо думается и пишется.

Пошли Вам Господь здоровья и покоя.

Ваш В. Курбатов

13 Заказ 4198

18 ноября 1995 г.

Дорогой Виктор Петрович!

От Вас опять давно ничего, а оттого, что последнее письмо было в больнице, то, конечно, и покоя нет. Да еще осень, слякотно, давление скачет вприпрыжку — поневоле забеспокоишься. Ездил тут недели две назад в Москву сдавать предисловие к новой распутинской книжке и пока укладывался, только головой качал — оказывается, первое, что написал в списке необходимых вещей перед поездкой — лекарство и очки. Скажи-ка сам себе об этом еще пять лет назад, только засмеялся бы.

Ан уж вот, подоспело время. Валентина *[Распутина. — Сост.]* нашел, слава Богу, относительно здоровым. Он даже расхрабрился и еще два рассказа начал после своего главного в последнее время «В ту же землю». Правда, только начал, а как оно еще пойдет, но все-таки переборол страх приступа и усадил себя за стол.

Походил по редакциям, поглядел в глаза неплательщикам — кое-чего выходил. Общее впечатление очень тяжелое. Все ютятся по углам, на задах банков и контор, в загаженных подъездах. А кто и в своих помещениях, то сселенных, как в революцию — в двух-трех комнатках, а то и в одной, как «Литературная учеба» (это из целого этажа!). И тиражи пошли — называть неловко. Зато все «Спид-инфо», «Еще», «Двое» и т. д. — те расползаются на полсвета. Скоро в нашем брате надобность совсем отпадет. Это они еще по старой памяти, по советской закваске литературу терпят и книжки печатают, но уже сквозь зубы — один расход от этих писателей, а прибыли никакой.

А афиши все веселее, все развлечься приглашают на все лады. Сплошное «ша-бемоль». Как перед потопом. Только и разница, что благоразумного стари-

ка Ноя нет. И некому заложить ковчег, чтобы потом опять потихоньку расползтись с Арарата. Нет, теперь уж решили окончательно отгулять и задернуть занавес. Заглянул в «Российскую провинцию», они все ждут Ваших размышлений о провинции. Терпеливый народ. Журнал делается все лучше. Я вот в третьем номере за этот год напечатался — ничего, весь номер вышел ладный и можно глядеть, не прячась. И следующие вроде поспевают ничего. И наша псковско-новгородская «Русская провинция» жива и раз от разу лучше. Последний номер хоть в Европу вези — шрифтами, версткой, цветной печатью, качеством материалов. «Дню и ночи» далеко до нас во всех смыслах. Только бы еще хватило сил и не задохнуться от безденежья.

Так все рука об руку и идет — совершенная смерть и совершенная жизнь. Только смерть понаглее и погромче и ее лучше видать, вот иногда и устанешь, и махнешь рукой. А подумаешь — так ничего, жить можно.

Сердечно кланяюсь Марье Семеновне.

Очень скучаю по Вам. Обнимаю.

Ваш В. Курбатов



27 ноября 1995 г.

Дорогой Валентин!

Не писал долго оттого, что хандрил, похварывал, или уж дохварывал после больницы, но понял, что уж не дохворать, силой заставил себя работать, для начала — доделывал два старых рассказа. Доделал. Марья Семеновна — рука ломаная у нее болит, но пытается усмирить и эту боль — один рассказ отшлепала на машинке и уличила меня в повторах. Видно, моя безотказная коняга-память начинает хромать и придется мне рассказы смотреть внима-

тельно и доделывать. Пока же они пусть отлежатся, а я стану делать давно задуманную детскую повесть. На роман сейчас моих сил не хватит.

Получил «Смену» — несколько экземпляров и еще раз убедился: печатанье отрывков, да еще из статей — дело совсем гиблое. Написано спокойно и даже грустно. Спасибо.

Вон еврееец Давыдов в «Независимой» всю затаенную, до гноя вызревшую жидовскую злобу выложил и, наверное, стал спокойней спать и лучше кушать. Я бы и не узнал об этом, да мой старый дружочек, Саша Михайлов, разгневался, дал «отклик», чего Давыдов и ждал, и прислал мне статью Давыдова и свою. Третьякова-то, совестливого русского мужика, в «Независимой» съели и вон с чего начали возобновлять газетку, как бы указывая, что наконец-то она попала в руки к своим.

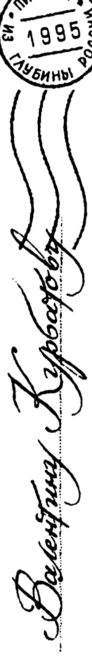
Я что-то притупился или уже перехворал, статейка меня как бы и не тронула, но любви к товарищам евреям не прибавила, хотя я и понимаю, что она для того и писалась, чтоб не только уязвить меня, но и поднять еще одно возбуждение эйдельманов.

Я сел и работать начал, а раньше б за топор схватился, рубить бы начал направо и налево. Чувство усталости — чувство тоже хорошее, умиротворяющее и обуздывающее.

Не знаю, писал ли я тебе, что еще в Овсянке прочел два рассказа Валентина *[Распутина. — Сост.]* в «Москве», порадовался, что он, как и Женя Носов, начал работать. Но рассказ мне понравился лишь первый, а второй — не его рассказ. Дважды он ступал на «шукшинскую тропу» — это в «Не могу» и здесь вот, в борьбе с бутылками, и получается у него не хуже Шукшина, но хуже, чем у Распутина. Все же Василий Макарович писал «покиношному» изобразительно, броско, смешно и, за малым исключением, неглубоко. Он потому и по-

шел в «народ», в переводы и нарасхват, что читать его можно и в трамвае, и в поезде, и на курорте, а лучший Валентин — это чтение трудное, к нему надо готовиться, очищаться маленько, может, как перед исповедью или перед трудной беседой... Надо взаимно понимать автору и читателю, что чтение сие — трудная работа и для читателя, хорошо подготовленного, крепко умеющего думать и сосредоточенно читать.

В «Современнике» рассказ его еще не читал — не попадает мне в руки «родной» журнал.



А Витя-то, Конецкий-то! Слышал я, бросил употреблять, отчего ехидство его и капитанская мощь только окрепли, и он в «Общей газете» радующимся, в постоянном торжестве пребывающим Михалковым так выдал, что будь они не закалены, зубы у них раскрошились бы! Я хорошо относился к Никите, как относился к удачливому, всегда у праздничного советского стола пребывающему Симонову, но торжества, Никитой учиненные, как-то шибко колебнули меня. То, что он вытворял, свойственно скорее посредственному провинциальному русскому купчику, читавшему псалтирь еще в бурсе, а настоящему русскому человеку всегда было и есть чуждо. Вот сейчас, каждый вечер, в дурацкой рекламе вместе с придурковатым артистом плавает Михалков-младший по окошку и так ли неловко видеть это.

Ну, да Бог с ним — время рождает символы и героев, на себя похожих. Вчера были с М. С. на выставке, небольшой, но очень хорошо отобранной к юбилею Сурикова, и как мне рассказали, как родственники Василия Ивановича обдирают нашу галерею, так мне уж совсем тошно сделалось.

А днями был у меня с двумя гостями (один, как видно, из КГБ, а другой из общества «Знание») Симонов Алексей Кириллович! На лицо вылитый отец, но говорит без картавости — учен, образован, собе-

седник умный и веселый, о папе говорит хорошо, больше с юмором. Хороший вечер провели. Гости, в особенности Симонов-младший, по выпивке папе уж не уступают! Приезжал он к нам защищать права человека. Сейчас, осенью, хоть дома не сиди — все ездят, говорят, чего-то защищают и зовут на собранья и съемки, и пьянки.

А я днями открыл памятник Чехову! Накануне прочитал в «Очарованном страннике» разгромную статью на Чехова, а утром, на берегу Енисея, на промозглом ветру красную ленточку разрезал и за шнурок дергал. А Чехова громит один русский поселянин, живущий в глуби Ярославской области. До этого он громил Достоевского, следующим, думаю я, будет Толстой или Пушкин, а может быть, и его земляк — Некрасов. Его ныне модно громить. Памятник хороший и какой-то вроде состарившийся, в черноте и пыли древности. Вот, думаю, до чего мысль в технике дошла! Ан все гораздо проще — Антона Павловича на брег осмотренного им когда-то и мудрым высказыванием классика осененного Енисея привезли в деревянном ящике. А ночью благодарные потомки ящик тот зажгли, а я-то, я-то возликовал — во как умеем! Во какая техническая и творческая мысля на наших культурно-освещенных берегах веет!

А вечером был бенефис оркестра нашего оперного театра — и такое дивное действо, такой волшебный вечер мы с Марьей Семеновной и Полькой провели, что хоть плачь от умиления! Ах, какие возможности еще заложены в народе нашем замороченном! Как многое ему еще доступно и не только в искусстве. Ему б только мешали поменьше, да Бог хоть изредка помогал. Да фашисты-коммунисты снова его б не сбили с толку! А ведь сбивают, и часть народа, особенно моего поколения, охотно сбивается. Ах, до чего же еще дитя, дитя незрелое в массе своей наш народ! Хоть плачь, хоть руками разводи.

Ну, рассказ сына Симонова о том, как развеивали прах папы и что из этого было, поберегу для другого письма иль для устного повествования — такая опупея, что я под столом ползал от хохота, когда Алексей нам сию историю рассказывал — всю Белоруссию, особенно могилевское начальство, да и московский ЦК чуть с ума не свел покойный Симонов своим никому почти не понятным завещанием...

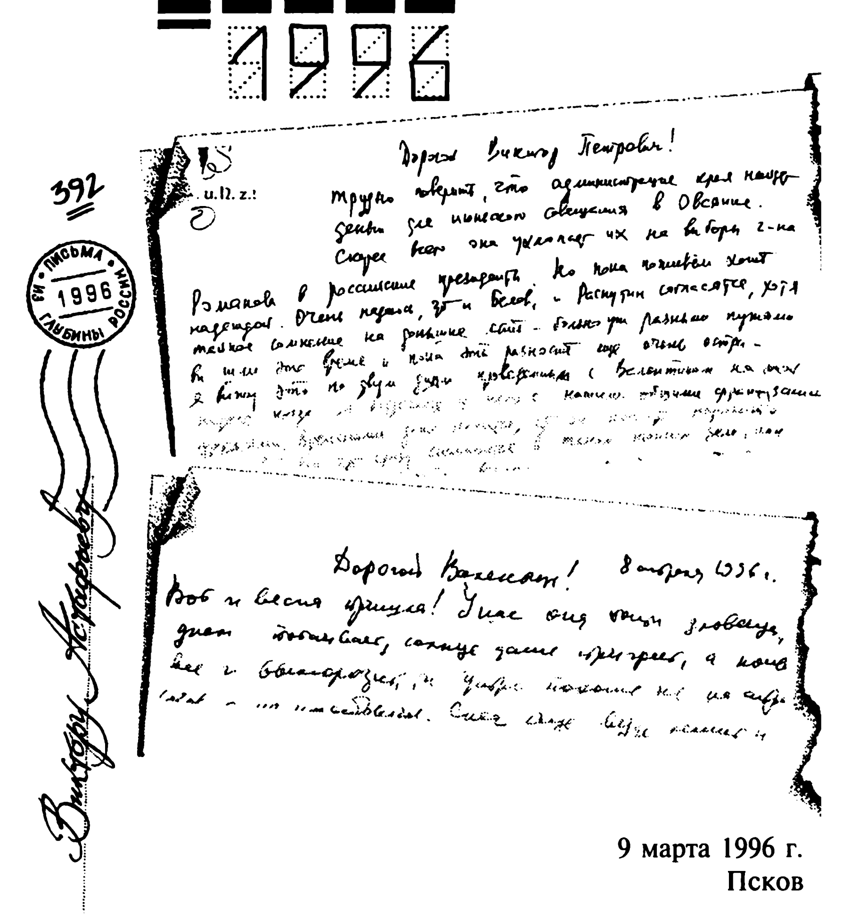
Ну ладно, пока хватит. Свадьба наша золотая... Как мы ни стремились, чтоб было бесшумно и малолюдно — не получилось. Ну и ладно! Помнит, значит, чтит близкий, временем проверенный народ, значит, надо терпеть и радоваться этому.

У нас Полина молодец! Не без легкомыслия и не без закидонов девица растет, но уж в тяжелые наши дни на ее плечики легли все тяжести по дому: она и в магазин, и на почту, и в больницу ко мне, иной раз и не единожды, она и варила, и блины пекла, и прибиралась, и бабушку жалела, как умела. Я в окошко больницы на нее смотрел, когда она одна-одинешенька в свободное от дел время часами качалась на качели, аж до неба! О чем вот думала ее головушка легкомысленная? О чем печалилась? Наверное, чувствует: каково-то ей будет без бабы и деда, а в особенности без бабы... Ох, как об этом трудно думать, без слез порою и невозможно. Но Бог и добрые люди помогают нам пока, и ради нее помогают. Я уж в сентябре должен был откочевать в мир бесконечный, а Господь Бог пока не отправил меня в это неизбежное путешествие, значит, так и Ему угодно.

Материально пока живем более-менее, пенсия ничего у меня, хорошая, гонорар еще зарабатываю, и люди нам помогают, понимая, что такое я тут, в Сибири, какракули пишущий. Ну и сам я помогаю кому и как могу, в меру сил.

Обнимаю! Маме, парням и жене кланяюсь.

Виктор Петрович



9 марта 1996 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Трудно поверить, что администрация края найдет деньги для июньского совещания в Овсянке. Скорее всего, она ухлопает их на выборы г-на Романова в российские президенты. Но пока поживем хоть надеждой. Очень надеюсь, что и Белов, и Распутин согласятся приехать, хотя тайное сомнение на донышке есть — больно уж разными путями Вы шли это время, и пока эта разность еще очень остра.

Во всяком случае инициатива Ваша драгоценна и, даст Бог, многое разрешится к лучшему. А то и правда останется у нас одна литература от литературы и постепенно выживет, вытеснит живое слово на окраину где насмешкой, где умолчанием, иронической похвалой, так что мы в конце концов останемся в библиотечном шкапу без окон.

Раньше нервничал и препирался, а потом понял, что мы просто говорим на разных языках и живем в разных отечествах и препираться с ними все равно, что писать критику на авторов «Русской мысли» или немецкого «Веча». К тому же они и их читатели все равно нашего брата не читают. Убедите-ка Вы какого-нибудь «куртуазного маньериста» или критика В. Новикова, что Рубцов — великий поэт, если они, нарочито задевая и тень Пушкина, называют его «солнцем русской поэзии» и торопятся повторять это из статьи в статью, чтобы кличка прилипла и не вызывала сомнений. С такими ребятами пора говорить в темном углу, как чусовские фэзэушники, а другого языка они не понимают — тоже ведь шпана, только «компьютерная».

Ну это-то ладно, а вот то, что Вы пишете — где почитать? Не печатали еще ничего? Из «Затесей», к примеру?

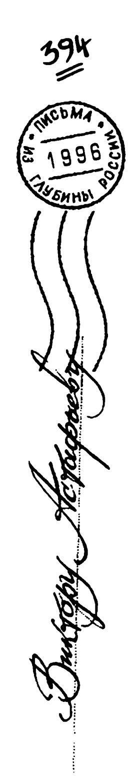
Валентин Григорьевич говорит, что два рассказа написал, но пока сырые и доработать нет сил — катаракта у него прогрессирует, головные боли изводят. Кладут его в больницу, а он упирается — в Иркутск рвется, на Байкал, куда вот-вот и подастся. Я тоже больше притворяюсь, чем работаю, хотя опять впрягся в «Москве» в ежемесячный дневник.

Сердечный привет Марье Семеновне и ребятам. Я молюсь обо всех вас, как умею, дома и в храме. Пошли Вам Бог здоровья и здоровья!

Ваш Вал. Курбатов



28 марта 1996 г.
Псков



Дорогой Виктор Петрович!

Растревожили Вы меня возможностью свидеться в июле, и я уж «собираюсь». Тем более «Роман-газета» просит меня написать предисловие к третьей части Вашего романа — они почему-то уверены, что Вы уже дописываете ее и что я уже все прочитал. Святые люди. Но написать-то мне и правда хотелось бы. А для этого, конечно, надо и прочитать, и поговорить с Вами немного, и интонацию найти. А она, интонация-то, в Овсянке скрывается и высматривается только из окна домика (это только кажется, что оттуда лучше всего сортир виден — Вы-то вон чего из этого окна понавидали, да и я уж там кое-чего написал).

Но опять чем ближе к лету, тем я увереннее думаю, что все деньги России уйдут на выборы — кто же знал, что мы так богаты не только полезными ископаемыми, но и президентами — экспортировать можем: хватит любой стране и любой системе и на любой вкус. А стране-то, может, для здоровья больше нужна была бы Ваша встреча в Овсянке с Беловым и Распутиным, чем президентские спектакли. Ну, Бог с ними — надежды все-таки оставлять не будем.

Вчера звонил Конецкому, веселый, матерится, но ничего не пишет, а только пьет и радуется редким гостям: «Вчера, — говорит, — был Гийка Данелия. Я обрадовался, и мы долго обнимались, как голубые...» Зовет в гости, а я уж и боюсь, потому что мой организм оказался похилее его и его норм не поднимает. Да и оказии все нет, а я уж теперь только с оказией езжу, билеты даже в Питер при моей «зарплате» кусаются.

А тут увидел «дневники» Нагибина, мелькнула

моя фамилия — оказалось, что я детдомовец и вырос среди мата и асфальта, а вот умудрился сохранить чистую речь. Так вот понемногу про себя все и узнаешь — от Вас, что родился в чусовской саже, а от Юрия Марковича — что детдомовец: не зря Давид Самойлов в своих дневниках предупреждал, что дружить со мной надо с осторожностью — действительно, мало ли еще чего может вскрыться в моей так удачно замаскированной биографии.



Давно не пишет из Чусового Постников. Пока он лежал в больнице, сгорела наша с ним гордость — церковь на «Огоньке». Такая была игрушечка — не наглядеться. Представляю, каково он это перенес и чего передумал. Ну и, конечно, какие пошли пересуды среди баушек чусовских, которые давно говорили, что нечего там безбожникам храмы строить.

Вы ему, будет минутка, отпишите. Ободрите немного.

Зная нерасторопность почты, тороплюсь поздравить Вас со светлым Христовым Воскресением! Пошли Господь Вам и Марии Семеновне здоровья и покоя, во внуках послушания, в работе — утешение. Христос Воскресе, родные мои!

Ваш Валентин

8 апреля 1996 г.
Красноярск

Дорогой Валентин!

Вот и весна пришла! У нас она почти зловеща, днем подтаивает, солнце даже пригреет, а ночью все и выморозит, и утро похоже не на апрельское, а на ноябрьское. Снег еще везде лежит, и проталины едва обозначились.

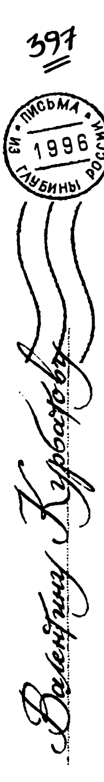
К весне я кое-как добил повестушку, что-то уж очень надсадно она мне далась, зато начало жизни

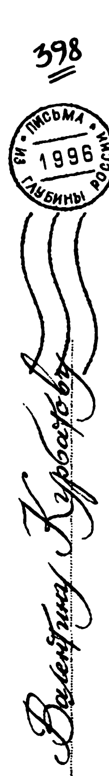
у нее ударное получилось, по почте в «Новый мир» пришла на пятый (!) день, тут же была прочитана (всего четыре листа, удобная рукопись) и поставлена в номер восьмой, если успеют, или в девятый. Ну и Бог с нею, пусть отплывет от моих берегов и прибьется к другим.

Но я ж без надсады жить не умею. Прислали мне тут альманах «Охотничьи просторы» с главой «Поминки» из «Царь-рыбы», и редактор попросил для справочника охотничьего написать что-то вроде справки, где, когда, как я охотился, с кем и с чем ходил, в смысле собак и людей. Я сразу же, пока повесть была на машинке второй раз, сел писать совершенно свободный, «безыдейный» материал и нахлестал два листа чего-то непринужденного, светлого, и чувствую сам, да и Марья подтверждает, что этот текст лучше получился, во всяком разе не столь натужно, как в повести. Там еще ждали в папке осенью написанные «затеси». Надумал и их доделать, чтобы в деревню отправиться «налегке», никакой работой не связанным.

Но прежде, чем я поеду в деревню и займусь огородом, заполню паузу тем, что побываю в Тарханах. Всю жизнь туда собираюсь, а тут оказия подвернулась, и со мною сопровождающий будет, все уже обговорено, от нас самолет ходит до Самары, а там машину пришлют и я хоть на Россию «изнутра», а не с окраины посмотрю. Хотя «центр России» обозначен в Красноярском крае и знак поставлен в Эвенкии, на озере Виви, все же по всем параметрам и, прежде всего, по морали мы со своей Сибирью, коей бахвалимся даже больше, чем вологжане своей «тихой родиной», были и остались окраиной Отечества нашего. Впрочем, по степени одичания и духа оскудения сейчас вроде бы все губернии сравнялись, цены на продукты кое-где разные, а дурь едина и неделима.

Должен тебе сообщить, что парни чусовские, прежде всего друг моего сына Андрея, Витя Шмыров, пробили-таки идею свою и в районе Кучино сделали «мемориал жертв политических репрессий», даже комплекс целый соорудили и через меня осуществили заказ на наш алюминиевый завод на какие-то подставки, меня же пригласили стать членом совета музея и приглашают в июле на первый съезд или слет и, поскольку неподалеку от мемориала, на речке Боярке, у них есть уже что-то вроде гостиницы, так, может, и соберусь, ибо и сына туда пригласили. А он, бедный, болтается у нас без работы и без зарплаты. Ему, с его щепетильной и ранимой натурой, это очень тяжело. Все и облегчение, и роздых побывать у нас, и мы с Марьей зовем его, деньжонки тут у нас случились, так уж эту-то поездку как-нибудь вытянем. А овсянские библиотекарши работают и хлопочут вовсю, осуществляя мечту о конференции, которую разумно перенести на август, когда закончится вся дурь с этими проклятыми выборами. До того все это надоело, что уж самой идеальной формой нашего существования приходится считать ту, что прежде была — выборы для фокуса и обмана, а все остальное назначается и распределяется «по воле и желанию народа», от отца народа, т. е. секретаря ЦК, и до председателя сельсовета. Ну не умеем мы, не научены иначе жить, и вся эта демократия русскому народу, что корове скаковое жеребячье седло. Он и сам, народ-то, словно телок, всю зиму, от самого рождения в хлеву проживавший на гнилой соломе, попав на весеннюю поляну, не может понять, что это такое, солнцем ослепленный, простором напуганный, не знает, то ль ему брыкаться и бодаться начинать, то ль спокойно пастись, щипать травку. Лежал всю зиму под теплым брюхом мамы-коровы, тянул ее усохшие сосцы аж до крови, и уютно ему в хлеву было, и без-





опасно, и тепло. А тут эвон чё, на волю выгнали со слабыми-то ногами, без практики и желания жить на воле и самому кормиться...

А Конецкий, говоришь, гуляет. Молодец! Завидую! Кажется, в конце мая, в начале июня есть мне возможность слетать в Петербург, так, может, и слетаю, прежде испытав себя в поездке до Тархан, а то что-то я совсем расхлюпался после тяжелой осенней болезни, чуть чего и легкие ломит, и сразу на душе темень, и то, что учено «депрессией» зовется. Только работой и спасался, но так опять устал до последней степени.

Вчера Пасху с Марьей отпраздновали. Вдвоем! Хорошо. Поля накануне все стряпала, торт изладила, что-то вроде плаката изобразила, в коридоре иконками его прикрепила, чтобы нам радость доставить, и открыточки нарисовала и написала выразительно «Поздравляю», ничего читать не хочет, пишет, как слышит, а я говорю — и пусть не читает, и пусть голову свою легкую не отяжеляет разной трухой и опилками так называемой культуры, любит лошадок, хочет ветеринаром быть и учиться в сельхозинституте, пусть любит лошадок и учится, где хочет, да деда с бабой почитает и понимает, больше и не надо. Многие знания — многие скорби, еще задолго до Курбатова и всех прочих критиков сказал кто-то, и лучше уж радоваться без этих самых знаний, чем быть несчастным, угрюмым и нелюдимым со многими знаниями. На земле рожденный земным человеком и быть ему надо, а не витать в небесах, не шариться в облаках, отыскивая свет и дополнительный смысл жизни. Хватит и того, что Бог дал, ограждая нас от блудного слова и блуда в темном лесу. Жизнь сама по себе столь прекрасна, что и жить бы да жить в радости, чего я внучке и желаю.

А тебя обнимаю — эвон куда меня понесло!

Преданно твой Виктор Петрович

22 апреля 1996 г.
Псков

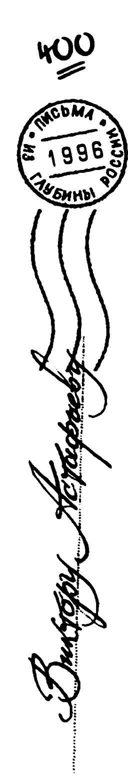
Дорогой Виктор Петрович!

Прямо с порога — поздравляю Вас с днем рождения!

С какого-то года, правда, человек начинает поварчивать: с чем тут поздравлять — старею вот. Раньше-то, наверно, народ поменьше ворчал, потому что праздновался не день рождения, а день Ангела — неудобно было на Ангела-то неблагодарный голос возвышать, ну, а поскольку мы теперь редко себя Божьими детьми сознаем, то и позволяем себе пороптать на скорое течение лет. Только и из старости, и даже из обступающих недугов — все равно слава Богу, что мы живем, глядим на белый свет, чего-то про него думаем да еще и сказать умеем про то, что думаем. Вы умеете это за миллионы молчащих, но знающих мир с этой же стороны, и тут уж, хотите Вы или нет, а мы все будем радоваться Вашему рождению и благословлять Бога за то, что от всего он дает Вам полную меру — и горя, и дара (видно, они порознь-то и не ходят и, как ни тяжело сказать, а слово растет из страдания и только из него вырастая и подлинно).



У нас уж вон земля сухая, хоть снегу было столько, что с Сибирью могли поделиться. И лед стоял на месяц без малого дольше обычного, а вот сошел без половодья — такая дружная была весна. Верно, и Вы уже не утерпели — и в Овсянку, к третьей части романа приглядываться, посмотреть, не взошло ли там что из него на весенней-то земле. Чует мое сердце, что тут Вам сил понадобится втрое больше прежнего, потому что надо соединить начала и концы, поглядеть Божьим взглядом: к чему было все это и что выросло в человеке из такой беды, а что загинуло без следа. Я тут не напрасно Божий-



то взгляд подчеркиваю. Теперь Вам без него не обойтись. Человеческим умом таких узлов не развязывают.

Роман завершится верно только из полноты веры (простите за тавтологию), только когда рвущийся в Вас человек, надеющийся обойтись своим умом и рассудить мир из себя, даст в себе место голосу Бога, который давно рвется, да все человеком заслоняется...

Умные богословы только всегда и советовали человеку учиться прозрачности, чтобы Бог «сквозь них» глядел незатененным зрением. Нашему брату можно помучиться и без этой прозрачности. А Вам уже нет. Вам теперь за всех Ваших героев предстоит понять, за что они страдали, какой в этом был Божий смысл. А он во всем есть, да только вот разобрать некогда — легче наорать на него: куда-де глядел, когда политруки народ мордовали, когда бабы вешались, не зная, чем накормить детей, а всякие Жуковы икрой тешились. Только вот это не ответы, а умножение вопросов. А с Вас ответы спрашивают. И Вы никуда читателя послать не можете, потому как взялись судьбы человеческие решать и иногда даже смертью до Божьего суда какого-нибудь политрука наказывать, чего никто не волен, как бы руки ни чесались даже очень справедливо. И даже коли солдат раззадорится и прикончит одного-другого из своих подлецов, за Вами все равно право высшего знания правды остается — справедлив ли солдат, потому что каждая книжная смерть страшнее реальной, ибо она в Вашей воле и Вы тут Бог со всеми полномочиями, и это такой ужас, что никакого сердца может не хватить.

Почему я так и боюсь этой третьей части, из которой Вы можете выйти только глубочайшим христианином или невером. Полумерой тут не возьмешь и на вопросы не ответишь. Как бы мне хотелось ря-



дом быть, хоть иногда с Вами в храм забегать, и не на минуту, а постоять в уголке незамеченными (на вечерне, на литургии), вслушиваясь не в службу даже, а в воздух, в тишину, в то, что вне и над всем этим, но непременно в храме, а не в книжном чтении. Во всяком случае, эта третья часть будет водить Вас в эти стены чаще, чем обе прежние. Простите за внезапно посетивший дар пророчества — с критиками это бывает — что-то вроде профессиональной мозоли.

Все это вместе означает, что я очень люблю Вас и желаю для нового лета покойной силы Вашей душе, необходимой прозрачности сердца для Божьего взгляда, мужества и терпения.

Сердечный привет Марье Семеновне.

Ваш В. Курбатов

2 июля 1996 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Молчал я оттого, что раза два поболел, потом высоких гостей встречал, потом за премией в Москву ездил и просидел в этом совершенно уж чужом городе неделю, заработав обострение на столичных сквозняках, чуть не две недели лечился и недолеченный, мокрый в Овсянку подался. Печь топлю, сушусь, здесь мне легче.

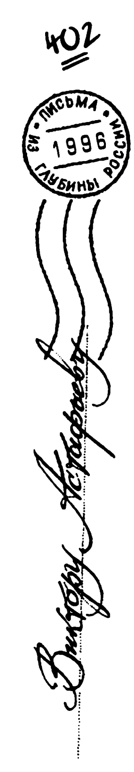
Когда был президент у нас, выпросили мы у него денег на проведение конференции, и она вопреки твоему застарелому скептицизму состоится, и мы посылаем тебе документы, а ты займи на дорогу денег и приедь денька на два-три пораньше — все, и дорога, и жилье, будет оплачено сполна. Только попросим тебя быть ведущим «круглого стола», потому как тут ты все и всех знаешь.

Избушка моя в порядке и ждет тебя молча и терпеливо, а я еду в город на выборы и Басилашвили в театре поглядеть, если вовсе не размякну.

Марья Семеновна дюжит, но уж через всякую силу.

Обнимаю тебя и жду.

Виктор Петрович



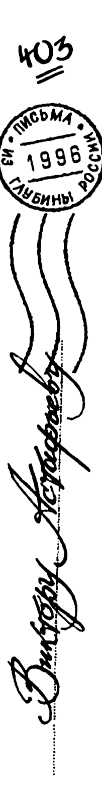
10 августа 1996 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Ну вот, и похоронили мы А. П. Соболева. *[Анатолий Пантелеевич Соболев умер 27 июня. Урну с его прахом перевезли в родное село Смоленское на Алтай и похоронили в Аллее Героев. — Сост.]* Я и писал о нем, и предисловие сочинял к его «Якорям», а увидеться вживе так и не увиделись — только уславливались вот в этом августе. Слава Богу, хоть простились по-людски. День был высокий, яркий, как будто счастливый летний день. Село большущее — все пришло. Собрались часов в десять и до половины второго никто не ушел, сидели на заборах, в тенечке отдыхали. Мужики на подводах приехали, на велосипедах. Бабы с детишками, все нарядные. Все сделали по-людски: почетный караул старики стояли, кто войну прошел, и молодежь. И митинг ничего. Наши начальники из сочинителей загудели с вечера и опоздали, пришлось нам, простым, за них начинать. Я не удержался и сказал, что все мы теперь про правду талдычим и, кажется, за нее еще и анненские ленты через плечо от государя хотим получить, тогда как цена-то на Руси за правду старинная и за нее смертью, как вот Василий Макарович и Соболев, платили.

Похоронили рядом с кладбищем невдалеке от

военного обелиска в конце улицы, на которой и сейчас стоит домишко, в котором он жил мальчишкой напротив папиного райкома — такой же избы, только побольше. И улица эта теперь его имени. Было, конечно, и много пустого, особенно заметного в поминках, когда много чужого, случайного народу, но в общем-то, все было по-людски. Главное — дома лежит, хоть и не тело уже, урна только, но все-таки дома.



Чтения Шукшинские в Сростках были мало достойны памяти В. М. Все наперебой, в соревнование с актерами пустились кокетничать, аплодисменты срывать. Сидел рядом со мной Леша Ванин (знаете Вы этого актера и друга шукшинского) и бормотал только: «Ржавые фраера! Нет на вас Макарыча, чтобы поджопников надавать!»

Но земля замечательно хороша, ненаглядна, особенно горный Алтай! Так бы и не уезжал!

В Москве занесла меня нелегкая на обсуждение проекта музеефикации Бородинского поля, и там министерски культурная дама ахнула вот такой фразой: «Бородинское поле убыточно для нас!» Нет на них «советских гоголей и щедриных». Убыточно стало Бородино для славы российской, и они теперь не знают, то ли его турнепсом засадить, то ли наставить раскрашенных чучел, чтобы они возбуждали батально-патриотические чувства соотчичей. Ну, пока все наши картинные слова о родной земле — одни слова и ничего больше, и, похоже, никто не заинтересован, чтобы они были чем-то другим кроме слов.

Скучно жить на этом свете, господа.

А Вы, поди, в Овсянке и работаете. Дай-то Бог! Других лекарств от пошлости нашего так называемого «литературного процесса» у нас нет.

Сердечный привет Марье Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

9 сентября 1996 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

А все-таки нейдет у меня из ума молодой человек из программы «Взгляд», который кричал мне на берегу Енисея после «Овсянских встреч», что «Вы опять прослушали жизнь и только тешили свою гордыню». Правду, правду выкрикнул мальчик. Мы не говорили о жизни, кто от испуга, кто от неготовности, кто от усталости и сознания бесполезности такого разговора. Хотя дело, конечно, не в гордыне, а скорее больше в растерянности перед совершенно новой ситуацией в отечестве и перед качественно иным народом — неузнаваемо деловым и как будто даже на ином языке говорящем, с одной стороны, и безнаказанно нагло обленившимся и вместе требовательным (дай!) — с другой.

Плохо, что мы не почувствовали своего провала. Но слава Богу, что оставили за собой право собраться снова — глядишь, умнее будем и уж в другой-то раз бинты-то с язв поотрываем, где сможем. А то и правда со стороны самодовольством отдает. Приехали, поели-попили, на карточки поснимались и уехали — может, сказать что хотели — шут его знает. Ну, конечно, и времени было мало. И разводить по разным местам не надо было. А то писатели оказались в одном месте, а библиотекари в другом. А там, глядишь, и поговорили бы побольше о деле, и проблемы получше оглядели. Ну, опять же в другой раз будем ученее.

Пока же собираюсь в Иркутск. Не было ни гроша, да вдруг алтын — Распутин собирает с Бурляевым лучшие картины из фестиваля «Русский витязь» и хочет показать и поговорить о церкви и искусстве. Но я-то еду с той же целью — искать путей соединения разбежавшихся ветвей русской мысли,

как-то исподволь умягчать патриотические сердца, приучать их дослушивать мысль противников до конца. Эх, если бы мы хотя бы научились вот этому — без опережающего раздражения дослушать, что скажет противник, и попытаться понять его половину правды — не составит ли она вместе с твоей половиной целого. Нет, мы все с порога уверены, что целое только у нас, а у них просто ложь. А терпеть-то мы, оказывается, умеем только произвол начальства, тиранов своих, да страдания невыносимые, а, казалось бы, на самое простое и необходимое — на правду другую — нас нет. Тут сразу в крик, в драку, в оскорбление — и глядишь, уж враги до гроба и никакой суд не соединит, а только и дело-то, что один другому сказал «гусака».

Если ничего не случится — в этом октябре поеду. Проку будет мало, но надо хоть пытаться.

Спасибо, Виктор Петрович, за август, за терпение, за выход навстречу. Ничего, что мы пока на эту встречу не вышли — тут главное начать. Поклон Марье Семеновне.

Ваш В. Курбатов



25 ноября 1996 г.

Дорогой Валентин!

Вот дождался я — пришло третье письмо от тебя, да сегодня из краевой библиотеки принесли мне «Москву» с твоими заметками. Волей-неволей надо отвечать, а не хочется-то как! Не хочется ничего делать, а только есть и спать, ну и реденько, да помалу в туалет сходить, желательно в теплый. Я ведь опять всю осень в больнице пролежал. Полетел в начале сентября на юг края, и на реке Амыл прихватил нас дождь, да какой-то нехороший, тяжелый,

холодный, за сутки река вздулась, рыбалка накрылась, я и успел-то 9 харюзов поймать и одно обострение. «Давайте когти рвать, ребята!» — воззвал я. Ребята были хорошие, с пониманием, рванули вон из тайги. Еще сутки повалялся в райцентре и попросился в Овсянку, а до нее более полтысячи верст. Где-то на последнем перевале, на бирюсинском, догнал нас снег — густой, противный, косо, сплошной полосой идущий, и когда въехали в Овсянку, я сказал: «Далее не поедем». Еще один, последний, перевал мог быть роковым. Натопили печь, сварили картошки, выпили, я сопутников уложил спать и сам улегся. Утром снега не было уже, и скоро дождь прекратился — у нас, а на юге шпарил он сорок дней без перерыва. Сорок дней во время уборочной! Я, как мне казалось, маленько оклемался, даже огородишко убрали — урожай худой, такого за 18 лет еще не было, тут моя врачиха явилась в деревню и сразу слушать меня и смотреть давай, а она со дня приезда нашего в Сибирь следит за нашей доблестной семейкой. Я ей говорю, что на курорт поеду, может, даже и в жаркую страну, либо в Шорию на Алтай, там есть легочный санаторий. А она мне: «Я Вам такую бумагу напишу, что и в красноярскую тюрьму не примут. Шагом марш в свою палату, запустили себя до крайности!..» Я уже ей не сопротивляюсь, женщина сильная и добра всем желает. Месяца полтора я под ее началом состоял, сейчас она в Москве, на какой-то переподготовке.

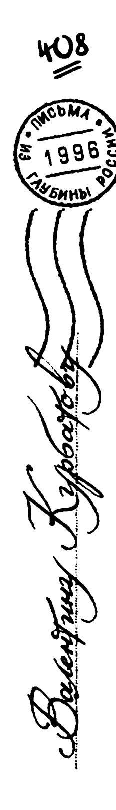
В больнице я занимался собранием сочинений. Сдали мы с Марьей Семеновной уже девять томов, в том числе самый канительный, седьмой том — с «Затесями», но впереди еще тома три совсем уж канительных — это публицистика и два тома писем. Сейчас я как раз читаю письма, есть необычайно умные и серьезные письма — свидетельства нашего времени. Наконец-то поступило оформление от ху-

дожников из Москвы. Оформление — не фонтан, но уж перерисовывать некогда, первые тома должны выйти в начале нового года, а все пятнадцать томов — за два года. Чем стремительней издадут, тем оно нужнее и надежней, но я не загадываю — так, как задумано, у нас редко исполняется.

Все тома я комментирую сам, чтоб за мною меньше брехни было, и все время занят чем-то, какие-то дела исполняю, чего-то читаю, но почти не пишу, даже писем. Не хочется и все тут! Вот с моей подачи идет аж три материала в очередном номере «Дня и ночи». И все три материала выдающиеся. А недавно ездил я в женскую колонию строгого режима, где бабенки и девчонки сидят уже по третьему и четвертому разу. Очень боялся я так называемого стресса, а ничего. Посмотрел, посмотрел и увидел, что у них лучше, чем в наших вузах, опрятней, сытней и порядку больше. И хотя я говорил клиентам этого заведения, чтоб они не привыкали совсем-то к этому месту, и они говорили, что-де не хотят, что охота из-за проволоки наружу, я про себя, и они про себя подумали, что наружу им не надо, хуже у нас тут, чем в тюрьме.

Сейчас вот собираю книги для ихней библиотеки. У них уже свидания есть, зарплата выдается, магазин есть, и они даже могут что-то себе приготовить, отпуска им дают, но они уходят и не возвращаются. Гуляют! И вот уж сколько дней я про себя думаю: что-то, товарищ Астафьев, у тебя с головой неладно иль в мире все опрокинулось и наша лагерная жизнь выглядит лучше, чем не лагерная. Тут ведь недалеко уж и до того, чтобы обратно Гулаг позвать вместе с воспитателями, а в этом лагере его, воспитателя, все еще зовут — замполит...

Вот так разнообразно и всяко живу, боясь приняться за писанину. «Обертон» в восьмом номере «Нового мира» напечатали. Женщинам нравится, в



альманахе «Охотничьи просторы» напечатали «Разговор со старым ружьем» — хорошо жить, так зачем же омрачать дни свои тяжелой работой? Затем, чтоб отношение к автору не-га-тив-ное выявить. И как ты забыл это любимое партийцами слово употребить в своих заметках?!

Лежала у меня перед глазами хорошая фотография — мы с тобой в Овсянке, сегодня хватился — нету! Теперь уж когда и где на глаза попадется, одному Богу известно. Но вот брошюрка о летней конференции и листовка на подписание собрания сочинений (все сделано красочно и красиво), как выйдут — пришлю.

Девчонкам из овсянской библиотеки спокойно не сидится — придумали 390 лет Овсянке, празднуют вовсю, программу широкую составили. Я поеду уж на заключение, 15 декабря, а 19-го ездил на кладбище, к дочери, дядям и теткам — чисто, покойно — и поймал себя опять же на мысли, что завидую загустевшему населению, как и позавидовал женщинам-зэкам. «Э-эхма-а, да не дома!» — как баяли когда-то в детдоме.

Зовут в Москву на пьянки по поводу Букера и пятилетия премии «Триумф», на заседание совета по культуре, на общероссийскую конференцию в Челябинск, тоже по культуре, в Пермь губернатор зовет и еще куда-то зовут, а мне и подумать жутко из дому выйти, повыходил — праздновали 50-летие красноярской пис. организации. Поговорили, себя похвалили — хорошо. А букерианец наш Фрэнсис Грин, сын писателя Грина, говорит: «Раз Вы не едете, я сам в Красноярск приеду». Был он у меня один раз в Овсянке, я его напоил до крепкого пьяна под свежие огурцы — он думает, что и сейчас там «огурьетив», как он называет это растение, цветет и преет...

Был у нас недавно Витя Шмыров — чусовлянин-

то, по делам. Летом они хотят по Енисею, по «заветным» местам проехать (ООН или какая-то иная организация поддержали идею), так вот и тебя позовем, ибо я не уверен, что «провинциальные чтения» еще раз состоятся. На бумаги наши никто не отозвался, денег в казне нету, дела в крае идут все тяжелее и тяжелее, как и во всей России.

Возобновилась фашиствующая газета Пащенко, и ее поприветствовали — Распутин, Белов, Бондарев, Проханов и прочая... Впрочем, приветствие мог и сам Пащенко сочинить. На подобного рода сочинения у него явный и особый талант, вот только, если это и в самом деле произошло, я значит, воистину, больше зэчек понимаю и люблю, чем своих бывших соратников по труду, бо-ольших страдальцев за народ. Посмотри юбилейные номера «Нашего современника» — мне прислали, только там и страдают за народ...

Ну, пока, обнимаю.

Виктор Петрович



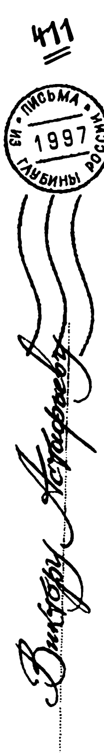
28 января 1997 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Только в телевизоре и повидаешься — а уж душа-то просит «в натури» — полгода уж как отошли наши «Встречи», и не очень похоже, что кто-то даст денег на следующие. Богатые ребята, вероятно, почувствовали себя обманутыми, что вот ждали больших, а приехали маленькие. Так тут терпение нужно — на следующей встрече «больших» было бы уже побольше, а там уж, может, и вовсе приехали бы одни «большие» — сразу теперь ничего не делается.

Ну, да что теоретизировать — «все миновало, молодость прошла»... Хотя, может, по нашим родным деревням великих-то не надо собирать, потому что когда их много, то уж народ и не слушает, чего они там говорят, а только глядят во все глаза («известно, что слоны в диковинку у нас»).

А для дела-то как раз лучше своих окрестных собрать, «серых рабочих лошадок», и с ними поговорить: как, мол, мужики, крутиться-то будем; мы, говорят, теперь и культура, и цивилизация, и спасители нации, и духовные двигатели; давайте тогда «двигаться». Но на своих денег жалко — больно уж они невзрачные — свои-то. А только, похоже, что никакой «централизации» культуры уже не будет и всяк кулик будет при своем болоте, перекликаясь меж болотами только крупными своими «цаплями». И чужих-то можно будет звать с пользой, только когда свои сил наберут, чтобы потом вместе глядеть повыше и понимать мир получше. Хотя это тоже только теория, такая же мертвая, как все теории.



Я гляжу на свою писательскую организацию, где всяк прямо трясется от злости при встрече со своим коллегой, потому что тот, сволочь, тоже чего-то пишет и будет просить денег на издание и займет «мою» очередь. И все на время слетаются «фракциями» толкать своих и доносить на чужих. Только и утешения, что, кажется, это везде и всюду — и в Красноярске, думаю, не чище. Да и вообще кажется, что все, что звалось Союзом писателей, медленно рассыпалось во что-то жалкое, иллюзорное, а то уж и стыдное, так что уважающему себя государству давно следовало сказать: идите, ребята, Бог подаст. Хотите жить, собирайтесь в живой рабочий профсоюз, думайте о своих товарищах, крутитесь, защищайтесь законами, берегите себя, но не притворяйтесь пророками и спасителями нации!

Как Вам работается, Виктор Петрович? И работаете ли? Так-то обычно когда и работать, как не зимой — гость идет пореже, огород не отвлекает, всяк при своем деле. Печка государством протоплена, скотина накормлена, картошонки сварены — сиди себе, спасай Отечество. А мне вот чё-то не работается, всякое слово кажется напрасным и ненужным, да уж и не знаю, куда с этим словом стучаться — от патриотов ушел, к демократам не пришел: «двух станов не боец, а только гость случайный...»

Пошли Бог здоровья и покоя Вам и Марии Семеновне, в доме тепла и радости, во внуках утешения.

Очень скучаю по всем.

Ваш В. Курбатов

17 февраля 1997 г.

Дорогой Валентин!

Писать-то мне особо не об чем. Нынешней зимой, занятый возней с собранием сочинений, я ничего не писал. Не готов. И не готов физически, только поработаю пером напряженно, глядишь, начала неметь левая рука — сердце сигнал подает — «окстись, может и правая, рабочая, отняться». Но без дела не сидел. Спрос на меня все еще, к сожалению, не убывает, да и сам егозлив, побывал вот в колонии в женской строгого режима. Говорили часа три, думал, перед встречей угнетусь, ан нет, то ли привычка уже к лагерю, то ли в самом деле бабам там живется лучше, чем на так называемой воле. Бывал и еще кое-где, а перед Новым годом упал и солидарно со мной упал в Курске Женя *[Носов. — Сост.]*, в Москве брякнулся Саша Михайлов, оба сильно, как и я, расшиблись, и выходит, ежели вот ты не упадешь, то и не друг ты мне вовсе. Да не надо даже ради дружбы падать, расшибленное тело и костяк болят невыносимо, кроме того, ты идешь в

искусстве по линии критики, значит, вёрток должен быть и эластичен.

Что из новостей? Печатаются и скоро выйдут два первых тома собрания сочинений, в Пензе в очень хорошем оформлении печатается книга «Плач по несбывшейся любви», состоящая из моих военных и околовоенных повестей и рассказов прежних, а причиной издания послужил «Обертон», который читающая масса, кажется, и не заметила. Ну, да Бог с нею, с массой, она куда более важные вещи не замечает, а пошлость жрет, как диабетики кашу кастрюлями.

Некто Бушков — красноярский писатель и ныне богач — издал в прошлом году в столицах 11 книг, из которых я смог прочесть лишь два абзаца. Но у нас уже был поставлявший чтиво Алеша Черкасов, я ни одной его книги до конца прочитать не мог, но тот был тюрьмой ушиблен и уж не в себе пребывал, а этот сморчок держится орлом и презирает всю остальную публику, не желающую следовать по его славному пути.

Я ж, одержимый зудом чернильным, нет-нет и чего-нибудь напишу, на что-нибудь откликнусь. Вот поставили у нас оперу Верди «Бал-маскарад», а я ее в Красноярске слушал в 1942 году в исполнении сбежавших и объединившихся в Сибири киевско-днепропетровско-одесских театров и, растрогавшись, очень хотел повспоминать. И повспоминал, и старые женщины мне звонили и говорили, что они читали и плакали. А тут и просьба томичей подошла, и тут уж я писал и сам плакал, как плачу всякий раз, глядя единственную на телевидении русскую передачу сибиряка Гены Заволокина «Играй, гармонь». Проплакавшись, я решил тряхнуть публику еще раз и написал статейку к стихам Джеймса Клифорда, ибо невыносимо много печатается в газетах и везде стихов занудных, вшивых, с претензией на нарядность или бодряческих виршей какого-

нибудь отпетого соцреалиста. Выйдет газета — пришлю, а пока посылаю статью о языке, которая, я тоже знаю, как папиросный дым, послоится над головами русских людей, пощекочет их в носу и горле, да и кончится на этом ее влияние, а ведь тоже писал — рука немела.



Кроме статьи, посылаю очень славную фотографию, которую собирался послать еще осенью, но заложил в бумаги на столе и забыл. Ежели у тебя такая уже есть, отправь ее Леонарду тогда, а у меня всяческих фото много, и эта тебе нужнее для воспоминаний.

Вспоминая лето и встречу летнюю хороших людей, и задним числом почитая уже и историческую, а больше человеческую значимость ее, хвалю себя за настойчивость и выдумку. Повторить все это уже, по-моему, невозможно. В Дивногорске власть переменилась, и с прокоммунистическими деятелями я не только какие-либо дела делать не хочу, но и срать на огороде на одном не сяду. Вроде бы Миша Кураев нечто подобное затевает провести в Петербурге в конце мая. Бог даст — увидимся, тем более что 26 мая вручение Пушкинской премии, которую немцы тоже присудили мне, и ты, небось, об этом знаешь? Я могу из Москвы рвануть в Питер, буде буду здоров и не смоет нас тута половодьем. У нас выпало столько снегу, сколько не выпадало его с 1937 года, и ежели будет ранняя и дружная весна, а именно такую и обещают, то уплывем мы все в Ледовитый океан, а оттудова до Питера тоже — рукой подать.

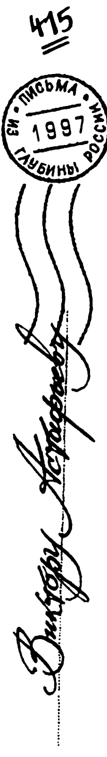
Ну, вот графоман так графоман! Собирался черкнуть пару фраз и нате, разошелся, но ты вроде бы разбираешь мои каракули, вот тебе и работа. Главное, не хандри и не кисни, мы уж вон вовсе стариками становимся, М. С. болеет постоянно, и хронических у нее накопилась куча, ан ломает себя, работает, и я, глядя на нее, не сдаюсь. Пойдешь в цер-

ковь, помолись за чусовлян и за нашу чусовскую дочерь, которую из-за снегов по грудь мы ныне зимой и навестить не можем. Но уж февраль к концу идет, березняк забусел, горы днем синеют за рекою. Вытаем! Вытаем!

По Овсянке очень скучаю. Осенью вдогон конференции провели еще юбилей — 390 лет селу, заложили часовню, и с тех пор я там и не бывал, и девчонки не едут и даже не звонят. Может, Марья их отшила. Марья сурова нравом сделалась, особливо к женскому роду, и тут уж ей не укажешь. Годы свое берут!

Ну, обнимаю, целую, поклон парням, жене. Обними и поцелуй маму — скажи: чусовляне велели.

Преданно твой Виктор Петрович



25 февраля 1997 г.
Псков

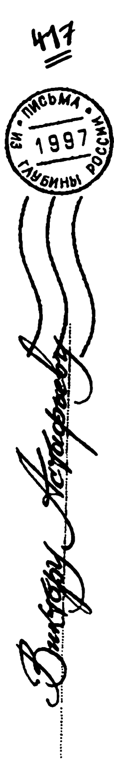
Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за письмо, за карточку, за статью. У нас вон тоже в «Псковской правде» забеспокоились о языке, просят «высказаться». А я, как ни начну, так все выходит, что не «высказываюсь», а «выражаюсь» — уж больно все и правда запущено, в особенности на телевидении. Там уж впрямь понаслушаешься, белый свет не мил. А я тут связался с родным местным телевидением и снимаю «Пушкинскую хрестоматию» — беру стихи, прочитанные Яхонтовым и Качаловым, Кутеповым и Журавлевым, и ищу для них «видеоряд». Выходит по два стишка в месяц — так капризна оказалась эта внешне простоватая телеработа. Легко снять «Буря мглою», а вот сними-ка «Если жизнь тебя обманет, — не печалься, не сердись...» Кое-что выходит очень славно, и я горжусь.

Я это затеял, чтобы вместо «памперсов» и «прокладок» — вместо оргии рекламы в порядок передач вдруг вплеталось пушкинское стихотворение и отрезвляло человека чистотой и светом. Чтобы камертон души был виден и родной звук не забывался. Надеялся, что поддержат идею господа с ЦТ, потому что по существу это их дело — у них техника и возможности, а собрать русского человека, если действительно это кого-то занимает сейчас, еще можно под единственным не заплеванным и не обесчещенным пушкинским знаменем. Пока никто не торопится. А я-то губы раскатал — думал, что кинутся снимать и в Болдине, и в Питере, и в Одессе, и в Кишиневе, и явится Пушкин весь — с младых ногтей до несчастной дуэли. Все-таки ему через два года двести лет. Да нет, видно, не до того. Однако сам буду тянуть, сколько у телевидения хватит сил — больно уж много времени отнимается для одной телевизионной минуты.

Про возможную встречу в Петербурге я слышал, но только, кажется, они собирались устроить ее в начале июня. А уж нам бы с Вами повидаться не в Питере и не в Москве. Надо кому-то из устроителей немецкой Пушкинской премии (как бы узнать, где у нее, матушки, комитет, российское его отделение) догадаться, а коли сами не догадаются, то на ухо шепнуть, что Пушкинскую премию лучше всего вручить на Всероссийском Пушкинском празднике в Михайловском — оно и для премии выгодней, эффектней, «народней», да и для праздника украшение. И у премии статус сделался бы породистее, и у праздника свету прибавилось. Самому неловко, но, поди, есть кто, кому бы было не в тягость подать эту идею господам устроителям. Мы бы от нашей администрации и от Пушкинского комитета запросили об этом, да не знаем, где. Поговорю-ка я с директором Пушкинского заповедника — авось он знает.

А весь этот мой разговор и размахивание руками означает, что я поздравляю Вас с этой премией и хотел бы обнять не словами. Да уж и Вам бы пора в Михайловское наведаться. Когда Вы в нем были? А это ведь не Тарханы — это Россия-матушка. И тут чудеса, лешие, русалки, полно невиданных зверей. Да Марью Семеновну бы взять... Устала она, поди, с Полиной и с Витькой.



Я вот все философствую, как из Чусового воротился, так и никуда ни на шаг. А в Москву-то неделю не наведаешься — так враз позабудут и не будешь знать, где голову-то подклонить с сочинениями-то своими. Быстро свои ребята под белые ручки вынесут и локти расставят. Хотя пишу все меньше. «Литературный-то процесс» уж больно стал напоминать раковую болезнь — все расползается во все стороны, и новые-то «очаги» и несчастные издания уж больше метастазы напоминают, чем младую рощу от старых стволов. Ну да, впрочем, чего брюзжать-то — еще живы, еще печатают. И слава Богу!

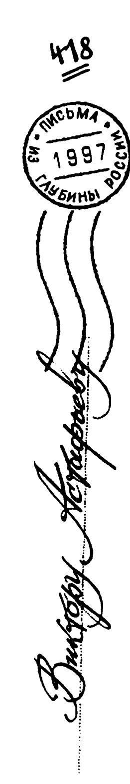
Сердечно обнимаю вас, родные мои. И каждое утро, и вечер, дома и в храме вы со мной, и я, как могу, молюсь о вашем здоровье и покое. Даст Бог, скоро весна, а то уж так тепло, Овсянка — там все повеселее.

Ваш Вал. Курбатов

12 мая 1997 г.
Псков

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Вот и я на старости лет осиротел — умерла мама — весь мой свет и вся моя радость, так любившая читать книги Марии Семеновны и вспоминать, как Виктор Петрович (так ей казалось) позвонил со станции (еще когда там работал) к ним на водокачку в три часа ночи и спросил: «Работаете? Ну-ну!» А



на ее вопрос: «А вы там чего делаете?» ответил: «А мы тут за батонами стоим».

Умерла в первый день Пасхи в день своего ангела, что бывает редко, как чудо, но утешает мало.

Зато вот почувствовал, что теперь эта земля моя. Вроде все бегал, бегал, теперь — дома. Не зря кресты-то уподобляют якорю. И мне тут доживать, и в эту землю ложиться. Странно, что и сосновый лесок рядом с кладбищем, куда бегал зимой на лыжах, сразу стал родной, и птицы глядят своими. И церковь на кладбище, которую строил мой крестник и которой я давал имя, была закончена в этот день, и первая лития была отслужена по маме, а первая литургия отслужена на Радоницу в мамины 9 дней, и мне было хорошо читать в храме часы и причастные молитвы, словно я ей их читал.

И вот на кладбище, что дома, а в самом доме места себе найти не могу. Кружусь, кружусь, прячусь за работу, а от слов — одна полова, без зерна.

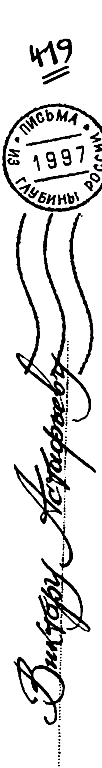
Ваш Валентин

28 июля 1997 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Уехали — и с концами! Хорошо хоть овсянская библиотекарша Анна Епиксимовна *[Козынцева. — Сост.]* прислала весточку, что все идет обычным чередом. Я Марье Семеновне как-то от начальства дозвонился, и она утешила, что оно хоть все и не шибко бойко, но да по летам и бойкость. Вы вон еще даже на вертолете летаете. Могли бы и до нас долететь — велик ли крюк. Наш либерально-демократический губернатор желал бы видеть Вас своим гостем. Намекните, говорит, вдруг согласится — расплатимся. Вот я и намекаю. У нас ведь не Петер-

бург — у нас Михайловское, у нас — Печерский монастырь, у нас Чудское озеро, где во-о-от такие сиги! И, наконец, либеральный губернатор, а уж узнает, что Вы приезжаете, и вождь прилетит, златоуст Владимир Вольфович *[Жириновский. — Сост.]*. То-то пойдет «говоря»! Ну, да видно, любопытство наше старится раньше нас, и вот уж «не заманишь и на расхлебку пятисотрублевой ухи с двухаршинными стерлядями», как писал незабвенный Николай Васильевич. А я что-то тоже все никак не раскачаюсь. Даже и ежегодный сенокос (мне надо накосить на лошадь моему товарищу под Петербургом) на этот раз был не в радость. И погоды были хороши, и травы изрядные, а все как-то «без музы» шло. Силы уже оказались не те, устал до невозможности, а в конце концов и просто надорвался, так что по возвращении в Псков с поезда был снят «скорой помощью» и отправлен в больницу. Оказалось, что при скирдовании пудовые копны уж не для меня, а глазами-то еще молодец — и то бы сделал, и вот это. Только тут и уразумел, что скоро шестьдесят.



Потом сидел в деревне Борки, где жил покойный Иван Афанасьевич Васильев, читал его дневники последних лет — криком кричит человек, что никому не нужен, что своя деревня — главный враг, что сама деревенская жизнь есть духовная смерть. И это при том, что всю жизнь прожил там почти безвыездно, а в городе тотчас заболевал. Крепко достали мужика. И чем выше гости (а после Ленинской премии и Горбачев заворачивал, и Рыжков), тем деревня ожесточеннее в неприятии. Вы — библиотеку, а он музей военной книги, картинную галерею, музыкальный салон, дом экологического просвещения — громадный комплекс совхозу подарил (обе свои премии убухал — и Государственную, и Ленинскую), сам пилил, строгал, колотил, стеклил. А ему вдруг — шел бы ты со своими подарками. И теперь мы чте-



ния тут после его смерти проводим — отовсюду едут, а свои — ни-ни. Даже учителя. Песня без слов...

Читаю, читаю дневники, да и крякну — сам и виноват. Кто же насильно делает человека умным и счастливым. «Я вас, дураков, разовью, вы у меня из навоза вылезете». А они за это его самого в навоз. Написать бы об этом, да как-то неблагодарно. Мы были товарищи и много возились вместе, и гвоздь этот у нас в одном сапоге. Хотя тут трагедия. История разыграла чистого человека, обманула его коммунизмом. А теперь только что не смеется. Помер, до семидесяти мало не дотянув, на лету, будто бежал да упал среди ночи — все по-старому в атаку бежал, а штык-то все в пустоту, в пустоту. Так и повалился...

Как Вам рыбачилось? Угомонились ли? Работаете ли? Погляжу, как у Ивана Афанасьевича в огороде, заслоняя соседям грядки, прут березы, туи, конопля, каштаны, орехи, так Овсянку вспомню. Большое это горе — писатель в деревне, особливо его огород.

А уж как скучаю и не скажу. А сами не догадаетесь.

Поклон Марии Семеновне.

Ваш В. Курбатов

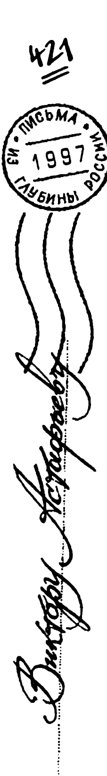
21 сентября 1997 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Теперь Вы, поди, только-только из Чусового, поглядели на свой домишко за чудной оградой и уж, поди, сказали, что коли оно бы тогда так было, так и не поехал бы никуда — куда от такого нарядного забора побежишь. Правда, тогда добрые жители Партизанской улицы и Красного поселка много чего успели бы проделать с таким забором и его хозяином, так что он сам бы ночью этот забор сковырнул и во вторсырье отнес, чтобы не маяться. Музей — де-

ло такое. Им бы всю тогдашнюю бедность сохранить, а они вон чудесами украшают. Все добра хочется, красоты.

Ну и ладно! Главное — память есть и хорошо! Сегодня, чтобы все безобразие происходящего перетянуть, памяти много надо. Надеюсь, что Леонард Дмитриевич хоть что-то снимал, и я хоть таким образом разделю с Вами эту поездку, раз уж нам не суждено оказаться в Чусовом вместе. А я ездил в Ясную Поляну, где новый директор — праправнук Льва Николаевича (правнуки все как-то в один год подобрались и лежат сейчас под простыми деревянными крестами без всяких оградок на беднейшем родовом кладбище рядом с Ясной Поляной). В. И. Толстой второй год собирает встречи писателей, чтобы они под нахмуренным взглядом Льва Николаевича поменьше суетились и побольше думали о своем деле. В этом году были Распутин, А. Ким, В. Маканин, любимый Вами Олег Павлов («Казенная сказка» — очень чистый рукой и крепкий телом молодой человек), были Л. Бородин и П. Алешковский — в общем, те и эти. Готовиться никто к встречам не готовился, полагая, что их довольно увидеть, чтоб быть счастливым до конца дней. Особенно это было тяжело в день рождения Толстого. На будущий год Льву Николаевичу будет 170. Уже званы Кэндзабуро Оэ, Габриель Гарсиа Маркес, Ваш друг Милорад Павич. Впрочем, за год все соглашаются, а как до дела доходит (это мы с Вами по себе знаем)...



Меня больше всего порадовали сами дома Толстого и Поленова (куда мы тоже ездили). В них есть дом, в утраченном, а то и незнаемом смысле, где жили любовно и бережно друг к другу. Это сразу узнается по интонации дома, и хочется упереться руками в косяки и не уходить, а жить тут, дышать этой тайной и подкрепляться возле нее.

Порадовали и сами праправнуки, которым всем

чуть за тридцать. Все от еще непривычного сиротства бережны друг к другу, зовут — «братец» и не могут наглядеться друг на друга, потому что заняты разным и живут по разным углам. Что-то от «дома» есть и в них.

Здоровы ли Вы? Как дался Чусовой (я всегда переношу трудно — что-то там осталось очень больное, очень родное, но будто и не в твоей жизни бывшее — как из эмиграции приезжаешь — все болит, но все чужие). Работается ли? Это я спрашиваю в надежде, что в этом году получу все-таки три письма от Вас — что-то все тоскует и тоскует сердце.

Поклон Марье Семеновне!

Ваш В. Курбатов

3 октября 1997 г.

Дорогой Валентин!

Вот и до третьего письма дошло дело, хотя писать его я собирался все лето. Но накатило! Хотел остатки наброска третьей книги поставить в 13-й том как набросок некоей давней рукописи, из которой я уже извлек «Так хочется жить» и «Обертон». Но когда начал править, увлекся, и вместо того чтобы летом отдохнуть, залез в рукопись и сделал вариант повести «Веселый солдат», аж на 12 листов! Унесло графомана! Сейчас повесть получил с машинки (Бог дал в библиотеку Овсянки такую работницу, которая ведет все «мои дела» и научилась разбирать почерк).

Поездка на Урал была перенасыщенной не только впечатлениями, встречами и нагрузками всякого рода, так что после нее я не смог сесть за стол, а убирался в огороде, собирался в город и вот 30-го покинул домик свой чуть ли не с плачем, ибо у нас здесь проходит съезд славистов (международный) и мне надо было на нем быть и беседовать со словарника-

ми, среди которых были не просто хорошие, но и восхитительные люди, в первую очередь из Томского университета, которым я пособил получить Госпремию, а они привезли мне «корзину» водки с названием «Ностальгия», на одной из бутылок изображен герб СССР с серпом и молотом. Вчера мы ее у нас в доме вместе с томскими гостями опробовали, а еще часы мне ручные подарили, очень красивые!

А завтра рано утром улетаю в Москву и оттудова 6-го утром — в Брюссель, на конгресс творческой интеллигенции Европы (кто-то вспомнил обо мне и замолвил слово). Поеду, встряхнусь, побеседую с умными людьми и, возвратясь с просвещенной головой, буду продолжать — заканчивать работу над повестью. Цикл из трех повестей о послевоенной жизни избавляет меня от писания третьей книги романа. Мне ее, понял я на повести, уже не осилить. Годочки-то не романные. Может, отпишу наиболее «наболевшие» куски и перейду писать о природе — для удовольствия души. Что-то мне не удаются никакие удовольствия-то. Пять суток в тайге с Андреем на Сисиме да поездка в деревню Темную и Быковку — вот и все удовольствия. Несмотря на помпезную встречу на Урале, увез я оттуда больше печали, чем радости, но это — как писал Ключевский, «было бы сердце, а печали найдутся», — уж на роду мне написано.

Самая большая радость заключается в том, что я, кажется, добыл деньги для проведения в будущем году «Литературных встреч» и мы уже начали к ним подготовку. Где, как добыл — долго рассказывать. Завтра я вроде бы попаду на прием к новому министру культуры и буду хлопотать о закреплении в постоянном плане «Литературных встреч» и переводе нашей библиотеки под какую-нибудь нездешнюю крышу. Здесь начинает работать та же жестокая провинция, что и Ивана Васильева доконала: из за-

висти жуют наших библиотекарш и готовы эту треклятую библиотеку раскатать по кирпичику, да и раскатают, когда меня не станет, потому надо творение это как-то защитить.

Лето у нас началось в середине марта и продолжается до сего дня. Урожай небывалый, правда, в сенокос и в начале уборочной лило и лучший урожай выбило градом, но без этого уж, видно, на Руси не бывает, чтобы уж все-то хорошо было.

Вот из поездки на Урал привез тягость в душе. За мной в Екатеринбург приезжал сын Андрей и его друг, скорее уже брат — чусовлянин Витя Шмыров, что бьется над «мемориалом» в Кучино, и они почти ходом (начальство встретило на границе района хлебом-солью, с девками, наряженными в кокошники) и под «мигалку», уже свою (из Екатеринбурга везла пермская машина-мигалка), под надзором начальника милиции Чусового завезли на фуршет, а Леонард выслал Ольгу, чтоб мы без разговору ехали к нему — «он приготовился!» Я уже раскис и устал, уехал с ребятами в Темную, где ребята мои загуляли и спать не давали, и в 3 часа ночи я на них фыркнул, и братва с понятием — унялась. А назавтра приезд губернатора, посещение мемориала и большое застолье. О-о-ох, Господи! До чего ж надоело все и эта «детская жизнь» — тоже.

С музеем, домиком моим чусовским, дело движется, но так ли своеобычно: избушку обносят литой оградой, как Летний сад в Петербурге, и никто не хочет понимать, в том числе и Леонард, неуместности этакой роскоши, и сам уж музей, наверное, ни к чему. Как представлю, чего в нем нагородят — оторопь берет, одно и утешение, что я этого не увижу. Марья Семеновна продолжает хворать, но хорохорится, по дому все делает, с Полькой борется за учебу и опрятность, успехи невелики и переменны. Вернусь я домой числа 10-11 октября, уже будет зимно, но

отопление включили, может, и эту зиму перевалим. Чего и тебе, и парням твоим желаю, и жене.

Видел в мастерской у Широкова картину-триптих его ученицы: Леонард, ты и я. Тебя они изобразили, конечно же, архангелом со свято взнятым в небо взором.

О, святая провинция! Куда от нее деваться! И надо ли деваться? Столичная провинция еще пошлее и заковыристей.

Обнимаю.

В. Астафьев



13 октября 1997 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

По листочку догадаетесь, что я только из Иркутска, где и наораторствовался всласть, и накупался в Ангаре и в Байкале. Аудитории были тяжелые. В университете меня прямо с порога спросили — действительно ли я считаю второразрядного сочинителя Распутина настоящим писателем. Тон задавали, чтобы знал, с кем имею дело. Не зря мне в деканате показали курсовые по В. Сорокину, Л. Петрушевской, В. Пелевину. Теперь это главная, а то и единственная литература, а стариков — вон! На свалку!

А последняя аудитория (это уж когда все уехали — Крупин, Бурляев, М. Назаров) была еще тяжелее — владыка батюшек собрал. А тут тебе не интеллигенты, не «наши» и «ваши», тут церковь-матушка. Чуть что — и «еретик», и пожалуйте на костер. Шаг влево, шаг вправо — стреляют на поражение. Но и тут выбрался живой, пишу вот. Нашего брата «крытика» голыми руками не возьмешь. Теперь вот отпыхиваюсь, радуюсь молчанию — на месяц вперед наговорился.

«Отчет» Ваш о поездке на Урал печален. Я больше всего этого и боялся.

А про ограду я Леонарду Дмитриевичу писал, что это

не от большого ума и нарушает самое главное — живое чувство послевоенной бедности, подлинность убивает.

Про наш тройной портрет мне и Л. Д. писал, но карточку не шлет — видно, уж совсем дело нехорошо. А уж что меня «очи горе» написали, так это взгляд на девчоночек, которые меня писали, — мы с ними больше про родную литературу да Бунина говорили. Это уж «мастер» подсказал. Он сам меня когда-то хотел писать вроде пермского деревянного Христа в печали — насилу я его отговорил. Ну, а девицам, видно, напел. Я думал в ноябре съездить — галерея звала на какой-то «симпозиум». Коли поеду, так погляжу и, может, на карточку сниму и Вам пошлю.

Каково в Брюсселе-то было? И чё умные люди говорят и о чем думают? Я что-то в последнее время шибко стал сомневаться в том, что этих умных людей в мире осталось много. У нас-то, уж поди, и на руку не наберешь. Да и у них, видать, не густо. Во всяком случае, по политикам очень видно, что они ни разу в календарь не глядели и что тысячелетие кончается — не знают, играют миром, как ребята, и, может от старости, впадают в детство. Это даже и в церкви видно, а уж ей-то бы пора время получше слышать.

Ну, кланяйтесь Марье Семеновне.

С любовью, сердечной и молитвенной памятью.

Ваш В. Курбатов

11 декабря 1997 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Это казенное «поздравляю» относится и к Казанской премии, и к Новому году, и к предстоящему Рождеству.

Пошли Вам Бог здоровья для спокойной работы над «Веселым солдатом», чтобы сошлись в нем на-

чала и концы Вашей войны, развязались узлы и отпустило сердце, чтобы можно было, наконец, избыть эту тяжесть и погреться у более утешительных воспоминаний, а то и просто у добрых людей, как, бывало, грелись Вы возле Нестеренко, Образцовой, возле «Пищухи», прибавляя им славы, а себе чести. Что-то уж мы и все соскучились по недосадливому слову. Я вон на себя гляжу — все бегал, суетился, писал чего-то без разбору, а жизнь-то уж и к закату. И тянет сесть на завалинку и говорить что-нибудь неторопливое и здоровое, с чем можно без страха и неловкости и ТУДА преставиться, а не все бегать по пустяковым поручениям «наших» и «не наших» журналов с сиюминутными заботами. Как будто никакого Бога, никакой вечности и никакого ТАМ нет.

Надеюсь, что наши господа-учителя уже послали Вам бумаги по поводу новой пушкинской программы. Получится ли у них что-нибудь — Бог весть, но пусть хоть стараются. В особенности я их подбиваю вместе с Пушкинским Домом попытаться втиснуться в информационные телевизионные программы, в сеть Internet, а то уж книжки-то скоро и у нас никто читать не будет, как давно в Европе не читает, предпочитая видеть их на экране. Обленился народишко европейской, не желает тратить время на чтение, чтобы побольше осталось на поиски денег да на беготню по девкам. Ну и мы туда же. Так пусть уж и на телевидении, и в компьютерных программах детки хоть не звездные войны и не крутую порнуху смотрят, а в пушкинские святые места наведываются да думают, что он им своей «Капитанской дочкой» да «Борисом» хотел сказать. На экране оно вроде повеселее и поамериканистее — так что средствами-то басурманскими, а манит домой.

Поклон и поздравление Марье Семеновне.

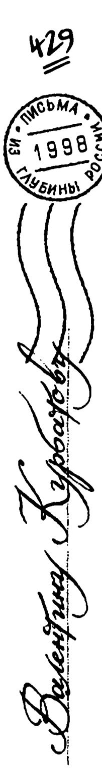
Сердечно Ваш В. Курбатов

10 февраля 1998 г.

Дорогой Валентин!

И я уж начал подумывать, что чего-то умолкнул критик, поди-ко, литература остановилась, один я зачем-то и чего-то еще пишу, да еще в «Литературке» новая волна мыслителей разбирает и обмысливает творцами современности варимую словесность — при этом ребята, литературой вскормленные, от нее же и хлеб насущный имеющие, совсем попрали земные ощущения и ориентиры дорожные, что прежде называли верстовыми столбами.

Дмитрий Быков, красивый, сытый парень, бойчее двух Ивановых вместе взятых, мыслящий взахлеб, восторгается литературой, исходящей от литературы, причем не от лучшей, да и Курицын, и оппоненты евонные как бы и не замечают, что литература от литературы приняла массовый характер и давно уже несет в своем интеллектуальном потоке красивые фонарики с негасимой свечкой, обертки от конфеток, меж которых для разнообразия вертится в мелкой стремнине несколько материализованных щепок, оставшихся от строившегося социализма, и куча засохшего натурального говна. Белокровие охватывает литературу, занимающуюся строительством «новых» направлений на прежнем месте и из уже давно отработанных материалов, причем не тех материалов, что находятся за усьвенским мостом в отвалах, в которых ради выплавленного черного чугуна лежит остывшая масса драгоценнейших материалов, иль отвалов сибирских золотых приисков, когда оказывается в отработанном песке золота больше, чем добыто в шахте иль шурфе, нет, в продукции, которую сработали Пушкин, Лев Толстой, Достоевский и Лесков, только ценные металлы, и когда ими аккуратно, понемножку пользовались, они украшали любое литературное изделие, порой делали его бесценным, но когда едят литературу прошлую, как яманы афишу, начинается самопоедание, разжижение крови, обесточивание мысли, обессиливание слова и смерть, которую жизнерадостные критики в силу своей беспечной, святой молодости, конечно же, не чуют и не понимают, да и не надо им этого понимать, как нам, молоденьким солдатикам-зубоскалам на фронте не дано было понять, что его, солдатика, тоже могут умертвить. Однако ж, потрезвее, пореалистичней полагалось бы быть, а то городят, городят словесную городьбу и частокол без единого гвоздика, лезь кому не лень



следом в огород, таскай на грядах все, что растет, не отличая картошку от огурца иль тыквы, вари критическую похлебку. Курицыну вон в Ярославле уж горшком глиняным по башке съездили, а он хоть бы что, еще резвее унижает...

А я вот тоже, старый мудрец, взялся оживить два старых рассказа. Легко мне показалось все это. Работа по готовому легка, а я возьму разгон и, глядишь, с маху напишу детскую повесть. Два рассказа объединились в процессе работы в повесть листа на четыре, и волоку я ее за волосья, волоку, черкаю уже третью редакцию и никак не добью, не дочеркаю. Хорошо хоть Марья Семеновна, развивая ломаную руку, печатает мои каракули, хотя и ропщет маленько. Пробовал я писать «Затеси» и набросал штук шесть, да теперь вот едва хватает сил на завершение повестушки.

Очень болит голова, никогда еще так не болела, особо по утрам. А раньше-то было наоборот, ложишься больной, разбитый, но встаешь посвежее. Видимо, то, что я принимаю более уже десяти лет лекарства от высокого давления, начинает сказываться, и в таком виде и состоянии написать третью книгу романа нельзя.

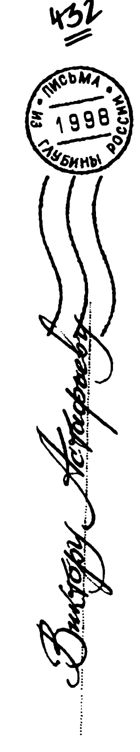
Жду весны, чтоб перебраться в Овсянку, надеясь, что там мне, как всегда, легче сделается. А весна у нас обещает быть наконец-то путной, ибо зима стоит настоящая. Средние для Сибири морозы пришли вовремя и держатся до сих пор с солнцем ярким, с ослепляющим снегом. Город большей частью мерз зимою, а у нас, слава Богу, тепло и светло.

Похоронил я тут мачеху в Дивногорске, приедешь — расскажу. А приехать, кажется, будет возможность. Петербургская публичная библиотека затеяла провести общероссийскую конференцию на базе овсянской и краевой библиотек. Предварительно она именуется: «Литература и библиотечное де-

ло», идет подготовка. Серьезная. Я внес в списки много всяческого народа, в том числе и Валентина Григорьевича с Крупиным, и Белова, и тебя, разумеется, и всех стариков, подобных Лиханову, они-то, скорее всего, не приедут, а Вам всем «молодым» и Бог велел еще раз нюхнуть Сибири за казенный счет. Должно сие событие произойти в конце июня, но деньги большие нужны, да и выборы эти клятые подступают. Как-то мне не до конца верится в таковое дерзкое начинание. Хотя чудеса в наше время происходят.

Вот потребовалось мне установить имена и отчества супругов Мироновых и полез я в «Капитанскую дочку», а как залез, оторваться уж не мог от Пушкина, читал, не сознавая, что происходит это во дни поминальные светлой памяти гения нашего. Ах, до чего же прекрасно читается «Капитанская дочка» и наброски, которые в этом же томе. Но читал я, восторгался и ловил себя на том, что иные наши читатели, особенно из советских учительш и другого грамотного люда, будут воспринимать уже это образцовое, единым (нигде ни разу не порвавшимся) звуком скрепленное повествование как пародию, как старомодное словотворчество, примитивное, с точки зрения современного писателя, и даже грубо-натуралистичное. Ну, как это можно написать на первой же странице: «матушка была еще мною брюхата...» или совсем «неправильно»: «мысль моя волновалась», а по мне так лучше и короче написать невозможно. Повесть, в наши дни именуемая «маленькой», вмещает материал и события современной трилогии, исключая, конечно, «Тихий Дон», но это «нечаянное» произведение для нашей литературы особь статья. Недаром ведь с ним много уже лет борются товарищи евреи. Нет в ихней литературе произведения такого таланта, и хоть торопятся они объявить «Жизнь и судьбу» В. Гроссмана выше

«Войны и мира», а уж «Тихого Дона» тем более, время все ставит на свои места. Прошло несколько лет после гвалта и литературно-критического бума вокруг этого Гроссмана, и все уже улеглось, в берега укатилось и предполагаемого половодья не произошло.



Ну все, расписался, разогнался.

Обнимаю, целую.

Виктор Петрович

29 марта 1998 г.
Псков

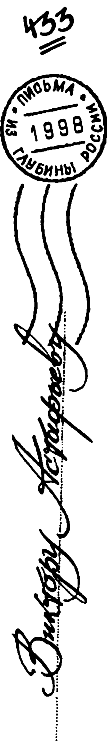
Дорогой Виктор Петрович!

Совсем Вы позабыли простых советских критиков, которые потеряли здоровье на ниве родной литературы, унавоживая ее своими статьями...

Между тем журнал «Смена», потрясенный когда-то, как я здорово написал про Вас, умудрившись сделать вид, что никакой войны вокруг Вас нет, а есть свет и понимание, опять предлагает мне сесть в самолет, да с первым теплом, как Вы окажетесь в Овсянке, и полететь помочь Вам огородишко вскопать, картошонки посадить, да и так посидеть на завалинке за разговорами о том и о сем, как это и должно быть между такими пожилыми людьми, как мы с Вами.

Нечего говорить, как был бы рад этому я. Бывали времена, когда такие домовничанья вдвоем нам удавались. Авось бы и теперь были не в тягость. Так бы, где-нибудь в середине июня, когда уж тепло, когда время как-то установилось и от Енисея не так холодно. Оно бы, конечно, лучше совместить с чтениями в Овсянке, но Вы ведь знаете, что тогда будет — какие уж там покойные вечера, там такой вокруг Вас хоровод заведут, что не подступишься.

Ну, в общем, глядите и решайте. Это они затевают, потому что в начале 1999 года журналу 75 лет и им бы хотелось, конечно, сделать номер подостойнее, да и у Вас выпросить одну-две «Затеси» по такому случаю. Им бы не грех и дать. Они народ хороший, и тираж у них слава Богу, и деньжонки какие-никакие есть.



Я съездил в Тюмень на 125-летие Пришвина и такого разгула «духовности» навидался за нефтяные-то деньги, что и сейчас еще в себя не приду. В особенности доконали уроки в педагогическом колледже. Пришел в шестой класс на «Кладовую солнца», про милых пришвинских Митрашу и Настю, как они в болоте заблудились и как выбирались, а услыхал про топонимы, генотипы, хронотопы, системы ассоциативных связей — сохрани Бог, они так и про Ваше «Васюткино озеро» начнут. Не зря Михаил Михайлович боялся, что вдруг его «изучать» начнут, вот и начали...

Поклон Марии Семеновне.

Каждое утро на молитве я с нежностью вспоминаю Вас и прошу у Бога здоровья и покоя Вам.

Да только молитвы наши часто тяжелы, от земли не оторвешь, как и сами наши души, на которые столько всего навьючилось, как в непогодь на осенней дороге.

Ваш В. Курбатов

4 апреля 1998 г.

Дорогой Валентин!

Уж какая там у вас война происходит, да еще «вокруг меня», мне неизвестно. У нас тут тихо и пристойно, выборная борьба поглотила всю энергию народную, да, кажется, и творческую. Одна лишь пащенковская газета исходит воплями, что

случаются при запоре в прямой кишке и в башке, устроенной единожды по пещерному еще чертежу и коммунистической схеме.

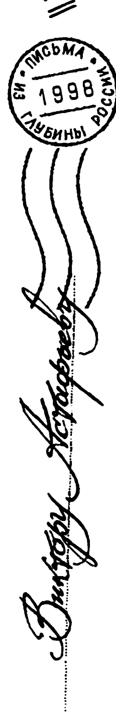
Я всю зиму работал, стараясь разделаться с новой повестью и собранием сочинений. Последние тома выдались особенно трудоемкие: 12-й — публицистика, 13-й сборный — новая повесть, восстановленный рассказ «Ловля пескарей в Грузии» и послесловие к нему более самого рассказа, где позволил себе сказать все, что было, все, что я думаю по поводу сего времени, и попутно и о гнусных воспоминаниях Викулова и не менее гнусном поведении журнала «Наш современник», его нонешнего редактора и авторов вроде Василия Белова, который совсем сдурел иль лучше сказать по-хохляцки «с глузду зъихав», и никто не смеет ему суперечить. Два последних тома — письма.

Если б не мои самоотверженные бабы — моя жена и Ася Гремицкая — редакторша, бросил бы я последние тома, остановился бы где-то в районе 13-го. Весь мой пар вышел, все силы и терпение иссякли.

Отправил Асю в Москву, сдавши все тома в издательство, и отправился в недалекий профилакторий, где спал почти трое суток беспробудно, а всего пробыл в одиночестве и тишине почти полмесяца, но у М. С. случился очередной приступ (они у нее все чаще, все тяжелее), и я вернулся домой. Пытаюсь разделаться с почтой и текущими делами. М. С. из дома не выходит, бытовая часть на Польке — магазин, почта, аптека, а коммунально-коммерческая — на мне. И только вплотную соприкоснувшись с ними, начинаешь понимать, как крепка и вечна русская бюрократия, при посредстве компьютеров и прочих машин достигшая небывалого совершенства.

Вообще-то, я уж никого к себе не пускаю в качестве корреспондентов, одна морока и досада от них, но «Смене» отказать не могу и тебе тоже. Се-

редина июня — время хорошее. Я нонче не собираюсь творить. И вообще на бумагу и чернила смотреть не могу, хочу отдохнуть как следует, вот и ты у меня в избушке отдохнешь. Она цела, прохладна, вымыта и ждет пациента, а избу малость ремонтировать надобно, и огород к той поре посажен будет, и жарки как раз в самом распале будут, и я в Италию не поеду. Звали в Миланский университет рассказать о сибирской литературе. Я невольно задался вопросом — сколько же сибирских университетов интересуются литературой Италии? Нет мне ответа.



Ну, обнимаю тебя, кланяюсь жене и парням.

Преданно кланяюсь.

Виктор Петрович

25 октября 1998 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Так, казалось, славно и по делу прошло овсянское сидение, а я, грешный, так нигде ничего о нем и не увидел — даже в те дни и в красноярских газетах. Или глядел не туда? Сам написал немного для газеты «Искусство» (приложение к «Первому сентябрю») и побольше для «Нашего современника» (но это уж если и будет принято, то выйдет разве в будущем году). А больше ничего. Девочки-то библиотечные, поди, собрали что было, — хоть бы догадались ксерокс сделать да прислать. Да авось и карточка какая найдется — а то и памяти никакой. Это нужно не для честолюбивого утешения, а для правильного понимания, куда и как править дальше.

Написал и заметочку про «Веселого солдата» в «Роман-газету». Что-то они трясутся: как бы опять имя́ от читателей не попало. А мне чтение — особенно чусовское — было каждой строкой привет и

утешение, дом и бедное мое детство, хоть прямо по рельсам беги. Андрей уговаривает поехать вместе. Разве уж по весне, когда главная грязь отойдет. Я уж два года не был, а надо бы отвезти землицы с маминой могилы на отцову и оттуда отцовой привести. Очень жалею, что не смог остаться пожить в Овсянке — больно уж Вы устали и страшно показалось быть в тягость. Спасибо Вам, Виктор Петрович, за приглашение, за Енисейск, за чудную церковь, за доброе дело.

Поклон Марье Семеновне, Анне и Наде — пусть отпишут да ксероксы пришлют. Это тоже работа.

Ваш Валентин Курбатов

5 декабря 1998 г.

Дорогой Валентин!

Мне из Москвы прислали «Литературную Россию» с твоей статьей. Спасибо на добром слове. Надорвали меня последние труды — эта повесть и работа над собранием сочинений. Болел лето, перемогался осенью и зимой, которая сразу у нас круто взялась за свои дела, успел похлюпать. И М. С. перемогается, у нее болят ноги, сердце, и вся она подрассохлась, но не сдается, тянет свою нитку на лекарствах. Я долго находился в прострации, не мог ничего делать, в незагруженную голову лезет черт-те что, а яркая наша действительность добавляет впечатлений. Пересилившись, начал копаться в бумажках, нашел наброски «Затесей», где лишь одно название, и царапаю потихоньку бумагу. Жалко затихающего и затухающего в душе и памяти материала. Знаю, что он «мой» и никто его не увидит, не повторит и «не отразит», но в вольную, опустевшую башку наряду с другими «крамольными» мыслями влезла и та, что дело наше не только бесполезное, а

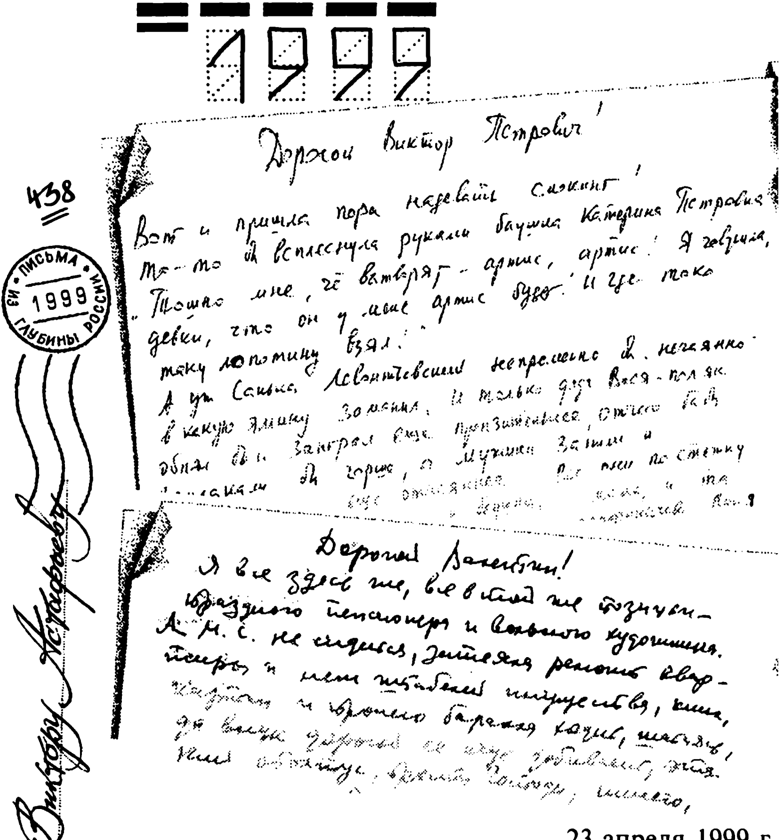
и греховное. Обман с помощью слова. Как в церкви, превратив ее в театр, блудными словами сотни лет обманывают — это называется «утешают» мирян, так и мы на бумаге творим грех, изображая и навязывая людям свое представление, в большинстве своем убогое, о таких сложных материях, как жизнь, душа, мир, Бог, бесконечность, смерть, любовь, бессмертие. Но люди читают и все еще верят лукавому слову. Вот посылаю тебе письмо читателя, хорошего, честного перед собой — это как бы дополнение к твоей очень мирной и доброй статье. А стихотворение великого русского поэта, неизвестного русскому народу, посылаю, чтоб в письме не объясняться на тему «что со мною происходит?» И еще рисуночек славный посылаю нашего красноярского забулдыжного художника. Нет предела в изображении человека на бумаге и полотне, а Пушкина тем более.

К 80-летию Солженицына попросили меня нацарапать несколько слов, попутно посылаю и их. Видал ли ты по телевизору фильм Сокурова о нем? По-моему, замечательно, поскольку безыскусно. Не знаю, как Александр Исаевич согласился подпустить к столу и рукописи людей с камерой и вопросами. Тяжкое это испытание, мешает оно не только творить, но прежде всего сохранять равновесие.

Девчонкам овсянским я велел отправить тебе стенограмму, фотографии и все бумажки, а сам после презентации собрания сочинений в краевой библиотеке 9 декабря уеду в санаторий «Загорье» и пробуду там до Нового года. Диабет донимает, ноги плохо ходят, да я никуда, кроме больницы, и не хожу, иногда сердце курлычет, надо побыть на режиме и диете, да и чужим воздухом подышать, у нас Енисей парит — сыро, пасмурно, зима уже надоела.

Обнимаю тебя.

Твой Виктор Петрович



23 апреля 1999 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вот и пришла пора надевать смокинг!

То-то бы всплеснула руками баушка Катерина Петровна: «Тошно мне, чё вытворят — артис, артис! Я говорила, девки, что он у меня артис будет! И где токо таку лопотину взял!»

А уж Санька Левонтьевский непременно бы «нечаянно» в какую ямину заманил. И только дядя Вася-поляк обнял бы и заиграл еще пронзительнее, отчего бабы заплакали бы горше, а мужики запили

и забуйствовали еще отчаяннее... Все они по стежку шили этот смокинг — и баушка, и мама, и та девочка из «Гори, гори ясно», и Сергей Митрофанычева Таня из «Ясным ли днем», да и мужики тоже чё-то делали — и папенька, и Сашка Лебедев, и Борис Костяев, и дедушко, и вояки днепровские. Все они нынче в небесных селениях и в человеческой памяти обнимают Вас. Да и мы все — и шибко грамотные, и не очень — тоже нынче присядем в уголке, чтобы начальство не затоптало, и пока там разные официальные слова говорят, повспоминаем, что пережили, какую жизнь отмахали, чего навидались и о чем надумали.



Сколько Вы прибавили нам родни своими книгами, дорогой Виктор Петрович, и тем спасли от беспамятства наше осиротелое, обворованное злым временем и нечистой идеей сердце! И как безжалостно, но тем и целительно сохранили в этом сердце и то, что нам хотелось бы забыть, но чего забывать нельзя, чтобы опять в ту же порочную колею не забежать.

Пошли Вам Господь сил и ровного здоровья, чтобы работать да работать потихоньку, как тетки Апроня и Августа в земле копались, потому что пока копаешься, то земля и держит, а отложил ручку, то как-то сразу не одни руки, а и голову некуда девать.

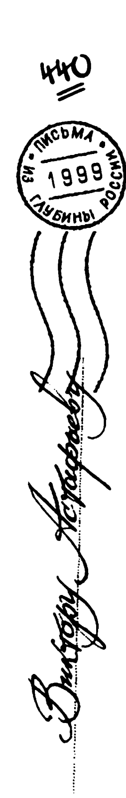
Спасибо и Вам, Мария Семеновна, за вековечное русское женское терпение и вековечную же целительную любовь, угадывающую каждую боль и каждое слово, когда они еще только всходят на крыльцо. Здоровья и душевного света Вам и утешения во внуках, и неустанного подкрепляющего плеча Виктора Петровича!

Да хранят вас небесные силы, навеки родные мои!

С любовью, благодарностью, непрестанной молитвой о вас.

Ваш Валентин Курбатов

18 мая 1999 г.
Псков



Дорогой Виктор Петрович!

Я наутро после Ленинки искал Вас, чтобы сказать спасибо за Москву, за библиотеку, за Гоголя, которого, конечно, надо было бы смотреть не на людях и не среди толкотни, но и так все не идет из головы рукописный отдел — летучий черновик «Тараса Бульбы» и мученическая каллиграфия «Завещания». В библиотеке уже никто не отзывался, словно они после «мероприятия» взяли отгул.

У Солженицына на присуждении премии Инне Лиснянской собрались подлинно жук и жаба, конь и трепетная лань: Д. Балашов и С. Липкин, В. Личутин и Ю. Мориц, В. Бондаренко и Н. Иванова. Поначалу держались «фракциями», но, выпив, пустились обниматься все со всеми, и чем крепче обнимались, тем виднее делалось, как завтра будут «мочить» друг друга с удвоенным «мастерством». Мы выпили с Мишей Кураевым Ваше здоровье и восславили Овсянку и Анисей. Подошел Александр Исаевич, сказал мне, что читал-де и там и сям, и «разделяет». Спросил отчество. Я сказал. Он вынул крошечный блокнотик, сшитый из тетрадки в клеточку, и обмылок карандаша меньше мизинца и записал: очевидно, чтобы в случае «шмона» проглотить и карандашик, и блокнотик без следа — не то привычка, не то уж хорошая режиссура.

Отказался от моего приглашения приехать на Пушкинский праздник, сославшись на лета, но когда я сказал, что выше кафедры, чем могила Пушкина, на которой ему предстоит выступить, на тот час в России не будет, вроде заколебался. А евонная Наталья так и сразу загорелась. Но однако четыре дня назад позвонил и все-таки отказался.

С тревогой думаю, что на праздник опять приедут

одни обсевки, как было в предшествующие годы, а потому будут корить власти за то, что те провалили юбилей. Ленив стал русский писатель поддерживать общую интонацию родной литературы, высоту ее тона. Выучились у Европы на себя работать, уже только доигрывают единство и «духовность».

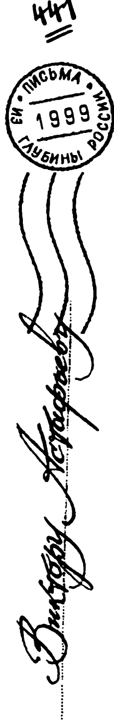
Ну да ладно, не буду опережать события, а вдруг да все и сойдутся стеной.

Поглядел я и выставку в Манеже, на которую мы зарились вместе. И что это было за чудо! Без всяких там гигантских полотен и эпических холстов. Чисто, нежно, красиво. Сколько еще по Руси чудных живописцев. Никакой Европе и никакой Америке не приснится. И как все-таки безграничен батюшка-реализм! Не наглядеться было! Очень жалел, что не посмотрели вместе. То-то бы вы подкрепились!

Пошли Вам Господь тепла и доброго лета! И светлой работы над детской повестью.

Сердечный привет Марье Семеновне!

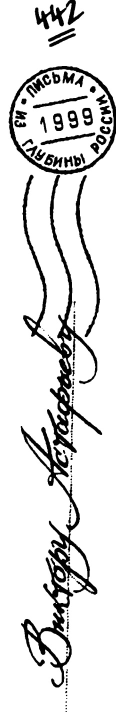
Ваш В. Курбатов



29 июня 1999 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вот уж чему завидую так завидую — Вашей деревне. Сам, увы, только на день и смог вырваться, и не похоже, что до августа соберусь. Запутался в каких-то несчетных чужих обязательствах — одному одно обещал помочь, другому — другое, и вот барахтаюсь в городе, в коридорах власти (ищу, как бы церковь поопрятнее вышла из сегодняшнего противостояния с музеями, где она повела себя вполне по-комиссарски: прежде те отнимали без рассуждения, сегодня эти терзают музейных дурочек, жизнь положивших за спасение церковного добра и не



умеющих примириться с тем, что это добро теперь пойдет Бог знает куда без должного просмотра, да еще и пропадет — что уже случалось). Бедные мы, бедные, никак здравого смысла не наживем — вот и церковь за время родной Советской власти совсем особачилась. Вроде и не виноват никто, а все-таки как-то и обидно за своего брата русака: чего же это он никак человеком-то не выучится быть. Вообще любить нашего брата можно только издалека, по книжкам да уютным рассуждениям у камелька среди декольтированных барышень.

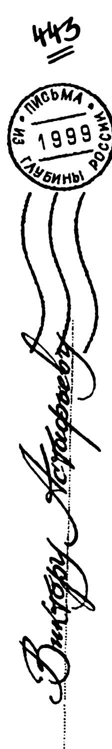
Ездил я тут на Валаам (не помню — писал ли), воспетый И. Шмелевым и Б. Зайцевым, как раз по следам их «песни» и ездил, поглядеть, что же там осталось от чудес природы и благочестия. От благочестия, конечно, совсем ничего (новые-то насельники еще когда что наживут), а от природы еще кое-что держится, но тоже утюг нынешний прошелся. Сколько труда пришлось приложить, чтобы извести нажитое поколениями. Маялись, видать, но изводили. И сейчас, как ни странно, вопреки монашеским усилиям, больше изводить продолжают. Места живого на острове нет.

А уж шпаны! Шпаны! Дикое место, полсуток на пароходе переть, а вот, поди ты, и сюда доехали. Прежде монахи на своей таможне табачок и водочку прямо на пароходе отымали — и на замок до возвращения (а кто утаивал — так и прямо в воду «бесовский-то припас»!), нынче только сошли мы с архимандритом Зиноном с парохода, а на бережку коробейник (а подальше еще один, и при монастыре тоже) «товарами первой необходимости» торгует с рукодельного лотка — а там игральные карты, водка и сигареты (словно нарочно, паразит, товар подобрал).

Ну а дальше — больше. Тяжелое осталось впечатление от поездки. А лица, лица! Сидит в каждой черте порок и у взрослых, и у детей. Собаки-то на

острове давно друг на друге переженились, уж просто ни одной и на собаку-то похожей. Вот и человеки тоже будто через лепрозорий прошли.

Ох, помается там монастырь, пока окрепнет. И Бог знает, выживут ли. Тут уж не знаешь, какие слова надо подбирать, чтобы такой «материал» воскресить.



Приезжал к нам на Пушкинский праздник Василий Иванович Белов. В монастырь ездил. Когда мы прощались, с искренней горечью сказал, что очень жалеет о Вашем с ним расхождении и тоскует по старым отношениям. Ничего тут не было натянутого, и повода я ему не давал. Коммунист-то в нем коммунистом, а страдающая душа тепла просит и знает, что искать ее надо не в новых людях. Тяжело его скосила смерть матери. «В себя, — говорит, — все никак не приду, снится часто, и в деревне совсем невыносимо», хотя живет теперь больше там. И очень видно, что одинок.

Слава Богу, что Вам работается. Чего еще больше надо — сил бы только Господь не убавлял.

А в Чусовом я не был и пока отчета постниковского не получил. Я тут уговариваю его Ваш домик с Партизанской на «Огонек» не перетаскивать, а прямо на месте, чего можно, воскресить. Он только на месте хорош, а на «Огоньке» будет только экспонат.

Ну не знаю, убедил ли, — много писал.

Поклон Марье Семеновне.

Храни вас Бог, родные мои!

Ваш В. Курбатов

3 июля 1999 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Я поздно узнал, что на могиле Ирины разбили решетку. Да и, узнав, не сразу поверил. Как ни укладывай в голове, — не уложишь. Чем дольше жи-

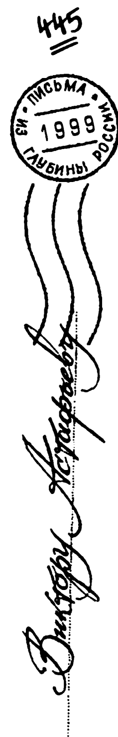
вешь, тем меньше понимаешь, то ли это нам матушка-литература предложила народ, а мы в него поверили, тогда как на деле он всегда был одинаков, то ли и правда уже сейчас изгадился человек до совершенной неузнаваемости. Все, однако, кажется, что до кладбищ руки не доходили дольше всего. Теперь вот дошли. И в церкви, хоть стены и кровлю старались не трогать, а воровали в XIX веке выручку из «кружки», и редко — иконы и утварь. А теперь вот с псковских храмов алюминиевые и медные кровли ночами снимают. Все на продажу, все в товар. Брали бы душу — эх, и попродавали бы! Да, впрочем, чем же еще и торгуют, если не ею, когда оскверняют кладбища и церкви.

И кричи — не кричи, услышать будет некому, потому что книжек они не читают, а за руку схватят, так ручку позолотят милиционеру-то и опять за свое. Впрочем, чего тут разжигать себя, сожми сердце в кулак и работай, говори свою малую правду, хотя бы говорил в пустыне — другого оружия у нас все равно нет.

Работается ли Вам? Хотя какая детская повесть в ожесточении сердца? *[Речь идет о давно задуманной Виктором Петровичем детской повести о собаке по кличке Спирька, которая была у Астафьевых в годы их жизни в Перми. К сожалению, писателю так и не удалось осуществить этот замысел. — Сост.]* Да и какая взрослая? Поедете ли в Сростки? Недолго на людях побыть иногда куда как в пользу. Я приглашение получил, на конференции должен был выступить, но как-то истрепался сердцем и умом, видно, от несусветной непрестанной жары высох и онемел — стронуться с места не могу.

Сердце стало болеть. Боюсь и подумать о раскаленном вагоне и влажных от пота простынях. А так бы хотелось и Сростки повидать, и Никольское — Кузнецовы, верно, обрадовались бы, если мы с Ва-

ми вдруг накатили посидеть на крыльце после бани, как в старое время. Вы-то, вероятно, вместе с Володей машиной поедете — он что-то такое в апреле говорил и под горячую руку и меня звал. Но теперь молчит. Я же сначала в Смоленске был на кинофестивале «Золотой витязь», потом на Пушкинском празднике трещал с гостями. А там еще добрая «Смена» дала командировку съездить на исток Волги, где начинался крестный ход по водам Волги, Днепра и Западной Двины. Покормил слепней, комаров, столкнул на воду плавучую церковь, поговорил с разными добрыми старухами и вот сижу отдуваюсь и вспоминаю позабытое искусство «отписываться» после командировки. Давно на свободной привязи хожу — отвык.



А вот куда бы поехал, так это в Чусовой. Как мы хорошо думали об этом с Вами и Марьей Семеновной. Да только тоже, поди, не тронемся...

Сердечно обнимаю Вас и кланяюсь Марье Семеновне. Пошли Вам Господь здоровья и хоть малого покоя.

Ваш В. Курбатов

14 августа 1999 г.
с. Овсянка

Дорогой Валентин!

Вот уже несколько писем от тебя, да еще и альбом замечательный из Ясной Поляны, сыдю, как Петро Николаенко говорит, и что-то никак склеиться не могу. Хоть и шутил Александр Николаевич Макаров, дружочек мой незабвенный, «инфаркт — залог здоровья», да не очень залог-то утешает, у меня он второй, голубчик, и после первого я еще жеребятился, много работал, а сейчас едва хватает меня на письмо.

Поездка на Урал отпала, дай Бог при докторе,

Марье и Андрее сплавать в Игарку. Что-то я по ней истосковался. На теплоходе, я знаю, будет покойно от воды и пейзажей родных, давно знакомых, при виде которых всегда у меня душа плачет умиленно. Надеюсь на это, а пока вот жилы мне и Марье выматывали, восстанавливая оградку на могиле дочери, разграбленную в конце мая. Вчера закончили сей скорбный труд, немного отлегло, но погода у нас колкая, холодная, и меня ломает, может, и погодою.

Вышли мои «Затеси» в «Новом мире». Построгали их — все еще боятся коммунистов и генералов, может, и не напрасно. Знаю я тут одного генерала поблизости — страшный человек.

В огороде все наросло хорошо, жаркий июль пошел на пользу, а я в самую жару притухал в больнице, молил дождя, вот и намолил, впору просить и всех, кто выше него, прекратить эту благодать.

Был тут с фильмом Никита Михалков, навестил меня в больнице, сулился за счет своих фондов и студии пристроить меня в сухой подмосковный санаторий, так, может, в октябре и поеду. Уж больно недомогаю, так и тянет прилечь, а надо бы ноги расхаживать, пущай и с палочкой.

Ребята зажили отдельной жизнью, Полька поступила в физкультурный техникум и по упражнениям имеет сплошные пятерки, да это не диво, а диво то, что по литературе она сдала экзамен на четверку, уж так ее Витька, видать, достал, когда и лупил, наверное, что сдала дивчина усе и теперь, говорит, мастером спорта будет. И пусть спорта, но не с понта только...

Уж в компании-то мне в Ясной Поляне не побывать, но если обыгаюсь в санатории, съезжу один, просто так. Володя Толстой пишет, мол, пожалуйста, в любое время.

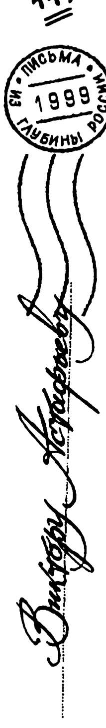
Ну вот, уже устал, закругляюсь. Обнимаю тебя, целую многократно, спасибо, что не забываешь.

Преданно твой В. Астафьев

P. S. А что это поэт и историк Золотцев на тебя подворотной собачонкой напустился? От чувства неполноценности или от врожденной злобы?

Очень хорошую я книгу пробил Алеши Решетова *[поэтический сборник, выпущенный редакцией журнала «День и ночь» в серии «Поэты свинцового века» (вып. 6) в 1999 г. Виктор Петрович был автором предисловия. — Сост.]*, попрошу Маню тебе послать парочку.

Сам зачитываюсь и открываю Алешу по новой...



31 августа 1999 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Все-таки, значит, поехали в Игарку-то? Ох, бедовый Вы человек! А тут еще и дожди, да и попрохладнело. Или это только у нас? Не выбежал ли к Вам в Бахте Михаил Тарковский? И каково работалось Мише Литвякову? Ну, у этого я сам спрошу. Да и мы договорились смотреть материал вместе, потому что одна голова хорошо, а две — это уж сплошные разногласия и полная погибель здравого смысла. Вдвоем хорошо только зубоскальские комедии писать, да холодную водку теплым вечером пить. Но поглядеть, конечно, погляжу и именно весь материал, а не только фильм. У Володи-то вон, Кузнецова, сколько добра погибло от того нашего фильма. А погляди мы с ним вместе, глядишь, кино-то бы и получилось. И было бы поглубже и позанимательнее, чем сейчас.

Ну, да и Бог с ним, с кином. Главное, чтобы Вы воротились в здравии и в утешении поездкой. Хотя предвижу, что особенного утешения не будет. Не думаю, что Игарка сейчас особенно расцвела. Как и все остальное по берегам.

А книжка об этой поездке может выйти очень хо-

рошая — были бы только силы, да все было бы ладно с Полькой, и здорова была бы Марья Семеновна.

Я в Чусовой, может, все-таки выберусь. Юбилей-то свой отменяю — совсем оскудел, на десяток человек стол не накрою. А в Чусовой мне обещают командировку от журнала «Смена». Вот и думаю — не сбежать ли, если они не передумают. Хотя, если на самой-то глубине признаться, бежать хочется от пустоты. Поглядел на свои заметки, которые всегда писал только по заказу, как исправный чиновник, и понял, что похвалиться-то и перед самим собой нечем и показать нечего.

Отчего-то стало горько и стыдно, будто обманул кого. Пока строчил, все как будто занят был, а как остановился да поглядел, так не знаешь, как детям в глаза глядеть. И накормить как следует никогда не мог, потому что кобенился и выбирал дорогу почище, и не сделал ничего. Как это в шергинской-то сказке — «Был ли у тя, Нюра, мужик-то?» — «Да вроде когда ел, помню, бороденка моталась, а так — не знаю...»

Ну вот и у меня бороденка моталась...

Очень жалко, что не будет Вас в Ясной Поляне. Там все обычно народ-то боевой, но «без весу», и оттого и дни шумны, а легковаты. И слова-то хоть значительны, но все будто наши рублишки — и герб-то на них, и государственные обязательства, а купить-то и нечего.

А Вы бы приехали, и сразу все поднялось и «обеспечилось». И Валентина *[Распутина. — Сост.]* не будет. Лечит глаза в Иркутске — вторая операция.

В общем, на свете не только счастья нет, но и покоя и воли — тоже.

Сердечный привет Марии Семеновне!

Храни Вас Господь. Берегите себя!

Обнимаю Вас

Ваш В. Курбатов

В этом месте, пользуясь правом составителя, я прерву переписку, чтобы именно здесь, в октябре 1999 года, воспроизвести текст статьи Виктора Петровича, написанной им к 60-летию Валентина Яковлевича и опубликованной в те дни в местной печати. Полагаю, эта вставка не нарушит эпистолярную тональность книги, а лишь дополнит ее практическим содержанием. Рассказать об этом в письмах нельзя, но, с другой стороны, публично сказанное искреннее слово о друге, — чем не послание ему в юбилейные дни.

Г. С.



Жизнь для людей и для Бога

Тороплива жизнь.

Он был учащимся старших классов чусовской школы № 9, когда я уже стал «ходить в писателях». Однажды я выступал в этой девятой школе. Стол на сцене, покрытый красной скатертью-материей, цветы в вазочке, пионеры салютуют, приветствуя писателя, хвалят, и мне это очень даже по сердцу, нравится носить такое редкостное звание. Еще я не знаю, что это за труд, еще все испытания словом впереди, еще только брезжит та самая вечная лампада в далекой и мутной дали соцреализма, за углом с тупой секирой поджидает самая бдительная, самая подлая цензура всех времен и народов, а пока дыхание распирает от гордости за себя и за свое дело.

Но что это такое? Среди благоговейной тишины и робкого, доверительного почтения смешки в задних рядах, шушуканье, гримасы, шевеления и прочие неудовольствия. Это старшеклассники демонстрируют пренебрежение и презрение к местному творцу, уж кто как, но они ведают, что в своем отечестве, тем более чумазом, дымом и сажей покрытом городишке, пророка нет и никогда не будет. Среди этих воинствующих в силу их воз-

можностей недоброжелателей, узнаю я впоследствии, присутствовал и будущий критик Курбатов.

Отец у него был слесарем, мать дежурила на водокачке. И тут случались столкновения, но уже иного, не эстетического порядка. Водокачка стояла на светлой горной реке Усьве, и от нее волнорезом шла вода по реке, в волнорезе табунился малек, а всякому рыбаку известно: где малек, там и окунь, и щурята, вот и норовили местные спиннингисты запулить блесну в добычливое место, но мать Курбатова, хозяйка объекта, гонит вон от водокачки — не мутите воду и все тут.

Ох и посмеялись мы с Валентином впоследствии немало над этими чусовскими происшествиями. И поныне, как сойдемся, вспоминаем те нелегкие послевоенные годы со сладкой печалью и немеркнущим светом в душе.

Отсюда, из городка Чусового, много читавший, без затруднений хорошо учившийся и вроде бы с медалью кончивший школу, уже подтравленный литературой и тихим сочинительством, Курбатов подается в Москву с намерением попасть в Литературный институт. Но там же конкурс в ту пору ошеломляющий, что-то до сотни душ на место, а денег дадено родителями в один конец, и уральский абитуриент прихотливой волной судьбы был занесен в институт кинематографии на диковинно тогда звучащий факультет киноведения. Я и кроме Курбатова встречал несколько человек, кончивших этот впоследствии модным ставший факультет, и все мною встреченные так и не поняли, чему и зачем они учились, однако за пять-то лет киностуденты не только перетаскали эшелоны грузов на хребте, добывая пропитание, но и перезнакомились досконально с «кином», и не только нашим, поездили в киноэкспедиции, близко узнали кинопроизводство, жизнь артистов воочию увидели, приобщившись к высокому слову и настоящей литературе.

Из ВГИКа Курбатов вышел уже довольно образованным, интеллигентно обогащенным человеком, а глубокий восприимчивый ум у него от природы.

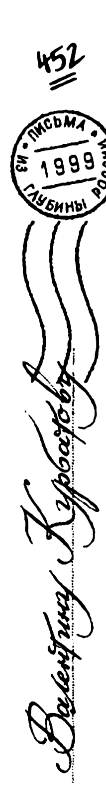
Но кому этот багаж нужен в полуграмотной стране —

народу, возомнившему себя самым читающим, самым передовым и счастливо живущим? Словом, после бездомья, бесхлебья и брожений отнюдь не творческого порядка попадает наш герой в древний город Псков, в молодежную газету, и в отделе культуры зарабатывает хлеб насущный, давая в числе других материалов и обзоры еженедельной кинопродукции, мелькающей на экранах. Обзоры профессиональные, въедливые, да еще с молодым киноведческим задором, конечно же, не по душе передовому кинозрителю и читателю. Город-то Псков пусть и древний, да идеология в нем советская, молодая, многотональности и всяких разных мыслей, разногласий не терпящая, раз мудрая партия сказала: белое — это белое, черное — это черное, да еще есть красное революционное, то нечего и уклоняться от верной и точной линии.

В молодежную газету приходит длинное письмо, подписанное ветеранами партии, ВОВ и прочими, не устающими следить за идейной чистотой наших рядов бдительными товарищами, под названием «Когда эта контра перестанет глумиться над советским киноискусством?» И редактор газеты, потупясь, спрашивает: «Сам уйдешь или приказ писать?»

На ветру, на идеологических сквозняках оказался молодой задиристый киновед и журналист, а уже семья, пусть и небольшая, под боком, надо ее кормить. С закрытых издательских рецензий, с журнальных статеек, с обзоров и коротких заметок начинает критическую деятельность в литературе Валентин Курбатов. Какого вкуса хлеб литературного критика, может поведать только критик.

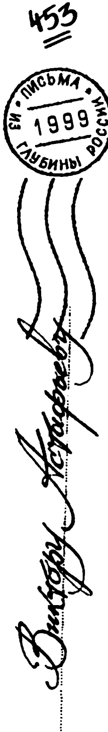
Я всегда, веселясь, рассказываю, как после читинского семинара шли мы, литераторы, по одному забайкальскому городку, и нас остановил подвыпивший человек, измазанный кедровой смолой, с вопросом: правда ли, что мы писатели? Шуткуя, мы начали представляться поочередно этому человеку, и когда дело дошло до милейшего, интеллигентнейшего Николая Николаевича Яновского и он назвал себя критиком, ошарашенный



шишкарь потрясенно воскликнул: «Критик! Так что же вы его не бьете?»

Валентин Яковлевич только головой трясет, слушая эту неприхотливую историю, и горько усмехается в бороду. «Но надо жить и исполнять свои обязанности», — сказано, как влито, одним советским писателем. И критик Курбатов исполняет их достойно, не размениваясь на дешевку, не делает заячьи скидки от испугу, не мечется из стороны в сторону. У него есть своя линия в жизни и работе, и хотя она не очень хлебная, он верен ей и тем заслуживает уважение у друзей, которых у него в литературе русской немало. Те, кто слушал его выступления на сибирских литературных встречах в Красноярске, на вампиловских встречах в Иркутске, на ежегодных кинофорумах, на международном съезде в Ясной Поляне у Толстого, бывают благодарно поражены его нерасхожими провидческими мыслями, глубиной суждений о душе, о Боге, о противоречивой духовной жизни в России. Его оценки, выводы и размышления не бывают крикливыми, не претендуют на исключительность, он тверд в своих убеждениях, основанных на широком и глубочайшем знании предмета, о котором размышляет вслух или на бумаге. У него в статьях и монографиях появился свой стиль, своя интонация, что удивительно для нашего разбросанного времени и раздрызганной жизни, выбившейся из всякого стиля, из всякой цельности мировосприятия.

Жизнь не только тороплива, но и суетлива, и переменчива. Давно уже нет отца Курбатова, давно уже нет и водокачки на Усьве, сама начальница той водокачки, переехав к сыну во Псков, все тосковала по задымленному, чумазому городку, по реке Усьве, по уголку, где родились и выросли дети. Так в тоске и окончила свои дни на далекой, чужой сердцу стороне, по которой вечно тоскует и сын ее, все подговаривает меня и подбивает мою жену-чусовлянку рвануть на Урал, в городишко, из которого вышло десять членов Союза писателей. Искра, зароненная нами, все тлеет и тлеет, хотя, может



быть, свой пророк так и не появляется, зато сочинитель и разного рода творческий чудак, мастеровой человек, изобретатель диковинных машин, сметливый, лобастый русский мужик, весельчак в металлургической спецовке, рыбак, охотник, выдумщик здесь не переводятся.

Будем живы, Валентин Яковлевич, авось и повстречаемся еще на Урале и у нас, в обжитой, приветным словом и мыслью твоей согретой Сибири, попьем чайку в Овсянке и погутарим всласть о том, о сем, будем живы!

Когда-то ты назвал статью обо мне «Жизнь на миру». Продолжая твой запев, я хочу тебе пожелать жизни в слове и на миру для людей и для Бога, но главное, быть жизнестойким и все таким же, дружески-сердито расположенным к по необъятной российской провинции обретающимся литераторам и подвижникам слова, подобным тебе.

Виктор Астафьев

Газета «Красноярский рабочий».
1 октября 1999 г.

23 ноября 1999 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Когда бы Мария Семеновна не прислала мне Вашего высокоторжественного слова на мое 60-летие, я бы так и не узнал о нем. Больше-то обрадовать меня было некому. Может быть, Сережа Задереев сказал бы на съезде, но сесть-то он в самолет сел, а из самолета, по свидетельству Толи Буйлова, не вышел. И как оно там все разрешилось — неведомо. И жив ли — Бог весть. Не знаю вот, кому и позвонить и у кого спросить.

Спасибо, Виктор Петрович! Это слово Ваше — из подарков самых важных душе, самых дорогих Немедленно похвалился Постникову, хотя мы оба похмыкали над «житийной» стороной слова. Отец у меня слесарем не был, гвоздь в стенку забивал — больно было глядеть, по нему была одна лопата —

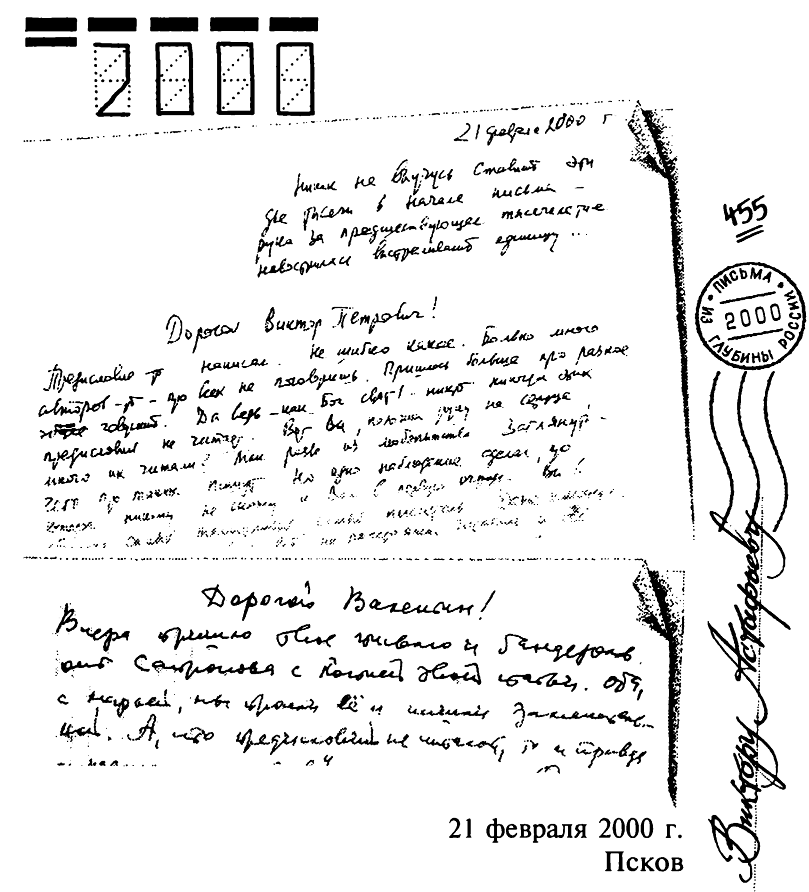
всю жизнь землекоп. Сам я не то что с медалью школу закончил, а и четверки-то были, кажется, только две — по литературе и Конституции СССР, а остальные все трояки (институт, правда, с отличием). И в Литинститут никогда не думал поступать, как вообще не собирался становиться литератором, да и сейчас, смешно сказать, при этом слове оглядываюсь: о ком это? Все будто чужое место занимаю. И с работы меня не гнали — сам ушел, воли душа попросила, опостылело числиться по пропаганде. Ну да ведь в слове не это и главное, а доброе Ваше сердце и благородное расположение. Спасибо!

Для меня чудо и радость, что мы теперь с Вами Почетные граждане не шибко жаловавшего нас Чусового. Может, теперь чуть чего, втроем — Вы, да Постников, да я — почетом-то и постращать сможем какое-нибудь мелкое чусовское начальство, а то и рублишко выпросить для музея, который все сочиняет да сочиняет Постников на беду тамошней, не знающей куда от него деваться культуры.

Съезд нашего писательского Союза был так бодр и скор, что никто и опамятоваться не успел, как все уже опять сидели на своих местах на грядущее пятилетие как ни в чем не бывало. Веяло духом победы и «дальнейшего развития» какого-нибудь 1949 года, оставалось засмеяться, махнуть рукой и отправиться в буфет, что я и делал, то с Толей Гребневым, то с Мишей Щукиным, то с Витей Лихоносовым (этот, правда, питок никудышный, но собеседник славный). А может, оно так и надо. Нынче только чего тронь, такая вонь подымется — Господи, спаси, — а так уж все слежалось и, глядишь, так и перегниет.

Сердечный привет Марии Семеновне, от которой жду приговора по предисловию и боюсь и в почтовый ящик заглядывать.

Ваш Валентин Курбатов

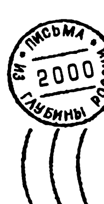


21 февраля 2000 г.
Псков

Никак не выучусь ставить эти две тысячи в начале письма — рука за предшествующее тысячелетие навострилась выстреливать единицу...

Дорогой Виктор Петрович!

Предисловие, что попросил меня написать к сборнику фронтовых повестей Гена Сапронов, написал. Не шибко какое. Больно много авторов-то — про всех не поговоришь. Пришлось больше про разное общее говорить Да ведь — как Бог свят! — никто никогда этих предисловий не читает. Вот Вы,



положа руку на сердце, много их читали? Так, разве из любопытства заглянуть — чего про таких пишут. Но одно наблюдение сделал, про которое никому не скажу и Вам в первую очередь — Вы в сборнике самый талантливый, самый писатель. Даже хмыкнул, когда увидел. Так ведь все на расстоянии читаешь, и все размывается и кажется ровным. А тут как подряд-то прочел, то и увидел и трогательную старомодность Носова, и расчетливую холодноватость Быкова, и кремлевское, все курсантское (при этом вдруг не без оглядок на Толстого) щегольство Воробьева, и простодушие Кондратьева, и Ваше бережное вглядывание во всякое слово (как его приладить к человеку, чтобы и сидело как следует, и все-таки чтобы было видно, что одет и одет хорошо). Ну, в общем, спасибо. Это, кажется, и правда святейшая и светлейшая Ваша вещь — прямо хоть в палату мер и весов. Так хорошо на душе сделалось, что вот решил написать Вам это «письмо читателя».

Сегодня писал об этом и Конецкому. Он, бедняга, в больнице — желудок у него давно уж и тертой пищи не принимает и ноги совсем не ходят. Будет минута, черкните ему. Он, как все героические моряки, душой чистая девочка, и ему одиноко и печально. Привык все «на мосту» в белом кителе — остроумный и легкий в хороводе барышень, а тут больные, разговоры о здоровье, тоска. И не моряк Лазаря запоет... Я получил, наконец, пенсионное удостоверение и пенсию в 500 рублев и вот сижу разглядываю все это и восклицаю как незабвенный Николай Васильевич: «О, моя юность! О, моя свежесть!» Где все это? Когда успела пролететь жизнь?

Ничего ни сказать не успел, ни сделать, а уж взашей со сцены — пошел, пошел, давай дорогу племени младому, незнакомому! Стал ловить себя на досаде — скоро поварчивать начну, а там и брюз-

жать. Хорошо хоть еще числюсь работающим пенсионером (есть запись в трудовой книжке, что я член редколлегии журнала «Русская провинция», а они и не знают, чё это за работа, хотя я член еще пятка редколлегий). Ну и я так и оставил — Бог с ней, с лишней десяткой, зато вот — «работающий», значит вроде как у места, служу Отечеству, не даром хлеб ем.

Сапронов говорил, что может оплатить мне поездку к Вам. То-то бы хорошо. Вот разве чуть бы потеплее — может, к началу мая. Как раз бы к выходу книги и природа бы уже веселей глядела. Тусклая сырая нынешняя зима извела всю душу. Хочется чего-то повеселее.

Сердечный привет Марии Семеновне!

Здоровья вам обоим, родные мои!

С любовью и постоянной молитвой

Ваш Вал. Курбатов

2 марта 2000 г.

Дорогой Валентин!

Вчера пришло твое письмо и бандероль от Гены Сапронова с копией твоей статьи. Оба, с Марьей, мы прочли ее и нашли замечательной. А что предисловий не читают, то и правда и незнание «ндравов» нашего народа. Преподает иль, по-ученому, «читает» литературу в нашем университете Галина Максимовна Шленская, бабища здоровая, отважная, ума — палата. Я иногда, к сожалению, редко с нею встречаюсь, ее подъелдыкиваю. Так однажды слушали мы вместе художественно-сценическое чтение столичным приличным гастролером «Руслана и Людмилы», и по окончании, отхлопав в ладоши, Галина Максимовна сказала: «Две неточности допустил чтец». А я ей: «По-моему, одну», а она

мне: «Нет, две!» и давай на ходу читать поэму, да еще попутно почти всего Пушкина прочла. Однажды я с нею ездил в Канск, где она в местном пед. колледже подрабатывает, ибо сын с невесткой сотворили дитя и подбросили еще грудного бабушке с дедушкой, вот она и вкалывает на трех работах, чтобы прокормить семью. Пораженный глубиной ее знаний, уму и памяти незаурядного человека поклоняясь, я признался ей, что всегда сожалел, что не поучился ни в каких университетах и страшно завидую тем студентам, которые учатся у нее уму-разуму, внимают ей и самосовершенствуются подталкиваемые и подпитываемые ею.

«Ох, Виктор Петрович, Виктор Петрович! Как Вы наивны! Да нужна я кому-то со своими знаниями? А что в университете не учились, может, и к лучшему...» Горько мне было слушать это и тяжело, тогда я сказал: «Г. М., ну восемь-то иль девять человек есть, которые вас слушают и которым нужны Ваши знания?» — «Да, есть, но восемь или девять — не больше». — «Ну так вот для них и читайте, им себя и отдавайте. Вы думаете, в аудиториях дореволюционных сплошь Писаревы, Плехановы и Менделеевы сидели? Да на одного умного там сто дураков сидело». — «Ну спасибо, утешили».

Вот и тебе я хочу сказать и тем утешить, прочтет десяток человек твое предисловие — и то хлеб, а я думаю, книжку в таком составе будут читать много и многие, глядишь, и в предисловие заглянут. Слушайся, критик! Сам себе этакую профессию выбрал с Божьей помощью. Как говаривал чистой и великой души человек, мой тесть, когда мы с ним чистили сортир: «Надо и эту работу кому-то сполнять».

Вот ты уж и пенсионер. Поздравляю, паря! Оно, конечно, еще столько же набавили б, так не ошиблись, но надо ж властям самим шиковать и пировать, на всех средствий не напасешься.

Мы потихоньку перевалили зиму с солнцем, с искрами снега под солнцем, но вот «отпустило» и начался повальный грипп. Стараемся никуда не ходить, но вовсе-то сидеть дома невозможно, в магазин, на почту надо, а тут вот ТЮЗ наш затеял спектакль по «Звездопаду», 5 марта премьера, как тут в гущу народа не залезешь. Театрик слабый, был я на репетиции-прогоне, заскучал и заскулил, но ладно — ребятишки нищие старались, уважать нужно этакий, почти подвижнический, труд.

Прочитал в десятом номере «Москвы» повесть Лени Бородина и словно свежим воздухом дохнул иль кусочек сахару пососал, так славно, так светло, так дружелюбно к народу своему написал бывший зэк, что все мокро под носом утер всем этим ерникам-новаторам, издевающимся над словом, над собой и ближними своими. Еще прочел в «Нашем современнике» потрясающие стихи омича Кутилова, погибшего рано и бесславно на улице в качестве бродяги. А ко мне вот пришла книжица «Письма к ней» как ответ на мои сетования по поводу того, что кавалера Де Грие нету. Написал эту книжку Вася Емельяненко, бывший летчик, Герой Советского Союза, продав свою квартиру в Москве. С виду нашенский, лапотный мужик, всю жизнь писал письма любимой женщине, она по национальности крымская татарка, что не дало им возможности соединиться. Его четырежды сбивали на «Ильюшине», а я его эксплуатировал беспардонно, пользуясь благорасположением ко мне. Как не могу улететь в Вологду из-за отсутствия билетов, так звоню ему, он садится на свою «Волгу»-танк и мчится в Быково меня выручать. Однажды нас подловили, сраму подвергли и меня, и Героя. Стоим, морды в землю упря, швыркаем носами, а нас отчитывают, а нас срамотят.

А он, Вася, вон любимой своей по-аглицки пись-

ма шпарит, ноты шлет с собственными сочинениями, ибо попутно с военной академией еще в консерватории учился. Консервы, стало быть, военные делал.

Вот чтобы этих унижений более не было, надо перетерпеть все. Правда, мы народ такой изобретательный, что вместо прежних унижений придумаем новые, во сто крат лучшие. Ну хотя бы те, которым подвергаешься ты и вместе с тобою домашние твои, да и вся литература отечественная. Вышли у меня две роскошно изданные книги в Москве и Питере. В Москве — роман, в Питере «Солдат» и рассказы. Так ведь пока не написал и раз, и два, и три, ни авторские, ни деньги не присылали. Из Москвы, из издательства «Терра», хоть позвонили, извинились, а Питер, как в старину говорили, «о нас ноги повытер».

Может, и ладно, что ты не собрался к нам, Поля у нас животом заболела, у невестки в Вологде подозрение на страшную болезнь, мы с Маней ложимся попеременно в постель. Я собираюсь в больницу, на профилактику, плохо со зрением стало, и ноги отказывают, надо подлечиться.

На конец сентября мы планируем третьи «Чтения» и, если ничего тебя в жизни не перебьет и не затянет, милости просим. Я-то уже на так далеко не загадываю, но повидаться охота, а желание жилу крепит, сил придает, говорят шибко умные люди.

Если не смотрел, то загляни во второй номер «Нового мира», там мои заметки о Рубцове, а в общем-то — о России и обо всех нас, горьких жителях этой неприкаянной отчизны. Ну, что-то я разболтался, аж рука занемела. Обнимаю, целую, кланяюсь домашним. Марья делает то же самое, и прости, что редко пишу. Хочется, но текучка и душевная смута не подпускают к письму человеку, которому и без моих нытий тошно.

Бодрись. А мне рыбалка каждую ночь снится, соскучился по речке, по бережку, по катерку, по ушке, да мало ли по чему хорошему можно соскучиться и память почесать, но и то хорошо, что есть, по чему скучать, и вспоминать тоже есть что.

Храни тебя Бог!

Твой Виктор Петрович



19 марта 2000 г.
Псков

Спасибо, дорогой Виктор Петрович!

Побыл с Вами, как в старое время, посидел дома за неторопливой беседой, каковой и были письма в прежние времена, отчего их чтение доставляет сегодня такое наслаждение. А уж какую наше время переписку оставит — не знаю. Записки все больше и по преимуществу расчетливого стиля. А уж покоя, долгой тишины, сердечного света не ищи. Разве начнет писать сразу «для потомства», как мне писал один умный еврей, а теперь первоиерарх и апостол Богородичной церкви, — все я вторые экземпляры получал из-под копирки, покуда не спросил его: «Что это?» — «А что я на тебя одного буду расходовать этот дорогой пламень? Мысль-то вон как хороша — как же ее похоронить в одном письме, я потом ее тисну». Экономный паренек. Даже и первый экземпляр себе оставлял. Вот это по-нашему — хоть в символы времени определяй! А Вовка вон Личутин, хоть и мой крестник, а только посмеивается на мои укоры в молчании: извини, крестный, я лучше за это время страницу в роман напишу. Ну, это я понимаю — на здоровье. Хотя все-таки отчего-то позволяю себе думать, что такая страница будет холодна и повеет от такой прозы тем же расчетом, хотя бы и высокого свойства.

Мои планы вдруг расплылись и потерялись в тумане. Меня снова манят в Турцию, в бывшую Антиохию, где родились все наши величайшие отцы церкви: Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. А я и очень хочу, и изо всех сил отговариваюсь, пытаясь перевалить это дело на С. С. Аверинцева, потому что там надо будет снимать кино, чтобы впоследствии заманивать туристов, а для этого надо очень хорошо знать материал. А материал-то сложнейший, двухтысячелетний, богословски изощренный. Для его освоения надо начинать жизнь сначала. А я уж на пеньзии и обленился и чую, что экой тяжести не подниму.

Но пока еще ничего не решено. Что до Красноярска, то если ничего у Гены Сапронова не переменится, я бы тоже очень хотел на денек-другой завернуть. И думаю, что лучше бы всего было совместить это с солженицынской премией Распутину. В прошлом году Александр Исаевич меня звал на Инну Лиснянскую. Авось на Распутина-то тем более позовет. Мне бы хотелось сказать о Валентине небольшое слово. Это будет 4 мая — и вот оттуда бы на самолет и — фр-р-р! — в Красноярск. Там бы числа 7-го и представление книги где-нибудь в библиотеке.

Ну, в общем, нечего загадывать. Уж не молодые в этакую даль глядеть при бойкой нашей жизни. Но пока нарисовал себе этот вариант.

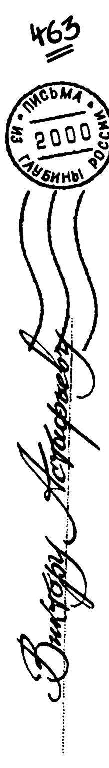
Спасибо за воспоминания о Рубцове! Горемычные наши поэты! Чего они не навидались и как не нажились. И никто, кроме самих бедолаг, не виноват. Такими горемычными уродились — без этого русская поэзия не держится. Она себе печаль сыщет и избранника своего до нищеты и гибели непременно доведет. Какой был в Перми мальчишка Коля Бурашников — запился до последнего и наконец был убит. А умен-то был, а чист-то: слеза и слеза! И как писал!

***

Один взял девочку,
и свил веревочку,
и в ус не дует.
Другой взял девку,
Она веревку
Свила из парня.
А третий, горюшко,
Сплел косу девичью
И удавился.
А по любви-то
Взаимной сходятся
За синим морем...

***

Сон не сон, а что-то вроде сна.
Снег не снег, а что-то вроде снега
Падало легко в ночное небо,
И стояла в мире тишина.
И когда все небо побелело,
Кто-то тихо по нему прошел.
Слышал я, как тишина хрустела
Удивительно и хорошо.
Так ходила мама за водой
Рано утром... Так теперь не ходят.
А пойдут, собак лишь раззадорят.
И с чего бы это, свет ты мой?..



Всего бы переписал — того же Колиного рубцовского света был паренек. И слава Богу, все рождаются вопреки ларечному разноцветному миру, и все будто братья, все будто дети одной матери.

Спасибо, Виктор Петрович! Спасибо, Мария Семеновна!

Обнимаю вас, родные мои и все скучаю.

Ваш В. Курбатов



3 июля 2000 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Не успел я обсудить с Вами сроков «Чтений» — Вы уже определись. Раньше мне надо было написать. Я все думаю, как бы их соединить с яснополянскими «Встречами», то есть так подгадать, чтобы толстовские гости сразу переехали в Овсянку. А то они в Ясной-то поговорят, поговорят о единстве и общем делании, а потом прыг в машину, и сразу врассыпную и опять за свое. А тут они бы на другом уровне и в другом кругу продолжили бы то, что наживили в Ясной, и, глядишь, дело было бы покрепче, ведь в сущности задача тех и других собраний одинакова в разных частях света, а тут бы и эти «части» сделались поближе.

Понимаю, что это неистребимый мой романтизм советского человека, да уж куда его денешь. Ну, во всяком случае, если я буду в Ясной, то поговорю и с Володей Толстым, и, может, еще кое с кем, авось кто и поедет.

Потому мне хорошо бы пораньше знать список приглашенных, чтобы, если окажутся среди них «яснополянцы», доподлинно «подавить» на них там. Мне же со своей стороны хотелось бы пригласить редактора журнала «Русская провинция» (а это теперь лучший провинциальный журнал) Михаила Григорьевича Петрова — может быть, как-то бы сладилось найти денег и выпустить специальный номер, посвященный «Чтениям». Ну, это я так — опять от мечтательности.

Сами-то Вы в Ясную не приедете? Вон уж сколько лет ждут. И Лев Николаевич заждался. Глядит из кабинета на нас из-под сурьезных своих бровей и только хмурится: чё-то мелковаты вы, ребята, и оттого у вас ниче и не ладится, что нет меж вами Вик-

тора Петровича — мужа постатна и мудра, без чьего слова вы все так муравьями и будете бегать в разны стороны...

Ну, а нам чё сказать, потупимся и молчим (то бишь трещим так, что он только плюнет и отойдет от окна).



А я увяз в несчастной своей Турции, сочиняю фильм, заманивающий туда нашего брата, православного, и вязну, вязну в трехтысячелетнем материале, где каждая нитка норовит выкатить такой клубок, что только закроешь глаза с печалью и поймешь, что учился не тому и не так, и невежества своего уже до смертного часа не перебредешь. Но, однако, и польза есть — начинаешь получше видеть суету человеческую и понимать, что жизнь попросторнее своих земных пределов и можно бы ею распоряжаться поумнее. Да только этого своего знания никому не передашь — дай Бог самому им верно воспользоваться, а человек все будет, как встарь, начинать с детского сада и иногда помирать, не дотянув до школы. А писать про это все равно надо, чтобы Бог видел, что мы все-таки не круглые дураки и иногда чё-то из Его слов слышим и хоть на позднем пороге, а маненько вразумляемся.

Сердечный привет Марии Семеновне!

Ваш Вал. Курбатов

22 сентября 2000 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Почты наши неторопливы и, верно, уже все гости разъехались, все хлопоты с «Встречами» кончились, и можно, наконец, спокойно оглядеться и еще посидеть немного в осенней Овсянке под еще теплым солнышком — в золоте и тишине.

Постников прислал фотографии, сделанные его дочерью Ольгой, и вернул меня в августовские дни, когда мы были вместе. И опять хоть беги в Красноярск. Да то беда, что уж очень устал в Ясной Поляне, где на мне были функции ведущего, а там народ-то не один свой, а и «басурмане» со всех концов земли, которых не так просто управить. Нанервничался. А в последний день еще так навернулся уже глубокой ночью в парке, что две недели рука не поднимается — вроде и перелома нет, а вот, поди ты, и, как всякий мужик, я уж комплексовать начинаю вместо того, чтобы дойти до рентгена да узнать — что там. Деревенская детская боязнь врачей все заставляет тянуть до последнего.

Вместо меня поехал в Красноярск Михаил Григорьевич Петров (редактор «Русской провинции»). Думаю, он Вам очень понравится, потому что нет мне роднее, сердечнее и милее человека — и умен, и добр, и певец, и плясун. Как возьмемся с ним при случае — земля дрожит — глядишь бы, и Анну Константиновну *[Потылицыну. — Сост.]* перепели: во как дерзость наша летат!

Как всякую осень, подумываю о Чусовом, но если соберусь, то уж, верно, по зиме, чтобы меньше было соблазнов по Чусовой поплавать, походить по Вильве и Усьве. Да и на зиму поглядеть — тут-то у нас ее не бывает, все грязь да дожди.

А Михаил-то Сергеевич Литвяков, поди, уже фильм привозил показывать про Вашу поездку по Енисею? Очень бы мне хотелось поглядеть, а то ведь теперь по кинотеатрам мы все ходоки плохие, а в телевизоре, при сонме-то программ, не всегда и углядишь.

Хорошей Вам осени, покоя и здоровья, дорогой Виктор Петрович и Марья Семеновна!

Ваш В. Курбатов

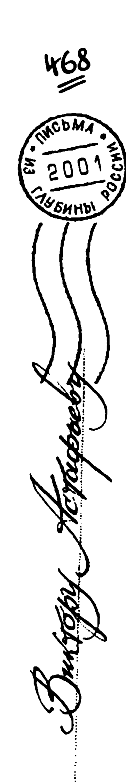
ПИСЬМА ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ 2001

Виктору Астафьеву

29 марта 2001 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Со всех сторон долетают слухи, что Вы в больнице. Ах, весна, весна! Не всем она в утешение. Звонил Широков. Весь в юбилейных заботах. Звонила Надежда Беляева, директор галереи, нарассказывала таких тонкостей вокруг этого юбилея, что свет белый не мил. Я и рад, что не поеду. Написал статью для его каталога, наговорил про него в телевизор — и ладно! А то он вечер-то назначает в первый день Страстной Седмицы. Оно бы, может, в советское-то время и ладно, а теперь, когда уж он не Ленина пишет, а Державную икону Божьей матери, можно бы



на недельку-другую и подвинуться, народная любовь к нему за это время не убавилась бы, а может, и прибавилась — глядишь, и кто из батюшек почтил юбилей (это нынче модно).

А я благодаря Геннадию Сапронову, пока писал послесловие к Вашему новому сборнику «Пролетный гусь», который он издает, снова перечитал Ваши рассказы и «Затеси» и был рад им и грелся около них после отравления разным постмодернизмом, которого объелся, будучи членом жюри премии «Национальный бестселлер», где всяк норовил выдвинуть себя на премию сам и в большинстве еще в рукописи: во как нынче делаются бестселлеры.

Пока не знаю, наберусь ли мужества приехать на семинар в мае (больно это тяжелое дело — ночами читать рукописи, а утром — приговоры), но время еще есть — созрею, тем более что мечтаю, как встарь, выкроить потом денька три и посидеть на завалинке в Овсянке, послушать птичий народ, пройтись по-над Енисеем и просто наглядеться на родной душе тамошний мир. Своей-то деревни нет, так хоть у чужой погреюсь.

Повидал в Москве Валентина Григорьевича *[Распутина. — Сост.]*, ходит тихонько, наклониться нельзя — отслоение сетчатки. Ни на какие «мероприятия» не ходит. Рвануть бы в Иркутск, да тут «курс лечения» (или одно «лечение» в кавычки-то надо взять, потому что ничего не помогает, а денег идет прорва), да и там уже на вокзале начнут «в дело» пускать, потому что выборы, а в деревню не уехать — ни печки самому истопить, ни палку дров перерубить. Пытается работать, да куда с такой душой. Вот беда и печаль.

И Вы вот в больнице. Пошли Господь здоровья многопечальной русской литературе и детям ее.

Сердечный привет Марии Семеновне.

Ваш В. Курбатов

9 апреля 2001

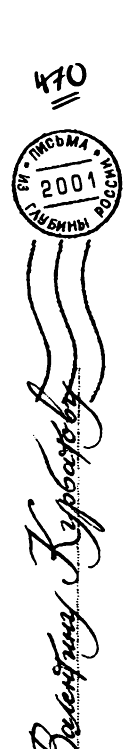
Дорогой Валентин!

Твое письмо подвигло и меня взяться за ручку. Совсем обленился, сплю напропалую днем и ночью, ни хрена неохота делать, так зима лютая обезжирила нас здесь, так она, проклятая, всех измотала, вроде бы уж 11-й месяц идет и почти каждый день напоминает о себе. Я уж вроде бы и не верю в то, что вот через месячишко с небольшим соберусь в Овсянку. Был там за зиму всего два раза, снегом все завалило, даже к избушке моей не проехали, грядет потоп. Правда, ночи холодные, так все надеются, что за ночь выморозит всю сырь, накипевшую днем.

И я поздравляю тебя с Пасхой, с этим так и оставшимся с детства в памяти таинственно-торжественным праздником. И хотя еще затемно при наступлении иль накануне Пасхи стреляли у нас по всем улицам и переулкам, это не пугало, а заставляло замирать сердце от чего-то непонятного и тайного, чего боишься и ждешь. Как сон, как что-то загадочное в тень прошлого откатило все это, жизнь сделалась обнаженной и утратила все и всякие таинства.

Если соберешься ко мне в деревню, буду очень рад, может, Гена Сапронов возьмет расходы поездки на себя или как аванец под будущие твои труды выдаст. У нас здесь тебя вспоминают добрым, тихим словом. А организацию нашу тихой и притырившейся красноте все же удалось разделить, такой базар открыли, какой только большевики и их выкормыши и способны устраивать. Я сказал этой лохматой, провинциальной, творчески иссочившейся шпане, что более на их собрания приходить не буду и как-нито проживу без них.

Послезавтра заездом из Новосибирска будет у меня Гена Сапронов с уже подготовленной книжкой, которую он намеревается выпустить к моему



дню рождения. Я этому рад, надоело мучиться с переизданиями, какая-то давняя усталость накопилась, уже и книги смотреть неохота.

Убывает моя родова. Перед Новым годом умер самый мне близкий и любимый человек — Алеша глухонемой. Умер, как и жил, незаметно, во сне, хотя мог бы еще жить и жить, ведь всего 70 лет ему исполнилось. Как я теперь в деревне буду чувствовать себя без Алеши? Ведь я знал, что вот он, всегда рядом, неосознанно ждал его, и празднично было на душе, когда он, открыв дверь, сиял и раскидывал руки для обнимания: «О-о, Витя-а!» Мы похоронили его на овсянском кладбище, собиралась вся уже немногочисленная родня, и все горько плакали по Алеше. Как много и щедро он был одарен от Бога душевностью, наделен трудолюбием и любовью ко всем нам.

Марья Семеновна все недомогает, и как я смогу ее в городе оставить, ума не приложу. Я вот, лежучи в больнице (в середине зимы), взбодрился настолько, что решил тебе звонить и звать тебя в Пермь, но потом раскис и тоже послал лишь телевизионное приветствие Жене *[Широкову. — Сост.]*. Я думаю, там и без нас народу наберется достаточно, а что интриги всколыхнулись в Перми, так там почему-то без них никак не могут обходиться. Прислали мне оттудова альманах «Пермь третья», пухло, неряшливо и шибко провинциально выглядящий, да еще два таких альманаха, «Литературная Пермь», ну хоть как-то шевелятся и слава Богу. Нету ныне там коня, который бы взвалил на себя воз местной культуры и литературы в том числе, да и тащил бы его, что бурлак на просоленной от пота лопоти, не рассчитывая на благодарность, но получая напутственные пинки.

А я премию получил, братец мой! За «Гуся», напечатанного в «Новом мире». Премия приличная.

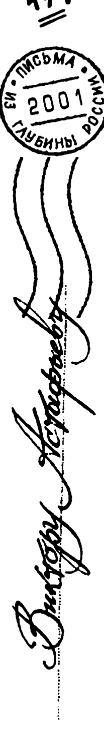
Ася Гремицкая сулилась описать мне все события, но, видно, вконец забегалась со своими трудами да с моими торжествами *[Деньги в счет премии были получены уже после кончины Виктора Петровича. Но еще при жизни театр-студия Олега Табакова за этот же рассказ наградил Астафьева премией «За великую любовь к людям». — Сост.]*.

Очень жаль Валентина *[Распутина. — Сост.]*. Ему как-то трудно всегда давалась и дается жизнь, и вот старость подкатывает с такими бедами. Я тоже стал совсем плохо видеть, читаю — глаза слезятся, и понимаю, какая это беда, потеря зрения для человека вообще, а для человека пишущего — тем более.

Ну дай Бог тебе всего хорошего, главное, здоровья.

Кланяюсь, обнимаю.

Виктор Петрович



2 мая 2001 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вместе с известием о Вашей болезни долетела весть и о гибели сына Гены Сапронова.

Мир только притворяется разумным и перспективным. В нем и болезни часто сродни формам убийства, потому что являются от напряжения сердца из-за нечистоты жизни, из-за сгущающегося зла. На фоне нарядной, господне светлой весны эта тьма человеческого своеволия и одичалости особенно мучительна. Слава Богу, Вы выровнялись и, Бог даст, окончательно окрепнете в Овсянке. Было бы только тепло.

Я тоже впервые, кажется, начинаю чувствовать весеннюю усталость. Даже и землю пошел покопать, и на той через три часа уже лопату поднять не мог. Срам! Руки дрожат, сердце выпрыгивает. А му-

жики по восемь часов не разгибаются. М-да. Вот оно, оказывается, что такое старость-то. А я ее, матушку, хвалил как время покоя и зрелости, ясности и дали. Это пока здоровый, а чуть чего, к ней и рифмы иной не подберешь, чем «гадость». Ну, однако, полезет из земли лучок да редиска, и опять отойдешь и начнешь смотреть веселее. Вы скорее, скорее в деревню, Виктор Петрович — она для нашего брата — лучший лекарь! Стародубы выглянут, жарки загорятся, скворцы заорут, старухи вылезут греться на солнышке, колокол весело загремит с молодой церкви на Троицу, сзывая баушку Катерину, матушку Лидию, теток Апроню и Августу, дядю Кольчу, брата Алешу (это уж и моя милая родня, и всех я их поминаю). Опять жизнь! И все-то мы — тамошние и тутошние — одно, и все вместе.

Поклон Марье Семеновне! Сколько она, бедная, пережила!

Обнимаю Вас.

Пойду искать слова Гене. Да только где их найдешь в такой беде.

Ваш Курбатов

17 мая 2001 г.
Псков

Дорогая Мария Семеновна!

Мало Вам испытаний — теперь еще болезнь Виктора Петровича! Как все теперь у него? Авось немного укрепит его новая книга *[«Пролетный гусь», сборник последних рассказов и затесей Виктора Петровича, написанных им в 2000 году, — последняя прижизненная книга. — Сост.]*, выпущенная бедным Геной Сапроновым, который все прячется, прячется от горя за работой, но надолго ли и далеко ли от него спрячешься.

Я пытаюсь утешить его голосом церкви, но, боюсь, что он от нее слишком далеко ушел в комсомольские годы и не сразу услышит этот действительно единственный врачующий голос. Пока я только поминаю его Виталика в домашних и храмовых молитвах, как всегда поминаю и Ирину.

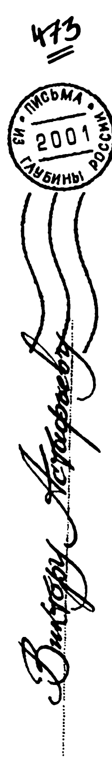
Должен был ехать в Красноярск на семинар, но я еще по прошлому разу помню, как это было тяжко и досадно. Ночью что-то прочитаешь с пятого на десятое, а утром надо говорить что-то разумное и решающее судьбы молодых людей. Стыдно и тяжело. Да и денег на меня пошло бы... На эти деньги вполне можно издать скромную поэтическую книжицу или небольшой сборник. Пусть лучше так распорядятся, а учителя найдутся и свои, потому как получше нашего и давно своих ребят знают и больше в них заинтересованы. Оно бы, конечно, хорошо и Вас, и Виктора Петровича повидать, но Сапронов говорит, что как В. П. поправится, он, Гена, найдет возможность оплатить дорогу и сам приедет, чтобы мы все побыли вместе.

Только бы скорее поджили тела и души у всех нас.

Поклон Виктору Петровичу.

С нежностью и неизменной памятью.

Ваш Валентин Курбатов



18 июня 2001 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Ах, далеко мы все друг от друга! Собрались бы здоровые мужики — в коляску Вас, пока не очень ходится, и в хороший денек на берег Енисея. Походили бы над кручей, поглядели на Базаиху, на Овсянку в синеве, на жарки, выбегающие на склоны,

и на иную цветочную живность и скоро бы уж вставалось, а там и ходить понемногу, и бумагу поближе подвигать, и детскую, давно обещанную, повесть про собаку писать по страничке. Чего нас может лечить лучше работы? Пока мысль слушается, можно и без бумаги — усадил сестрицу с магнитофоном, да и вперед. А потом она разберет, переведет на бумагу, можно потихоньку и править, диктовать сестрице поправки, чтобы она культурным почерком наряжала рукопись для печати.

Говорить-то хорошо, а вот что до дела, то я и сам, хоть вроде ничто не мешает, не шибко за столом сижу. Как будто в душе сломалось что — какое слово ни скажи, еще и договорить не успеешь, а уж видишь, что оно не нужно, словно кто из наших слов сердце вынул.

Смешно сказать — и читать не могу. Кого ни разогни, будь то хоть расшекспир, а все равно видно, что нет, не тут главное, не те слова сказаны и не те написаны. Это уж бывало со мной, и знаю, что пройдет, а все равно тоскливо.

Бегал от самого себя в Тамбов, на кинофестиваль «Золотой витязь». Смотрел разные кины, часто хорошие. Видел Алешу Петренко с Галей. Они кланялись и бережно обнимали Вас (этот медведь обнимет — потом не все кости на месте найдешь). Видел и Георгия Жженова. Он, правда, уж третий фестиваль читает одни стихи. Но зато как читает! Он тоже велел обнимать Вас.

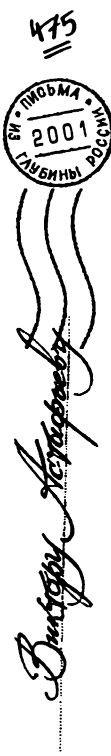
А потом я ораторствовал на пушкинской могиле в день его рождения. И делаю это уже не первый год. Устаю мучительно, всякий раз прошу освободить, чтобы не превращать в спорт, но начальство напропалую льстит, и я опять малодушно соглашаюсь. А сами праздники пушкинские все беднее и беднее. Кого ни зови, а все проку не будет. Не то поэт измельчал (да нет, вроде, умнее вчерашнего), не то сло-

во выдохлось. Их ведь сегодня, слов-то, говорят в тысячу раз больше, чем вчера — вот слова и не успевают восстанавливаться, после того как их изнасилуют дурным или приблизительным употреблением.

Скорее, скорее поправляйтесь, Виктор Петрович! Работы много!

С нежной любовью к Вам и Марии Семеновне!

Ваш В. Курбатов



24 августа 2001 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Все ношусь с Вашим «освобождением» и всем хвалюсь и не нарадуюсь, словно сам выписался из больницы. Особенно меня радует, что Вы начинаете писать. К шариковой ручке привыкать не долго. А за мыслями все равно не поспеешь. Наверно, надо на листке расставлять основные направления, верстовые столбы, а уж потом писать. А то, при нашем возрасте, все вдруг возьмет и пропадет, что казалось так хорошо видно и так точно обдумано.

Я уж сколько раз замечал за собой эти потери как будто совсем готовой мысли. Утешаю себя только тем, что, видно, не очень была важна, раз пропала. То, за что душа по-настоящему держится, — не пропадет.

Очень я завидую Мишке Кураеву, что он уж у Вас побывал и даже компрометирующие нас карточки оставил. И нарассказал, поди, «сорок бочек арестантов», а то скрыл, что поет одни советские песни про товарища Сталина. И кто-то их, этих пенклубовцев, возит в Красноярск. Вот нас, красно-коричневых, никто не зовет, а им — лафа. Впрочем, он звал меня поумничать с этими ребятами в Петербурге, но я выбрал Михайловское, где просто походил один по ок-

рестностям, да подумал о разном. А теперь вот сижу на своих шести сотках и читаю разного Толстого, потому что скоро ехать в Ясную Поляну, где надо будет вести разные круглые и квадратные столы и, значит, надо нажить немного угрюмого толстовского духа. Наш брат — ведь он всегда немного зеркало того, о ком говорит или пишет. Я вон про Вас так пишу, а начну про Пруста или Борхеса, и сразу и словарь другой, и интонация, и ритм другой. С Толстым это труднее всего. Вон еще Леонид Андреев жаловался, что молодым любил писать «под классиков». Под Чехова, под Гаршина — и все у него получалось, а «под Толстого» сколько ни пытался, так ничего и не вышло — не дался. Там одна земля без «искусства», а землю не передразнишь. Не зря Б. Зайцев сказал, что Толстой написал «Войну и мир» «голыми руками»! Бог даст, туда приедет и Кураев. Я просил об этом В. Толстого. Тогда все будет полегче. Обещал быть Распутин. Да много разного народа. Порой съезжается человек 50 с переводчиками. И всяк хочет высказаться по полной программе. И половина не успевает и оттого гневается на меня. Может, на этот раз будет поменьше. Особенно я радуюсь приезду Распутина. Народ-то ведь про «список» узнает раньше всех — а там обычно и Чабуа Амирэджиби, и Грант Матевосян, и Норман Майлер, и Милорад Павич, и Габриэль Гарсиа Маркес. А их все нет и нет. И народ вынужден слушать «маленьких» и втайне досадовать. А один появится, и все будут удовлетворены, и чтения сразу покажутся и высоки, и серьезны. А уж сколько лет мы Вас ждали, и не сосчитать. Теперь уж будем ждать на следующий год.

Сил и здоровья Вам, Виктор Петрович! Здоровья и здоровья! И Марии Семеновне сил и покоя. Помоги Боги вам обоим.

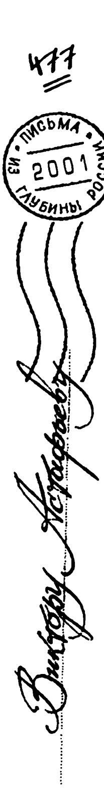
С любовью.

Ваш Курбатов

21 сентября 2001 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Вы уж, верно, получили нашу общую весточку из Ясной Поляны. «Встречи» получились холодноватые. И винить некого. В мире остыла большая жизнь. Осталась маленькая. Каждый за себя. Вот большие-то слова и ушли. Стараемся, взвинчиваем себя, а все равно выходит бедно и мелко. Даже и веселье стало каким-то механическим. Бывало, как выйдут толстовские «цыгане» из леса (будто случайно) посреди застолья в последний день, да как ахнут в свои гитары и бубны — тут уж нас только держи! А уж вот второй год гляжу на самих «цыган», на своих товарищей, на себя — осталась одна игра в веселье. Мне говорили, что и у вас в Овсянке прошлый год тоже полету настоящего не было. Мы — народ общественный. Чуть в мире что разладилось, уж у нас и у каждого в душе все набок.



Открывали новую железнодорожную станцию Козлова Засека, откуда уехал Толстой. Министр похвалился, зам. по культуре похвалился, Ганичев спел гимн дороге и Толстому — и все слова дежурные, все чувства пустые, а там господа по автобусам: на одном — «Министерство», на другом — «Секретариат Союза писателей», на третьем — «Остальные», вроде «и т. д. и т. п.». Тот же социализм — только погаже. И мы напрасно ждали Секретариат на писательских «Встречах» — они пропали где-то в спецзалах и обратно в поезд, где уже им новый фуршет был готов. Одна была отрада, что вот с Мишей Кураевым побыли вместе, с Мишей Петровым из «Русской провинции», да с Андреем Волосом (нынешний лауреат Госпремии), с которым мы подружились весной в Михайловском. Вот друг с другом было хорошо, потому что души родные, а как до де-

ла, то — тоска. А тут еще американское горе (а у нас во «Встречах» и американцы были) *[террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда под обломками зданий, торпедированных самолетами, которыми управляли террористы-камикадзе, погибли тысячи ни в чем не повинных людей. — Сост.]*, и наши «патриоты» уже зашевелились, и про «так и надо» заговорили — Толстой метался, пытаясь удержать, я заводился. Хоть беги! И сейчас еще плохо в себя прихожу и ничего не хочу ни читать, ни писать, хотя работы накопилось сверх меры. Очень рвусь к Вам. И боюсь. Все в мире устало. Люди устали, самолеты устали, воздух устал держать их в небе — от этой усталости они и падают, так что нечего в «черных ящиках» другой причины искать.

Изо всех малых сил молюсь о Вашем скором выздоровлении и о возможности понемногу работать. Нежный привет Марии Семеновне.

С любовью.

Ваш В. Курбатов

16 октября 2001 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Дожди принялись оббивать золотую листву, подстегивает тоску, которая в такие дни любит особенно основательно расположиться в душе. Я хитрю. Задергиваю шторы, включаю настольную лампу, горожу иллюзорный уют, чтобы обмануть себя покоем, тишиной, работой. Но ни покоя, ни тишины, ни работы. Надо вставать и куда-то бежать от самого себя. А далеко ли убежишь в дождь? Да и работа, как нелюбимая, но верная жена, ходит по пятам и нудит, и не хочет оставить в покое. «Пенсионер!

Пенсионер я! — кричу я ей. — Пошла вон! Хватит! Наработался!»

А она ухмыляется себе и знает, что никуда не денешься, положишь чистый лист и будешь смотреть на него с ненавистью, складывать непослушные слова, зачеркивать и опять начинать сначала. Впрочем, Вы это и без меня хорошо знаете.

Это я без «дачи» своей затосковал. Дом сразу отсырел, завелись крысы и надо сидеть в городе.

Никто не пишет. Почтовый ящик глядит скучно и даже как будто с издевкой. Нет-нет, кто-то отзовется электронной почтой, но она мертвыми своими буквами пока меня больше пугает, чем радует.

Перебрались в новый век, а что с ним, с этим веком, делать, не ведаем — все у их «лектронное». Мы еще к телевизору не привыкли, а они уж рукописи, писанные буквами, не берут и просят «дискету». Хошь не хошь, а придется стать настоящим пенсионером, искать назем под картошку, ругаться в ЖЭКе из-за повышения цен на тепло, перемывать кости правительству. А то еще в какой-нибудь Совет ветеранов войны и ходить с красными знаменами 7 ноября на митинг. Ах, доведут меня эти дожди и это городское сидение. Я еще письма в газеты научусь писать про школьников, которые курят в подъездах. Не помнят, подлецы, как мы им свободу от крепостного права в революционных боях завоевывали.

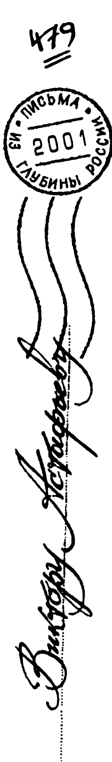
Старею я, Виктор Петрович!

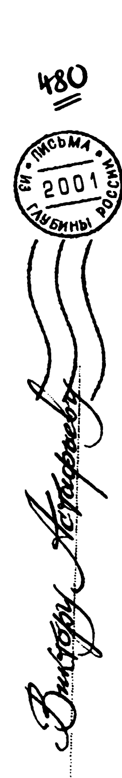
Простите мне это бурчание.

Здоровья Вам и Марье Семеновне!

Обнимаю Вас.

Ваш В. Курбатов





28 октября 2001 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

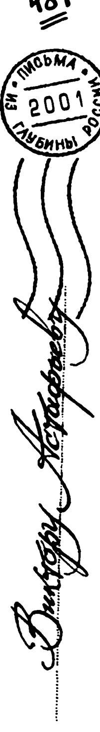
Марья Семеновна сказала мне, что Вы уже спускались и поднимались на десяток ступенек! Я по этому случаю хватил стопочку, потому что это действительная победа и обещание уверенного рабочего лета. Зима — прекрасное время для упражнений и поправки — все равно зимой при коротких днях и долгих ночах не очень хорошо работается. А к весне, Бог даст, и вся лестница Вам дастся — и можно будет думать об Овсянке. Я уж и сам о ней думаю. Странным образом успел привыкнуть, и она оказалась как-то существенно важна в моем душевном ритме, так что вот не побыл в этом году и сердце будто прихрамывает. Все надеялся в эти дни оказаться в Перми, где должна была представляться книга Евгения Широкова, но, видно, она задержалась в издательстве. А может, и позабыли. Это теперь очень естественно. У них есть такой толстый пижонистый журнал «Пермское обозрение». Они все просили да просили, чтобы я написал о Широкове, а когда я написал и они, говорят, роскошно напечатали, то не то чтобы копеечку какую прислать, а ни номера не прислали, не известили. Мы теперь нужны, пока нужны, а как дело сделали, так и вон!

Через два дня опять лечу в Турцию. Меня сделали специалистом по раннему православию. Настоящие-то умные люди отказываются, а я так и не выучился говорить «нет» — теперь вот поеду «учить» московских учителей — историков и филологов, которые (уже по одному тому, что московские) знают (или уверены, что знают) все и обо всем лучше меня. Слава Богу, это продлится одну неделю и, может быть, я не успею сойти с ума от

напряжения. Да, может, солнышко осветит сердце, а то что-то темно на душе — под стать сырой и темной осени.

Обнимаю Вас и Марию Семеновну.

Любящий Вас Валентин Курбатов



21 ноября 2001 г.
Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Засобирался я в Чусовой на 20-летие музея, где мы с Вами «экспонаты». Совсем, было, отказался — сил никаких нет. И так хочется дома посидеть, поработать. Но тут мне говорят, что у Леонарда Дмитриевича умер сын, и уже нет никакой возможности не ехать, потому что отложить он уже ничего не может, а праздновать сердце не пускает. Значит, надо ехать и как-то загораживать эту боль.

Зато после пяти лет страшной депрессии начинает приходить в себя Савва Ямщиков и уже заговаривает о работе и даже глядит в сторону Пскова — не поехать ли, хотя сил ему на это еще не хватит. Мир, как всегда, живет болью и воскресением. Все рядом.

Писатели, налаявшись и потеряв все — от стыда до имущества, — решили одуматься и попытаться соединиться, чтобы спасти хотя бы имущество, но предчувствую, что когда соберутся на пленум или съезд, наговорят друг другу столько мерзостей и навыстраивают столько взаимных счетов, что разойдутся еще дальше. Вообще все больше норовят обмануть друг друга, блеснуть дипломатической изворотливостью, чем действительно вспомнить о Боге и Слове, которые в России всегда стояли рядом и так выделяли эту литературу в мире.

Очень надеюсь, что зима будет ровная, с хорошим морозом и снегом и не будет мучить Вас ветра-

ми и оттепелями, которые сказываются на нас и за закрытыми дверями. И очень верю, что ухудшение было временно и с зимой все пойдет увереннее и последовательнее, без срывов. Во всяком случае об этом говорит мне при молитве сердце. Я очень жалею, что рядом с Вами нет отца Михаила *[Капралова. — Сост.]*. И что далеко отец Геннадий *[Фаст. — Сост.]* — они знают слова настоящего света и силы. У отца Михаила тоже умер сын, и это сначала сбило, а потом возвысило душу до высокой глубины и милосердия.

Храни Вас Господь, дорогой Виктор Петрович! Силы Вам и уверенности.

Поклон Марии Семеновне.

С любовью.

Ваш Валентин Курбатов

24 ноября 2001 г.
Псков

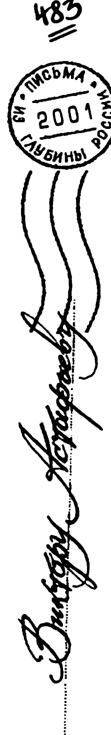
Дорогой Виктор Петрович!

Хотел передать несколько Ваших писем в Чусовской музей, перечитал, и — стало жалко. Всюду выглядывает живая история последних без малого трех десятилетий, которые заняла наша переписка. Нашел только два-три, в которых Вы с иронией и любовью говорите о Чусовом. И два письма Марии Семеновны, где она вспоминает чусовское детство, счастливые дни, когда все еще были живы и казались бессмертны.

Еду почему-то с тревогой. И у меня этот город уже навсегда позади. Одна отцовская могила еще держит. Все как будто медленно выгорело в сердце. Вообще в мире все стало так непрочно, однодневно, словно никакого прошлого у нас нет и никогда не было. Все торопится прожить сегодня и по возмож-

ности не оглядываться, потому что оглядка обязывает к ответственности и памяти. А хочется обойтись без забот. Надо бы и работать, писать что-то, а рука не поднимается — какая-то всеобщая напрасность и ненужность мучает сердце.

Авось пока еду — разойдусь и не буду там нагонять тоски ни на Постникова, ни на Шмырова, ни на других добрых людей. Они и сами все видят и знают. Хорошо бы помочь им немного, чтобы музей в Чусовом обрел хоть какой-то не любительский статус, а то, сохрани Бог, что случится с Леонардом Дмитриевичем, все немедленно будет выкинуто на свалку и с радостью забыто. А у него в музее накопились настоящие сокровища и та самая память, от которой мир сегодня так упрямо бегает.



Духовной силы и твердости Вам, Виктор Петрович!

Света и крепости Вам, Марья Семеновна!

Господи, помоги, помоги, помоги всем нам!

С любовью к Вам, родные мои.

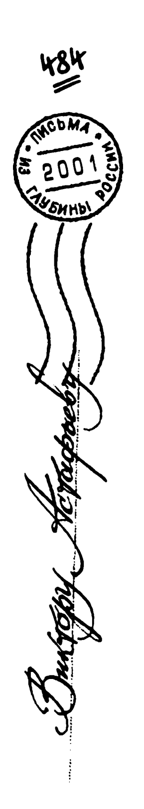
Ваш Валентин Курбатов

Это было последнее письмо.

Предрассветным утром 29 ноября 2001 года Виктор Петрович умер.

Я не хоронил его, узнав эту страшную новость с опозданием в том самом Чусовом, с которого и началась наша переписка и из которого я мог успеть разве что к могиле.

Я простился с ним в сороковой день, когда по нашей вере душа окончательно оставляет землю. Приехав в Красноярск, я увидел на его рабочем столе лежавший поверх всех бумаг листок «эпитафии», написанный его рукой. Он был найден Марией Семеновной в столе среди



других бумаг и, конечно, не был последним из написанного Виктором Петровичем. Даты под листком не было, но после инсульта рука плохо слушалась Виктора Петровича, а тут почерк был привычен и не выдавал нетерпения или внутреннего срыва, с которым пишутся документы такого содержания.

«От Виктора Петровича Астафьева.
Жене. Детям. Внукам.
Прочесть после моей смерти.

Эпитафия

Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно.
Ухожу из мира чужого, злобного, порочного.
Мне нечего сказать вам на прощанье.

Виктор Астафьев»

Мы уже не узнаем тайны этого текста, не найдем объяснения боли, продиктовавшей его. Но если слышим полноту этой горячей, страшной, высокой, по-русски невыносимой и по-русски же прекрасной жизни, то не смеем делать эту мимолетную, порывистую и не зря сокрытую им запись итогом жизни.

Его последняя «затесь» последней прижизненной книги «Пролетный гусь» [эта «затесь», «Над древним покоем», вошла во 2-е издание книги. — Сост.] странно, естественно, случайно и неизбежно кончается прощанием с овсянским кладбищем, где лежат его «самые родные люди: мама, бабушка, дедушка, дядья, тетки, племянники». И там, перед вечным вопросом, который всегда задает человеку кладбище, особенно когда человек сам подходит к последнему порогу, он говорит, что «жизнь прекрасна и печальна» и что об этой радости и печали он не перестает думать, пока жи-

вет и дышит, как думал в «Последнем поклоне», «Оде», «Печальном детективе», зная, что русская жизнь всегда летит на этих двух крылах — любви и печали.

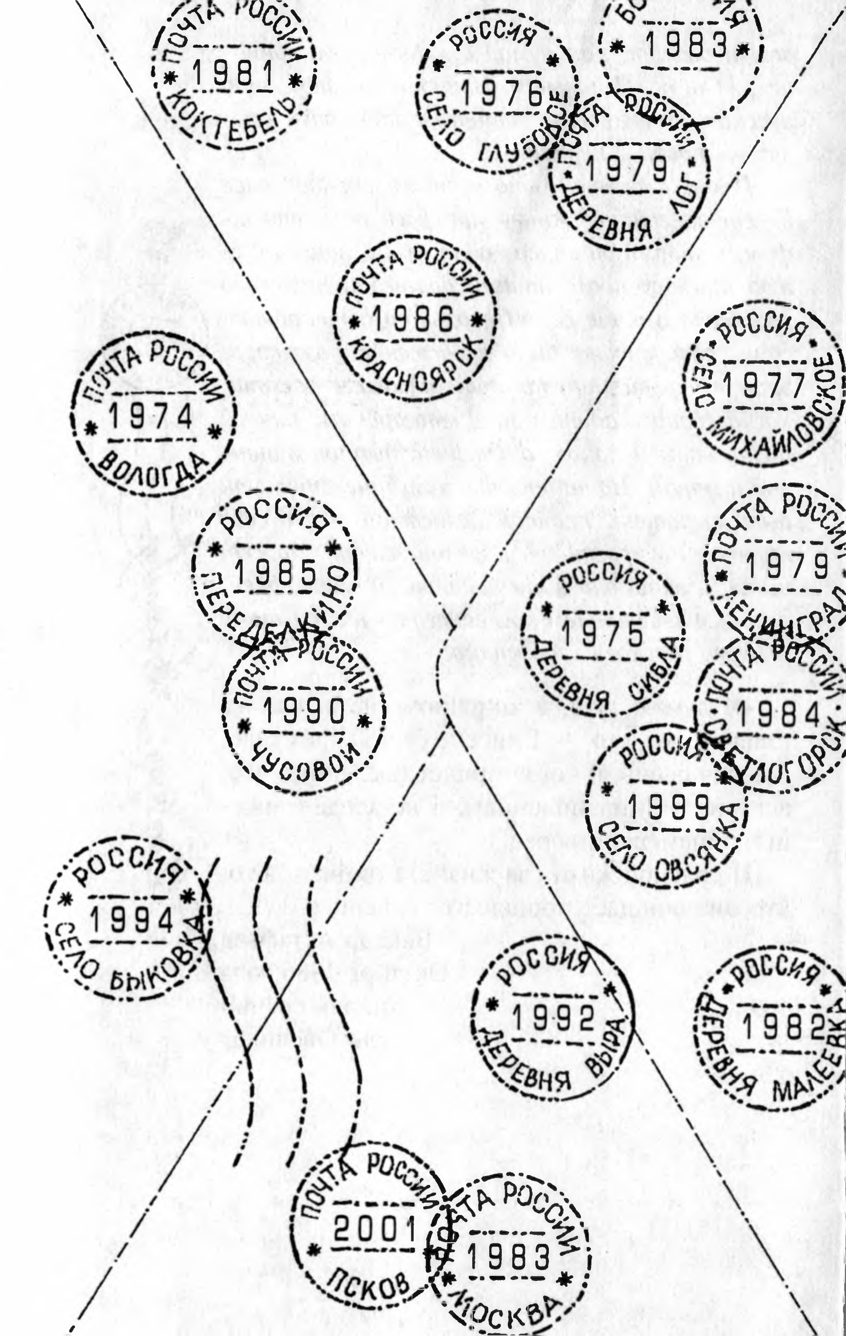
И мне кажется, что вернее и справедливее будет завершить книгу прекрасным автографом, который он вписал однажды в мою записную книжку после нашего долгого и тяжкого разговора о тьме его «Печального детектива». Эти слова внешне были следствием разговора, эхом вечерней минуты дотаивающего заката, когда солнце садится за Дивногорском, Енисей полон силы и покоя, а Овсянка дышит тишиной и миром. Но на последней глубине слова эти были выращены правдой целостной, все в себе понявшей и простившей зрелой жизни. Может быть, именно они были настоящей эпитафией, великим завещанием последнего по-настоящему земного русского художника:



«Я думаю, что, в конечном счете, все же главное вот это — Енисей, береза на скале, светлая осень, и когда придет последний час, все это и будет видением, а не злодеи, лжецы, лицемеры и ворье...

И спасибо жизни за жизнь, а памяти за то, что она очищает прошлое от скверны.

Виктор Астафьев
Октябрь 1986 года
(дивная осень!)
Село Овсянка»


ПОЧТА РОССИИ 1981 КОКТЕБЕЛЬ
РОССИЯ 1976 СЕЛО ГЛУБОКОЕ
1983
ПОЧТА РОССИИ 1979 ДЕРЕВНЯ ЛОГ
ПОЧТА РОССИИ 1986 КРАСНОЯРСК
ПОЧТА РОССИИ 1974 ВОЛОГДА
РОССИЯ 1977 СЕЛО МИХАЙЛОВСКОЕ
РОССИЯ 1985 ПЕРЕДЕЛКИНО
ПОЧТА РОССИИ 1979 ЛЕНИНГРАД
РОССИЯ 1975 ДЕРЕВНЯ СИБЛА
ПОЧТА РОССИИ 1990 ЧУСОВОЙ
ПОЧТА РОССИИ 1984 СВЕТЛОГОРСК
РОССИЯ 1999 СЕЛО ОВСЯНКА
РОССИЯ 1994 СЕЛО БЫКОВКА
РОССИЯ 1992 ДЕРЕВНЯ ВЫРА
РОССИЯ 1982 ДЕРЕВНЯ МАЛЕЕВКА
ПОЧТА РОССИИ 2001 ПСКОВ
ПОЧТА РОССИИ 1983 МОСКВА



На краю отечества

Послесловие

Хорошо бы верить, что все люди рождаются одинаковыми, но увы... Разными они рождаются, и сущую правду говорил Метерлинк, что, выходя из дому, Сократ встречает Сократа, а Иуда — только Иуду, что разумного, рационального Сократа не сделаешь Моцартом.

Валентин Курбатов — Виктору Астафьеву, 1982

Не знаю, поможет ли нам Метерлинк понять, кто тут Сократ, а кто Моцарт, но я бы начал с Розанова.

Розанов, которого Валентин Курбатов читал «в Култуке на Байкале, в крайней избе», поглядывая в окошко на чистые светлые звезды и тем врачуя душу после столичного ярмарочного остервенения, — гениальный лукавец Розанов в свое время заметил, что дороже всех литературных достижений, с его точки зрения, — чемодан старых писем.

В его время это казалось вызывающим парадоксом. В наше время это почти неопровержимый факт словесности.

Не странно ли? Разве в частном письме, не предназначенном для немедленного общественного оглашения, слово вытачивается как следует? Оно же выле-

тает птицей, как хочет! Оно рождается интимно-безотчетно. Оно отражает мгновенное и часто «нечаянное» состояние души.

Так-то оно так, но почему-то эффект наблюдается обратный. В эпохи, когда общественно оглашенное слово становится залогом всеобщего тягла (и — в ответ — всеобщего блуда), именно частное письмо сохраняет тихую правду. «Безотчетность» порыва становится знаком истинности. «Нечаянность» — формой «чаяния».

Сказал же Розанов: старая Россия погибла, потому что господа писатели состязались в том, кто лучше напишет.

Новая Россия (советская), пришедшая на смену старой, в свою очередь состарилась и погибла оттого, что товарищи писатели состязались, кто напишет правильнее.

Души от гибели откатываются в тихую переписку.

Там их подстерегает другой, техногенный, соблазн: телефон.

Но когда сидишь под звонницами Пскова, а собеседник твой — в звенящей птицами сибирской деревне, не больно-то насытишься телефонными звонками.

Счастье нашей словесности, что пришлось псковичу и красноярцу прибегнуть к старинному жанру эпистолы.

С первого же письма, посланного в августе 1974 года только что отметившему полувековой юбилей Виктору Астафьеву (этот привет от земляка — начало сюжета), Курбатов уверенно входит в ауру старинного жанра. Собирая листик к листику приходящие от Астафьева ответы, он чувствует, что на фоне современного «расчетливого» изготовления текстов переписка обладает качеством неподдельности: даже если ты заранее «будешь до слова знать, что близкий человек тебе напишет — все-таки письмо будет теплее твоего знания и утешительнее». Я бы добавил: и подлиннее. Готовя (в

конце сюжета) астафьевские письма для музея, Курбатов переживает так, словно сдает в музей весь эпистолярный жанр и все века, его породившие, а сам, ежась перед «мертвыми буквами», вступает в царство электронной почты (все-таки вступает!), мысленно прощаясь с той правдой, которая остается в рукописном послании.

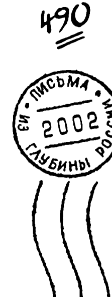


Его переписка с Астафьевым (251 письмо, да еще все ли отобраны?) в высшей степени подтверждает неподдельность жанра. Даже в описках, даже в умолчаниях, даже в уклонениях от прямизны формулировок — письмо как поступок высвечивает человека до донышка. Любого человека, каков бы ни был уровень его изощренности и, как теперь говорят, продвинутости. Изощренных-то еще и получше высвечивает.

А тут — писатели, каждый — во всеоружии мастерства, в осознанности общественного веса, но и в подлинности своего душевного состояния, в невозможности уклониться от очной ставки — глаза в глаза. Это только кажется, что собеседники тут в разном весе: один входит в переписку уже в ранге всенародно признанного писателя, а другой в ту пору — не признанный еще критик, ищущий своего шанса. Он, конечно, критик, то есть для большинства литераторов — работник вспомогательной службы, но надо же чувствовать, какой пробы тут талант, какой огранки знания и какого масштаба характер.

Поскольку об Астафьеве и так написаны горы, я для начала сосредоточусь на его собеседнике. В одном из писем Курбатов обижается «за нашего брата критика». Обижаться есть на что: Астафьев живописует вышеупомянутого брата как помесь енисейского кержака и тунгусского шамана, приписывая ему такие профессиональные достоинства, как верткость и эластичность, и замечая, что критиковать «трохи легче», чем писать. Курбатов опровергает это суждение, выставляя в качестве настоящих критиков такие фигуры, как «мужест-

венный и точный Дедков» и «глубокий и проницательный Золотусский».



Отличный выбор! И красноречивый. К этим двоим (действительно составляющим славу современной русской литературной критики) я прибавил бы и самого Курбатова. Не столько даже по масштабу (по масштабу, конечно, тоже, но тут потребуется еще ряд имен), сколько по особенному складу дара и, соответственно, по нестандартному ощущению сверхзадачи.

В традиционный ряд критиков, со времен Чернышевского «разбирающих» произведения и выносящих «приговор», Курбатов не вписывается. Каноническая критика — это «проблемные сочинения», а он уверяет, что пишет «для удовольствия» и даже «не знает», как назвать эту «запись мимолетных мыслей и переживаний» («на Западе это называется «эссе» — у нас не называется никак и не принимается»). Каноническая критика переводит художество на язык «прямых выводов», а он предпочитает «вольное скитанье», «собеседуя одновременно с героем сочинения и с читателем», и отнюдь не «сводясь к предмету, а заводясь от него». Каноническая критика — это доводы, аргументы, а он излагает истину «скоморошьим ряженьем», когда мысль не «высказывается, а возникает из круга ассоциаций, так что читателю кажется, что придумал это он сам».

Так что же, критик — не анализирует? Поет, как птица?

Отвечу словами поэта: поет, как птица, но слышит, как скрипит земная ось. И добавлю: как скрипят всякие родные телеги поближе. Так что попутно и задачи анализа здесь решаются. Но не в них цель. Попутно можно даже притвориться, что тебе безумно интересны «эстетические принципы», что ты озабочен «совершенством и многообразием словаря» (десяток лет спустя надо разглагольствовать «про топонимы, генотипы и системы ассоциативных связей»). А в душе-то попрежнему кипят слезы, и их приходится прикрывать зу-

боскальством, если нет сил делать вид, что ты «исследуешь» литературу.

Курбатов не лукавит, когда говорит, что пуще смерти боится «литературоведческих ужасов»; он не кривит душой, когда признается (повторяя знаменитую самохарактеристику Пастернака на Первом съезде писателей): «Я не боец». В эпоху застоя следовало быть бойцом идеологического фронта — не хотел; в эпоху перестройки и демократического раздрая надо быть бойцом в жанре «стенка на стенку» — опять не хочет. А хочет стоять посередине и готов получать с той и другой стороны обвинения, а то и тычки. Драма та же: не умещается душа ни в «критику», ни в «борьбу». Сверхзадача у души другая.



Сформулировать?

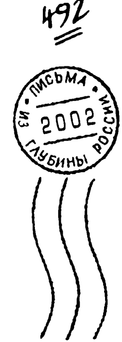
Распад души и распад страны: что из чего? И как остановить?

«Речь идет об утрате корней, об отсутствии исторической памяти у нас, мальчишками унесенных из родного гнезда и теперь хоть и живущих по деревням, но дороги назад уже не знающих — тоскуем по родине, как в эмиграции... Мученическая тоска по цельности... по длительности рода — от дедов к внукам, когда окружает... отчий лес, отчая река и родные предания. Вы еще в себе это сберегли, а уж мы — нет...»

Тут схвачена общая беда, определена общая тема, которая и составляет нерв переписки Курбатова и Астафьева. Выводы они из этой ситуации делают разные, иногда противоположные, но картина мира у них одна. Горький астафьевский опыт входит в курбатовское мироощущение — не потому, что он об Астафьеве написал как критик, а потому, что Астафьев помог самоопределиться в этой драме миллионам читателей, и среди них — тому малолетку девятой чусовской средней школы, который в 1955 году «смотрел из темноты зала» на будущего «живого писателя». Он потому и написал о нем впоследствии как критик, что именно с

его, Астафьева, помощью осознал свою судьбу — вечное российское скитанье, тоску по земле, которая вот тут, под ногами, но все время уходит из-под ног.

И не знаешь, чего в сердце больше: радости или тоски, когда возвращаешься в родной поселок, а там грязь непролазная, воздух черен, пьянство изнурительное, в автобусах все двери переломаны, народ остервенел... Ах, как хорошо это выглядело издали...



Астафьев — поколением раньше — пропахал то же поле, да не так возвышенно, а — каменея от боли. Он не просто на полтора десятка лет старше Курбатова — он на Отечественную войну старше. В одном из астафьевских писем — в жар бросающее место: «У меня была до войны редкостная память... все давалось «просто так»... за что и в ФЗО, и на войне меня любили и даже с плацдарма вытащили, но там, на плацдарме, осталась половина меня — моей памяти, один глаз, половина веры, половина бездумности, и весь полностью остался мальчик, который долго во мне удобно жил — веселый, глазастый и неунывающий...»

Дальше — послефронтовое скитанье. Пермь — Вологда — Красноярск...

В конце концов они сказали друг другу, что оба прожили жизнь на краю Отечества.

Это и сроднило.

Хотя по-разному выкроил им душу этот «край». Курбатов осознал себя — у Камня, но — с южной, теплой стороны, там, где омывает Камень река Чусовая. Астафьев осознал — в вечной мерзлоте, там, где Енисей каменеет перед Ледовитым океаном... Курбатов вырос при отце с матерью. Астафьев — из семьи спецпереселенцев — семью потерял, вырос в детдомовской отчаянности: не просто в безотцовщине, а еще и проклиная отца и деда, «непутевых гулевых мужиков, которые и сами горазды были путать свою жизнь, а лучшая в мире власть и самая любимая в мире партия и вовсе их запутали...»

Власть и партия — особая статья и особая ненависть у Астафьева — в письмах-то он своих прародителей за их революционные дела уже прощает. Но сейчас речь о характере, который вырабатывается в этом перебросе из вечного холода на огневой плацдарм, из барака в казарму и в окоп, — речь о том, из какой обугленности надо было вычиститься — к любви, из какой, как любил говорить Астафьев, сажи.

Вот и утешает старший младшего: «Отчего ты вбил себе в голову, что «все испортил»? Чего и портить-то? Давно уж все испорчено, еще до твоего рождения».

Можно спроецировать эту характеристику на Россию. Именно так: «все испорчено». То ли «при нас», то ли при дедах гулевых. То ли при пращурах, строивших Россию присно и во веки веков...

Тогда что же? «Аминь»?

Попробуй же такую вот «злость и темь» преодолеть, такую обожженную душу задушевной беседой утешить «в сумерках»...

Драматургия переписки. Астафьевские письма — сплошной хрип усталости. Усталость от работы. «Свету не вижу, из-за стола не вылажу». Усталость от борьбы с редакторами. «Много нервов взяла эта «редактура», а еще и «цензура стоит за углом, занеся дубину». Усталость от быта. «Истопил печи и еду сварил». Усталость от напора поклонников. «Навалилось какое-то воронье из газет, из полудрузей». На этом фоне — снайперскими выстрелами — непредсказуемые убойные характеристики братьев литераторов. И горечь, горечь. «Закаменевшие слезы».

Курбатов на каждое астафьевское письмо отвечает двумя-тремя и словно камешки драгоценные вытачивает, при всей разговорной «простоте» стиля. Разговорность на письме — это ведь не «запись, как сказалось», это сугубо писательский дар, и он тут у обоих. Однако и контраст тональностей рельефен — при общей согласной теме «беседы».

Так вот что интересно: по ходу переписки Астафьев все чаще исповедуется на «вселенские» темы, как бы подхватывая курбатовские мотивы, Курбатов же, вытачивая свои камешки, все чаще оборачивает их острыми углами. Души сближаются в переписке. И все зорче всматриваются друг в друга.

Я процитирую из курбатовского письма проницательнейшее место:

«Ожесточение сердца... в «Затесях» и в «Зрячем посохе» доходит до степени неживой, словно Вы сами себя заводите. Раньше Вас лечила природа, родовая память, наследованная баушкина кровь с ее здоровой соразмерностью и покоем поля, дерева, неба, родная земля лечила, потому что была вдали и далью очищена. А теперь, когда она рядом, в ней дурное на глаза первым лезет, и душа осердилась. Тут чистое зрение может быть возвращено только великой культурой, которая всегда милосердна, потому что видела человека в разных ситуациях и научила прощать его».

Это ключ! Одна такая формулировка могла бы поставить Курбатова в плеяду блистательных профессионалов критики, даже если бы все остальное у него свелось к душеспасительным беседам в сумерках!

Пока вдали — лечит, а когда рядом...

Запомним эту формулу — она поможет нам не только в волнах экологии, где царит Рыба, но и на перепутьях отечественной истории, где съедается печалью любой Детектив, а таковых много охвачено за 27 лет переписки.

Некоторые всемирно известные вехи этого отечественного Детектива отмечены вскользь, но тем более знаменательны. «Вот выпал матушке России еще один срам». Это — август 1991, победа демократии над партократией. Или: «Так русские литераторы еще не разговаривали». Это — октябрь 1993, письмо демократических писателей с призывом «разогнать, остановить, прекратить» — и обескуражившая Курбатова подпись

Астафьева под этим призывом. Или: «Бенгальские огни несчетных митингов» — по всей эпохе Гласности. Добросовестный историк легко разместит этот пунктир по канве нашей новейшей истории. И есть события менее заметные, однако не менее (а даже более) оглушающие.



Об одном из них Курбатов с загадочной улыбкой сообщает своему старшему другу: в Вологде на Празднике славянской письменности некий полковник докладывает о «жидомасонской системе общепита, вводящей в пищу таблетки, предрасполагающие к смешанным еврейско-русским бракам, и исподволь меняющей наш генетический код».

Я не рискнул бы комментировать подобный курьез, звучи он «одиночным выстрелом», но в переписке — полтора десятка упоминаний о еврействе, и они все равно будут откомментированы с «обеих сторон», так что лучше я объясню, как я этот предмет понимаю в данном контексте.

Некоторые суждения Астафьева можно объяснить биографически. Например, такое: «годов через пять-семь какому-нибудь Эйдельману-внуку дадут Нобелевскую премию за «открытие», уже сделанное нашим народом...» Это понятно в свете того публицистического нападения, которому Астафьев как раз в ту пору подвергся со стороны Эйдельмана-деда. Переписку-то с ним Астафьева все читали, особенно в пору, когда она ходила в списках (вот когда «эпистолярный жанр» отчетливо высунулся в гласность).

Кое-что в суждениях Астафьева (в переписке не с Эйдельманом, а уже с Курбатовым) требует литературоведческой экспертизы. Например, то, что «с «Тихим Доном» много лет уже борются товарищи евреи...» (хорошая формула — почти как у Метерлинка: Иуда ищет Иуду). Почему товарищи евреи борются против товарища Шолохова? Астафьев объясняет: «нет в ихней литературе произведения такого таланта», и вот «торо-

пятся они объявить «Жизнь и судьбу» выше «Войны и мира», а уж «Тихого Дона» тем более...» Тут слышен отзвук звонкой розановской мысли о Толстом и его комментаторах: евреи-де могут лучше всех откомментировать «Войну и мир», но никогда не напишут... Притягательность розановской мысли объясняется блеском ее поворота, и Астафьев тут не одинок. Труднее объяснить само неприятие Гроссмана, которое, видимо, связано с тем, что «Тихий Дон», с точки зрения Астафьева, — произведение в советской литературе «нечаянное» (и потому великое), а «Жизнь и судьба»... чаемое? И потому, надо думать, поддельное?

Иногда же на еврейскую тему что-то говорится из чистого озорства, например: «он, парень, хоть и еврей, но геолог». Тут вообще все просто.

Но непроста интонация, в которой отвечает на эти шуточки (и на эти серьезные суждения) Курбатов. После посещения детского дома, из которого по весне «семьями бегают» брошенные родителями дети, он признается: «Не первый уж раз я, грешный, со злобой подумал о родном народе — это где же еще такое есть? Ведь ни одного еврейского ребенка тут и представить себе нельзя...» Товарищи евреи могут не волноваться: цыганенка тоже нельзя — его тотчас заберут из детдома в табор. И вообще могут не волноваться: Курбатов озорства над детьми не допустит.

Или — в 1992 году — по поводу пресловутой нашей культуры обслуживания: «Раньше можно было обложить наш сервис словом «советский» и этим все объяснить и уберечь матушку Россию в чистоте, а теперь вот «русским»-то обругаешь, так в жидомасоны попадешь, между тем качество-то (чует мое сердце) лучше не станет».

Ну, а вот и напрямую об этом самом: «Хуже всего, что Москва не на шутку увлеклась «старинной русской потехой — борьбой с евреем». А уж поскольку у русского человека нет опыта национализма, то размеры все

принимает просторные, удалые; способы борьбы бесхитростны, как драка кольями. Это против евреев-то, у которых двухтысячелетний опыт защитной дипломатии!.. Противно — сил нет...»

Вот бы традиционным литературным критикам «исследовать» курбатовскую интонацию, интересный будет результат. Она поистине виртуозна: и грязь не липнет, и беседа вроде как поддержана.



Один раз напрямую сказано Астафьеву: «Я не знаю, как Вы глядите на еврейскую проблему».

Ну да, не знает он. Отлично все знает! И то знает, что никакого антисемитизма у Астафьева нет в заводе, и то, что все ссылки на евреев, тем не менее, у него не случайны, и то, наконец, почему Астафьеву так нужны евреи.

Потому что в том хаосе, которым представляется Астафьеву «испорченная» русская жизнь, нужны ему... нет, не виноватые (он знает, что виноваты мы сами, и это главная его боль), а нужны ему какие-то константы, прочные ориентиры, незыблемые точки опоры. Евреи (двухтысячелетний опыт, устойчивость черт, неизменность отношения к ним) — такая спасительная константа. Да хоть бы и ярлык — помогает же!

Точно такие же неизменные у Астафьева — социальные ориентиры зла. Кто губит Россию? «Власти», которые «шикуют и пируют». «Коммунисты» и «большевики», которых Астафьев считает «главными преступниками всечеловеческой, а не только нашей истории». «Большевистские выкормыши», красной линией (можно сказать, буквально красной) проходящие через астафьевские письма. Во фронтовом варианте мишенью оказывается «военная и комиссарская камарилья», включая сюда высокое начальство вплоть до маршала Жукова, которого Астафьев начал гвоздить, кажется, еще до того, как им занялся зарубежный правдоискатель Резун.

А что же Курбатов? Он отдает должное астафьев-

скому бесстрашию в обличении всяческой власти, но сам эти темы не развивает, в существо большевистской истории не вдается, предоставляя своему собеседнику демонстрировать весь спектр чувств от обобщенного пренебрежения («комиссары и дураки») до победоносной насмешки (о собственном тесте: «старый большевик, а потому бесстыдник»). Тут мне вспоминается: «хоть и еврей, но геолог», но Курбатов не реагирует. И, наверное, он прав. Ибо новейшая история подбрасывает загадки, которые старыми способами не разгадать. Например, речь новейшего же военачальника, который под шквал аплодисментов призывает армию в случае чего «броситься на народ». Речь «фашистская», — интуитивно определяет старый детдомовец и интуитивно же прогнозирует: «Нам гореть в фашистском кострище». Как-то соотнести новоявленных штурмовиков с большевистскими комиссарами, которые, как известно, не только горели на таком кострище, но и сумели его погасить (с участием солдата Астафьева), — писатель Астафьев в эти тонкости не углубляется и сплачивает тех и этих в общую колонну под титлом: «фашисты-коммунисты», каковая колонна и марширует в его сознании, а лучше сказать, подпирает шатающийся русский мир, вечно готовый съехать со всех опор. Опоры нужны! Константы! В данном случае в дело идут константы ненависти.

Но почему все-таки мир шатается? Что за опоры вышиблены из-под него?

Тут надо вспомнить ключевую формулу Курбатова, вскрывшего астафьевскую драму. «Природа, родовая память, баушкина кровь...» Пока это далеко — лечит. А когда рядом?

А когда рядом, то вот описание праздника по случаю юбилея города Енисейска — Астафьев дает великолепную по экономности зарисовку торжеств «с русским широким запоем, с крестным ходом по подметенному и подкрашенному городу под звон колоколов и

хряск бутылочного стекла о камни на Енисее».

Через пять часовых поясов доносится в ответ:

«А теперь вот с псковских храмов алюминиевые и медные кровли ночами снимают — все на продажу, все в товар...»

А с берегов Енисея: «Цены разные, а дурь едина и неделима...»



Общая боль: «Народ становится все хуже и подлей, особенно наш, полусельский-полугородской, — межедомок ему имя».

И даже так: «Народ нам не спасти уже...»

Нет, это не диспут «исследователей», ведущих вековечный русский спор о народе, который «далеко». Это вопль души, словно попавшей в капкан. Одно дело — усмехаться над ряжеными, которые «трясут шароварами и подолами в разных ансамблях и хорах». И другое дело — если мы сами виноваты в том, что стало с народом. Тут не отсечешь.

Можно сменить власть, переименовать Совет в Думу, партию в «движение», товарищей в господ. Можно всем пересесть, как в крыловском квартете. Но как «сменить» народ? Это ж геология в пересчете на историю. Это веками ставится! А начнешь народ переделывать (перековывать), так руками того же народа, а чьими еще? Лучше ли он станет, и с какой точки зрения «лучше»?

Чуя это, интеллигенция наша боялась слово сказать против народа, льстила ему.

Надо почувствовать себя самим народом, чтобы решиться на ту правду, которую врезал ему Астафьев. И его собеседник понимает цену такой правды. «Вы были тем самым народом, в который надо идти», — говорит Курбатов. И Астафьев не уклоняется — ни от правды, ни от боли: «Совсем народишко наш шпаной и оглоедом становится. Горлохват и вор — главное действующее лицо у нас». И еще: «Ах, до чего же еще дитя незрелое в массе своей наш народ! Хоть плачь, хоть

руками разводи». И еще: «Народа уже нет, а есть сообщество полудиких людей, щипачей, лжецов, богоотступников... продавших землю и волю свою...»

Заметим «богоотступников». А пока — о драме писателя. Люди, читавшие «Печальный детектив», помнят, какой ценой дались Астафьеву такие признания. Люди, читавшие полемику вокруг «Печального детектива», помнят и другое: мало кто набрался мужества разделить эту боль.

У Курбатова мужества хватает. «Оскорбительно выслушивать разные двусмысленности в адрес «Печального детектива» от господ литераторов, умеющих улыбаться в обе стороны сразу. С этими просто: отошел в сторону».

Тут-то, на литературном поприще, в любую сторону отойти можно. А там, где хряск бутылок о камни? Выучка человека литературного помогает Курбатову спрятаться от такой мелкой напасти, как козни господ литераторов. «Шнырь в книжечки, и опять гармония и порядок». Но куда спрятаться от большой напасти? «Что мы за народ, что с нами со всеми сделалось? Что так перекосило и кладет с боку на бок?.. Не знаешь, завыть ли волчьим воем или кинуться крушить все без разбора...»

Нет, крушить Курбатов не кинется. Крушить все без разбора склонен его собеседник, пронесший сквозь годы писательства темперамент затравленного беспризорника. Тот — «за топор бы схватился, рубить бы начал направо и налево». Он и теперь не склонен миндальничать: «Носом, как котят слепых, тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы — иначе ничего от нашего брата не добьешься...»

Однако по ролевой разводке Курбатов должен думать не о рефлексах слепых котят, а о правах человека, о демократических процедурах и о правилах цивилизованной полемики. И он призывает Астафьева «искать путей соединения разбежавшихся ветвей русской

мысли», — надо же уметь «дослушать, что скажет противник, и попытаться понять его половину правды».

Но Астафьев не умеет соединять правду из половинок. Все или ничего! А что такое «все»? Кто это «все» охватит? Бог, что ли?

Ну вот, еще один пункт вечного преткновения, еще один проклятый камень на сердце русского человека. Если бог есть, то не от него ли все наши безобразия? Если его нет, то все безобразия — твои.

Бывший беспризорник, получивший в жизненных университетах высшее атеистическое воспитание, высшее заступничество отвергает: «Да нет его, Бога-то, нет, иначе Он давно покарал бы всю эту свору». Это — к вопросу о «богоотступниках».

У Курбатова, живущего под псковскими звонницами, такой сабельный вариант не проходит: «А вы Бога-то понимаете, простите, как Павка Корчагин, попу махорки насыпавший: как-то уж очень утилитарно, вроде районного начальства, которое вольно нас миловать, а вольно и казнить».

Точное попадание! Делающее этот пункт в переписке одним из самых глубоких и значимых!

Ведь если встать на позицию Астафьева, то и мы вольны казнить или миловать. С церковью у него просто: она народ сотни лет блудными словами обманывает. В качестве узды для нравственности того же народа — годится.

— А собственной душе — без потребности? — уточняет Курбатов. — Или Бог — только «крайняя инстанция»?

Блестящая курбатовская формулировка, примененная к астафьевскому «случаю», не излечивает, конечно, души страдальца, но позволяет не терзать эту душу метафизикой. Ибо ясно же, как отреагирует бывший беспризорник:

— А, ты подвигов требуешь? И тоже духовных? Может, плюнуть на тебя и поддаться бесу?

Что тут скажешь? «Обсуждать это — как воду в ступе толочь, — думает Курбатов. — Тут надобен какой-то другой язык, вроде языка травы и улыбки... А где мне ее взять, если я сам — дитя здравого смысла, воспитанник копеечного разума, и бессильно отступаю не то, что перед Евангелием, но перед Паскалем или священником Феодосием...»

Паскаля трогать не будем — он там же, где Толстой, Достоевский, а также Пришвин, Метерлинк и прочие вечные книжки, в которые мы «шныряем», спасаясь. Суть драматургии — в том, как тактично Курбатов отступает перед Астафьевым, боясь причинить тому боль. Понимая, что хоть тот «злость и темь военную в себе преодолел за полжизни, пусть не всю и не до конца, а все же...»

А все же и Курбатов тоже ищет свой выход из «фальшивого времени», в котором загибается Россия. Еще не называя бога Богом, он изначально чует «направление поиска». Вертикаль нужна! А присяжные литературные критики заменяют вертикаль горизонталью — «кто шире разведет руки при разговоре об объеме знания». Как найти противовес «социальному знанию»? Как удержать «разбегающееся сознание»? Еще не отойдя от осторожных эвфемизмов атеистической эпохи, Курбатов жестко и словно бы от противного очерчивает задачу: остановить тот «сбесившийся поток лжи, безродной наглости и поругания родного дома», который «закручивает в омут наше бедное отечество».

Но как, как это сделать практически?

Походив вокруг родного дома и помечтав о грядках, Курбатов, наконец, находит радикальный путь: он поворачивается и уходит. В монастырь. «Прячется от мира». Читает «разные вечности». Долгими часами ночных служб «собирает душу». Письма, которые раньше заканчивались пожеланиями здоровья и сил, теперь венчаются фразой: «молюсь за вас». Вертикаль, наконец-то, уходит в зенит...

...И там, в зените... нет, не на уровне медных кровель, сдираемых ворами... и даже не на уровне местного иерея, которому, может быть, и впрямь стоило бы сыпануть махорки в тесто... нет, выше, выше, там, где благое молчание должно бы уж охватить души, — что делают высшие иерархи? Анафемствуют, деля приходы!

Куда податься Курбатову с эдакой вертикали? И как объяснить тот факт, что православное воинство ведет себя по-комиссарски? Попы терзают музейных «дурочек», жизнь положивших на спасение церковного добра. Рванулся было на Славянский Собор — высказать все то, что думает, — отсоветовали: «там тебя декоративные казаки отлупят вместе с патриаршими иподьяконами».

Кинуться к студентам? Начнут вякать про Пелевина-Сорокина. Но по ним хоть ахнуть можно в свободном споре, — на то и гласность. Но это опять-таки в литературе. А в церкви? Там не поспоришь. Чуть что — ты «еретик»: на костер! Шаг вправо, шаг влево — стреляют на поражение. «Словарь вроде тот же: благотворительность, милосердие, попечение», а прислушаешься — тот же трезвон, «афиши, интервью, славословие». Разбегающееся сознание думал собрать? Там тебе соберут...

Два «русских мальчика» ведут «русский спор», вечный, как сама Россия. Врачуют души, снимая друг с друга висящие в воздухе анафемы. Ищут опоры.

Желание-то все то же: найти что-то прочное, твердое, надежное в хлябающем пространстве. Астафьев упирается в отрицание: в твердокаменную ненависть к большевикам-коммунистам, они же коммуно-фашисты. Курбатов возводит очи к тверди небесной.

Архимандрит возвращает его на землю. Отговаривает от публичных выступлений: «Нечего, говорит, мученического конца раньше времени искать».

Раньше времени? А кто знает свой срок?

Да и не мученичества хотелось. Тишины! Среди этого базара — тишины. Среди хитроумия и лукавства —





простых слов. Простоты. Как эту простоту-тишину назвать — не знал. «Что-то» чувствовал. «Что-то такое, чего ждал давно». Что-то! — прямо по Толстому.

И вот интересно: если по ходу переписки Курбатов, исповедующий «утаенную» от базара истину, в чем-то прямо влияет на Астафьева, дерущегося в открытую, — так именно в этом пункте, в том, как интуитивно ощущается «что-то».

Старый солдат отзывается: «Замирает сердце от чего-то непонятного и тайного, чего боишься и ждешь...»

Считанные недели остаются Астафьеву, чтобы рассчитаться с этим миром. В смертный час он вспомнит былое, и давнее начало осознанной жизни — на вечной мерзлоте, в Игарке, в детдоме, с клеймом внука спецпереселенца — покажется ему раем.

«Я пришел в мир добрый, родной и любил его бесконечно. Я ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье. Виктор Астафьев».

Кажется, что эти предсмертные строки писаны не чернилами, а цикутой.

Курбатов читает их в красноярском кабинете Астафьева, они лежат на письменном столе, поверх других бумаг. И сразу после похорон в декабрьскую ночь 2001 года начинает писать реквием.

«Первые часы... Скоро рассветет, утром надо будет учиться жить без него...»

Лев АННИНСКИЙ

Указатель имен

Абрамов Федор Александрович, прозаик, критик, г. Санкт-Петербург — 122, 123, 125, 197, 199

Аверинцев Сергей Сергеевич, переводчик, литературовед, академик РАН, г. Москва — 462

Аверченко Аркадий Тимофеевич, писатель-юморист начала XX века — 228

Агин Александр Алексеевич, график XIX века, первый иллюстратор произведений Н. В. Гоголя — 120, 207

Айтматов Чингиз Торекулович, прозаик, Киргизия — 149

Аккуратов Валентин Иванович, штурман авиации, г. Москва — 273

Аксенов Валентин Павлович, редактор издательства «Молодая гвардия», г. Москва — 31, 33

Аксенов Василий Павлович, прозаик, г. Москва — 103

Алешковский Петр Маркович, прозаик, г. Москва — 330, 421

Алтаев Ал. (наст. имя и фам. — Маргарита Владимировна Ямщикова), русская писательница первой половины XX века — 99, 116, 117

В указатель включены имена людей, встречающиеся в тексте писем В. П. Астафьева и В. Я. Курбатова, с информацией о них на момент переписки (1974—2001 гг.)

Амирэджиби Чабуа (Амирэджиби Мзечабук Ираклиевич), прозаик, Грузия — 476

Ананьев Анатолий Андреевич, прозаик, г. Москва — 235

Андросова Татьяна Сергеевна, хозяйка дома в селе Никольском, где В. П. Астафьев жил во время съемок фильма «Жизнь на миру» — 302, 327

Антокольский Павел Григорьевич, поэт, г. Москва — 80

Асламов Михаил Феофанович, поэт, г. Хабаровск — 212

Бакланов Григорий Яковлевич, прозаик, г. Москва — 158

Балашов Дмитрий Михайлович, прозаик, г. Новгород — 253, 309, 440

Барбюс Анри, французский писатель — 359

Басилашвили Олег Валерьянович, народный артист России, г. Санкт-Петербург — 402

Башунов Владимир Мефодьевич, поэт, г. Барнаул — 364

Белаш Юрий Семенович, поэт, критик, г. Москва — 232

Белкин Владлен Николаевич, поэт, г. Красноярск — 269

Белов Роберт Петрович, прозаик, г. Пермь — 270, 372, 383

Белов Василий Иванович, прозаик, г. Вологда — 73, 75, 76, 99, 103, 144, 258, 299, 300, 307, 340, 347, 392, 394, 409, 431, 434, 443

Белоногов Анатолий Алексеевич, фотокорреспондент, г. Красноярск — 219

Беляева Надежда Владимировна, директор Пермской картинной галереи — 467

Бердяев Николай Александрович, религиозный философ конца XIX — начала XX века —138, 150, 257

Битов Андрей Георгиевич, прозаик, г. Москва — 103

Блок Александр Александрович, русский поэт начала XX века — 150

Бологов Александр Александрович, прозаик, г. Псков — 209, 210, 213, 244

Бондарев Юрий Васильевич, прозаик, г. Москва — 19, 34, 35, 188, 308, 351, 356, 409

Бондаренко Владимир Григорьевич, критик, г. Москва — 356, 440

Боровик Генрих Авиэзерович, публицист, драматург, г. Москва — 238

Бородин Леонид Иванович, прозаик, г. Москва — 288, 421, 459

Борщаговский Александр Михайлович, прозаик, драматург, г. Москва — 207, 342

Бровман Григорий Абрамович, критик, литературовед — 153, 164, 178

Буйлов Анатолий Ларионович, прозаик, г. Красноярск — 453

Бунин Иван Алексеевич, русский прозаик, поэт, лауреат Нобелевской премии — 166, 426

Бурашников Николай Павлович, поэт, г. Пермь — 462

Бурляев Николай Петрович, актер, кинорежиссер, г. Москва — 404, 425

Бурмагин Николай Васильевич, график, г. Вологда — 23, 26

Буханцов Николай Стефанович, критик, г. Москва — 93

Бушин Владимир Сергеевич, критик, прозаик, г. Москва — 356

Бушков Александр Александрович, прозаик, г. Красноярск — 413

Быков Василь Владимирович, прозаик, Белоруссия — 158, 238, 240, 326, 456

Быков Дмитрий Львович, журналист, прозаик, г. Москва — 429

Бычков Юрий Александрович, искусствовед, г. Москва — 207

Вагнер Николай Николаевич, прозаик, г. Пермь — 383

Ванин Алексей Захарович, актер кино, народный артист России, г. Москва — 403

Васильев Иван Афанасьевич, публицист, г. Москва — 210, 281, 299, 338, 419, 423

Викулов Сергей Васильевич, поэт, редактор журнала «Наш современник» 1968—1989 гг., г. Москва — 28, 32, 35, 135, 306, 434

Войнович Владимир Николаевич, прозаик, г. Москва — 179

Волокитин Николай Иванович, прозаик, г. Красноярск — 69

Волос Андрей Германович, прозаик, г. Москва — 477

Волошин Максимилиан Александрович русский поэт начала XX века — 345

Воробьев Константин Дмитриевич, прозаик, г. Вильнюс — 178, 180, 238, 356, 456

Воронихин Андрей Никифорович, русский архитектор конца XVIII — начала XIX века — 50

Высоцкий Владимир Семенович, актер, поэт, бард, г. Москва — 212

Гаврилин Валерий Александрович, композитор, г. Санкт-Петербург — 348, 349, 364, 385

Гайдук Николай Викторович, прозаик, г. Красноярск — 364

Ганичев Валерий Николаевич, прозаик, критик, г. Москва — 356, 376, 477

Гейченко Семен Степанович, директор Пушкинского заповедника в селе Михайловском, Псковская область — 80, 82, 83, 296

Голубков Михаил Дмитриевич, прозаик, г. Пермь — 125, 126, 128, 147, 169, 173, 190, 193, 196, 210, 224, 236, 256, 268

Горбачев Михаил Сергеевич, первый Президент СССР — 286, 372, 419

Горенштейн Фридрих Наумович, прозаик, г. Москва — 330

Городецкий Евгений Александрович, прозаик, редактор Новосибирского книжного издательства в конце 70-х годов — 35, 36, 48, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 72, 81, 83, 91

Горышин Глеб Александрович, прозаик, г. Санкт-Петербург — 72, 143, 150

Гранин Даниил Александрович, прозаик, г. Санкт-Петербург — 161

Гребнев Анатолий Григорьевич, поэт, г. Пермь — 147, 212, 454

Гремицкая Агнесса Федоровна, редактор книг В. Астафьева, г. Москва — 292, 295, 434, 471

Григорьев Игорь Николаевич, поэт, г. Псков — 213

Григорьева Ренита Андреевна, кинорежиссер, г. Москва — 272

Грин Фрэнсис, один из соучредителей премии Букера, Англия — 361, 408

Гринберг Иосиф Львович, критик, г. Москва — 80

Гроссман Василий Семенович, прозаик, г. Москва — 431, 432

Гусев Владимир Иванович, прозаик, г. Москва — 144

Гущин Евгений Геннадьевич, прозаик, г. Барнаул — 244

Данелия Георгий Александрович, кинорежиссер, г. Москва — 394

Джонс Джеймс, американский писатель, автор романа «Только позови» — 182, 185

Девяткин Алексей Тимофеевич (Алеша), двоюродный брат В. П. Астафьева, г. Красноярск — 115, 470

Дедков Игорь Александрович, критик, г. Москва — 164, 167, 188

Дудин Михаил Александрович, поэт, г. Санкт-Петербург — 159, 296

Дуров Лев Константинович, народный артист России, г. Москва — 206

Ельцин Борис Николаевич, первый Президент России — 355

Ермолаева Ольга Юрьевна, поэт, г. Москва — 202

Жженов Георгий Степанович, актер театра и кино, народный артист России, прозаик, г. Москва — 474

Жуков Владимир Семенович, поэт, г. Иваново — 212

Журавлев Дмитрий Николаевич, народный артист СССР, г. Москва — 415

Заболоцкий Анатолий Дмитриевич, кинооператор, фотохудожник, г. Москва — 133, 206

Заволокин Геннадий Дмитриевич, собиратель фольклора, композитор, создатель телевизионной программы «Играй, гармонь», г. Новосибирск — 413

Завражин Иван Сергеевич, поэт, г. Липецк — 341

ПИСЬМА ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ 2002

Задереев Сергей Константинович, прозаик, г. Красноярск — 122, 124, 153, 197, 219, 226, 227, 233, 240, 252, 274, 453

Зайцев Борис Константинович, русский писатель XX века — 442, 476

Закирова Чулпан Мусеевна, редактор издательства «Художественная литература», г. Москва — 251

Залыгин Сергей Павлович, прозаик, в 80-90-х годах — редактор журнала «Новый мир», г. Москва — 109, 144, 240, 308, 339, 341, 349, 362, 369

Звонцов Василий Михайлович, народный художник России, г. Санкт-Петербург — 160, 176, 214, 244

Зеленов Владимир Алексеевич, скульптор, г. Красноярск — 140, 157, 185

Зернова Руфь Александровна, прозаик, г. Санкт-Петербург — 27

Золотов Андрей Андреевич, музыковед, г. Москва — 363, 369

Золотусский Игорь Петрович, критик, г. Москва — 164, 167

Золотухин Валерий Сергеевич, актер, прозаик, г. Москва — 272

Золотцев Станислав Александрович, поэт, прозаик, критик, г. Москва — 447

Иванов Анатолий Степанович, прозаик, г. Москва — 18, 238, 356

Иванов Вячеслав Иванович, русский поэт, драматург, философ конца XIX — начала XX века — 219

Иванова Наталия Борисовна, критик, г. Москва — 440

Исаев Егор Александрович, поэт, г. Москва — 188, 272

Каверин Вениамин Александрович, прозаик, г. Москва — 99

Казаков Юрий Павлович, прозаик, г. Москва — 228

Капустин Евгений Федорович, главный художник издательства «Советский писатель», г. Москва — 60, 194

Карпов Владимир Александрович, прозаик, г. Москва — 231

Карпов Владимир Васильевич, прозаик, в 1982—1986 годах — редактор «Нового мира», г. Москва — 221

Катаев Валентин Петрович, прозаик, г. Москва — 19, 103

Каталь Жан, французский прозаик — 268

Качалов Василий Иванович, народный артист СССР — 415

Квливидзе Михаил Георгиевич, поэт, г. Москва — 29

Ким Анатолий Андреевич, прозаик, г. Москва — 421

Кипренский Орест Адамович, русский живописец начала XIX века — 50

Климов Элем Германович, кинорежиссер, г. Москва — 154

Клиффорд Джеймс (под этим именем некоторое время вынужденно работал Лившиц Владимир Александрович), поэт, г. Москва — 276, 413

Ключевский Василий Осипович, русский историк конца XIX — начала XX века, член-корреспондент Петербургской Академии наук — 230, 423

Кобенков Анатолий Иванович, поэт, публицист, г. Иркутск — 212

Козынцева Анна Епиксимовна, директор библиотеки-музея в селе Овсянка под Красноярском — 418

ПИСЬМА ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ 2002

Кондратьев Вячеслав Леонидович, прозаик, г. Москва — 157, 158, 240, 456

Конецкий Виктор Викторович, прозаик, г. Санкт-Петербург — 197, 199, 203, 213, 214, 215, 216, 228, 251, 268, 273, 347, 365, 389, 394, 398, 456

Корабельников Олег Сергеевич, прозаик, г. Красноярск. — 153, 274

Корин Павел Дмитриевич, народный художник СССР, г. Москва — 170

Коротаев Виктор Вениаминович, поэт, г. Вологда — 99

Краснов Петр Николаевич, прозаик, г. Оренбург — 231

Крупин Владимир Николаевич, прозаик, г. Москва — 246, 271, 275, 286, 299, 327, 381, 425, 431

Кузнецов Александр Николаевич, земляк В. П. Астафьева, прототип главного героя романа «Печальный детектив», г. Красноярск — 332

Кузнецов Владимир Сергеевич, режиссер документального кино, г. Красноярск — 295, 302, 315, 327, 328, 331, 337, 447

Кузнецов Юрий Поликарпович, поэт, г. Москва — 155

Кураев Михаил Николаевич, прозаик, г. Санкт-Петербург — 341, 414, 440, 475, 476, 477

Куранов Юрий Николаевич, прозаик, г. Псков — 15, 32, 33, 43, 53, 55, 59, 62, 66, 204, 213

Курицын Вячеслав Николаевич, критик, г. Москва — 429, 430

Курносенко Владимир Владимирович, прозаик, г. Челябинск — 315

Курчатов Игорь Петрович, академик, физик-атомщик — 166, 168

Кутепов Александр Яковлевич, заслуженный артист России, г. Москва — 415

Кутилов Аркадий Павлович, поэт, г. Омск — 459

Лавров Кирилл Юрьевич, актер театра и кино, народный артист СССР, г. Санкт-Петербург — 195

Ланщиков Анатолий Петрович, критик, г. Москва — 48

Леонов Леонид Максимович, прозаик, г. Москва — 221, 272, 363

Липкин Семен Израилевич, поэт, г. Москва — 440

Лиснянская Инна Львовна, поэт, г. Москва — 440, 462

Литвяков Михаил Сергеевич, кинорежиссер, г. Санкт-Петербург — 368, 447, 466

Лиханов Альберт Анатольевич, прозаик, г. Москва — 36, 243, 244, 431

Лихоносов Виктор Иванович, прозаик, г. Краснодар — 144, 206, 341, 454

Личутин Владимир Владимирович, прозаик, г. Москва — 144, 440, 461

Ломидзе Георгий Иосифович, критик, литературовед, г. Москва — 72

Лурье Самуил Аронович, критик, редактор отдела прозы журнала «Нева», г. Санкт-Петербург — 109, 119

Любимов Юрий Петрович, главный режиссер Московского театра на Таганке — 123, 124

Майлер Норман, американский прозаик — 476

Маканин Владимир Семенович, прозаик, г. Москва — 421

Макаров Александр Николаевич, критик, г. Москва — 23, 129, 164, 445

Мальцев Елизар Юрьевич, прозаик, г. Москва — 218

Мандельштам Осип Эмильевич, поэт первой половины XX века — 17

Мансуров Булат Богаутдинович, кинорежиссер, г. Москва — 75

Маркес Габриэль Гарсия, колумбийский прозаик — 149, 150, 151, 421, 476

Марков Георгий Мокеевич, прозаик, г. Москва — 18, 238

Матевосян Грант Игнатьевич, прозаик, Армения — 476

Машкин Геннадий Николаевич, прозаик, г. Иркутск — 195

Мережковский Дмитрий Сергеевич, прозаик, философ — 219

Метерлинк Морис, французский драматург — 160

Михайлов Александр Алексеевич, критик, литературовед, г. Москва — 362, 388, 412

Михалков Никита Сергеевич, актер, режиссер, г. Москва — 389, 446

Михалков Сергей Владимирович, поэт, драматург, г. Москва — 112, 238, 239

Можаев Борис Андреевич, прозаик, г. Москва — 123, 125

Мориак Франсуа, французский прозаик — 161

Мориц Юнна Пинхусовна, поэт, г. Москва — 440

Набоков Владимир Владимирович, поэт, прозаик, литературовед — 317, 335

Нагибин Юрий Маркович, прозаик, кинодраматург, г. Москва — 19, 135, 223, 232, 340, 394

Назаров Михаил Николаевич,	публицист, философ, г. Москва — 425
Некрасов Виктор Платонович,	прозаик — 179
Нестеренко Евгений Евгеньевич,	певец, народный артист СССР, г. Москва — 427
Нестеров Михаил Васильевич,	художник, г. Москва — 306
Николаева Маргарита Ивановна,	главный редактор Красноярского книжного издательства — 195
Николаенко Петр Герасимович,	фронтовой друг В. П. Астафьева, с. Червово Алтайского края — 445
Нилин Павел Филиппович,	прозаик, г. Москва — 221
Новиков Владимир Иванович,	критик, г. Москва — 393
Носов Евгений Иванович,	прозаик, г. Курск — 125, 157, 158, 180, 333, 362, 388, 412, 456
Нуйкин Андрей Александрович,	критик, г. Москва — 339
Образцова Елена Васильевна,	певица, народная артистка СССР, г. Москва — 427
Овчинников Вячеслав Леонидович,	композитор, г. Москва — 276
Огнев Владимир Федорович,	критик, г. Москва — 326
Окуджава Булат Шалвович,	поэт, прозаик, г. Москва — 84, 103, 223, 340, 341
Орлов Сергей Сергеевич,	поэт, г. Москва — 35
Отец Геннадий (Фаст),	протоиерей, г. Енисейск, Красноярский край — 382, 482
Отец Зинон (Теодор),	архимандрит, иконописец, г. Псков — 264, 376, 442

Отец Михаил (Капралов), протоиерей, духовный наставник В. П. Астафьева, Красноярск, Барнаул — 233. 245, 256, 268, 270, 278, 482

Ошанин Лев Иванович, поэт, г. Москва — 237, 238

Оэ Кэндзабуро, японский прозаик, эссеист — 421

Павич Милорад, словацкий прозаик — 421, 476

Павлов Олег Олегович, прозаик, г. Москва — 366, 421

Пантелеев Анатолий Викторович, филолог, историк литературы, г. Санкт-Петербург — 272

Папанов Анатолий Дмитриевич, народный артист СССР, г. Москва — 206

Пелевин Виктор Олегович, прозаик, г. Москва — 425

Перов Василий Григорьевич, художник-передвижник XIX века — 171

Песков Василий Михайлович, писатель, публицист, г. Москва — 183

Петренко Алексей Васильевич, актер театра и кино, народный артист России, г. Москва — 474

Петров Михаил Григорьевич, прозаик, г. Тверь — 298, 464, 466, 477

Петрушевская Людмила Стефановна, прозаик, драматург, г. Москва — 425

Пикуль Валентин Саввич, прозаик, г. Рига — 118

Писемский Алексей Феофилактович, русский писатель конца XIX века — 107

Пистунова Александра Михайловна, искусствовед, зав. отделом критики газеты «Литературная Россия», г. Москва — 175

Поздеев Андрей Геннадьевич, художник, г. Красноярск — 146, 157, 177, 243

Полторанин Михаил Никифорович, политический и общественный деятель середины 90-х гг. — 360

Постников Леонард Дмитриевич, руководитель школы олимпийского резерва, директор музея реки Чусовой, г. Чусовой — 287, 288, 289, 293, 300, 305, 307, 319, 340, 356, 360, 367, 371, 373, 383, 395, 424, 425, 443, 453, 454, 466, 483

Потанин Виктор Федорович, прозаик, г. Курган — 144, 195, 341

Потылицына Анна Константиновна, жена дяди (Кольчи-младшего) В. П. Астафьева — 140, 324, 466

Прасолов Алексей Тимофеевич, поэт, г. Воронеж — 212, 226, 228

Проскурин Петр Лукич, прозаик, г. Москва — 208

Проханов Александр Андреевич, прозаик, г. Москва — 343, 344, 356, 409

Ракша Ирина Евгеньевна, прозаик, г. Москва — 134

Распутин Валентин Григорьевич, прозаик, г. Иркутск — 19, 21, 25, 26, 27, 29, 36, 79, 144, 154, 224, 229, 230, 240, 246, 250, 257, 258, 270, 271, 272, 273, 275, 281, 286, 296, 298, 299, 300, 307, 308, 309, 312, 315, 317, 321, 329, 340, 343, 345, 346, 349, 351, 386, 388, 392, 393, 394, 404, 409, 421, 425, 431, 448, 462, 468, 471, 476

Ремарк Эрих Мария, немецкий писатель — 359

Ремизов Алексей Михайлович, русский прозаик, драматург — 136, 150

Решетов Алексей Леонидович, поэт, г. Пермь — 188, 210, 447

Розанов Василий Васильевич, религиозный философ, литературный критик, публицист — 136, 150, 257

Розов Виктор Сергеевич, драматург, г. Москва — 303, 341

Романов Александр Александрович, поэт, г. Вологда — 99, 158, 308

Романов Борис Степанович, прозаик, г. Новгород — 298

Рубцов Николай Михайлович, поэт, г. Вологда — 23, 26, 28, 65, 67, 68, 195, 212, 393, 460, 462

Руммо Пауль Эрик, эстонский поэт — 180

Ручьев (наст. фам. Кривощеков) Борис Александрович, поэт, г. Магнитогорск — 212

Рыбкин Иван Петрович, политический и общественный деятель, г. Москва — 360

Рыжков Николай Иванович, председатель правительства СССР в конце 80-х годов — 419

Ряннель Тойво Васильевич, народный художник России, г. Красноярск — 243

Саврасов Александр Кондратьевич, русский живописец второй половины XIX века — 50

Самойлов Давид Самуилович, поэт, г. Москва — 395

Сапронов Геннадий Константинович, журналист, книгоиздатель, г. Иркутск — 222, 326, 455, 457, 462, 468, 469, 471, 472, 473

Свиридов Георгий Васильевич, композитор, г. Москва — 348, 365

Свиридонов Геннадий Михайлович, биолог, г. Томск — 247

Селезнев Юрий Иванович, критик, г. Москва — 23, 50, 75

Селиверстов Юрий Иванович, художник, г. Москва — 282, 287, 291, 295, 312, 316, 364

Селянкин Олег Константинович, прозаик, г. Пермь — 383

Семенов Георгий Витальевич, прозаик, г. Москва — 37, 51, 54, 84, 99,127, 135

Семенов Юлиан Семенович, прозаик, г. Москва — 238

Семочкин Александр Александрович, архитектор, плотник, директор музея В. Набокова в селе Рождественском Ленинградской области — 315

Симонов Алексей Кириллович, публицист, председатель Всероссийского общества защиты гласности — 389, 390

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович, прозаик, поэт, драматург, г. Москва — 18, 325, 389, 391

Слепцов Василий Алексеевич, русский прозаик XIX века — 107

Смеляков Ярослав Васильевич, поэт, г. Москва — 86, 210

Соболев Анатолий Пантелеевич, прозаик, г. Калининград — 190, 224, 228, 239, 256, 402

Сокуров Александр Николаевич, кинорежиссер, г. Москва — 437

Солженицын Александр Исаевич, прозаик, лауреат Нобелевской премии — 179, 205, 273, 355, 356, 437, 440, 462

Солнцев Роман Харисович, поэт, прозаик, драматург, редактор журнала «День и ночь», г. Красноярск — 140, 202, 209, 212, 213, 216, 314, 329, 344, 364

Солоухин Владимир Алексеевич, прозаик, поэт, г. Москва — 248, 254, 341

Сорокин Владимир Георгиевич, прозаик, г. Москва — 425

Старшинов Николай Константинович, поэт, г. Москва — 336

Стефанович Юрий Анатольевич, прозаик, редактор отдела прозы издательства «Современник», г. Москва — 194

Стоун Ирвинг, американский писатель — 189

Суриков Василий Иванович, русский художник XIX — начала XX века — 50, 176, 233, 389

Сухов Федор Григорьевич, поэт, г. Нижний Новгород — 212

Тарковский Арсений Александрович, поэт, г. Москва — 335

Тарковский Михаил Александрович, прозаик, пос. Бахта, Красноярский край — 447

Твардовский Александр Трифонович, поэт, редактор журнала «Новый мир» в 1950—1954 и в 1958—1970 годах — 86

Телешов Николай Дмитриевич, прозаик конца XIX — начала XX века — 107

Титов Александр Александрович, прозаик, г. Санкт-Петербург — 145

Ткачевы Алексей Петрович и Сергей Петрович, народные художники России, г. Москва — 206

Токарева Виктория Самойловна, прозаик, г. Москва — 195

Толстой Владимир Ильич, директор музея «Ясная Поляна», праправнук Л. Н. Толстого — 421, 446, 464, 476, 478

Толстой Никита Ильич, академик, филолог, правнук Л. Н. Толстого, г. Москва — 299, 340, 349

Трамбо Дальтон, американский писатель, автор романа «Джонни получил винтовку» — 159

Трифонов Юрий Валентинович, прозаик, г. Москва — 19

Трошкин Владлен Павлович, кинорежиссер, г. Москва — 87

Тумбасов Анатолий Николаевич, заслуженный художник России, г. Пермь — 190, 367, 372

Ульянов Михаил Александрович, народный артист СССР, художественный руководитель театра им. Е. Вахтангова, г. Москва — 104, 110, 123, 145, 206

Федосеева-Шукшина Лидия Николаевна, актриса, г. Москва — 272

Фетин Владимир Александрович, кинорежиссер, г. Москва — 87

Флоренский Павел Александрович, ученый, религиозный философ — 317

Фомин Валерий Иванович, киновед, г. Москва —74, 75

Франк Семен Людвигович, религиозный философ, психолог — 317

Фролов Леонид Анатольевич, прозаик, г. Москва — 207

Харитонов Марк Сергеевич, прозаик, г. Москва — 303, 330

Черкасов Алексей Тимофеевич, прозаик, г. Красноярск — 413

Черниченко Юрий Дмитриевич, прозаик, публицист, г. Москва — 339

Черных Борис Иванович, прозаик, г. Благовещенск — 288

Чулаки Михаил Михайлович, прозаик, г. Москва — 339

Чухонцев Олег Григорьевич, поэт, г. Москва — 341

Шадринов Вячеслав Федорович, фронтовой друг В. П. Астафьева, г. Темиртау — 326

Шапко Владимир Макарович, прозаик, г. Красноярск — 364

Шапошников Владимир Николаевич, критик, редактор Новосибирского книжного издательства — 39, 49, 54, 189

Шафаревич Игорь Ростиславович, академик РАН, г. Москва — 298

Шепитько Лариса Ефимовна, кинорежиссер, г. Москва — 154, 158

Шипунов Фатей Яковлевич, эколог, публицист, г. Москва — 252

Шириков Владимир Леонидович, прозаик, г. Вологда — 62, 67

Широков Евгений Николаевич, народный художник России, г. Пермь — 126, 169, 185, 190, 195, 220, 289, 300, 367, 371, 372, 425, 467, 470, 480

Шкловский Виктор Борисович, литературовед, г. Москва — 219

Шленская Галина Максимовна, профессор Красноярского государственного университета — 457

Шмелев Иван Сергеевич, прозаик — 442

Шмыров Виктор Александрович, председатель Пермского отделения общества «Мемориал» — 356, 397, 408, 424, 483

Шней-Красиков Константин Николаевич, прозаик, драматург, г. Красноярск — 153, 155, 157, 158

Шпенглер Юрий Валентинович, прозаик, г. Москва — 230

Штокман Игорь Георгиевич, критик, г. Москва — 283, 286

Шукшин Василий Макарович, прозаик, актер, режиссер — 23, 26, 86, 112, 113, 115, 133, 187, 207, 238, 268, 272, 388, 402, 403

Щукин Михаил Николаевич, прозаик, г. Новосибирск — 454

Щуплецов Сергей Борисович, чемпион мира по фристайлу — 292, 294, 383

Эйдельман Натан Яковлевич, прозаик, г. Москва — 244

Эфрос Анатолий Васильевич, театральный режиссер, г. Москва — 123

Юровских Василий Иванович, прозаик, г. Курган — 125, 189, 190

Яковлев Егор Владимирович, редактор «Общей газеты», г. Москва — 345, 379

Якунин Глеб Павлович, священник, депутат Государственной думы — 288

Ямщиков Савелий Васильевич, искусствовед, реставратор, г. Москва — 298, 421

Яновский Николай Николаевич, критик, литературовед, г. Новосибирск — 41, 43, 94, 96, 164, 177, 189, 190, 451

Ярошевская Валентина Михайловна, директор Красноярского краеведческого музея — 305

Яхонтов Владимир Николаевич, народный артист СССР, г. Москва — 415

Яхонтова Зоя Николаевна, зав. редакцией прозы издательства «Молодая гвардия», г. Москва — 32

Яшин Александр Яковлевич, прозаик, поэт, г. Москва — 117, 120, 236

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Сапронов.
Движением сердца. *От составителя* 5

КРЕСТ БЕСКОНЕЧНЫЙ.
Письма из глубины России 11

Л. Аннинский.
На краю отечества. *Послесловие* 487

Указатель имен 505

Астафьев Виктор Петрович
Курбатов Валентин Яковлевич
КРЕСТ БЕСКОНЕЧНЫЙ
Письма из глубины России
(Издание второе, дополненное)

Редактор *А. Ф. Гремицкая*
Художественное оформление *С. Н. Элоян*
Технический редактор, компьютерная верстка
Е. В. Бер
Компьютерный набор *Е. Ю. Самсонова*
Корректор *О. В. Самсонова*

Издатель Сапронов.
ИД № 04332 от 23.03.01

664015 Иркутск,
ул. К. Маркса, 22, оф. 47,
тел./факс (3952) 25-84-83, 33-42-56
e-mail: bgvector@mail.ru



Формат 80x100 1/32
Бумага офсетная. Гарнитура Newton
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,4
Тираж 1000 экз.
(Общий тираж двух изданий 6000 экз.)

Заказ

Отпечатано с диапозитивов заказчика
в ГИПП «Советская Сибирь».
630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104